

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

N *M O I V R* Y

7

1999

7

МИР

НОВОБЫИ

1999

НОВОЛЫГИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7(891)

Июль, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Адресат, стихи	3
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Чернильный ангел, повесть	8
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — ЦМШ, стихи	93
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Крохотки	101
СВЕТЛАНА БЫЧЕНКО — Возвращение. Документальные сказки	103
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Сквозь розоватое стекло, стихи	109
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД — Море сухое, стихи	112
ЛОРЕНСО СИЛЬВА — Слабина большевика. Роман. Перевела с испанского Л. Синянская	115

ИЗ НАСЛЕДИЯ

В. В. РОЗАНОВ — Апокалиптика русской литературы. Вступительная статья, публикация и комментарии В. Г. Сукача	145
--	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ЛЕВ АЙЗЕРМАН — Русские классики в стране «новых русских»	158
--	-----

ПОЛЕМИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — Как мы читаем русскую литературу: о сладострастии	170
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО — Фаддей (Гадеуш): суперагент	183
В. Э. ВАЦУРО — «Видок Фиглярин». Заметки на полях «Писем и записок»	193

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Пантелеймон Романов — рассказы советских лет. Из «Литературной коллекции»	197
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. Существование в единственном числе	205
Дмитрий Шеваров. «Откровение помыслов»	210
Алена Злобина. Исчезающий след	212
Никита Елисеев. Лакуны и «антилакуны»	215
Мария Ремизова. Наше историческое ничтожество?	222
Мария Майофис. Мемуары «литературного старовера»	225
Юрий Кублановский. Утопия геополитического самодержавия	227

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«ЭТОТ ЖУРНАЛ — МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ РАДОСТЬ И БОЛЬ...»	231
А. В. БЛЮМ — За кулисами одного события	237

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	241
Периодика (составитель Андрей Василевский)	244

ИНСТИТУТ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»

А. ЛИВЕРГАНТ — О конкурсе «Пушкинист»	252
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ШКЛЯРЕВСКОГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ 1999 ГОДА!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

АЛЕКСЕЙ ПУРИН



АДРЕСАТ

Осень

Огрубевшие и жестяные
листья — что на могильном венке,
крупных капель круги водяные
да холодное пиво в ларьке...

Что ж ты, осень, с кривою усмешкой
шепчешь ужасы нам — перестань!..
Рванный воздух, сырой и поблекший, —
как из гроба прогнившая ткань.

Словно вычерпан, вычеркнут, прожит,
кончен, выгорел весь до нутра
мир — и выжить ничто не поможет,
кроме грифеля или пера...

Может статья, призванье и сила
в том искусства, чтоб страхи и грусть
усмирять, успокаивать: было
и с другими такое, не трусь!..

Листья ветром, как спички о короб,
исчиркав до последнего все,
побелел и осунулся город —
в восковой просветленной красе.

Так владельцы лежат пистолетов —
под военный мотив — именных
среди красного бархата... Это —
только тема, не хуже иных!

Смерть, и осень, и медные трубы...
Под музыку сдувает Эол
первый снег на плащи и на шубы —
мелкий, едкий, колючий фенол.

И, безжалостней ворса шинели,
мир безжизненно сер... Может быть,
мы погибли б, когда б не сумели
его ужас стихами убить.

Пурин Алексей Арнольдович родился в Ленинграде в 1955 году. Окончил Ленинградский технологический институт по специальности инженер-химик. Автор четырех книг стихов и книги эссе. Живет в Санкт-Петербурге.

Пражские стансы

Тут кататься в стальных тараканах —
 лепота! То с улыбочкой, то
 с красной рожей... О прочих датчанах
 пожалеем, гуляя в Градчанах —
 по-хозяйски легко, без пальто.

На неласковость чехов и чешек
 (даже гид наш и тот — вечно злой)
 что ж пенять — мы достойны насмешек...
 Но и ты, пустоватый орешек,
 горьковат под кленовой золой.

О, конечно! — витражный, хороший,
 драгоценно-резной... Но, увы,
 больше нет ни евреев, ни бошей.
 Не страшит ли свобода под ношей
 чуждой тысячелетней листвы?

И недаром пронырливый самый
 твой мышонок в норе страховой
 снежным настом и сном — амальгамой
 океанской волны, Алабамой —
 одеялом укрыт с головой.

* *
 *

Я уже почти не замечаю,
 Сумароков, яти и фиты
 и пустое время уличаю
 в очевидной мнимости — слиты
 канувшие в Лету поколения
 с нынешним: сердца соединить
 в силах боль живая умиленья,
 речи человеческая нить...
 Я закрою книгу. Побледнею.
 Папиросу закурю.
 «Зрю ль тебя, не зрю ли, — равну грусть имею,
 равное мучение терплю».

Поэты

Любили в армейских нарядах ходить —
 без знаков различья, в каких-то кожанках
 со скрипом — и дружбу с вожжами водить,
 о танках поэмы писать, о тачанках...
 Теперь-то мы знаем: писанье поэм
 почти равносильно ношенью эмблем.

Учась получать за стихи ордена,
 старались курить по возможности трубку.

Париж посещали... Ну чья тут вина —
забыли про жизнь, роковую скорлупку...
Не в дальних пределах, в татарской Москве
лежат по ранжиру в червивой траве —

в полковничьих бархатно-красных гробах —
творцы пятитомных собраний, в которых
все рифмы на «-алин» или на «ба-бах»,
а ритмам насыпан за шиворот порох, —
там, где Новодевичий спит монастырь
и славянофильства кричит нетопырь.

* *
*

О нет, не для славы... Тогда для чего
или для кого — это словотерзанье,
и духа боренье, и бездн разверзанье,
и полураспад бытия самого?

О нет, не для славы и не для любви —
о, не для любви! — это крови кипенье
в сиянии слов, это стихотворенье —
о славе и смерти, тоске и любви...

И я не пойму, для чего же оно —
и не для потомков, и не для любимой, —
и неуловимый его, нелюдимый
сокрыт адресат, а значение темно.

* *
*

Почти египетское лето:
в зените копится гроза.
А мне с фаюмского портрета
сияют темные глаза

сокровищами коптских копей.
Под крестным знаменем зениц,
что ратный мученик Прокопий,
копье я опускаю ниц.

Пресуществившегося хлеба
я смуглой корочкою пьян, —
и в клеть возлюбленного неба
не спрячет Диоклетиан.

Мне не темно в земной темнице.
И смерти нет, пока я твой,
пока в глазной тени хранится
лицо с дощечки восковой.

Ботанический сад

По траве, жарой примятой,
входим в рай земной — и вот
ясень, пихтой приобнятый,
ослепительно плывет.

Он, совсем как мальчик сильный,
в колкой ласке изнемог...
Спи, младенец — тис могильный:
ты — лишь радостный намек.

Спи, терновник: зол не знаю
за тобой. Лютей стократ,
сам себе напоминаю
я татарник, царь-мурат.

Ведь, волчцом вцепясь, целую
жизни цепкую резню —

кровожадную, цепную
верность ревности храню.

Горячей, чем горный гравий
под аварскою арбой,
бейся, сердце, суйся к лаве
розовато-голубой, —

раз уж из грязцы и зноя,
слезной радугой лучась,
мира яблоко глазное
чудом создано на час, —

раз уж счастлив я, пропащий,
вкупе с сорною братвой
подле ног Твоих торчащий,
голос слушающий Твой.

* *
*

— Создатель в миру растворен,
как соль в благодарном сосуде:
обрывки Господних пелен
бушуют в немом изумруде
листвы и в корыте небес
бегут облаками сырыми.
Господь — это небо, и лес,
и озеро, а не имя.

— Вся пестрая ткань бытия
изъедена Богом, разъята
на нити — прохлады, ручья,
росы, косогора, заката...
И быть этой клетки пустой:
зеницы Всемирного Вора
сжигают ночной кислотой
все вещи — и прячут от взора.

* *
*

Люциферически прекрасны,
мгновенья гибнут на бегу.
И, словно Фауст, самовластно
любое выхватить могу —
сберечь волшебного романа
строку, губительный поток
пресечь... Но в пальцах Аримана
истлеет сорванный цветок.

А посему поползновенья
мои алхимии глупей —
не заговаривай мгновенья
и чашу поданную пей.
Ни выбора, ни «Или, Или!»
нет... Но читай, покуда жив.
Жди, чтобы книжечку закрыли,
надейся — спичкой заложив.

Ренуар

За пианино садилась — знать не могла, что мы
будем в ее свеченье всматриваться из тьмы
марта — теснясь, номерком окольцевав свой палец...
Ну, наконец убедился — какой ты неандерталец?

То есть — не то, не так... Сказочные очки
выдал жемчужный волшебник — O_2 , O_3 , $O_4!$ —
радужный кислород усваивают зрачки,
и заресничный мир кажется краше, шире...

Пахла цветами, пальцы нежные к пастиле
клавишей крались, глаза в нотном вязанье спицей
вязли... А вот пушистые персики на столе —
рядом с Арлезианкой, жесткой и желтолицей!..

Где нынче эта музыка — хочешь ли ты ответ
знать?.. Но щемящей жизни смысл и сюжет не нужен.
Видишь? — Она всего лишь потусторонний свет
мертвых, растущих из мутной, влажной среды жемчужин.

* *
*

Ничего на листе не напишешь,
не прочтешь — на кленовом, сухом...
Светлым ядом бессмертия дышишь
в парке, выметенном сквозняком.

Что горящая рукопись скручен,
в дрожи черных и красных чернил,
он неясным ознобом измучен,
а вчера еще — цвел и манил...

Есть угрюмая в осени проредь —
как бы выношенность бытия:
так просторно, что не о чем спорить
и любая дорога — твоя.

В этом призрачном тусклом пыланье,
где возможности воспалены,
исполняют любые желанья...
Только не называют цены.



ВАЛЕРИЙ ПОПОВ



ЧЕРНИЛЬНЫЙ АНГЕЛ

Повесть

Дружбы народов надежный оплот.

Из песни.

МЛАТ ВОДЯНОЙ

Поставив точку, я откинулся на стуле и, выплывая из вымысла, огляделся. Убогая дачная комнатка освещена низким вечерним солнцем, выпуклые крошки под обоями дают длинные тени. Тишина. Покой. Счастье. И никого в доме. Эту минуту блаженства я заслужил.

Я выкрутил лист из машинки, сбил пачку листов ровно и положил в стол.

Вышел в палисадник, отцепил с веревки просвеченные солнцем бордовые плавки. И тут все было тихо и торжественно. Розовые стволы сосен. И ни души нигде — ни здесь, ни у соседей. Сцена снова свободна! Все прежнее кончилось и лежало теперь в столе, а новое не спешило пока появляться. И правильно — должна же быть минута покоя и торжества... Ну, хватит.

Стиснув упругие плавки в кулаке, я вышел из калитки. Наш Крутой переулок, освещенный тихим вечерним светом с верхнего его конца, спускался желтым песчаным скатом к оврагу. Дом, где я сейчас жил, был самым последним, на краю оврага. Вверх уходили дома людей более важных — чем выше, тем важней. Но сейчас я и у себя внизу был на вершине счастья.

По сырým ступенькам, вырытым в склоне оврага, я постепенно, по частям спускался во тьму. И вот — освещенные листья перед глазами исчезли. Зато сразу потекли запахи — они почему-то любят тень. Щекочущий ноздри запах крапивы сменялся гнилым, болотным.

Когда-то, еще в финские времена, здесь была глубокая речка — говорят, до самого края нынешнего оврага. Но после успешного прорыва плотины она превратилась в мелкий ручей — коричневый, как крепкий чай, но чистый и холодный. Присев, я потрогал воду рукой. Ледяная! Сдвинул с себя одежду на мостик, сложенный из трех досок, натянул плавки и лег в ручей. Если лежать в нем плоско, он как раз обмывает уши, а рот и нос — над водой. Небо отсюда, из темноты, казалось очень высоким и узким, как, наверное, из могилы — если оттуда что-то можно увидеть. Неподвижное кудрявое облачко стояло в аккурат надо мной. И вдруг по воде донесся какой-то удар и гул, а потом прикатилась волна и нашлепнулась на лицо. Что-то где-то упало в воду — причем чувствовалось, что-то очень крупное и с большого размаху — с неба, что ли? Ручей растекался и от-

Попов Валерий Георгиевич родился в 1939 году в Казани. В 1963 году закончил Ленинградский электротехнический институт, в 1970-м — сценарный факультет ВГИКа. Печатается с 1965 года, автор многих книг. Живет в Петербурге. Постоянный автор «Нового мира».

крявлялся у железнодорожной насыпи... там, наверное? Потом стал наползать какой-то смутно знакомый, волнующий запах. Что это? Многие запахи, в отличие от красок, не имеют названий, поэтому действуют не на сознание, а на подсознание... Что это льется по мне, булькая и щекоча? Пожалуй, подумал я, уплывая в негу, лучше это не называть и не объяснять, пусть останется смутным, неясным блаженством — будем считать это лаской небес.

И все! Я поднялся из воды. Главное — не утонуть в блаженстве окончательно: окунулся — и все! Обсыхая на бегу — как тепло наверху, даже жарко! — я вбежал в темную комнату, уже покинутую солнцем, и улегся спать.

Проснулся я так же резко, как и заснул. Состояние вчерашнего блаженства протянулось и через сон, и какая-то сладкая ломота в суставах осталась и теперь.

Утро было ясное. Граница солнца и тени делила пустой заросший двор точно по диагонали, и единственное растение во дворе — высокий, почти с человека, серо-зеленый куст спаржи — было ровно поделено пополам.

Ну все — праздник кончился. Чайку — и к станку!

Застилая постель, я снял с дивана простыню, встряхнул — вечно насыпаются крошки! — потом, дернув за углы, растянул полотнище — и обомлел.

До чего же грязная простыня — в бледных, еле различимых пятнах, причем какого-то странного фиолетового отлива. Откуда бы? Я даже вышел с простыней в руках из темноватой комнаты в солнечный двор, чтобы понять эту загадку, — но на свету она стала еще загадочней. Я вдруг различил, что это не просто бледные пятна, а отпечатки чьего-то тела: вот спина, зад, затылок (или лоб?), отдельно — раскатытые словно в полете руки и ноги. Кто лежал на моей простынке и отпечатался на ней?

Или... это я сам? Но — как? Что за странная субстанция выделилась из моего тела? Тут я не мог найти никаких аналогий, кроме самых возвышенных. Только лишь Одному, самому знаменитому, удалось так отпечататься безо всяких красок. Но человек ли Он был? Знаменитая простыня, названная Туринской плащаницей, с отпечатком Его тела — и вот это скромное изделие местных ткачей, тоже с отпечатками... К чему бы это?

Подумав в этом направлении, но так ничего и не решив, я растянул простыню по веревке на прищепках — пусть повисит. Просохнет, глядишь — и все исчезнет: пятна явно влажные на ощупь. Просохнет! А цвет какой-то жутко подозрительный, мучительно знакомый... цвет фиолетовых чернил! Неужто я за годы своих писаний так пропитался чернилами, что теперь их выделяю? Истраченные мною чернила слились с душой, и душа моя, вылетая на ночь, оставила отпечаток?

— Точно! — вспомнил я. — Во сне летала она, оставив тело, над каким-то оврагом, и как сладко было летать и не падать!

И отразилась она на простыне как бы в полете — летит, наклоненная по диагонали.

Ветер надул простыню, как парус... точно — летит!

Рядом раздалось знакомое покашливание. В городе, сидя дома за столом, я слышу его за квартал, сквозь стук своей машинки и вой машин.

— А... это ты. — Я вздрогнул, уходя от дивных фантазий к реальности. — Ну... как там?

Жена ездила навещать дочку... Точно, вспомнил! Я покосился на нее — не заметит ли отпечаток на простыне? Спокойно прошла мимо! Хотя как ответственная за белье могла заметить непорядок. Тоже — хозяйка!

С надутыми полиэтиленовыми пакетами в обеих тонких ручонках, шаркая маленькими ножками, довольно посапывая — я уже в тонкостях изучил ее звуки! — она подошла к двери.

— А ты знаешь — мне понравилось! — проговорила она.

— Что же, интересно, там может понравиться?! — ревниво, а поэтому сварливо проговорил я.

— Даже не знаю, говорить тебе или нет. — Она задорно глянула на меня.

Представляю, что за радости там могут быть! Но мне можно и не рассказывать — все равно не пойму!

— Ну... сказать? — продолжила сиять жена.

Я молча пожал плечом. Чужая моя реакция, могла бы и не говорить, но не удержалась:

— Собаку подарили ей!

— Да... замечательно. Наверняка какой-нибудь урод.

— Почему урод? Огромный ньюфаундленд, черный красавец! Хозяева его в Америку уезжают!

И нам, значит, его дарят? Еще один рот — я бы даже сказал, огромная пасть!

— А чем она, интересно, собирается его кормить? По-моему, она и себя-то прокормить не может! Что с книжкой?

— Книжка выходит... но денег не платят. Говорят, лопнуло издательство.

Ну, ясно. В такой ситуации ей только собаки и не хватает.

После относительного дочуркиного счастья — вышло несколько книг, переведенных ею с английского, — вдруг все издательства стали лопаться, исчезая вместе с деньгами. С каким упоением мы сами когда-то разбивали государственную машину, государственные издательства — мол, все теперь будет «нашенское»!.. Фиг! Теперь наши дети хлебуют хаос.

Мне только осталось сейчас дожидаться отца — с такими же примерно обнадеживающими известиями. Он ездил в город на кладбище, на могилу своей жены, — но зайти к себе на квартиру, сданную нами юному «сыну гор», который полгода уже не платит, батя, конечно, не успел!

Все на мне! Загрызть собаку, выселить «горца»... Скоро душа моя кровью будет печататься на простыне!

УРОДЛИВЫЙ СКАТ

Могу я на секунду расслабиться? Жена вошла на террасу, а я, наоборот, — пошел в гору, на соседний участок, к солидному каменному дому, где обитал мой друг Кузя. Вернее, это я тут иногда обитал, а Кузя тут жил, причем с детства; шикарный отцовский дом! Это я притулился по соседству, а Кузя тут *жил!*

Обмотав горло шарфом — легкая простуда! — Кузя посасывал трубку и меланхолично пил коньяк на открытой террасе.

— Ну ты... куль бородатый! — так непочтительно обращался к Кузе мой дачный хозяин Боб по прозвищу Битте-Дритте... Впрочем, я считаю, он к Кузе несправедлив. Какой же он куль? Он, можно сказать, «совесть поколения», а после того, как батя его отойдет от дел, Кузя, возможно, станет «совестью» и всего нашего поселка.

На калитке, которую я сдвинул, входя в усадьбу, было нацарапано, по одной букве на каждой досточке: «Это змей». Но это скорее относилось к бате — Кузя, при всей его авторитетности, до змея не дотягивал.

Вот папа его, безусловно, был поселковый лидер, буревестник всего передового. И когда творческая интеллигенция поселка — он наполовину из творческой интеллигенции и состоит — решила в едином порыве переименовать главную улицу поселка из Кавалерийской (сроду тут не было кавалеристов!) в улицу Анны Ахматовой, именно Кузин батя, Зиновий, и был командирован в верха: кроме того, что он был «совестью поселка», он

еще имел ходы наверх. Все с трепетом ждали его возвращения — вернется ли? И хотя в те годы уже не сажали, волновались все сильно. Переименования он, увы, не добился — но славу смельчака и героя укрепил. Кто еще обладал такой смелостью, чтобы выйти с предложением наверх? Разве что голь-шантрапа какая-нибудь (вроде нас), которой и терять-то нечего, — а Зиновию было что терять, но он не побоялся!

Вся жизнь его состояла из таких подвигов. Сразу после войны статный и кудрявый морской офицер, в кителе уже без погон, появился в этом знаменитом поселке. Он был направлен сюда директором Дома творчества — восстанавливать разрушенное войной хозяйство. И навел в полуразворованном доме флотский порядок: окна засветились, повара и горничные забегали. Однако он быстро понял, что карьера «обслуги» — это совсем не для него и, пока «классы общества» слегка спутаны и не стали еще такими замкнутыми и недоступными, какими они должны были стать, надо действовать.

И вскоре он сделался «душою поселка» — такого балагура, и бонвивана, и джентльмена давно ждало местное светское общество, слегка потускневшее за время войны. Левая простреленная, негнущаяся рука как бы добавляла ему статности — и уверенности в себе.

Вскоре все зашептались о его головокружительном романе с местной законодательницей мод и аристократкой Кузнецовой, вдовой известного критика серебряного века Аполлинария Кузнецова. Кузнецов сгинул перед самой войной в громком и многолюдном политическом процессе — и заявляться к Кузнецовой открыто (в этот самый каменный особняк, в который я сейчас поднимался по круглым ступенькам) местный бомонд пока не решался. И вот появился Зиновий, лихой морской офицер, и сказал: «Можно!» Как все были благодарны ему! Как любили его — ведь это именно он, красавец и герой, «разморозил» поселок! Прощумела свадьба. Сколько всего радостного было в ней — и смелости (можно уже не бояться безрассудных чувств!), и как бы продления полузапрещенных дворянских традиций, подхваченных Зиновием. Праздник, праздник! Такого здесь не было уже давно. И несмотря на «закатные» годы аристократки, вскоре родился Кузя — что значат флотские лихость и упорство!

Однако Зиновия вовсе не устраивала роль «прилипалы» при богатой вдове. Только побеждать, только лидировать — таков был его девиз! Он уверенно занял кабинет Кузнецова, похожий на музей, увешанный картинами мирискусников. И когда я впервые — еще будучи школьником — увидел его тут, было абсолютно очевидно, что это его кабинет, что картины, кресла, книги, старинные безделушки принадлежали ему вполне заслуженно — и всегда. Главное, и сам Зиновий ощущал это. Он ведь не просто занял кабинет — он занял место, и его блистательные статьи — всегда самые смелые для конкретного времени — скоро снискали ему заслуженную славу.

Помню, как мы с Кузей, еще друзья-школьники, сидим в этом кабинете — я робею от этой роскоши, увиденной мной впервые, — и Зиновий сочно и, я бы сказал, как-то даже вкусно рассказывает о похоронах знаменитой поэтессы, в которых он, естественно, принимал самое непосредственное участие.

— Ручки-т у нее уже завокли, стал их на груди ей складывать — захрустели аж!

Зиновий, причмокивая, курит трубочку (это почти единственное, что унаследовал Кузя от него) и рассказывает это, естественно, не нам, а своим взрослым именитым гостям, слегка теряющимся в трубочном дыму. Но я их помню — потому что был ими потрясен и жадно к ним потянулся. Прошли эпохи, восторжествовала свобода и интеллект — но таких холеных, ухоженных, значительных лиц, какие я увидел тогда, в дыму того кабинета, я не встречал потом нигде. Помню, как я тогда возбудился (первая

настоящая страсть тихони отличника, я, помню, сам был собой удивлен). Я возжелал вдруг страстно: «Сюда! Сюда я хочу, в эту вот жизнь!» Почему, собственно? Вырос я в более чем аскетической семье родителей-агрономов — и вдруг такие замашки! И многое удалось. И вот я поднимаюсь сейчас — в тысячный уже, наверное, раз — по этим полукруглым ступеням, хотя тут, конечно, все уже не то.

Взять того же Кузю — он вырос в зависти к своему блистательному отцу.

«Ослабел сталинский сокол!» — бормотал Кузя при малейшей батиной промашке, хотя батя-то был покрепче его.

Да, Кузя пошел не в отца. А в кого? «Рыцарь, лишенный наследственности», — говорили о нем местные остряки. А другие, еще более мерзкие, за глаза называли его «сын садовника». Батиной лихости и даже его статности Кузя не унаследовал. И возмещал это брюзжанием, как бы неприятием моральных устоев «приспособленца и проходимца». Да, надо сразу сказать: Зиновий виртуозно совмещал славу вольнодумца и смельчака с блистательной советской карьерой: ему, весельчаку и герою, сходило с рук все, хотя это «все» он, конечно, очень точно просчитывал. До меня доносились лишь отзвуки тех легенд. Говорили, что, когда Зиновия — по возрасту или еще по чему-то — хотели снять с должности заведующего университетской кафедрой, Зиновий смело позвонил самому Агапову (а все даже секретарше его боялись звонить!) и с усмешкой сказал тому: «Василь Никифорыч! У меня к вам предложение: давайте пригласим дам, штук восемь, возьмем ящик коньяку — и посмотрим, кто из нас молодой!» В трубке, говорят, была долгая пауза — потом Агапов вдруг добродушно захохотал: «Не сомневаюсь в вашей победе, Зиновий Яковлевич!» И на кафедре наш герой был оставлен. Так ли это было на самом деле? Думаю, что так.

Естественно, Кузя завидовал батиной удачливости и всю жизнь брюзжал и передразнивал его. «Ручки-т у нее уже закло-о-кли!» — издевательски проокал Кузя, когда мы вышли тогда из кабинета. Это осязаемое оканье было одним из проявлений умелого вращивания героя-моряка в современную действительность. Кроме окладистой бороды и оканья Зиновий напридумал — впрочем, порой бессознательно — много другого, что могло бы его сделать своим среди партийного начальства, которого он, как бы помягче сказать, отнюдь не чурался. Особенно Кузя был «благодарен» бате за свое имя: среди изысканной поселковой подростковой знати, щеголяющей тогда в основном заграничными именами, явиться вдруг Кузьмой Кузнецовым! С детства Кузя был уязвлен насмешками, да так и не оправился. «Спасибо, батя! Отчитался перед партийным руководством в своем патриотизме, — брюзжал Кузя, — а как будет жить его сын с таким именем, как-то не подумал». Некоторые до сих пор кличут Кузю Кузнецова Ку-ку: «А где наш Ку-ку?» Чего же хорошего?

Много за что Кузя мог обижаться на батю: по совместному детству помню — батя блистает в гостинной в светском обществе и к сыну-увальню не заходит. Тяжело! И при первом же случае Кузя «отомстил» — и не столько бате, сколько себе. На третьем курсе медицинского, назло бате-сатрапу и любимцу публики, Кузя почти демонстративно занялся антисоветчиной, получал-распространял какие-то брошюры. И загремел. Правда, угодил не в лагерь, а благодаря высоким батиным связям всего лишь на высылку, где оказался в соседнем селении с самим Бродским и даже встречался с ним на совхозном току. Но будущий олимпиец, уже тогда оттачивающий свое высокомерие, с Кузей не здоровался, чем Кузя был весьма уязвлен. Хотя гений мог бы понять, что интеллигентный очкастый мальчик не случайно оказался на совхозном току — но тот понимать этого не захотел. Да, много язв было на Кузиной гордой душе! В частности, он не мог простить бате, что тот не заступился за него публично, хотя времена уже многое позволяли. Но батя, как всегда, был, наверное, прав: если бы вступился пуб-

лично, то уже не мог бы вступаться тайно — что было гораздо результативней. Благодаря именно тайной батиной работе Кузя пробыл в изгнании всего полгода вместо назначенных трех. Ссылка, однако, бесследно для Кузи не прошла — с той поры Кузя был горд и высокомерен. Когда он — при батиной, надо отметить, помощи — вернулся из ссылки, Зиновий был радостно-суетлив. Кузя — холоден и высокомерен. Нас, его корешей, явившихся с чувством некоторой неясной вины, Кузя тоже не жаловал. Помню, счастливый отец поставил перед сыном целый дощатый ящик сочных, чуть треснувших, сочащихся гранатов. Кузя лениво их обсасывал и косточки выплевывал прямо на пол. Батя, вообще-то помешанный на порядке, не возражал и смотрел на сына радостно-восторженно. Он простил своего блудного сына, но блудный сын батю — нет. И времена шли уже такие, что сын становился главней.

Впрочем, Кузя и за другое мог сердиться на батю. Вскоре после рождения Кузи скончалась его мать-аристократка. Помню ее пышные похороны... Ушла эпоха! Безутешный Зиновий, оставшийся с грудным сыном, катал колясочку по поселку — и в поисках утешения начал заруливать к знаменитой поселковой блуднице, красавице продавщице Надюшке. И практически у детской Кузиной колыбельки все и совершилось! Надюшка, черноглазая поселковая Мессалина, тогда чаровала всех своей лютой красотой — привлекательна она, надо сказать, и сейчас: когда видишь ее, мысли как-то сбиваются и идут в неожиданном направлении. Кроме того, она и тогда, и после, и сейчас любовно-дружески-сварливо обсчитывает всех в поселковом магазинчике. Самая знаменитая ее фраза, которой она клеймит недобросовестных своих коллег: «Ты обвесь, ты обсчитай, но зачем же забавлять, портить товар!» Но лихого вдовца это не остановило. Короче, у Кузи, невинного младенца, появился братик. Существо, надо сказать, совсем другого закваса и помола — Надину бойкость он соединил с батинкой лихостью. Интересно было взглянуть сначала на Кузю, а потом — на его брата, Сеню Левина: подъезжал темно-зеленый «форд» и оттуда вылезал маленький, пузатый, лысый человек с длинным блестящим носом и веселыми, жуликоватыми глазками у самой переносицы. Левин, в отличие от его законного брата, никогда не унывал. И к батю относился не сварливо, как старший его брат, а снисходительно-насмешливо. Батя хоть и дал ему жизнь, но в семью не взял и воспитанием не занимался — что, может, и к лучшему: Левин вырос шустрым и самостоятельным и к благодородному семейству относился добродушно, но свысока. К стати, и от приобретенной по женской линии фамилии Кузнецов он в зрелом возрасте насмешливо отказался и записал в паспорт прежнюю фамилию батю — Левин.

— Эй, Кузнецовы! Как делишки? — ёрничая, кричал он с улицы через ограду, слегка поддевая батяню и Кузю заодно: «Какие мы Кузнецовы? Левины мы! Не надо корчить из себя дворянство — мы, какие есть, вовсе не хуже!»

Зиновий, надо сказать, тоже не испытывал никаких мук насчет того, что младший пошел неинтеллигентным путем, — может, втайне даже радовался: одного сына-интеллигента вполне достаточно — путь будет еще и такой!

— О, Левин приехал! — беззаботно говорил Зиновий, увидев «форд» за Надюшкиной оградой. — Вот он-то меня до города и подбросит!

Естественно, снобировал незаконного Левина только Кузя.

У Левина, в отличие от братика, были свои университеты: он еще в юные годы возглавил всю фарцовку на Приморском шоссе, останавливая финские автобусы, и тоже загремел — уже не по политической линии. Так что у Зиновия был момент, когда оба его сына томились в застенке. Видимо, от отчаяния он родил в это время еще младенца — теперь дочку — от гордой, молчаливой и застенчивой медсестры Гали, которая от местной поликлиники, как говорится, «пользовала» его. Другого такая моральная

неустойчивость погубила бы — разбирательство же морального облика профессора Кузнецова на университетском парткоме кончилось, говорят, хохотом и бодрой мужской пьянкой, в которой, говорят, участвовал и юный инструктор райкома Агапов, впоследствии взлетевший так высоко: отсюда их дружба?

Как говорится: «Доброму вору все впору». События, которые другого могли бы похоронить, у Зиновия «работали» и только украшали его легенду.

Рассказывают, как однажды Зиновий с коляской дочки-малютки прогуливался по улице — и навстречу бежал академик Прилуцкий, в своих постоянных заграничных поездках слегка сбившийся с курса последних поселковых событий.

— Здорово, Зяма! Уже внук? — гаркнул Прилуцкий.

— Еще дочь! — с усмешкой ответил Зиновий, и это его «бонмо» мгновенно облетело все общество и укрепило миф его до такой степени, что временами он оказывался даже сильнее правящей идеологии. Тем более идеология оказалась куда менее стойкой, чем миф, и менялась каждые пять лет. И как ни странно, любой идеологии миф его нравился — и это еще раз показывает, что человек сильнее времени.

Кстати об идеологии. Времена изменились — и к знаменитому профессору Кузнецову стали съезжаться зарубежные ученики и поклонники — и один из них, юный француз, влюбился в Галю, которая как раз с дочкой, начавшей ходить, заглянула к патриарху. Короче, удача во всем просто преследовала Зиновия — теперь Галя с маленькой Оленькой жила на вилле у Гюстава возле Бордо, и патриарх, скучая, все время собирался их проведать.

— Уже свил себе гнездышко на старость! — злобно бормотал мой друг Кузя. — Помяни мое слово: скоро туда переползет!

Однако надеждам Кузи пока не суждено было сбыться, и батя отнюдь не сворачивал свою бурную деятельность на родине, а, наоборот, развивал.

Да, Кузю я понимал — при таком папе завянешь. Тем более теперь они двигались в одной «лыжне»: в знак протеста после ссылки Кузя оставил медицину и предался философии и культурологии — гены взяли свое. Но успеха не обеспечили — Кузе только оставалось завидовать батиной производительности, в том числе и творческой: десятки книг, от марксизма через философию к филологии, — и во все времена, абсолютно, Зиновий был смелым, бесстрашным, самым передовым, но, видимо, в меру, раз его книги успешно издавались.

И еще — о производительности. Чисто формально Кузя был женат — его сухопарая, слегка мужеподобная жена Дженифер прожила с ним полгода и укатила в Бостон — как утверждал Кузя, из-за несходства взглядов на структурализм.

Впрочем, Кузя как раз был из тех, кто охотно оставляет семью, дабы радеть за человечество в целом, но когда они жили еще вместе, Битте-Дритте, хозяин дома, где я сейчас снимаю помещение, ходил тогда пьяный вдоль ограды с баяном и пел: «Эх, не стоящая у них любовь!»

Ему-то знать откуда?!

Говорят, что, когда оба сына Зиновия были в каторге, язвительный Битте-Дритте тоже пел под баян, повторяя одну строчку из «Орленка»: «Как сы-на вели на рас-стрел!»

Но Зиновия это не волновало — он-то знал точно из «высоких источников», что сын его — оба сына! — скоро вернутся.

Теперь Сеня Левин был фактически владельцем всех достойных объектов недвижимости в поселке, включая баню. Однако, уважая батю, как бы чтил старую профессорскую иерархию и, останавливая свой «форд», почтительно-насмешливо раскланивался с теперь уже одряхлевшими «небожителями» — нынче уже не играющими никакой роли.

Кстати, родственные связи в поселке оказались завязанными еще более круто, чем я предполагал. Поселковый алкаш-умелец Битте-Дритте оказался родственником моего высокоинтеллектуального друга Кузи! Когда мать Битте-Дритте Померла, отец его, грозный милицейский начальник, забрюхатил красавицу Надюшку, опередив с этим делом даже Зиновия. И что интересно, внебрачный сын Савва гораздо больше походил на отца, чем непутевый Битте-Дритте, и даже унаследовал от отца грозную милицейскую профессию, хотя вырос сиротой и отца почти не видел — тот вскоре погиб.

Непутевый Битте-Дритте, он же Боб, приобрел свое прозвище, которым, впрочем, гордился, во время срочной службы в Германии, где он занимался успешной починкой машин местным немцам — и неплохо, похоже, зарабатывал, во всяком случае, привез оттуда почти что музейный «хорьх», на таких машинах ездило лишь высшее командование рейха.

Вот такое удивительное древо — а впрочем, почему удивительное? — тут выросло. И когда пошли по телевизору «мыльные оперы» с запутанными отношениями и внебрачными детьми, Битте говорил не без гордости: «У нас-то покруче все!»

Чтобы окончательно все запутать — как он любил это делать, — Битте проникся по возвращении из армии страстью к Надюше, которая фактически была его мачехой, мамой сводного брата Саввы (общий отец!), но это не удерживало страстного любовника, а, наоборот, может, даже где-то подстегнуло его. Да, страсти тут были вполне латиноамериканские.

Так что мои надежды написать что-нибудь из жизни обыкновенных наших людей потерпели фиаско... Где ж тут обыкновенные?

Кузя сидел на террасе, раскачиваясь в качалке, и на меня не смотрел. Пристальный его взгляд был устремлен вдаль, на следующий участок, где некоторое время назад поселился «новый русский». Он безжалостно снес все старье и теперь возводил бетонные хоромы. Перед домом какие-то заграничные мастера — финны, что ли? — сделали красивый помост, на котором новый могучий хозяин баловался штангой и гирями, «делая» то одну мышцу, то другую, хотя и так все его рельефные мышцы казались бронзовыми. «Третье Тело России» — так он сам отрекомендовал себя, когда навязчивый Битте-Дритте проник к нему. Имелось в виду, как мы поняли, третье место в России по бодибилдингу, «телесному строительству», столь модному сейчас. Теперь Кузя, олицетворяющий, как известно, Дух и Совесть, часто с болью смотрел в ту сторону. Господи, всюду торжествует теперь лишь Тело, без Духа и Совести!

Впрочем, и прежний хозяин этой усадьбы, советский классик Голохвастов, автор многотомной эпопеи «Излучины», авторитетом у Кузи не пользовался. Более того — он Голохвастова презирал, хотя сам написать столько томов никогда бы не смог, даже просто физически. А фактически Кузя не написал ни строчки, что не умаляло его высокомерия, а, наоборот, укрепляло... Он чист и высок!

За бывшими угодьями Голохвастова, теперь проданными и разрушенными, поднималась другая знаменитая усадьба. Там жил прежде Василий Пуп, советский поэт-классик, переведенный на сотню языков (правда, народов СССР). Пуп тоже не пользовался уважением Кузи, хотя с отцом его крепко корешился, пока не съехал отсюда. С батей Зиновием часто, бывало, упивались они военными воспоминаниями, хотя Зиновий воевал на флоте, а Пуп был кавалерист. Не оттого ли главная улица поселка называлась Кавалерийской и не потому ли ее никак не хотели переименовывать в улицу Ахматовой? — этот язвительный вопрос Кузя не раз задавал мне, и я не знал, что ответить. Я даже чувствовал себя порой виноватым перед Кузей за это, хотя как раз Кузя, а не я работал одно время при Пупе референтом по дружбе народов и сопровождал Пупа на пышные, как было принято тогда, курултаи и сабантуи. Теперь дачу одряхлевшего Пупа купил наш кореш, поэт-песенник Ваня Ходов. И сейчас он махал нам оттуда.

— Привет! — подошел я к Кузе. — А Зиновий где?

— Укатил в Бордо... как я и предсказывал! — горько усмехнулся Кузя.

Да, у Кузи, конечно, были основания и для гордости, и для горечи. Было известно, что он уже много лет пишет роман «Защита ужина», который должен был все затмить. Но в той компании, где он вращался, вряд ли мог ждать его триумф: самый привередливый народ — это слависты-экстремисты.

— Ты слышал вчера... какой-то странный... хлопок по воде? — сказал я тихо. Но Кузя разобрал: слух у него был тонкий, я бы даже сказал — утонченный!

— Млат водяной? — усмехнулся Кузя. — Это ты, что ли, с обрыва упал?

Издевается? Когда мы в молодости подружились втроем — я, Кузя и Ваня, — мы сами себе дали прозвища, поделив строчку из известной поэмы Жуковского: «...и млат водяной, и уродливый скат, и ужас морей — однозуб». Млатом водяным из-за большой головы на худеньком тогда тельце был я, уродливым скатом (потому что в разговоре плавно шевелил крыльями носа) был Кузя, а ужасом морей — однозубом был Ваня, и прозвище это он вполне подтвердил.

— Нет, не я. Что-то вроде бы с неба в воду упало, — сказал я.

Кузя удивленно-насмешливо поднял бровь — мол, это насекомое (то есть я) собирается поговорить о чем-то возвышенном?

— И какие-то странные последствия, — указал я на простыню, как раз надувшую «грудь» под порывом ветра. Фиолетовый отпечаток летящего существа — раскиданные руки-ноги, спина, голова — проступил вполне явно — и тут же опал, потеряв ветер.

— Какой-то... чернильный ангел... из ручья, — проговорил я неуверенно.

— Крестился, значит, в ручье? Поймал божественную субстанцию? — произнес Кузя еще насмешливо, но взгляд его уже затуманился какой-то мыслью, что-то он тут понял, чего не понял я. При всей якобы его непрактичности Кузя довольно цепок.

Он даже поднялся с кресла и, метя пол кистями роскошного халата, пошел в комнату, вынес фотоаппарат и шелкнул изображение на простыне, когда она снова надула «чернильного ангела».

Фотоаппарат зашипел, и из задней щели пополз мокрый снимок. Когда он вылез полностью, Кузя осторожно, за уголок, положил его на круглый стол — и на фото все яснее стал проступать «чернильный ангел».

— Да, значит, посетил он нас, — задумчиво глядя на «ангела», тихо произнес Кузя. И опять я ничего не понял: как-то странно он говорит! Почему «он», если это все-таки, наверно, я отпечатался, и почему — «нас»? Кузя вроде тут ни при чем. Но умеет, молодец, приспособиться, взять все бремя славы на себя!

— Надо ехать в город, — совсем уже задумчиво проговорил он. Про меня, как про какую-то случайную мелочь, было забыто. Как бы ненадолго и случайно я оказался «переносчиком» чего-то высшего, а чего именно — этого мне было не понять, не стоит даже объяснять, расходовать время. «Мавр» может уходить?

Мне, значит, в город не надо?

А ему зачем?

УЖАС МОРЕЙ — ОДНОЗУБ

И тут Кузя «заметил» наконец Ваню, который махал нам из-за монумента Третьего Тела уже давно. Кузя вдруг помахал Ване в ответ. Потом поднял полы своего халата, словно рясу, и направился к калитке. Я поплелся за ним. Все-таки какое-то отношение я имею к происходящему

или к тому, что должно скоро произойти? Хотелось бы это выяснить. Под внешней дряблостью у меня еще сохранилось все-таки некоторое упорство!

Увидя, что мы направились к нему, «ужас морей» оживился, вбежал в дом и вынес на кривой столик в беседке поднос с бутылкой и стопочками.

— Ну... за аскетизм! — всегда был наш первый гост, но, может, сейчас все пойдет несколько по-другому?

Ваня Ходов, наш друг, жил размашисто. В школе он был главный хулиган, однако заступался за нас с Кузей, гогочек-отличников, тянулся к культуре... и дотянулся. Мы с ним учились потом в Электротехническом институте. Во время практики на третьем курсе, на заводе «Светлана», все выносили транзисторы, похожие на маленьких колочих паучков, в карманах и в носках, но попался лишь удалой Ваня — может, делал это с излишней удалью? Исключенный, Ваня загремел в армию. Отнесся он и к этому спокойно и лихо: ай, велика беда?.. Душа нашего курса отлетала от нас — оставался лишь унылый зубреж! В армии Ваня — непонятно за какие качества, но они, видимо, у него были — попал в элитную школу МВД. А еще говорят, что у нас была жестокая кадровая политика! Ваню — после транзисторов — в школу МВД? А может быть, действительно хорошие люди всюду нужны?

Мы выпили по первой. В «мезозойских зарослях» в трехлитровой банке лежал пупырчатый, как крокодил, единственный огурец — но из деликатности никто его, единственного, не брал. По-моему, Ваня выставлял эту банку уже не впервой.

Из той школы Ваня вышел лейтенантом — и сразу же командиром какого-то загадочного «объекта» (это, естественно, не расшифровывалось). Ваню погубил его талант. Он писал стихи (как, впрочем, и я) — на этом и подружился. Но Ваня с его стихами гремел гораздо громче — к сожалению, не всегда в хорошем смысле. Уже являясь военачальником, на пороге карьеры, он создал очередной свой короткий шедевр: «На посту я по-ссу!» Неужто не мог удержаться? Как говорится, талант сильнее всего, его не удержишь. И как всегда бывало с Ваней, загремел по максимуму, как Муму! Его разжаловали в солдаты и отправили в Сибирь. Ну что же — за славу надо платить! Что ни говори, вся наша армия знала этот стих!

И в Сибири Ваня всех очаровал. Приехав на побывку, Ваня рассказывал, как они вместе с командиром гоняли за водкой по тундре на вездеходе за сто километров! А денег набралось только на маленькую. Очень может быть.

Потом, отслужив какой-то срок, Ваня уволился и стал уже только стихотворцем. И здесь его ждал успех. Его песню «Стоят березы нетверезы» пела буквально вся страна — она гремела на концертах, абсолютно во всех кабаках, и даже — опять же — в воинских частях она исполнялась в качестве походного марша! Да, рожденный для славы от славы не убежит!

Хлынули деньги. Тогда-то Ваня и купил эту огромную ветхую дачу, которой прежде владел советский классик Василий Пуп, чей стихотворный эпос «Непогодь» охватывал всю территорию Советского Союза и был, ясно дело, переведен на все его же, Советского Союза, языки. Потом, когда с дружбой народов стало хуже, Пуп вынужден был продать эту дачу Ване — пришла иная пора, теперь уже песню Вани знали и любили от Львова до Камчатки — и что характерно, безо всякого перевода.

— Все! Больше ни грамма! — твердо сказал Ваня. — Кто в город со мной? — Он кивнул на своего зеленого «козла» — «ГАЗ-69А». Став знаменитым поэтом, Ваня, что характерно, с армией не порывал — и этот «ГАЗ» он купил по дешевке на какой-то тайной распродаже военного имущества... Так зачем «порывать»? Армия должна служить людям.

Помню, как мы с Ваней под маркой «молодых литераторов» — когда Ваня уже уволился из армии — пронесли от Урала до Чукотки. И все

время на какой-то новой, сверхскоростной и сверхсекретной технике — в армии для него, как, впрочем, и всюду, не было преград.

Помню, как я однажды ночью проснулся где-то за Полярным кругом, вдруг ощутив с ужасом, что обнимаю труп. Оказалось — огромного белого тайменя, подаренного нам командиром части.

Ване, чтобы он не чувствовал стеснения (которого он и так не чувствовал), выдали в той поездке какой-то особенный тулуп. На кармане, если его вывернуть, стояла особая черная печать, говорившая о принадлежности к некоему спецподразделению. Шатаясь ночью пьяные в сверхсекретном поселке, мы карманом этим ошарашивали всех патрульных — они сразу почтительно вытягивались, отдавая честь. Слава кружила Ване голову всегда, причем любая. И Ваня вдруг решил не расставаться с тулупом, видимо, чтобы чувствовать всемогущество постоянно. По договоренности с корешем-пилотом он вылетел из части, не вернув тулупа. Какой шум, какая радиопаника поднялась во всей Сибири и Северу! Тулуп этот, обладавший чрезвычайными полномочиями, представлял, оказывается, огромную опасность, особенно на удалых плечах Вани. Поднялись армия, авиация и флот — но мы ускользнули. Нас мотало над тундрой, бутылки дребезжали, краснорлицый друг Вани время от времени поворачивался от штурвала и говорил довольно спокойно: «Ваня, в Ключевом нас ждут — с ходу собьют!» — «Давай в Олень!» — хохотал Ваня.

Ничего себе веселье! Потом, отыгравшись за все страхи, я этот тулуп-вездеход описал минимум в трех литературных произведениях.

Прорвались! После, когда опытный Ваня изобразил наш тогдашний маршрут на карте, было впечатление, что просто капризный мальчик зачиркал карту Севера цветным карандашом.

Может, из-за этого тулупа-вездехода Ваня и пользовался в нашей округе таким влиянием? Мчаться с ним в город, отлетая на лихих поворотах то к одному борту, то к другому, было приятно. Гаишники отдавали честь. Впрочем, самого тулупа давно не видел никто.

БАТЯ

И тут я увидел, что с песчаной горы, с верхнего конца переулка, спускается, озабоченно морщась, мой отец. Впрочем, то, что он морщится, вовсе не означает, что он озабочен чем-то реальным, — вероятней всего, его досада расположена где-то очень высоко! Если принудить его вдруг озаботиться чем-то конкретным — квартира, счета, хлопоты, — вот тут он сморщится по-настоящему: «Да ни ч-черта я в этом не понимаю! Ведь ты вроде взялся? Так доводи до конца!» Ну да. Я взялся. А что мне оставалось делать? Не ему же поручать? Роль рассеянного, не от мира сего профессора поистине замечательна. Вон какое сияние от могучего лысого черепа над густыми бровями! Я бы тоже хотел парить, видя только глобальные вещи! Чем глобальные приятны — что абсолютно не зависят от тебя: озабоченность носит чисто теоретический характер. Но мне, увы, не достичь глобалки: в дерьме увяз!

— Ну, что новенького? — Я вышел к нему.

— А?! — Он заполошно откинул голову, выкатил глаза. С больших, видимо, высот я сбросил его на землю. — А... это ты, — почему-то недовольно проговорил он.

Да, я. Что здесь такого странного?

— Ну... был на кладбище? — спросил я.

— На кладбище? — Он изумленно задумался. — А... да!

Я посмотрел на него. Дальнейшие расспросы были бессмысленны — никакими другими, более мелкими делами он, естественно, не занимался!..

Не захотел? Забыл? Чаще всего для него это было одно и то же. Забыл, потому что не захотел. Молодец!

Оча, сын гор, уже полгода не плативший за аренду батиной квартиры, завис, естественно, на мне... Убить дочуркину собаку (у попа была собака), выселить гордого сына гор — все эти мелочи, естественно, на мне... Ну а на ком же? Батя, естественно, «забыл»! Я, собственно, так и думал — просто подошел удостовериться. Ну, все! Кивнув бате — мол, все ясно, — я вернулся за калитку к моим друзьям.

НЕНАДЕЖНЫЙ ОПЛОТ

Им-то и предстоит делить со мной бремя ответственности, хотя они вряд ли сейчас догадываются об этом. И лучше, чтобы они как можно больше об этом не догадывались.

— Ну... за аскетизм! — бодро проговорил я, разливая по стопкам.

Кто тут у нас специалист по дружбе народов? Судя по некоторым насмешливым их переглядываниям мимо меня, они имеют какой-то свой тайный план. И было глупо, если бы я не имел своего тайного плана в отношении их. И я его имел.

Кузя, освобожденный из узилища во многом благодаря усилиям прогрессивной общественности Запада, собирался и дальше, в знак благодарности, с Западом дружить. Но почему-то Запад, освободив Кузю, стал вдруг к нему охладевать — правда, не резко, но постепенно... Может, охлаждение произошло из-за «каменщика и садовника»? А может, и нет. Может, эта история с каменщиком и садовником потрясла только мой мозг? Но зато потрясла и умственно, и, как ни странно, физически.

Не могу удержаться и не рассказать об этом — душа болит!.. И голова.

Кузя после освобождения, готовясь активно дружить с Западом, жадно впитал их самые модные филологические учения — эгофутуризм, панкретинизм... точно не вспомню. И стал бурно их пропагандировать, очевидно ожидая поддержки и благодарности. Может, потому он бросил медицинское поприще (его схватили на третьем курсе), что пропагандировать новые литературные течения (в отличие от медицинских) гораздо легче и, что немаловажно, не так опасно. Что бы там ни говорилось, никто — в физическом смысле — от этого не умрет. Литераторы поселка (а их тут гораздо больше, чем слесарей, сельхозрабочих и печников) сначала было ходили к Кузе «на новенькое», но, слушая его заумные речи, в которых он сам вряд ли отдавал себе отчет, скоро завяли и разошлись от греха, отмахиваясь: да ну его подальше! Писали раньше без этих мудреных теорий, и неплохо вроде бы выходило — сотнями тысяч книжки расходились! А от этих теорий, похоже, только вред!

И не ошиблись. Я, во всяком случае, ощутил этот вред на своей собственной голове. Литераторы разбрелись по хатам и продолжали писать, как ране... и некоторые, надо добавить, очень неплохо. Кузя остался разглагольствовать в пустой комнате. Только я еще сидел порой перед ним, клюя носом... но раз друг переживает — посидю! Еще в третьем классе Марья Сергеевна говорила: «Все-таки нет добросовестнее этого Попова!» Это после того, как второгодник Остапов, с которым я занимался, побил меня после школы, а вечером я, повздыхав, все-таки явился к нему с учебниками. И вот — перед Кузей сидю. И мне же и досталось! И это естественно! Кому же еще? Остальные-то все разбежались! Как правильно говорят: ни одно доброе дело не остается безнаказанным!

А как конкретно досталось? Сейчас расскажу. Примерно месяц я слушал Кузю один, потом неожиданно, когда силы уже стали слабеть, произошло подкрепление. Кузя в сельской нашей лавочке «У Надюши», покупая горячительное (наши слушания, честно признаюсь, заканчивались пьянка-

ми), вдруг познакомился и разговорился с двумя стриженными солдатиками из соседней воинской части, которые оказались, как говорил взволнованный Кузя, «и с головой, и с душой!» Солдатики стали ходить на наши слушания — тем более батя Зиновий отдыхал-таки у своей юной дочери под Бордо, и ради дорогих гостей Кузя изрядно опустошал отцовские погреба. Солдатики своими стриженными головами быстро смекнули, что именно тут их место. Кузя был взволнован до слез, когда солдатики стеснительно попросили у Кузи карандаши и тетрадки и стали за ним записывать, восхищенно покачивая головами: «Да... заковыристо! А помедленней нельзя?» — «Ладно уж... повторю, ребята!» — со слезами на глазах говорил Кузя. «Ты-то хоть понял?» — обращался он ко мне уже сварливо. Я-то не понял. Зато я понял, что солдатики поняли! Меня они сразу невзлюбили — я тоже в те годы пожрать и выпить был мастак, однако ходил туда, честно говоря, не за этим. Честно говоря, меня пьянство, наоборот, огорчало! И я терпел его как вынужденное зло — не бросать же Кузю-друга в столь ответственный момент его карьеры! Но солдатики четко наметили меня в жертву. Время от времени они кидали взгляд на меня, потом — недоуменный — на Кузю: «А этот-то что здесь делает? Он же ни черта не понимает! Да и не уважает тебя, шеф, это же сразу видно!» (это из-за нескольких моих робких вопросов). Дело их шло на лад. Кузя, озирая с высоты «племя младое, незнакомое», так жадно впитывающее знания (и запасы из погреба), был счастлив. Так счастлив он не был даже на свадьбе с Дженифер, жизнь с которой, как известно, не заладилась. Зато с солдатами заладилась. Ну, от солдатской голодухи да при лихой солдатской смекалке и не такое сообразишь. Тем более что режим в их части был какой-то почти свободный — приходя к Кузе, я встречал их там каждый раз... Если бы только я тут не путался под ногами! И меня «распутали».

Однажды после очередных «слушаний», перешедших в пьянку, я не удержался и высказал все, что думал, о Кузиных теориях и о его учениках... Кузя сидел белый: такого «удара в спину» даже от меня он не ждал. Пока я топтался в холодной прихожей, натягивая тулуп и боты, услышал две фразы вольнослушателей. Одного: «Да что он понимает!» — и второго: «Сделаем, шеф!» Не думаю, что Кузя, как это теперь модно, «заказал меня». Не думаю. Скорей это был талантливый экспромт. Оценил я его не сразу и, разгоряченный, направился к станции (тогда комнат у Битте я еще не снимал). Шел быстро, надеясь, что никогда больше этих «вольнослушателей» не увижу, — но увидел, увы. Я вроде бы шел к станции кратчайшей дорогой — но были еще и кратчайшие партизанские тропы. «Эй!» — услышал я из белых снежных кустов. Первый выскочил и сбил меня с ног, правда, и сам он, по гололеду, поскользнулся и упал. Часть, где они служили, была технической, радиолокационной, поэтому специальными ударами их, видимо, не учили, что меня и спасло, но голову мне своими бляхами расковыряли они основательно. «Вот так вот... соображай впредь!» — проговорил один из них в заключение, и, оставив меня в пышной белой канаве, они удалились.

Через неделю, правда, я снова приехал к Кузе: все же жаль было мне его горячности, его азарта! Не пропадать же им втуне — и я приехал. Солдатики были на месте, но со мной не поздоровались. Видимо, на что-то обижались. Кузя в тот день был с ними строг — наверно, строго пожурил их перед этим за некорректность их методов. Со мной, однако, он тоже был строг. В этот день происходило что-то вроде зачета: что же слушатели усвоили из Кузиных лекций в плане эгофутуризма и панкретинизма? И надо же, усвоили кое-что — сбивчиво, путаясь в терминах или выговаривая их сокращенно, но все-таки говорили! Я, надо признать, оказался отстающим, не в силах до конца выговорить ни одного модного термина.

В разгар наших бдений резко распахнулась тяжелая кожановатная дверь, и в проеме возник Зиновий, старый хозяин, в роскошной шубе,

купленной, видимо, в Бордо. Некоторое время он озирает неприглядную картину, что-то задумчиво напевая, побубнивая в роскошные усы... Взгляд его становится то насмешливым, веселым, то задумчивым... Да, картина в комнате, уставленной по всем стенам книгами, не была особенно привлекательной — темнота, лишь круг света низкой лампы, катящиеся седые валы табачного дыма, кругом воняют окурки и бутылки, а главное, масса консервированных банок помидоров и огурцов. Я бы на месте хозяина вспылел — но Зиновий был и дальновиднее, и умнее. Сначала он, естественно, разозлился, но потом все взял под контроль разума, сообразил, что он сам — да и его сын тоже — с этого стихийного бедствия могут получить.

— Здорово, братцы новобранцы! — лихо рявкнул Зиновий (старый во-яка!).

Все облегченно «расковались», встали, пошли представляться ему — меня-то он, надеюсь, узнал? Зиновий правильно понял, что раз у него самого тысячи учеников (от марксизма через философию к филологии), то и его сыну тоже нужны ученики!.. А что курят и пьют... дело молодое! Хорошо, хоть без баб... Или это плохо?

Зиновий и себе набуровил стопарик и, чокнувшись со всеми, лихо выпил.

— С возвращением вас! — сориентировавшись в боевой обстановке, загомонили солдатики.

Как всегда, решение Зиновия было мгновенным и безошибочным — и сына приподнял в его собственных (в смысле — сына) глазах, да и для себя кое-что удумал... как он про это-то успел сообразить?

Но все сбылось, как он, видимо, и планировал. Отслужив срочную, смышленные солдатики решили не возвращаться на свою малую и нищую родину, а остались, как и раньше, «при штабе» — но теперь уже при Кузином «штабе», как бы продолжая заслушиваться Кузиными высокопарными речами и создавая как бы иллюзию «новой литературной школы». И Кузя, что интересно, стал все более ощущать себя — при столь немногочисленной аудитории — полноценным профессором, начал важничать, походка его стала медленной, речь отрывистой и многозначительной... готовый академик — осталось только его «увенчать»! Я же к тому времени, наоборот, разболтался и обнаглел, к тому же выпустил первую свою книгу, поимевшую успех. В общем, переваривать дальше Кузину тухлятину я не мог и своими насмешками довел его до того, что он отлучил меня от «штаба». Знал бы я тогда, в легкомысленной и веселой молодости, как это «чревато», что именно Кузя, так и не написавший в своей жизни ни строчки, будет поставлен «у руля» и, что самое обидное, — «у рубля»: на распределении и раздаче всяких премий, поощрений и наград. Кем? За что? Для меня это до сих пор — трагическая загадка. Впрочем, и раньше секретарь ЦК по идеологии, распределявший литературные премии, тоже не был мастером слова — но в его симпатиях и антипатиях все же прослеживалась логика. Кузя был гораздо более всемогущ и делал абсолютно все, что шло ему в голову.

Вскоре после освобождения России от гнета до меня дошел слух, что Кузя по поручению одной немецкой кафедры славистики готовит там конференцию «Современная литература Петербурга» — то есть, видимо, литература, выжившая вопреки. Так это же я и есть! Ни разу не употребив аббревиатуру КПСС, сумел при ней выпустить целых три книги, любимых интеллигенцией. Что же мне Кузя не сказал про конференцию-то? Кого, как не меня, он должен иметь в виду? Ведь первые свои рассказы я напечатал буквально на его машинке, точнее, на машинке Зиновия, который мужественно делал вид, что ничего не замечает. Так что же Кузя молчит? Готовит сюрприз, собака? Я не оценил еще тогда суровый нрав Кузи — отступников он карает безжалостно. Но я-то считал, что, несмотря на на-

учные расхождения, чувство какой-то объективности он сохраняет. Как же — Кузя, друг!.. Это мое тупое добродушие не раз уже подводило меня... Но, вмазавшись в очередной раз улыбающейся харей в бетонную стену, наутро почему-то снова просыпался с улыбкой: как же... дружба! принципы! добро! Все продолжая восхищаться лукавством Кузи, скрывающим «сюрприз» от меня буквально до последнего момента, я ехал к нему в гости с целью добродушно его разоблачить: мол, хватит, Кузя, валять дурака, пора ведь уже и оформляться начать — так ведь ты на конференции без писателя окажешься!

По дороге со станции я зашел, естественно, в поселковый, «Надюшкин», магазин, собираясь приобрести гостинец. Передо мной в очереди оказались знакомые мне солдатики, служившие теперь уже при Кузином «штабе». Гордый, но бедный Кузя их, естественно, содержать не мог. Зато практичный Зиновий обнаружил в них иные таланты — и теперь один из солдатиков работал у них садовником-огородником, другой каменщиком — строил гараж, потом флигель. Хозяйство их, как помещичья усадьба девятнадцатого века, поражало интеллектуальным блеском. Подобно тому как хорошенькая холопка после расчесывания льна вечером могла поразить цвет аристократии исполнением роли Джульетты, так и тут — каменщик с грубым лицом и руками в растворе, зайдя на минутку в гостиную к интеллектуальным гостям, поражал их цитатами из Кьеркегора и Дерриды.

Правда, здесь, в магазине, солдатики отдохали от интеллектуальной нагрузки и выражались на прежнем солдатском сленге:

— Три пузыря берем... нет — четыре! В этой ... Германии нормальный поддавон ни ... не купишь!

В Германии? Я не ослышался? Садовник и каменщик едут в Германию представлять «современную литературу Петербурга»? Видимо, чтобы своим робким ученичеством оттенить Кузину интеллектуальную мощь?

— Да брось ты, на ..., дергаться! С закусью там все нормально!

Надеюсь, на конференции они изменят слог? А сколько вообще мест в нашей делегации? Впервые вдруг тревога стала капать в мою лучезарную душу, как ржавые капли из крана на сверкающую поверхность ванны. Да не может такого быть!.. Кузя, друг! Ведь вместе же пробивались наверх — хотя несколько разными путями. Неужели эти «разные пути» так сказались?

Я пошел за солдатами, даже забыв купить бутылку, и получил «удар по голове» значительно более сильный, чем тогда, когда били бляхами.

— А почему ты *решил*, что именно *ты* представляешь собой *всю* петербургскую литературу? — вдумчиво расчесывая пальцами кудлатую бороду, произнес Кузя.

Обвинение сразу по трем пунктам — причем все три явно несправедливые: ничего я не «решал» и не говорил, что только «именно я», и не утверждал никогда, что «всю». «Всю», я думаю, не представит никто — но хотя бы себя самого я представляю?

— Значит, я не еду? — выговорил я.

Кузя в ответ ушел в молчаливое самосозерцание. Солдаты нагло развалились в креслах... Ну, если бы они выступали с новеллами из солдатской жизни — я был бы за! Но они ни с чем не выступали! Так почему же они? Возвышенный ход Кузиных мыслей мне не совсем был понятен... Кто угодно — лишь бы не я? Тоже странно! Но в жизни, однако, много странного — просто ты не хочешь это «странное» осознать!

И потом — это ведь уже не солдаты! Это уже теперь — каменщик и садовник. Но все равно — представлять ими петербургскую литературу? Я тупо молчал. Потом встал. Вышел из хаты. Никто за мной не побежал — даже с целью избиения, как когда-то... Теперь я, видимо, никакой опасности не представлял.

Может быть, из-за того, что Кузя самонадеянно привез на столь важную конференцию лишь своего садовника и каменщика, его акции на Западе стали падать? Правда, что еще добавило мне обиды, Кузя вдруг пригласил на конференцию друга Ваню, чей незамысловатый солдатский шедевр «На посту я possu» был объявлен Кузей — и его «учениками» — шедевром эгофутуризма. Вряд ли Ваня способен был выговорить это слово. Однако оказался эгофутуристом и был приглашен. Но загулял и не поехал — что делает ему честь.

Может, именно садовник и каменщик, явившись в Европу, и подорвали Кузину репутацию? Так, видимо, и было — хотя подрывали оба по-разному. Садовник, оказавшись впервые за рубежом, среди столь разнообразной выпивки и закуски загудел по-черному и даже самых простых терминов не мог выговорить. С каменщиком вышло иначе. Тот неожиданно блестяще вписался и даже всех поразил многозначительной загадочностью выступлений — и с ходу, в отличие от Кузи, получил предложение преподавать на нескольких заграничных кафедрах. Вот это взлет! При этом, говорят, в своих лекциях он отзывался о Кузе все более пренебрежительно... В общем-то, безапелляционный стиль уничтожения соперника он усвоил от Кузи, так что тому вроде бы не на что было обижаться... Тем обидней! В общем, Запад Кузя потерял. Как Кузя мне жаловался за бутылкой (мы снова сблизилась), настоящей интеллектуальной новизны никто не ценит.

Но зато у него была семья. В смысле — батя. Такого батю, как Зиновий, надо было еще поискать. Он не дал впасть своему отпрыску в уныние и пьянство, а энергично занялся его судьбой. Сложность была в том, что Кузя по-прежнему ничего не написал. Но, может, это и хорошо? Зиновий как раз занимал место «умного еврея при губернаторе» — при тогдашнем председателе Союза писателей, бывшем кавалеристе. Кавалерист и сам был не прост (хотя тщательно выпячивал свою простоватость), но некоторые тонкие вопросы он целиком перепоручил Зиновию и был за них спокоен. И умный Зиновий поставил Кузю заведовать литературными отношениями с республиками Союза. Кузя был оскорблен. Вместо блистающего Запада его ткнули харей в пыльный Восток! Но что было делать, раз неблагоприятный Запад сам отвернулся от Кузи и перестал его куда-либо приглашать?

Помню, как я однажды зашел к Кузе в его крохотный кабинетик в Союзе писателей, сел на прорванный кожаный диванчик. Кузя посмотрел на меня с нескрываемой ненавистью: мол, чего зашел? Какое отношение имеешь к делам республик? Просто так, поиздеваться? Но высказаться он не успел — телефон завершал длинной междугородной трелью — Кузя тут же ухватил тяжелую трубку и, кидая на меня ненавидящие взгляды, подобострастно загундосил:

— Да, да! Заказывал! Спасибо! — (зачем перед телефонисткой-то так заискивать?) — ...Аксарбек Татарханович? Кузьма Кузнецов вас приветствует. ...да, из Северной Венеции, — подобострастно захихикал. Один глаз Кузи налился сладостью, другой еще продолжал метать в меня молнии. — Да, с Кабиром Тахировичем я все согласовал! Да! Отлично! — Сладость наконец заполнила оба глаза. — Хорошо! Значит, я звоню Сарвару Алимджановичу, уже от вас! Лады! Да, Чингиз Торекулович в курсе. — Молодец, Кузя, ни разу не сбился на трудных именах! — Да, сабантуй ваш помню! — Кузя подхалимски захихикал и с новой ненавистью глянул на меня.

А вот теперь я это ему и припомнил! Раз он занимается дружбой народов, пусть он эту дружбу теперь и расхлебывает! Проще говоря, сохранил же он связи с Аксарбеком Татархановичем и Кабиром Тахировичем, которые были конечно же никакими не секретарями крайкомов или местных союзов писателей, а главами разных там родов, кланов и тейпов — просто

назывались тогда так. Так пусть теперь Кузя попросит их, с их авторитетом, повлиять на Очу, моего безответственного жильца, занимающего батину квартиру и высокомерно отказывающегося платить. Может, хоть законы и авторитеты Востока на него подействуют? Короче, я имел на Кузю вполне конкретный план — но с ходу заявлять об этом не следует, Кузя сразу же горько улыбнется: «Да, ты настоящий друг!» Постепенно, только постепенно... чтобы все вышло как бы само собой. В мягкой манере — иначе Кузю не возьмешь!

Вот так! Мы тоже не лыком шиты!

Тем более, когда Советский Союз (эта «тюрьма народов») развалился и снова повеяло «запахом свободы», Кузя, как освобожденный узник «тюрьмы народов», снова радостно ринулся к Западу: наконец-то я окончательно раскрепостился, берите меня! — но неожиданно снова получил отлуп. За что же его так не полюбили там? Может, за полную бесполезность? Но вроде бы он знает эти дела? Тем не менее известный своей щедростью всемирный фонд Пауэлла ответил Кузе: будем поддерживать материально только программу «Восток — Восток». То есть продолжайте дружить между собой, как и раньше дружили, а на Запад не суйтесь: готовы вам за это даже платить! Кузя, конечно, снова обиделся... обида была почти что постоянным его состоянием... но что остается делать? Надо дружить и снова звонить Аксарбеку Татархановичу и Кабиру Тахировичу... тем более теперь дружить еще важнее, чем раньше. И пусть для начала уймут моего дерзкого жильца... Кто о чем, а вшивый о бане!

Так что на Кузю я имел вполне определенные виды. Дружба не знает границ! Кузя поможет — «дружбы народов ненадежный оплот».

— Ну так едет кто в город?! — Ваня вытащил-таки из банки последний огурец и с хрустом прокусил. Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец.

— А ты не пьян? — Кузя высокомерно поглядел на Ваню.

— Для тебя, может, и пьян, а для Попова — нормально! — Ваня лихо подмигнул мне. Кузя отвернулся от нас. Ваня разлил.

Боюсь, через полчаса он не согдится даже для меня.

— Домой схожу, — сказал я неопределенно.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗАВТРАК

Отец и жена уже сидели на террасе и ели. Меня не дождалось. А может, я сам виноват — задержался на совещании. Я торопливо сел за стол, глянул на листья, занавешивающие стекла и просвеченные солнцем... Да, природа хороша, но надо возвращаться к реальности.

— Дожили! — смачно проговорил батя, с хрустом раскусывая хрящ. — В Ивангороде свет отключили эстонцы, за нашу неуплату!

— Но мы-то, слава богу, не там сейчас! — пытаюсь еще улыбаться, проговорила жена.

— А... везде одинаково! — кинув на нее тяжелый взгляд исподлобья, рывкнул отец.

— По-моему, здесь ты еще все-таки что-то ешь! — дрожащим голосом проговорила жена. Я-то был покрепче — в батю, — а ее давно уже нервировала эта батина манера страстно возмущаться «крупными проблемами», как-то не замечая наших, семейных, отнюдь не менее горьких... мелко-важно для него? Или просто — тут надо делать что-то беспоконное... а думать лишь о глобальном — гораздо удобнее.

— А!.. Что я ем! — упрямо проговорил батя, хотя на столе были и куски вчерашнего мяса, и яйца, и сок. Я глянул на жену. Ей, болезной, не так-то легко искать, где дешевле, а потом все это таскать.

Да, это он зря сказал. Взяв в голову какую-то идею, упрямо прет напролом, не замечая, что топчет. Жена, побледнев, вскочила из-за стола и ушла в комнату. Батя неторопливо доел (ест он так же обстоятельно, как говорит), потом приложил ладонь к боку чайника (горяч ли?), неторопливо налил в кружку, два раза гулко хлебнул, потом посмотрел с некоторым изумлением на опустевшее место напротив, потом вытаращился на меня:

— А где Нонна?

Заметил!

— Ушла, — коротко ответил я.

— Ушла? — Он еще более вытаращился. Видимо, его сильно волнует — а где же сладкое? — Что я, что-нибудь не то сказал? Хорошо, вообще тогда буду молчать! — Грохнув стулом, он ушел. Позавтракали!

Я вошел в комнату к жене. Она сидела, откинувшись, на диване, губы и щеки побледнели и провалились, а лоб, наоборот, торчал и светился: пот.

— Ты лекарство купила? — с досадой спросил я.

Лицо ее слегка дрогнуло, но глаз она не открыла. Губы показали обиду и недовольство. Ясно. Мол, на те деньги, что ты мне дал, могла я разве это сделать?

Все ясно. Отдала лекарственные деньги дочурке — собачку кормить! А виноват я! Схватив со стола свою сумку, я выскочил.

Ясно! Я должен вернуться с деньгами — и желательно живым.

ТРЕТЬЕ ТЕЛО РОССИИ

Когда я пробежал мимо, Третье Тело России даже головы не повернуло в мою сторону!

СТЕНОЛАЗ

Друзья мои (прекрасен наш союз) тоже как-то не заинтересовались моим пробегом и, стоя теперь уже в саду Кузи, голов в мою сторону тоже не повернули. Ну и бог с ними! Пусть отдыхают ребята! Не буду их втягивать в ту воронку, в которую все сильнее втягиваюсь сам... Чем они могут помочь реально?! Так, одни фантазии. Друзья мои почему-то внимательно смотрели на мой вздувшийся опять отпечаток на простынке... Кумекают? А я как же? Ну ладно — не до этого! Мне пришлось протискиваться между грузовиком, вставшим тут, похоже, на вечную стоянку, и забором. Когда ДРСУ (Дорожное ремонтно-строительное управление), где раньше работал Битте-Дритте, наполовину сократилось, уволенный Битте демонстративно поставил свой сломанный грузовик поперек переулка — как капитан, затопивший свой линкор у входа в бухту, чтобы враг не прошел. Нам и самим-то было трудно пройти между грузовиком и оградой.

Под кузовом в тени степенно возлежали козы, неторопливо пережевывая, двигая челюстями с бородкой влево-вправо. Молодые козлята резвились на солнышке — пассивный отдых их пока что не привлекал. Часть козлят, стоя на задних копытах, как фавны, щипали листики, торчащие сквозь ограду, несколько козчиков (мальчуганов, по-видимому) оттачивали свою боевитость. Вот такая парочка уперлась друг в друга лбами в аккурат на моем пути. И вдруг одновременно, как по команде, наклонили кудрявые головки и гулко стукнулись рожками... Молодцы, ребята! Ну, может быть, теперь можно пройти? Но они так и остались стоять, видно набираясь решимости ко второму раунду.

Пришлось их обходить. Я выбрался на лоснящееся, взлетающее вверх, полыхающее радужными бензиновыми переливами шоссе. Может, я его несколько перехвалил — но приходится восхищаться чем попало, тем, что

попадаетея на бегу: на поиски иного, более изысканного, ни времени, ни сил.

Вот и автобус в отдалении отчалил от будки. Теперь до станции — легкой трусцой. «Кросец по пересеченке», как говаривал Ваня, старый служивый. На километр без передыху хватило меня! Но на мосту, остро, с большою выдохнув, чуть замедлился — как бы любясь окружающим, опять же. Под широким мостом справа и слева падала вниз бескрайняя и какая-то засохшая долина — жизнь, похоже, там засохла после ухода высокой воды: огромные сухие зонтики борщевика, фиолетовые «бритвенные кисточки» цветов гигантского чертополоха, серо-голубые стены полыни, сплошь покрытые «пылью забвения», — чувствуется, что давно их никто не шевелил. Местами над зарослями торчала крыша или высовывалась рассохшаяся терраса, иногда там даже виднелись люди, греющиеся на солнце, неподвижные и тоже словно засохшие. Последнее время долина эта своим сухим и неподвижным спокойствием стала вызывать у меня жгучую зависть: вот так бы засохнуть на солнышке и ни о чем не думать, как вон тот неподвижный человек, хотя, конечно, умиротворенным он казался только издаля. Но все равно — над долиной этой я каждый раз останавливал свой бег. Что я все гоняюсь за несчастьями, словно умалишенный? А хорошо бы сойти с моста, в неподвижную эту жару, сесть на рассохшейся террасе и все забыть. Не удалось попасть в хорошую жизнь — сойти в долину, полную полыни и пыли. Не в жизнь, так в долину.

На далеком дне, под зарослями, кажется, сверкала какая-то вода. Отец, упрямый во всем, однажды, стоя на этом мосту, доказывал, что вот с этого места вода течет в две разные стороны. Почему? Какой там, внизу, может быть такой водораздел, разламывающий течение? Ведь всем тут известно, что речушка течет от вокзала к нам. Но нет же — отцу надо иметь отдельное мнение абсолютно обо всем — иначе он не чувствует себя достаточно активно мыслящим, а это для него главное. Всю жизнь делал открытия в селекции, выводил сорта ржи, которые кормят до сих пор Северо-Запад... и теперь еще по инерции продолжает изобретать, обрушивает на всех свое почти уже вековое самомнение и опыт — в последнее время обрушивает исключительно на меня. Выдержим! Сам я, слава богу, такой же, хотя опыта и упрямства поменьше... Ну, все? Отдохнул? Полуболюбился природой? Ну, так вперед!

Усталые ноги замелькали внизу, как-то отстраненно, словно издали, словно и не свои... Как же — отдохнешь ты! Сзади стал нарастать грохот досок моста — некоторое время я еще убежал, но потом обессиленно остановился... Не уйдешь!

— Падай! — Тормознув, Ваня оттолкнул заднюю дверцу своего железного зеленого «козлика». Кузя тоже сидел на заднем сиденье, непроницаемый за черными очками. Сжалились? Или — по своим делам? Или по своим-моим?

Тут мы легко, надуваясь ветром, полетели по небольшому спуску — перед новым взлетом шоссе. Именно из-за этого спуска батя и утверждал, что речка тут поворачивает вспять... Ну все. Успокойся.

Может, действительно верные мои друзья, старые специалисты по дружбе народов, помогут мне? В моем случае дружба народов должна выразиться в получении с Очи денежного долга — или выселении. Подмогнем? Я поглядел на друзей.

Я ж помогал Кузе с дружбой, как мог!

Помню, как я однажды с голодухи и одновременно с дикого похмеля — да, были времена! — забрел в резной, мрачного черного дерева ресторан Дома писателей. Благодаря реформам зал был уже почти пустой — теперь все опохмелялись в местах попроще. Лишь под великолепным витражом с шереметьевским гербом сидел какой-то всклокоченный Кузя с тучным, масляно улыбающимся «баем» в тубетейке. В то время полагалось

строго по одному классику на каждую автономную республику и национальный округ. Стол перед ними ломился от яств, но общение, я чувствовал, не клеилось. Нелегко было гордому Кузе на такой холуйской работе!

Увидев меня, входящего в зал, Кузя кинулся ко мне как к спасителю. Запихнув меня в резной эркер, где баю нас было не видно, он жарко зашептал:

— Слушай! Придумай что-нибудь! Я ему — Эрмитаж, а он мне — бабу! Я ему — балет, а он снова — бабу давай! Глядишь, пожалуется Пупу, что я не соответствую!.. Мало ему там гарема — здесь захотел!

— А я-то чем могу? — зашептал я.

— Но у тебя-то, наверное, есть кто-то?

— У меня? Откуда? Сам еле ноги волочу! Ну ладно. — Я вошел в положение друга. — Сейчас подумаю.

— Вот и хорошо! — расцвел Кузя. — В общем, садись к нам, ешь-пей, а главное — думай! Ну, все! Улыбочка!

С масляными улыбочками, олицетворяющими гостеприимство, мы выплыли из эркера.

Появление мое за столом бай встретил довольно кисло: вовсе не того он ждал от референта! Такого референта у себя он мгновенно бы уволил. Знал бы бай, что его еще ждет впереди!

Выпив и закусив, я честно стал думать... в те годы я грабил «Ленфильм», получая авансы, но не сдавая сценарии.

— Вспомнил! — вскричал я. — У меня, ясное дело, нет, но у друга Петьки, режиссера с «Ленфильма», наверняка есть!

Появление Петьки наш гость встретил уже мрачновато. Знал бы он, что ждет его впереди!

— Откуда?! — возмущенно вскричал Петька, хватив водки. — Я художник, а не бабник!

Хватив второй стопарик, Петька слегка поостыл.

— Ну ладно... У Димки, моего администратора, есть, наверное... Сейчас позвоню.

Постепенно образовался длинный стол — и, что характерно, из одних мужиков, шумно выпивающих и галдящих. С появлением очередного мужика, у которого «уж наверняка есть», бай все больше мрачнел. Радостный гвалт нарастал: последний знал, что его пригласил предпоследний, и радостно с ним общался. Затерявшийся где-то в дымной дали бай был почти что забыт, и если бы не моя стальная воля, цель сборища исчезла бы окончательно. Я подходил раз за разом к каждому новому и повторял задачу. В большинстве своем все были сначала изумлены, потом шокированы, потом вызывали следующего — и тому приходилось все объяснять. Бай с робкой надеждой глядел на меня. Как говорила моя учительница Марья Сергеевна: «Все-таки нет добросовестней этого Попова!» И добросовестность моя наконец дала плод: в дальнем, уже еле различимом конце стола появилась маленькая, вертлявая и довольно вздорная особа... уж и не знаю, кто этого добился. Но, в общем, я. Кузя пожал мне под столом мою потную руку. Особа довольно противным голосом потребовала шампанского... И если бы все этим кончилось, то сделанное можно было бы считать успехом... Но! Бай громким шепотом приказал Кузе пригнать такси. Но! Вся компания почему-то устремила за ними — так чудесно гуляли, что неохота расставаться. По дороге, естественно, пришлось еще докупать продукта. Все радостно ворвались в шикарную городскую квартиру Кузи. Учитывая, насколько длинной была прелюдия, само действие оказалось на удивление кратким. Бай, не снимая шубы, сразу же удалился с особой в спальню — и еще через мгновение раздалась звонкая пощечина, и возмущенная особа выскочила из квартиры. А мы с мрачным баем пировали еще долго, пытаюсь его развеселить.

...Неплохо, правда?

И вот — «венец дружбы народов». Юный, но важный и наглый Оча в квартире моего отца, заслуженного профессора, не желающий платить. Конец — делу венец. Венец, к сожалению, терновый. Помню, после бая Кузя говорил в отчаянии: «Нет, дружбу народов мне не поднять!»

...Может быть, теперь вместе осилим?

Стали мелькать кучи угля, ржавые цистерны — привокзальная свалка. Здесь рельсы взлетали на насыпь, на мост — все, стоящие на земле, смотрели куда-то в ту сторону, что-то там произошло. Какая-то круглая оранжевая сфера торчала вверх над растекшейся под мостом вширь речкой, рядом мелькнул огромный рыжий кран с надписью «Ивановец», еще какая-то мощная аварийная техника.

— Что там? — спросил я.

— Цистерну толкали, к составу подцепить, — и с насыпи шлепнулась, прямо в речку! — пояснил вездесущий Ваня почему-то радостно.

«Млат водяной?» — вспомнил я вчерашний удар по воде.

— Вдребезги? — спросил я.

— Почти! — усмехнулся Ваня. — Может, специально сделали — в цистерне-то спирт!

— Спирт? — изумился я.

Так вот откуда оно, вчерашнее неземное блаженство, что чувствовал я вчера, вылезая из ручья и засыпая!

— Мало того, что кайф поймали, теперь еще фирма-поставщик компенсацию заплатит — за нарушение экологии... а фирма-то иностранная! — Ваня потер в воздухе пальцами.

— Не болтай... еще ничего не известно! — недовольно зыркнул на него из-под черных очков Кузя, как опытный шпион на неопытного, разбалтывающего тайну.

Что они там задумали? Впрочем, это вряд ли касается меня! А чё тогда поглядывают?

Но Кузя как раз сидит застывший, окаменевший — это Ваня задорно поглядывает, но не на меня, а на него.

— Ну почему же — неизвестно? — продолжая дразнить Кузю (а заодно вроде бы и меня) усмехнулся Ваня. — Вся речка у нас теперь чернильная!

— Чернильная?! — воскликнул я.

— К чернилам, было бы вам известно, — сварливо проговорил Кузя, — фирма «Пауэлл» не имеет ни малейшего отношения! У них народ технический спирт не лакает! Это уже наши, когда цистерна границу перешла, чернил туда бухнули, что б не пили!

«Чернильный ангел»?! — сообразил я. Вот оно что!

Я захохотал. Кузя почему-то обиделся, вздрогнул и умолк, хотя к нему хохот не имел ни малейшего отношения — скорее ко мне. Я, как всегда слишком рано возбуждаясь, нафантазировал незнамо что... какого-то «чернильного ангела»... а всего лишь вымазался в грязном ручье!

Но разочарования я почему-то не чувствовал — скорее подъем!

Похоже, что-то они задумали все-таки про меня, какую-то гадость — но и я, простая душа, кое-что для них задумал, что они не ведают... а если и ведают, то забыли... как я однажды вполне ловко прошел уже по их головам! Неужто не поняли тогда? Или забыли, как я с их помощью решил неразрешимую, казалось, задачу?! И вспоминаю сейчас об этом не из злорада, а потому, что собираюсь такую же штуку повторить — и в гораздо более жестком варианте.

Был уже однажды неплохой вариант, рассчитанный мной с виртуозной точностью... Забыли? Или — не поняли?.. Ну что же — тем легче мне будет его повторить.

Ну все, все... хватит! Не буду больше пугать!

Ничего страшного. Просто одного я уже провел по этой дорожке, по которой сейчас собираюсь Очу пустить. Первый раз довольно давно это было... потому уже не помнят, наверное.

Давно, когда дочурка еще в школе училась, было модно дружить со школами всяких-разных республик. И тогда уже, помню, в первый раз я удивился некоторым особенностям национальной политики.

Сначала дочурка съездила в гости в их столицу, пожила там в семье у своей ровесницы — очень понравилось. Стали ждать ответного визита. Вымыли квартиру, убрали для девочки, которая должна была приехать, лучшую комнату. И вот рано утром — звонок. Радостно бросаемся к двери — стоит, радостно улыбаясь, толстый усатый мужчина.

— Принимайте гостя!

Впустили, естественно. Стал развязывать какие-то кульки, выставлять пыльные бутылки.

— Гостинцы вам!

— А-а... где Стефания? — У дочурки слезы потекли.

— Кто?! — вытаращил свои глазки-бусинки. — А-а... Стефания. — Сел на диван, стал почесываться, зевнул. — Она не смогла! Устал с дороги... можно прилечь?

Да-а, странные обычаи в их солнечной республике — вместо школьниц пузатых дяденек присылать. Поспал минут десять — но хорошо поспал, с храпом, потом резко вскочил, снова вытаращился:

— Цветы!!

— ...Какие цветы?

С досадой махнув на нас рукой, как на глупых и уже надоевших родственников, наш друг Аурел (так его звали) кинулся в прихожую, расстегнул пузатый баул... божественный аромат! Содержимое оказалось неожиданным: нарциссы!.. Неужели все нам? Ну зачем же?.. Оказалось — не совсем так! Аурел сел на корточки — какая грация, при его тучной фигуре! Все они там, в солнечной их республике, певцы и танцоры! Уверенно, уже по-хозяйски он взял со стула в прихожей наши газеты, расстелил на полу и стал аккуратно раскладывать грациозные белые цветы с желтенькой серединкой по двадцать штук и, ловко доставая из кармана кругленькие резиночки, сцеплять их. Разложил на газете, полюбовался... Мы тоже, очарованные, глаз не могли отвести...

— Ванную открой! — приказал мне он.

Я кинулся выполнять. Войдя в ванную, он оглядел веревочки для белья, потом, двигая головой на тучной шее вниз-вверх, стал брать сцепленные букетики нарциссов и вешать их головками вниз. Вскоре наша ванная стала напоминать цветущий сад вверх ногами.

— А душ можно принимать? — пискнула жена.

— Нет, конечно! — рявкнул Аурел.

Потом — что же делать? — пригласили его к столу. Завтрак, приготовленный для встречи юной школьницы, не совсем, видимо, удовлетворил Аурела... во всяком случае, закуски к коньяку мы не предусмотрели.

Сказав, что вернется к обеду, Аурел аккуратно снял с веревочек в сумку часть цветочного урожая и ушел на рынок.

Мы вздохнули с некоторым облегчением: хоть чуть-чуть можно было расслабиться. Потом дочка узнала в школе, что, оказывается, во все семьи вместо ожидаемых мальчиков и девочек приехали суровые тети и дяди — и даже, что интересно, не родственники ожидаемых школьников: на расспросы о них не знали, что ответить.

Все эти судороги дружбы народов казались мне уже агонией: если происходят такие катаклизмы — вместо школьников приезжают спекулянты, — то дружбе, похоже, долго уже не жить. Но она оказалась живучей! Сменив, правда, шакуру, как змея!

Аурел, короче, здесь до сих пор. На рынке тогда его приняли неласково и даже побили, в результате он запил-загулял, три дня, как рассказывали потом очевидцы, ходил по дымным кабакам в сопровождении музыкантов с визгливыми скрипками... Но мы-то тогда этого не знали, волновались как уже за члена семьи: куда сгинул? Не придется ли нести цветы к нему в морг?

Но на четвертый день он объявился, после чего два дня спал, потом еще один день рыдал. При этом мы еще должны были поддерживать наш нормальный трудовой ритм: дочка должна была готовить уроки, жена — высыпаться перед работой, а я что-то при этом еще и писать! И я должен сказать, что волновали тогда меня совсем другие темы — отнюдь не дружба народов!

На седьмой день Аурел распахнул дверь в ванную и издал вопль: увяли лютики! Это, впрочем, вполне естественно: провисели семь дней вниз головой, без капли влаги, — мы, робея, даже не мылись.

— Что же мне делать? — Аурел горестно опустил на пуфик.

Вопрос этот, видимо, относился к нам.

— Я же должен за домик! Теперь меня убьют!

Надеюсь, не здесь?

...Так что некоторый опыт «дружбы народов», а также ее прекращения у меня есть. Но без помощи моих друзей, тоже специалистов по дружбе, мне не обойтись. В прошлый раз они мне помогли — может быть, сами не ведая об этом...

Рыдающего Аурела все же удалось тогда впихнуть в поезд, что было нелегко... Дело, думаю, тут не в национальности — в любой национальности имеются люди, не умеющие рассчитывать свои желания и планы.

Аурел совершенно неожиданно объявился через восемь лет — наша дочка, бывшая школьница, была уже тогда замужем. Но Аурел внешне совсем не изменился — и внутренне, к сожалению, тоже: по-прежнему не соразмерялся ни с чем, был в плену необузданных желаний. С вокзала, весь в рыданиях и соплях, — прямо ко мне. Получалось, что лучшего друга, чем я, во всей России у него нет! А может быть, и во всем мире?

Правильно говорила мне одна моя знакомая: «Твоя добросовестность тебя погубит!»

Но — барахтаемся! В этот раз Аурел явился уже без цветов и вообще — без вещей. Это, честно скажу, не порадовало. Что случилось?

— Я буквально еле успел выскочить в чем был! — радостно сообщил мне Аурел еще в прихожей.

В чем сейчас дело? По его версии теперь получалось, что националисты в его освободившейся, но сильно разгулявшейся республике хотели его убить — за то, что он женился на молодой русской. Поступок, конечно, неординарный. Зачем пятидесятилетнему дядьке, женатому уже дважды, снова жениться — на молодой, да к тому же еще русской? Как говорят, сердцу не прикажешь. Но Аурел даже и не пытался ему приказывать! И даже гордился своим бешеным сердцем! А нам — расхлебывай!

Дело тут, повторяю, не столько в национальности, сколько в самом Ауреле. Вскоре после его появления — подселения, естественно, к нам — я ездил в Москву и в купе встретил молодого красивого соотечественника Аурела, который, оказывается, тоже женился на русской — и при этом прекрасно у себя в республике жил! Так что дело тут, повторяю, в самом лишь Ауреле. Возможно, дело не в том, что на русской, а просто на слишком молодой? Или, может быть, даже не женился, а просто так? Многие национальности этого не любят, включая нашу. И потом, если он так красиво-трагически женился, то где же его молодая жена? Позабыл в спешке? Почему ей не звонит? Много вопросов и, я бы даже сказал, подозрений возникло тут. Но высказываться об этом я не решался: республики в основном уже отделились — но дружба народов по-прежнему считалась

делом священным... и получилось бы, что я замахваюсь не на Аурела, а на дружбу народов! В это время дочка от мужа вернулась к нам, и Аурел как-то сразу приосанился...

Надо было другим путем. И этот путь я гениально вычислил. В то время я часто гостил у Кузнецовых на даче. И вот однажды мы выпивали с Кузей в беседке, иронически комментируя все происходящее вокруг. А происходило следующее: Кузин батя Зиновий, в тертом морском кителе времен войны, командовал Битте-Дритте, сидящим на крыше. Как всегда, Битте-Дритте больше демонстрировал себя, чем работал.

— Ты обещал за два дня! — вопил Зиновий.

— Тут минимум на месяц! — свысока усмеялся Дритте.

— Вот месяц тут и сиди! — в бешенстве прокричал Зиновий и ногой в рваном говнодаве пихнул лестницу, прислоненную к дому. Лестница медленно стала падать и с хрустом рухнула в заросли малины. Зиновий был — да и остается — настоящим мужиком, и гнева его все боятся... но не Битте-Дритте!

— В трубу можно поссать? — насмешливо крикнул он сверху.

Взбешенный Зиновий вошел к нам в беседку:

— Налей!

— У меня есть отличный кровельщик, — скромно проговорил я. — Беженец. Пропадает. Много не возьмет.

Зиновий радостным орлиным взором впился в меня. Хотя насчет «пропадает» (Аурел жил у нас довольно уютно) и насчет «много не возьмет» я не был до конца уверен. Но уверен я был зато в другом: держать больше Аурела у себя я не намерен!

Аурелу я, естественно, сказал, что интеллигентная богатая семья приглашает его к себе на виллу, много слыша о нем (от меня) и желая пообщаться. К тому же надвигается праздник уборки урожая, и не знаю, как у них (тут я снова слукавил), а у нас этот праздник принято отмечать на природе, буйно и пышно. И Аурел съехал!

Теперь на воздухе! Одна природа кругом!

И что самое славное — действительно оказался талантливый кровельщиком, о чем он сам — а тем более я! — прежде не подозревал. Теперь он там нарасхват, кроет все подряд, но в основном — богатые виллы, растущие сейчас словно грибы, и сам Аурел далеко уже не беден, хотя живет уже третий год в хламовнике у друга Вани — там он ощущает себя вольней, чем в полувоенной обстановке дома Кузнецовых... Но скоро съезжает: виллу отстроил себе!

Вот так! Не лыком мы шиты! А кровельным железом!

Да, не так я прост, как правда.

Так что пути эвакуации мной уже разработаны, и теперь надо по ним провести следующего... хотя ни Кузя, ни Иван пока об этом не догадываются — и слава богу!

Я вернулся к реальности.

— Куда едем? — деловито уточнил я.

— К тебе! — загадочно усмехнулся Ваня. — Ты что — против?

И Кузя тоже мрачно и загадочно усмехнулся.

Видимо, они имеют какие-то загадочно-зловещие планы насчет меня! Но и я имею их!

На мгновение я представил свирепого бритоголового Очу с таким же его другом по имени Зегза на крыше кузнецовского дома, в тот момент, когда Зиновий отбрасывает лестницу, и слегка вздрогнул... Но тут же взял себя в руки.

Мы как раз проезжали вокзальную площадь и увидели дружбу народов в нынешнем виде и во всей красе. Кроме пестрых цыган и задумчивых кавказцев тут теперь еще носились рваные, но веселые дети с кожей фиолетово-оливкового оттенка... из предгорий Памира? При этом, что стран-

но, с ними не было никаких взрослых. И даже милиция, как сказал Ваня, не могла понять, откуда они. Тем не менее они чувствовали себя здесь довольно уверенно и весело, с воплями и радостными криками накидывались на людей, прося денег, что было понятно без перевода. Сейчас они налетели на нашу машину, лупили в борта, кричали.

— Привет вам, дети Юга! — рявкнул Ваня, но денег не дал и скорости не сбавил — и правильно сделал: растерзали бы!

Да-а, дружба народов принимает сейчас все более причудливые формы!

До нашего друга Очи в бадиной квартире жил другой сын гор — Хасан. Потом он приютил друга Очу, которого раньше не знал, но, встретив где-то на рынке в затруднительной ситуации, сразу же величественно пригласил к себе (если быть точнее — то к нам!). Когда мы спросили Хасана по телефону, кто там с тонким голосом берет трубку, Хасан ответил с достоинством:

— Это мой друг. Его Оча зовут! — И, видно почувствовав наше недовольство, хотя он мало обращал на него внимания, добавил с достоинством: — Я ручаюсь за него, как за себя!

Лучше бы он сказал: как не за себя, — сам-то он не платил уже полгода. Так что рекомендация та не выглядела такой уж великолепной — но это с нашей точки зрения, а не с его: ему эта фраза казалась вполне достойной. Вообще на них можно было бы любоваться — если бы не денежный долг. То, с какой горделивой надменностью они держались, вызывало сначала уважение, а после — недоумение: неужели они не понимают, что раз не платишь, надо держаться поскромнее? Отнюдь! Скорее наоборот. Чем больше был долг — тем выше самомнение: мы можем все, нам подчиняются, никто не смеет нам указывать, когда платить, а когда не платить! Мы сами знаем, когда не платить. Никогда. Как остроумно, но мрачно заметил мой друг Сашка Бурштейн: «Может, как раз их Честь и не позволяет им платить? Может, по их законам потом на сестре никто не женится, если они заплатят?»

Вряд ли они думали о сестрах — но с ростом долга их надменность росла: видимо, с осознанием их силы. Когда мы приходили к ним на переговоры о «реструктуризации долга», маленький, но величественный Хасан неподвижно сидел в кресле и почему-то казался выше нас. Толстый, белый, бритоголовый, босой Оча садился скрестив ноги на ковер, брался руками за большие пальцы босых ног и застывал в неподвижности. Первые несколько раз мы думали, что он просто не знает по-русски, но потом выяснилось, что говорить может, но не считает нужным.

Потом Хасан куда-то исчез — не расплатившись и, разумеется, не извинившись. Тут Оча впервые счел нужным произнести нечто внятное: «У него дела!» Хотя особо внятным это не назовешь. Какие дела? Имеют ли они какое-то отношение к отдаче долга?.. Без комментариев!

Вскоре Оча привел жить в квартиру своего близкого друга Зегзу, за которого тоже поручился «как за себя!». Естественно, им обоим и в голову не пришло, что в этой рекомендации есть что-то ненадежное или тем более смешное. Они уже в себе не сомневались — так же, как и в праве жить в отцовской квартире не платя. Им, видимо, казалось, что уже — все! Победа! Только они, видимо, забыли (плохо учились в школе?) известную поговорку: «Русский медленно запрягает, но быстро ездит!» Поехали! Полетит красавец Оча вместе с другом Зегзой «белокрылой зегзицей», как сказала когда-то Ярославна, жена князя Игоря. Сейчас я в этом уже не сомневался — доперло! Лишь скорей бы, скорей! Ваня обгонял всех подряд, но мне казалось, что медленно, и я вертел головой, высматривая: на что бы пересесть, чтоб быстрее?

Лермонтов ехал на Кавказскую войну — теперь я еду! Такие величественные ассоциации прибавляли бодрости... Впрочем, и без бодрости

пришлось бы этим заниматься: куда денешься? Не зря батя предпочитает тревожиться о глобальных проблемах, хотя малая кавказская война уже идет фактически у него на дому... Понятно. Кому охота??

Свирепо-надменные Оча и Зегза — это не добродушный Аузел: их на крышу не загонишь! Но и так, как сейчас, я не оставлю, будьте спокойны. Мы уже мчались вдоль Невы.

— Э! Куда? — встрепенулся я.

— Мы же сказали — к тебе! — усмехнулся Ваня. — Ты что, домой не хочешь?

Вообще-то я собирался на малую кавказскую войну... но и домой заскокить не помешает, малодушно внушал себе я. Тем более насчет денег и там можно пошуровать... у нынешней съемщицы... За июнь она заплатила. Сорвем за июль!.. Конечно, с бабами воевать — это не то что с горцами!

Мы перелетели Неву.

Хотя баба эта тоже из крепких. Мимо желтой башни Адмиралтейства...

А потом уже, набравшись опыта, — к горцам!

Тем более что она как раз тоже занимается дружбой народов.

Приехала из-за рубежа, чтобы заниматься нашей дружбой.

Мы въехали в Невский. Стало темней.

Втахова встретила нас сухо, хотя дверь после настойчивых наших звонков все же открыла. Даже ключей от своей квартиры у меня нет — все отдал!

— Надеюсь, вы уже слышали о катастрофе? — произнес Кузя, когда Втахова провела нас на кухню (правильно: наше место — на кухне!).

— К счастью, мы не имеем к ней никакого отношения! — иронически усмехнулась Втахова, с ходу прочтя намерения Кузи. Втахова была у нас представителем могущественного концерна «Пауэлл», верней, заведовала его благотворительной деятельностью у нас — в частности, дружбой наших народов за их счет.

— Ваши налили в спирт чернил, ваши же и столкнули... загадили все ручки! — строго проговорила Втахова. Да, быстро она там научилась говорить «ваши» — о наших! Да, информация у нее поставлена — не зря у нее даже на кухне мерцает компьютер!

— Но цистерна-то — с вашими фирменными знаками! — широко и как бы простодушно улыбнулся Ваня. Для себя что-то кроит?

Знал бы, что в моей квартире будут твориться такие дела, — не поехал бы!

— Я, в общем-то, спешу. — Я поднялся.

— Горца из батиной квартиры выселять? — снова простодушно (простодушно ли?) улыбнулся Ваня.

— И ты собираешься *выкинуть человека на улицу*? — Изумленно, словно увидев меня по-настоящему впервые, Кузя глядел одним глазом на меня, а другим — на Втахову.

Ясно. Зарабатывает очки. А меня топит. Но мне это не важно — мне лишь бы конкретно выполнить задачу. Под себя Кузя строит пьедестал? Пусть!

Я поднялся.

— Пусть идет! — глянув на меня, потом на Кузю, сказал «добрый» Ваня.

Да, хочу уйти. Мне кажется, меня в моей квартире уже не уважают.

— Оставайтесь — мне надо с вами поговорить отдельно, — сверкнула очками Втахова.

Отдельно — пожалуйста. Но в этой безобразной сцене, которая тут началась, участвовать не намерен. Я с грохотом закрылся в уборной.

Тончайшая, нежнейшая заграничная туалетная бумага, язычком свешивающаяся перед моим лицом, качалась взад-вперед от моего шумного дыхания...

Ну?.. Передохнул? С лязгом отодвинув щеколду, я вышел.

И увидел свой чернильный отпечаток на экране компьютера.

— Премию мы хотим назвать «Чернильный ангел», — пояснял Кузя Втаховой, снимая фотографию со считывающего устройства. — И хотели бы это изображение сделать символом.

Он обернулся в мою сторону, но ненадолго — я, видимо, его уже не интересовал: отдал свою чернильную душу для символа — и хорош!

— Присуждается за творческий вклад в дружбу народов... в наши дни. — Кузя скромно потупился.

Думаю, что Джалил Шакроевич и Багаутдин Анварович одобрили бы его действия — и с радостью приедут на чествование. «Надежный оплот»! Фирма «Пауэлл» должна поддерживать нашу дружбу, а то разругаемся — мало не покажется!

Видимо, Кузя прочел что-то нехорошее в моей ухмылке, потому что решил окончательно возвысить себя — и унижить меня;

— Неужели ты мог подумать, что это я для себя крою? — скорбно произнес он.

— А... для... кого же? — уличенный в самых низменных мыслях, пролепетал я.

Я огляделся вокруг... Неужели для Вани?

...Да-а... тот, конечно, пошуровал! Однажды по пути с Дальнего Востока в пьяном виде выпал из поезда, сломал руку — и тут же женился... Потом Амгыльда долго жила у него на даче, но Ване как-то все было недосуг — новые удовольствия и новые неприятности искали его! Да, действительно! Представители многих народов — их число у нас более ста — на моей памяти разыскивали Ваню, но в основном с угрозами: что-то там он у них спер, какие-нибудь оленьи торбазы, вышитые бисером, — но богатству, надо сказать, не копил — «уведенное» от одного друга дарил следующему. Василий Пуп, главный оплот нашей дружбы народов, брал Ваню несколько раз на разные курултаи, но закаялся — уж больно бурно Ваня дружил!

Ему? — я вопросительно поглядел на Ваню, потом на Кузю, и тот многозначительно «кивнул ресницами»... Ну что ж! Годится!

Слава богу, что мою душу не запятнала незаслуженная слава!

— Мы должны с вами поговорить *отдельно*, не уходите. — Жесткий голос Втаховой настиг меня буквально в дверях.

...«За хорошей дружбой прячется любовь!» — эту песню мы слегка насмешливо пели с Фатьмой, сидя на диване на семнадцатом этаже минской гостиницы «Дружба», где и познакомились тогда на всеоюзном слете молодых дарований тогда еще могучего Советского Союза.

«Торчат лопатки татарчат» — сейчас я вспомнил лишь одну строчку молодой поэтессы. А может, она ничего больше и не написала? Просто ей зачем-то было надо оказаться на этом слете, и она придумала эту строчку — а дальше уж комсомольские органы республики, где у нее все были родичи, сделали остальное.

Потом мы встречались на подобных слетах два года, она считалась поэтессой, я — прозаиком, но о литературе, насколько мне помнится, никогда не говорили, зато чего только не придумывали другого!

— Торчат лопатки татарчат? — спрашивал я ее при встрече.

— Торчат, куда они денутся! — лихо отвечала она.

Все эти слеты стали для нас лишь способом встреч и проходили столь бурно, что не только она прекратила сочинять стихи — не до этого! — но даже я под ее влиянием почти бросил писать прозу: не до того!

Помню, как однажды на семинаре в Дубултах, продолжавшемся две недели, я так ни разу почти и не заглянул в свой номер — зашел только лишь за машинкой, уже уезжая. Вдруг схваченный грустью, я постоял над письменным столом, за которым, по идее, я должен был трудиться не уставая... вместо этого он, девственный, покрылся слоем пыли! Куда меня тащит — и еще утащит — жизнь в образе этой раскосой бестии?

Я постоял над столом (внизу уже сигналил автобус), по пыли написал пальцем: «Мудак!» — и направился к лифту.

Потом она, когда пришли веселые времена, организовала какую-то артель с помощью своих братьев комсомольцев, а ныне бизнесменов — по пошиву детских носочков, почему-то на Кипре.

— Сшить ребеночку носочки, причем именно на Кипре, — разве не заманчиво? — усмехалась она.

Ее веселая лихость, раньше ухидившая на мелочи — например, очаровать дежурную по этажу, чтобы та меня всегда пускала, — нашла теперь достойное применение. «Лопатки татарчат» торчали теперь по всему миру — она звонила мне то из Хельсинки, то из Парижа.

Помню ее отчаянный автопробег по гололеду из родной Казани в Москву. В тот раз мы были с ней уже в самом роскошном московском «Гранд-суперконтинентале», ели из золота.

— А хочешь книгу свою выпустить, в золотом переплете?

— Так ты, выходит... золотое дно? — вдруг, задумавшись о чем-то постороннем, пробормотал я.

— Золотая лихорадка! — Она прыгнула мне на колени.

Да-а... Было дело под Казанью. Но в тот момент я вспомнил, что моему московскому брату, у которого я официально остановился, должны позвонить из ленинградской редакции: судьба рассказа решалась!

— И ты можешь уйти *отсюда*? — Она окинула взглядом окружающую роскошь.

— Запросто, — кротно ответил я.

— Да... жесткости я у тебя научилась! — сказала она тогда.

— А я — у тебя!

Может, тогда я и обмишулился? Как раз тогда она прочла мне гороскоп — именно мой звездный знак вместе с ее звездным знаком ждут большие дела!.. Похерил! Поперек звездного неба пошел! Вот и результат. А чё? Нормально.

Уж и не помню, чем я тогда увлекся. Только точно помню, что «чем», а не «кем»! На второй день уехал из Москвы на эти... ну, как их! Забыл!.. Похороны — вот! Потом вернулся к ней, но уже не тот. Похоронами заслонился — всегда умел использовать чужие несчастья для своих дел! Вернулся, но уже квелый. Федот, да не тот! Федот, да не тот, пальто, да не то, метод, да не этот.

— Любишь, значит, страдать? — холодно спросила она меня, когда я вернулся.

— Не то чтобы люблю, — бормотал я. — Но без страданий тоже нельзя. И задача писателя — научить людей пить страдания не из лужи, а из какого-то сосуда.

— Ну-ну... А я так тебе скажу: пока ты меня мишулил да егорил, твои лучшие силы ушли.

— ...Возможно.

Разговор тот — судьба точно выбирает — происходил уже в каком-то мерзком отельчике, окнами на хоздвор. Что заслужил! И потом я, бездушно-пунктуальный, сварливо-блистательный, сиял на следующем семинаре — уже без нее.

И вот теперь она в моей квартире... И что интересно — за ее деньги. И арендную плату с западной пунктуальностью отдает вовремя. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, но в ней они сошлись!

— Выпьешь? — Она открыла шкафчик.

— Да! — ответил я жадно. Мой принцип последних лет: на халяву — всегда! Отказываться — грех. Тем более халява, как правило, не из своего кармана, и уж у нее, хитро-веселой, точно какой-нибудь представительский счет.

Бутыль стала булькать. Фатма прислушалась к гулким голосам моих друзей, удаляющихся по двору.

— Паук увидел червяка — и подружился на века! — Она усмехнулась. — Твой стих.

Возможно... Я жадно глядел на бутыль. Последние три года единственный мой заработок — телепередача «Разуй глаза». Закрывается.

— Ну... за встречу! — сказала она.

— Это логично, — подтвердил я.

Ее передернуло, как раньше: все такой же идиот!

Пустые стопки стукнули по столу.

— Да-а... все-таки я поселилась в твоей квартире! — усмехнулась она, оглядывая кухню (сама меня сюда привела!). — Правда, не совсем в том качестве, о котором когда-то мечтала!

Ни о чем она таком не мечтала — все врет! По делу приехала, на огромный оклад, представительницей гигантской фирмы, якобы для благотворительности... Ну а на самом деле, конечно, чтобы меня соблазнить!

Но сейчас она больше меня устраивает в строгом облике верной жены американского предпринимателя Блалоса, грека по национальности, вице-президента фирмы «Пауэлл»... И это немало!

Это раньше, на семинарах тех, мы осматривали зал во время завтраков: «Ну что? Кого сегодня будем когтить?» И когтили же!

Но это — в прошлом! Сейчас она меня устраивает... да это я уже говорил! Так в чем, собственно, дело? Я холодно-вопросительно уставился на нее.

— Ну как тебе... эта идея? — Она кивнула на экран монитора, где продолжал лететь фиолетовый «чернильный ангел».

Как мне эта идея? «...За творческий вклад в дружбу народов в наши дни?»

— Замечательно! — воскликнул я. — Но я бы хотел сейчас, а конкретно сегодня, как раз разрушить мою дружбу... с представителем одной национальности. За это вряд ли дают премии. Мое дело мерзкое. Это Кузе с его идеями хорошо!.. А я? Не-е: я склочник на этот раз. «Склочник дружбы народов» я.

— Влип ты на этот раз крепко! — задумчиво проговорила она.

Знает? Да, информация у них поставлена сильно...

Передо мной была суровая американская женщина-ученый... Про Очу знает?

— Да... к светлой дружбе имею мало отношения, — сказал я. — И. о. подлеца — вот сейчас я кто в натуре! «Человека на улицу выгоняю», как верно Кузя сказал.

Ты сначала еще выгони! — подумал я.

Она надела очки.

— Нас, — (так и сказала — нас), — интересуют именно реальные ситуации теперешней жизни... — И добавила твердо: — ...а не Кузина туфта!

Как мы с ней когда-то шутили: «не в ту туфту»!

— Так что делай именно то, что считаешь необходимым, — закончила она.

Считать-то считаю, но сделаю ли? Я вздохнул.

Она глянула на меня сквозь очки уже вполне холодно: «Снова вас что-то не устраивает?»

Передо мной был какой-то симбиоз — прежней лихой красавицы и деловой американки? И вторая ее ипостась мне сейчас нравилась больше.

— А ты, значит, будешь наблюдать?

— Помогать, — ответила она сухо.

— Но так, ясное дело, чтобы не вмешиваться? Чтобы эксперимент, так сказать, остался чистым?

В словах моих, клянусь честью, не было язвительности!

В ответ она кратко кивнула и вдруг кинула откровенно жадный взгляд на компьютер — но не на мой отпечаток на мониторе, а на клавиатуру. У нее тут работы немерено, а я выпендриваюсь, как вошь на стекле!

— Ясно! — Я поднялся.

Со двора через открытые окна донеслось: фр-р-р! Взлетели голуби... И вдруг ожил давний миг счастья... такой же ленивый солнечный день... неподвижные облачка отражаются в распахнутых стеклах. Неподвижность, покой, счастье. Ленивый телефонный разговор с другом: «Нет... оказывается, не придем к тебе... Почему? — Переглядываемся с ней. — Переоценили, говоришь, свои силы? — Переглядываемся. — ...Недооценили!»... Смеемся, вешаем трубку... Та-ак. И так же, как тогда, вдруг поплыли неподвижные облака в стеклах — со скрипом поехала рама. Я покачнулся. Ох, чую — за-ночую!

— Ну все! — Твердо опираясь о стул, я встал.

— Захлопнешь, — не отрывая взгляда от компьютера, обронила она. На экране уже был не «чернильный ангел», а какие-то переплетающиеся графики — что-нибудь типа «динамики изменения уровня жизни в Японии и у нас».

— Пока.

Ну... «может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной»?

Не блеснула. Я вышел. Постоял на площадке, глядя в солнечный двор.

Не получу я никакую премию! Таланта хватит, а ума — нет.

...А может, и верно зря поперек звездного неба пошел?.. Не ту любовь уморил?.. Ту самую, все верно. Вперед! И так уже полчаса потерял! И полетит сейчас Оча из батиной квартирки, а с ним и друг его Зегза «белокрылой зегзицею», как княжна Ярославна... а какие там выйдут графики на компьютере — мне наплевать!

Безупречная чебуречная... и — вперед!

Было две лихие пересадки, три вагона метро — в одном все почему-то были в желтом, во втором — в зеленом, в третьем — в голубом. Только на бегу и удается любоваться красотами.

Одно из стекол вагона почему-то было измазано навозом — самым настоящим навозом, с соломинками... всюду жизнь.

И последнее наслаждение — салон автобуса. Какие приятные люди! Какие девушки! Спокойная счастливая жизнь!.. Последнее время лишь в общественном транспорте ее и вижу.

Но и это счастье кончилось — я вышел. Вот батин дом через дорогу. Местами покрытый коричневой плиткой, с элементами художественности... Когда-то престижный кооператив ученых... Теперь другой тут престиж!

Ну... час перед штурмом. Час — это ты хватил. Переведу только дыхание — и вперед... Хотя зачем его «переводить» — все равно собьется!

Вот... тут постою. Строительство метро, огражденное бетонными стенами. Стена шелушится от объявлений. «Стена плача». Почитаем. Может, какое другое спасенье найдем?

«Могу работать гувернером. Немного нем.». Что значит — «нем.»? Немецкий, что ли?

«Обезличу»... Это более-менее понятно.

«Огненный танец фламенко исполняю на дому»... На дому у кого?.. Ну ладно, не придирайся — сам-то что можешь?

«Отдых вне тела»... Не понимаю, но одобряю. «Адрес — улица Кладбищенская, дом 14. Обращаться по ночам»... На всякий случай записал.

«Не просто сварщик, а электрогазосварщик!»... Молодец.

«Убиваю комарей. Умелец из пучины болот».

«Хочу работать. Вложу всю душу».

«Русские голубые с документами»... Русские, но, надеюсь, не люди?

Коты?

«Вербуем на Север». Опять даль восстанавливать? Восстанавливали уже!

«Убью в Интернете». Заманчиво.

«Военно-патриотическое общество „Ни пяди во лбу“».

Живут же люди — на полную железку собственного мозга.

«ООО „Вагоны“, с ограниченной ответственностью».

«ООО „Последний путь“, с ограниченной ответственностью».

Как они тут-то ограничивают ответственность?

«Снимаю моральные проблемы».

«Рожу».

«Продается унция гороха».

«Радиоуправляемые хорьки».

«Требуется опытный печатник. Оклад — пять тысяч долларов в неделю».

Видимо, тех самых долларов, которые он будет печатать...

Ну все. Хватит тут стоять! Я человек непрактичный — но до определенных пределов. Иду.

Вошел в парадную — код, к счастью, сломан оказался. Главное — внезапность. Внезапность даже для меня самого!

Но перед началом штурма зайду к соседке. Нажал звонок.

Вера Афанасьевна.

— Здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Как там? — на стенку кивнул.

— Опять буйствовали вчера!

Это хорошо. Хороший повод.

— Разрешите, я позвоню... Оча? Это я, Валерий Георгиевич! — (Ленивое молчание в ответ). — ...Сын хозяина квартиры. — (Ленивое молчание). — ...Как наши дела?

В ответ — медленно, сипло:

— ...Я же сказал тебе — звони через месяц!

Гудки. Это хорошо! Правда, «звонить через месяц» он мне приказал ровно месяц назад... но и это хорошо!

Я вышел, позвонил в дверь. Тишина, потом — ленивые глухие переговоры за дверью... Тишина. Хорошо!

Вернулся к Вере Афанасьевне.

— Разрешите? — Открыл дверь на балкон. Вышел. К сожалению, у бати в квартире нет балкона. Но и это хорошо.

Перемахнул ногу, сел на перила.

Хозяйка всплеснула руками, метнулась — но не ко мне почему-то, а прочь из квартиры. Это правильно: ни к чему лишние чувства! Хватает своих.

Теперь с ее балкона перекинуться к батиному окну. Метра два всего-то лететь... но, к сожалению, силу тяготения даже на это время не отменишь! Поглядел вниз. Хорошо!

У «стены плача» стоял какой-то знакомый красный «пежо». Странно... Не такой ли я видел у себя во дворе?

Слежка?.. Это хорошо!

Вспомнил, как однажды с такой же высоты, из гостиницы, увидел Фатъму. Тогда, правда, была розовая зима, пушистое утро. За ней, лязгая челюстью, ехал бульдозер, сгребая снег, нагоняя, а она бежала, виляя пышными бедрами, игриво отмахиваясь: «Отстань!» Бульдозер брякал. Как сейчас увидел! «Красавица и чудовище». Вперед!

Одной ногой на краю балкона, держась руками, другую ногу свесил... Холодит!

Подоконник, к сожалению, слишком покат, но зато педантичный батя привинтил с внешней стороны рамы градусник на кронштейне... Молодец, батя! Все предусмотрено!

Из «пежо» что-то длинно блеснуло. Бинобль? Фатьма наблюдает? Молодец.

Теперь — шаг в пустоту. К счастью, не в абсолютную. Батя кое-что сделал и для моей жизни. Вот — оторвал дом улучшенной художественной планировки, не зря его называют в народе «дом с шашечками»... есть куда ступить... Хотя до этого, думаю, нога человека сюда вряд ли ступала!

Надавил ребром ботинка на шашечку, художественно выдающуюся кафельную плитку. Удержит? Я, главное, — удержусь?

Хорошо висим! Раскорячился, как паук. «Паук увидел червяка, и подружился на века!»... Только хохоту мне сейчас и не хватает!

Вот он, градусник на окне. Трех сантиметров не достает пальчик. Заодно и температуру померим... Левой рукой — за градусник, правой — сквозь стекла. Только так.

Оглянулся на прощанье... Автомобиль блеснул. Втахова смотрит? Может, «грант» метнет?

Говорила кокетливо: «Но я другому отдана... Причем — тобой!»

Лихой я парень! Под знаменем Фонда Пауэлла, с грантометчицей Втаховой — вперед! «Человек создан для счастья, как птица для помета!» С этими словами метнулся: левой рукой — за градусник, правой — сквозь звонко лопнувшие стекла, ухватился за подоконник в комнате... Ну что, Оча? Нравится окровавленная рука? Отпустил градусник (красный столбик заметно подрос!), полез в комнату сквозь стеклянные сосульки. Сверзился на ковер.

Ну что, Оча, — не ожидал?

Они как раз сидели на ковре скрестив ноги, когда я к ним присоединился. Многовато их, правда, оказалось, все с сизо-бритыми головами, некоторые с бородами. Совершали намаз? Извините. Не пришлось согласовать: слишком кратко ваш Оча изъясняется. Краткость — сестра таланта, но не его мать.

Сидел, зализывая кровь на запястье. Батя, я думаю, мною доволен был бы. Помню, он рассказывал, как во время войны ехал на подножке поезда, лютой зимой, к нам на побывку, с тяжелым рюкзаком муки за спиной — всю ночь провисел. И не просто провисел, а когда, обледенев, стал стучать в дверку вагона, чтобы открыли, вот так же, как примерно сегодня я, стекло разбили изнутри — еле успел увернуться от осколков — и тут же каким-то острым костылем стали в лицо ему тыкать, желая спихнуть с подножки: в тот момент как раз поезд по мосту шел, высоко над рекой. И всю ночь в него этим острым костылем били, а он уворачивался, но так, чтобы поручней не отпустить. И мешок не сбросил! Молодец, батя! В конце концов умудрился костыль тот железный ухватить и завязать его узлом! Вот так вот! Благодаря тому, что он тогда доехал с мукой, и я выжил. Что же — я хуже его?

Здорово, ребята!

Смотрели они на меня, прямо скажем, недружелюбно. Это естественно. Сквозь стекла вваливается окровавленный тип, без предварительной договоренности. Но и на Очу — заметил я — они как-то злобно глядели. Может, он сказал им, что квартира сия куплена и все в порядке? И вдруг — гость из окна. А может, хозяин? Как-то страстно-вопросительно они смотрели на Очу. Хотя, как увидел я (и вежливо поздоровался), и Хасан тут, прежний жилец... он бы мог, казалось, всем объяснить историю появления Очи здесь. Или мне все рассказывать?.. Сейчас — только отдышусь!

Странно, я пригляделся: Хасан тут (давно вроде исчезнувший), а Зегзы, близкого Очиного друга, почему-то нет. Ответственности испугался? Моральной? Или материальной?

Чувствовалось по их молчанию, какому-то серьезному их делу я помещал.

Но и у меня случаются некоторые дела! Улыбаясь, глядел я на них — но ответной улыбки не заработал. Пошел вдруг колотун в дверь.

Извините — открою.

Никто не шелохнулся. Открыл.

Соседка, с милиционером. Это хорошо.

Мильтон, молодой совсем, оглядел собрание.

— Что тут у вас? Кто в окно в квартиру влез?

Общее молчание. И я молчу... Говорил же я Втаховой, что я нехороший!

— Документы!

К счастью, вроде бы не ко мне!

Те стали вынимать какие-то потертые грамоты. Милиционер мельком глянул... Не русские... И не голубые. Но — с документами.

— Ясно. Выходим.

Все стали хмуро подниматься.

— И ты!

Оча как-то обособился от своих, но неудачно.

— Я? — удивленно Оча проговорил.

— Ты, ты!

— Я ни при чем! Это земляки мои зашли... Но я их не знаю.

— Вот и не предавай своих земляков. Собирайся!

— Я их тут подожду, — заупрямился Оча.

— Это как хозяин скажет. — Милиционер посмотрел на меня.

— Нет... лучше не здесь, — сказал я...

Говорил же я Втаховой, что я нехороший.

— Обувайтесь! — усмехнулся мильтон. — А ты собирай манатки! — сказал он Оче. Видно, был уже проинструирован соседкой.

Стреляя в меня взглядами — мол, не уйдешь, отомстим! — гости вышли.

Оча вслед за ними выволок баул.

Отомстят, не сомневаюсь... Я и сам-то жить не хочу. Но буду. Я лег.

Ночь кошмарно прошла — вся почему-то в стихах... но сил, чтобы собраться и уехать, не было у меня. Зато мозг бушевал, даже во сне.

«Кавказ! Далекая страна! Жилище вольности простой! И ты несчастьями полна и окровавлена войной!»

Господи! Зачем я так хорошо учился в школе — и все это до сих пор помню?

«Оседлал он вороного и в горах, в ночном бою, на кинжал чеченца злого сложит голову свою!»

Проклятая эрудиция!

«Подожди немного, отдохнешь и ты!»... Но в каком смысле? «Он спит последним сном давно, он спит последним сном. Над ним бугор насыпан был, зеленый дерн кругом... и... и... и бледны щеки мертвеца. Как лик его врагов бледнел, когда являлся он!»

Как же, тут уснешь.

«Чу!.. Дальний выстрел! Прожужжала шальная пуля... славный звук!.. шум, говор. Где вторая рота?»

Действительно — где? Выходит, я с классиком почти что сравнялся по ощущениям?

«Что, ранен?.. Ничего, безделка! И завязалась перестрелка. Все офицеры впереди... Верхом помчались на завалы... И пошла резня, и два часа в

струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили... Как месту этому названье? Он отвечал мне: Валерик, а перевесть на ваш язык — так будет речка смерти»...

Находясь в семье, не мог себе позволить отчаяния, а тут — упивался! Утром я, врезав с помощью соседки другой замок, пошел на вокзал.

СВЯТОЙ МЕФОДИЙ

— Ты где был? — спросила жена. И это благодарность за подвиги!

— Знаю, ответ мой тебя огорчит своей неоригинальностью. Был дома... у бати! — вовремя уточнил я.

— Ясно! — Ушла, уничтожив взглядом.

Батя, раскорячась, писал за столом. Глянул на меня одним недоуменно вытаращенным глазом... По-моему, даже не понял, что я уезжал... Ладно, потолок потом! Пошел в прохладную комнату, стянул свой рваный бешмет...

Осмотрел свое тельце... В происхождение ран все равно никто не поверит! Лег.

С кухни донесся гулкой звук — удар очищенной картофелины о раковину...

И долгая пауза. Это все?

«В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я»...

— Иди завтракать, — заглянув, сухо сказала жена.

Вот он, удел героя! Я пошел. На стенке у двери был приколот большой разрисованный лист — церковный календарь с картинками и комментариями: мать Битте-Дритте незадолго до смерти подружилась с Богом.

1 июля — святой Федул. Федул, что губы надул? В этот день обычно льет дождь. Федул заглянул — пора серпы точить, к жнитве готовиться.

2 июля — Зосима, покровитель пчел. Пчелы быстро летят к ульям — значит, скоро дождь. Перед засухой — жалят злее. Если сидят на стенках ульев — жди жары.

3 июля — Мефодий, паутинный день. Пауки свисают с веток. Примета: какой день на Мефодия, таким всему лету быть. Мефодий — все лето приводит.

Господи! Так это сегодня как раз! Думал отдохнуть, расслабиться — ан нет! Какой сегодня сделаешь день — таким все лето будет!

...Вот завтра и послезавтра вроде обычные дни, а потом опять:

6-е — Аграфена, канун Ивана Купалы. Утром париться в бане, купаться до позднего вечера с песнями и играми? Заготавливать веники. На Аграфену хорошо сажать репу. Репа, посаженная в Аграфену, особенно крепка.

7-е — день Ивана Купалы. Купание в росе и воде. С утра надо сделать два-три покоса. Вечером — прыжки через костер. Мужики гоняются за бабами по лесу...

Зачем — не указано.

Спать нельзя — одолеет нечисть. Там, где зацвел папоротник, — ищи клад.

Хорошо бы устроиться завкладом!

Но пока — святого Мефодия преодолеть! Каков Мефодий — такому и лету быть. Сильно мучиться бы не хотелось. Выглянул в окно — белые облака, с чернильной подкладкой. Ну, держись, Мефодий!

Вышел на террасу, где жена и отец, недовольные чем-то (или друг другом) сидели молча, отрешенно над манной кашей.

— Со святым Мефодием вас! — проговорил я развязно, усаживаясь.

Отец не прореагировал. Лысый череп его сиял. Жена глянула злобно: мол, дома не ночует, а еще несет какую-то чушь!

Так... Можно? Я понес ложку каши ко рту — но был застигнут вопросом:

— Ты где был?

— Я уже говорил тебе! Дома! — начал бешено, но кончил скромно. — У отца.

— Я звонила туда. Никто не отвечал.

— Я спал.

— В восемь часов вечера?

— Да, представь себе! — заорал я.

— А где был Оча? — ехидный вопрос.

Тут я сник. Объяснять все подробно — значит вызвать новый виток ужаса. Пусть уж подозревает что угодно, лишь бы не истину! Не будем пугать.

— Молчишь? — торжествовала жена.

— Бесплезно говорить!

— Бесплезно?! Конечно, тебе только с другими разговаривать!!

Я сник окончательно. Держись, Мефодий!

Интересно наблюдать за отцом — он словно не здесь находится. Во-круг лысины сияние, глаза за темными очечками не видны. Похож на крупного шпиона, который умело маскируется. Маскирует свои мысли, которые далеко. Явно, что не здесь. Молодец, профессор, — весь в себе.

Даже неинтересно при нем ругаться: абсолютно не слышит.

Вдруг тонкие его губы расплылись в благостной улыбке.

Решил нас помирить? Как же!

— Я сейчас гулял — и сделал инте-рес-нейшее открытие! — Даже поглядел, довольно живо, на нас. Как потенциальные слушатели его открытий — в таком качестве мы его устраивали. Практически в каждую прогулку делает инте-реснейшие открытия. Азарта, огня у него навалом — только направлено все это на его собственные дела.

— Иду вдоль озера... — Он окончательно разулыбался. — И чувствую — что-то поблескивает перед глазами. Думаю, может, с глазами что-то?

Он сделал вкусную паузу, поел... Разговаривает он так же обстоятельно, как ест.

— И что же ты думаешь? — задорно ткнул меня в бок: настолько раздобрился, что даже сына своего узнал. — Гляжу — на всех ветках блески, как на новогодней елке!

Снова пауза, гулкий хлебок чая. Наконец продолжил:

— ...И понял! — радостно шлепнул себя по колену. — На кончике каждой веточки — паучок! Абсолютно мизерный, микроскопический!

Да, зрение у него в восемьдесят семь такое, что позавидуешь.

— И — каждый паучок! — выпускает из себя сияющую паутинку — тысячи их и развеваются, как флаги! Выпускает, выпускает, на ветру они вытягиваются, сверкают... И точно рассчитывает длину, когда ветер его подхватывает, и он летит!.. Видал-миндал! — Он пихнул меня дружески и радостно захохотал.

Да, его силам и его счастьем можно позавидовать.

Впрочем, по статистике один из двоих должен быть несчастлив. Это я. Хотя желания особого нет. Но есть необходимость

— Ты, когда в город ездил, к Оче не заходил? — пытаюсь тихонько подвести его от парада паучков к важной теме. Бесплезно. С блаженной улыбкой так и застыл. Улетел, как паучок на паутинке. Земное все — это на мне.

— Так ты был или нет?! — Это я произнес уже на крике.

Никакой реакции! Молодец! Только улыбка, что еще теплилась, полностью погасла. Отъехал! Связь с реальностью — только в еде. Как паутинка у паучка.

— Ты слышишь?

Молчание. Черные непроницаемые очки.

Потом оттуда, издалека, вдруг протянулась длинная белая рука, абсолютно точно ухватила сахарницу и утащила к себе. И сам батя утянулся куда-то туда, как на резиночке. Снова полная непроницаемость!

Мы с женой переглянулись и, не удержавшись, расхохотались. Давно этим любимся. Да, крепкий старик! Сблизились на его почве. Таким, наверно, и надо быть, чтобы дожить до его лет и еще так крепко соображать — и главное, сберечь азарт и горячность! Вот именно — сберечь: трахать не на все подряд, а лишь на то, что его действительно волнует.

Но кто примет его за благостного старичка и сделает неосторожный шаг — крепко нарвется. Разъяренный медведь-шатун на него вывалится!

Поэтому я и веду главную линию так осторожно. А скажи я ему, что выгнал Очу, — он сразу очнется!

— Как? — рявкнет. — Ведь он же нам деньги должен?!

Тут он реалист. Хотя в деталях — большой художник!

— Ведь надо же было с ним поговорить! Должен же он понимать человеческие доводы! — примерно так заговорит.

И в душе прекрасно понимает, что несет нечто «общеобразовательное», что должно быть, но не бывает!.. Но для него плавная речь, аргументация, эрудиция (прячется за ними) гораздо ближе, чем истина. Грязной истиной должен я заниматься. Поэтому просто сотрясать стекла не будем. Помолчим. И культурно закончим завтрак: какой день на Мефодия будет — такое лето.

— Да, — вдруг радостно улыбнулась жена, — к нам сегодня может Оча приехать!

...Как?

— Я когда в городе у Насти была, позвонила ему! И мы так хорошо с ним поговорили! — Она счастливо зажмурилась. — Это только ты с людьми нормально разговаривать не можешь!

Теперь плюха с этой стороны! И у нее — только любовь и счастье. И у отца — только паучки летают! Один я тут такой — и. о. подлеца. Да, похоже, что Мефодий не такой уж святой!

— Но денег не обещал, конечно? — Я подло улыбнулся.

— Сказал, что придет! — отчеканила жена и свысока на меня поглядела: я, мол, все устроила! Этого мало тебе?

Молодцы, ребята! Главное теперь — тихо-мирно завтрак закончить и разойтись. Тем более, что каша кончается: в волнении не заметил, как огромную миску сметал!

Да, к Оче надо приготовиться, на всякий случай валы, редуты и другие земляные укрепления возвести.

Оча — это венец нашей многолетней дружбы народов, и надо подготовить ему достойную встречу!! Ну хоть какую-то подготовить.

Ключ от нового замка батиной квартиры тяжелит карман, холодит ногу, как надежный кольт. Какие-то ковбойские ассоциации пошли. Вполне, впрочем, своевременно — стоит только вспомнить их сизые, бритые головы!

«Делибаш уже на пике — а казак без головы».

Проклятая эрудиция! Впрочем, и бдительность не помешает! При таком союзнике... союзнице! — я кинул взгляд на жену — и таком союзнике — взгляд на батю, которому все до фонаря, — Оча вполне может победить меня — даже путем дипломатических переговоров загнать в зад. Впрочем, вряд ли он пойдет на мирные переговоры после того!.. Внутри как-то похолодело. Ну ничего! Я вышел на солнышко — в аккурат оно выгнуло из-за туч... Держись, Мефодий!

Но тут услышал батин скрипучий голос — и метнулся обратно: сейчас не то наскрипит, жена снова расстроится: вдвоем их нельзя оставлять, обязательно мне надо быть!

— Однажды мы с моим другом Кротовым... покойным, — говорил батя, словно не замечая никого вокруг, уплывая в мечту, — отдыхали в Ессентуках... Вот там была манная каша! — Глаза его, оказавшись тута, умильно-восторженно сверкнули... Никуда он не делся — тут он, тут! И даже — в бою: доказывает свое превосходство, более высокий класс своей жизни по сравнению с нашим убогим! Ставит нас на места. Конечно, в его возрасте надо поддерживать тонус, кого-то побеждать — а кого ему побеждать теперь, кроме нас?

Жена откинулась на спинку, щеки ввалились, как вчера утром, лоб сверкал потом. Батя сиял. Гордо отставил тарелку (начисто, кстати, выливанную — хоть и не та была каша), расправил плечи.

— Прекрати! Ты что, не видишь, что ей плохо? — заорал я.

Батя смиренно потупился.

— Ну, пожалуйста. Я могу вообще ничего не говорить. Я и так почти все время молчу. Могу умолкнуть вообще! — Он поднялся.

Лицо у жены дрогнуло: она стала *возвращаться*. Веки стали подрагивать: спешит. И глаза ее наконец открылись. Она смотрела бодро и весело.

— Ну чего мы все ссоримся? — улыбнулась она. — А давайте будем жить хорошо? А то сидим все по углам! Этот все где-то пропадает! — Она уже ласково ткнула в меня кулачком. — А давайте придумаем что-нибудь! — Теперь она сияла, хоть и немного искусственным светом. — Поехали на лодке кататься, а?! — Отец стоял гордый, оскорбленный, отрешенный, как монумент, но тут она и его ткнула кулачком. — Ну что, вредный старикашка?! — Отец чуть-чуть разлыбился. — Все, побежала за веслами! — Она подвигала кулачками вперед-назад, а потом и действительно, хоть и медленно, вышла.

Мы молча постояли с отцом, потом он вздохнул, положил мне руку на спину, похлопал. И ушел к себе, и снова раскорячился над рукописью, как краб, словно все происшедшее здесь не имело никакого отношения ни к чему и давно забыто.

Я вышел на крыльцо. Жена как раз подходила к калитке. Над высоким плетнем, отделяющим нас от дома Саввы, торчала огромная лохматая, почти человеческая башка со страдающими глазами. Анчар, как грозный часовой! Когда его башка возникала над двухметровым плетнем, да еще с тихим рычанием, все шарахались. Но сейчас глаза его излучали не ярость, а страдание и вопрос: куда пошла? Неужели опять не к нему? Сколько же можно? Страшный этот пес, гроза поселка, почему-то влюбился в жену, маленькую и сухонькую, и сразу, только она входила, опрокидывался на спину, катался и радостно скулил. За что? Почему? Меня так, например, он ненавидит и точно разорвет — а ее полюбил. Причем бескорыстно! Грозный Савва, его хозяин, сам такой же свирепый, как пес, строго запрещал посторонним кормить его, и пес полюбил жену просто так, как, впрочем, и хозяева. Когда жена брала у них молоко, они выходили на крыльцо и, чему-то там улыбаясь, беседовали с ней... мне не докладывали.

Ну что ж... у каждого свой регион. И за веслами, больная и слабая, всегда ходила именно она. Я даже и не пытался: куда мне! Я злобный.

И сейчас она стояла в их палисаднике, скрестив весла за спиной, как крылья, и, кивая маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой, внимательно слушала что-то, что ей рассказывали с высокого крыльца Маринка и Савва и даже шутливо ссорились, отпихивали друг друга — кому рассказывать первому. Слышалось тихое блаженное скуление Анчара, кавшегося, видно, в пыли перед нею... Любовь!

Ну все! Сколько же можно так стоять? Надо и действовать!

Вот потому тебя никто и не любит, что ты не можешь *так* стоять! Хорошо кому-то быть добрым — но кому-то необходимо быть и злобным.

Я огляделся. Если вскоре нагрянут джигиты — что мы имеем, кроме плетней?

Хозяин мой, Битте-Дритте, как всегда, блистает своим отсутствием... С тех пор как закрылось ДРСУ, он перешел на жизнь «вольного стрелка», даже создал у себя в гараже ремонтную мастерскую — сделал «яму», чтобы подлезать под машину, но дальше этого дело не пошло: клиенты не едут, а сам Битте постоянно отсутствует. К тому же у входа в наш проулок, в знак протеста против социальной несправедливости (когда его выгнали из ДРСУ), Битте поставил свой огромный заляпаный «КРАЗ», который никому, видимо, больше не был нужен. На его грязной стальной дверце кто-то (видимо, хозяин) написал пальцем: «Это не грязь. Это пот». Но пот этот давно засох, а Битте-Дритте, как правило, отсутствует... что мне, как писцу-затворнику, даже на руку. Когда он появляется, его сразу же становится много. Грузовик свой он, видимо, поставил, как затонувший линкор у входа в бухту: чтобы враг не прошел? Но никакой враг не рвался. Разве что наскочат кавказцы? Тогда — умно. Но на самого Битте в случае битвы вряд ли приходится рассчитывать. Вот победу отпраздновать, если доживу, — другое дело.

Я перевел взгляд на Савву, который, могуче зевая, потрясал кулачищами на своем высоком крыльце. Последнее время редко трезв... но, может, это придаст ему дополнительную удаль? У него лишь единственный недостаток — на меня ему «глубоко наплевать», и если будут резать, он будет так же аппетитно зевать. Связь с ним может установить только моя жена — но просить бабу помочь?

Хозяина моего Савва глубоко презирает и, если надо за чем-нибудь, зовет его: «Эй, ты, раздолбай!» А ведь родные братья по отцу, отец их — грозный милицейский начальник Муравьев, «Муравьев-вешатель», как называл батю родной сын Битте-Дритте, в армии набравшийся разных знаний, в том числе из истории. И вот родной сын грозного Муравьева подался в «раздолбай», а побочный сын, от Надюшки, неожиданно удался в отца, такой же свирепый и могучий и тоже — милиционер, гроза окрестностей. «Мусор-рини», как презрительно его кличет родной законный брат. Вот Савва — это боец! Попросить жену замолвить словечко? Но она, видимо, считает, что все прелестно — вон как улыбается! Не будем рушить идиллию.

А вся идиллия в том, что рассчитывать не на кого. Вон Третье Тело на помосте. Какая силища! Но такое Тело надо беречь.

Я вспомнил вдруг знаменитый вестерн «Полдень». Такое же зловещее затишье, жара. Огромный сутулый шериф (Гэри Купер), роя мокасинами глубокую пыль, обходит вот такой же сонный поселок, пытаясь выяснить, кто же завтра встанет рядом с ним на бой с бандитами. Оказывается — никто.

Аналогичная ситуация.

Даже на Диком Западе, где всем положено палить без устали, и то никто не поднялся, а уж тут — что говорить. Да и какой я на хрен шериф? Погибну — и только. Но погибель свою никому не отдам.

Наискосок глянул — у Надюшки за оградой сиял синий «форд», и Левин на открытой террасе у своей мамы Надюшки кушал чай, время от времени прикладывая к уху телефончик. Да, несмотря на «затопленный линкор» классовый враг все же проникает в наш переулок — по канаве линкор объезжает. Левин опутал своей сотовой связью весь Карельский перешеек, но просить его дать трубочку на миг, позвонить друзьям в город, бесполезно. Он даже родному отцу трубочку не подарил — приходится Зиновию обходиться телепатией. Да, если всем на мои дела просто наплевать, то Левину — «глубоко наплевать»!

Вот такая рекогносцировка. Жена с веслами, торчащими высоко над головой, пыталась открыть ногой калитку. Кинулся ей на помощь — раз уж от моральных усилий избавил себя, приложу хоть физические.

Отец, уже раскорячившийся над рукописью, вскинул голову в ответ на мое предложение покататься на лодке, дико сморщился, ничего поначалу не понимая. Потом наконец понял... «А! Давай!» Но поднялся с некоторой неохотой. И шел в задумчивости, не отойдя еще от мыслей. Счастливчик! Думает только о своем. Но так, наверное, и надо жить, если хочешь сохранить такую вот крепость духа! У нас с ним, как по ружью, по веслу на плече — жена шла впереди, счастливая: вот как все у нас хорошо!

Мы спустились по узкой песчаной тропинке к озеру, вилия между могучими корнями сосен, похожими на огромных пауков.

Отец вдруг отрешенно усмехнулся. Наверяд ли это относится к конкретной реальности. Но все же я спросил:

— Ты чего?

— Как белорусы идем! — сказал отец и после паузы счел возможным пояснить: — Вспомнил я: в Первую мировую у нас в деревне белорусы жили — от немцев бежали. И помню, мне еще три года было — но ясно помню, их сразу можно было узнать. Ходили только цепочкой, в затылок друг другу... вот как мы сейчас. Улица широкая в деревне: а они как по тропке, гуськом!

Любимая тема теперешних его писаний — влияние условий на культурные и дикие растения, и этот пример тоже подтверждал его правду: «условия жизни все определяют» — он даже приосанился и победно огляделся. Жена, наоборот, тяжело вздохнула и, замедляясь, утерла пот. Ее-то как раз угнетали все эти экскурсии его в науку и историю, она сразу начинала мучиться («ни о чем конкретном не хочет знать!»), но он словно не замечал... Или — специально?

Даже мы, трое самых близких людей, не можем разобраться — что же говорить о чужих?

Отец размашисто, по-хозяйски сел в лодку — под ней, отраженные от берега, гулко захлопали волны. Я стал разматывать цепь вокруг корней сосны, нависших над водою.

— Да дай сюда... не умеешь ни черта! — Он яростно вырвал цепь из моих рук.

Разгулялся батя!

Но вот святой Мефодий, к сожалению, не разгулялся: день был душный и какой-то тусклый... Все лето будет таким?

Не было видно ничего — даже ближние острова исчезли в тумане. Жена вздохнула, глянула на меня (пот блеснул на верхней губе): «Вроде мы и так все уже помирились? Может, не поплывем?»

Но тут и я уже не выдержал — сколько можно сдерживаться, улыбаться, всем угождать?!

— Садись! — рявкнул я. — Как раз тебе надо покататься, воздухом подышать!

Думал ли я так в действительности?.. Да нет. Просто не удержался, злону сорвал. Когда кончатся наконец все эти мучительные переплетения?.. Видимо, никогда.

Жена, держась за меня (как исхудала-то, руки — спички), пробралась на корму, уселась. Я с грохотом (какое эхо в тумане!) стал втыкать весла в уключины. Поплыли неизвестно куда — уключины закрипели.

Я греб молча, потом поднял весла, не греб... Мы тихо скользили... Ну вот, добился своего, пригреб в *никуда*, где нет *ничего* — даже друг друга нам не видно. Ну, хорошо тебе тут, где нет ничего? Спокойно? Я бы не сказал. Булькали капли с весел. Все молчали — жена обессиленно, отец злобно: хотел завести беседу на совсем постороннюю, нейтральную тему — и тут встретил отпор! Вообще тогда умолкну!

Вот и помолчим! Но вздохи жены были тяжелее слов. Действительно, выехали на озеро подышать, а тут дохнуть буквально нечем, неподвижное

удушь! И что ж — ничего вообще не делать: сложить лапки, сушить весла? Буду делать! Хотя поначалу вроде не то... но куда-то доедем!

Из мглы сначала неясно, потом все страшней выглянул черный, полужатоженный-полусгнивший какой-то размочаленный остров... Это куда же мы заехали... не помню такого. Легкий ужас... тоже стер со лба пот. Стикс какой-то, а не озеро Раздольное!

Вдобавок ко всему из мглы стал доноситься прерывистый треск... это «новый русский» с того берега, где сплошь виллы, сел на водный мотоцикл — и помчался, видимо, с полного отчаяния — куда *глаза не глядят*. Мы-то хоть тихо плывем, осторожно... А он все ближе, все громче... сейчас врежется! И, мазанув страхом, как краской, где-то совсем близко от нас отвернул, стал удаляться... и снова близится, нарастает!! Хорошо катаемся!

— Я прошу тебя! — Из тумана высунулась высохшая рука жены, коснулась моего колена. — Вернемся! Мне нехорошо... и страшно!

Знать бы только — *как возвращаться?*!

— Сразу уж — возвращаться! Только сели! — проскрипел из тумана отец.

Не думаю, чтобы его так уж радовала эта прогулка. Просто — лютует батя!

Вот теперь я понял, куда плыву! Туда же, в общем, куда все плывут: к гибели. В тумане вдруг образовалось окно, точней, длинная светлая труба, и эта «подзорная труба» упиралась в высокий мост — там, где речушка наша впадала в озеро, — и на мосту все ясней проступало зеленое пятно: мучительно знакомый зеленый «ниссан». Вот и Оча пожаловал, для полного счастья! Вон он стоит рядом с дверцей, весь круглый и безволосый, как колобок. Я знал, что разлука наша будет недолгой, — но так скоро! Как же ему без меня? Не в «ниссане» ведь жить!

Перед Очей стоит простая русская женщина — кажется, почтальон — и, плавно, задушевно жестикулируя, показывает ему дорогу — видимо, ко мне. Вряд ли кто-то еще его интересуется: ближе меня никого у него нет... Как раз почтальонша третьего дня телеграмму мне принесла — ей ли не знать? Все складно! Золотое сияние сверху заполнило «трубу». Вот в эту трубу, к золотому сиянию, и вылечу! Вперед! Прямо вдоль трубы и поплыл. Где-то совсем близко с диким ревом промчался водный мотоцикл — но не до него уже, другие дела!

— О! К нам Оча приехал! — обрадованно воскликнула жена. — Скорей гребь!

За что она любит его? Видимо, за простодушие... зверское простодушие.

— Ну наконец-то! — подняв голову из задумчивости, проворчал отец.

Ему, видно, кажется, что Оча привез долг. Но Оча, боюсь, думает, что должны мы!

Гулко ткнулись в корень сосны. Ну все. Суши весла. Прогулка закончена! С веслами на горбу выскочил на берег, и жене не успел руку подать — она на радостях — увидеть любимого Очу — сама на берег полезла.

— Ч-черт! — по песчаному краю в воду съехала, и несколько крепких корешков по ноге пробороzdило.

Одно к одному! Мелкая вода, пологие волны, колеблющаяся золотая сетка. Вытащил жену. Нога кровоточит, и щиколотка сразу же стала исчезать, опухоль сровняла ее с ногой.

— Не вставай на ногу! Скачи! — Второе весло бросил, жену под руку взял. Поскакали. — Может, ты возьмешь второе весло все-таки?! — вслед отцу крикнул. Он уже задумчиво удаляться стал... вернулся, недовольный, резко взял весло. Мы поскакали. Уже не как белорусы — как чисто русские люди...

Усадил жену на диван, снял тапок... Пошел процесс!

— Ладно... Не двигайся!

Батя с демонстративным грохотом весло к веранде поставил и удалился в свои апартаменты. Осерчал. Но сейчас это не главное. Главное — дорогого гостя встречать. Хорошо хоть приехал, кажется, один. На разведку? Не похоже! Громко, нагло сигналил у поворота, где наш «КРАЗ» стоит, как последняя крепость. Совсем перестал снимать руку с гудка. Всех поднимет! Так они сигналил обычно, когда едут дружной вереницей на чью-то свадьбу. А сейчас? «Кровавая свадьба»? Впрочем, кровь уже полилась: жена над тазом поливала ногу из чайника, и с грязью стекало розовое... Я готов! Честно говоря, настроение такое, что погибнуть в бою — самое милое дело!

Вскинул весла на плечи, пошел туда. Не ружья, а весла, но все же что-то! Типа оглобли. И потом, если треск от них пойдет — Савва, может быть, выскочит?.. Хитер! Умен! Расчетлив!.. Но перестань же гудеть! Я не жених — мне это неприятно!

Переулочек — как положено, как в фильме «Полдень» — словно бы вымер. Жара, безлюдье. И я иду навстречу бандиту, одинокий шериф. Медленно иду. Правильно баушка говорила: «Не торопись на тот свет — там кабаков нет!» Лишь Левин весело поблескивает своими бусинками из-за Надюшкиной ограды. Ну что ж... и за это спасибо!

«КРАЗ», «затопленный линкор», мешает «ниссану» японскому проникнуть в бухту — и это хорошо. Хоть что-то защищает! Изделие русских мастеров. Умиление вдруг почувствовал, чуть слезы не потекли. Но — не время! Под «КРАЗом» козы и козлы блаженствуют в тени, жуют жвачку, и беспокоить их, заводить машину даже ради дорогого гостя — нельзя!

Вот так. Неторопливо обошел и с улыбкой перед Очей предстал.

Он стоял на песке и как раз нервно сунул руку в машину, чтобы снова сигналить, — но тут увидел меня.

Один прибыл? Это благородно. Я тоже один. «Битва при Валерике! Слова М. Лермонтова. Музыка народная. Исполняет В. Попов!»

А весла зачем на плече? Деталь эта заинтересовала Очу.

А это — загадка.

— Уберешь, может, грузовик? Никак не проехать! — миролюбиво проговорил Оча.

Да, один бы он мстить не приехал. Явно — на разведку. Фу-у... полегчало! Удерживая сгибами руки весла, утер пот.

— Это так... всегда тут стоит! — Зевая, я махнул рукой в сторону грузовика.

— К тебе гость приехал... Ты так встречаешь?! — бешено проговорил Оча.

Похоже — то не просто разведка... Разведка боем. Ну что ж! Я поправил на плечах весла.

Таких гостей лучше под крышу не пускать — потом не выгонишь! Надеюсь, мой взгляд это красноречиво сказал.

— Меня жена твоя звала в гости — ты что? — «изумился» Оча.

Я развел руками, придерживая весла. Зевнул — может быть, нервно.

— Не проехать тут!

Выдержал взгляд его довольно твердо: мол, раз не проехать — придется ехать назад.

— Жена твоя говорила — тут починиться можно?! — Он уже добродушно разулыбался.

— Не-е... — Я равнодушно зевнул. Все ясно?

Но Очу такой ход событий тоже устраивал — мол, приехал дружески, а оскорблениями довели до кровопролития! Законы чести вынудили пролить кровь. «Доведенный оскорблениями до предела», Оча метнулся в «ниссан»,

заскрипели передачи — и боком, по канаве, он стал въезжать! Не опрокинулся бы ненароком! Я в тайной надежде пошел к Савве. Но нет! Никому нет дела. Жара. Полдень. Да никто мне ничего и не должен. Я сам.

Жена, добрая, выскочила, хромая, ворота перед машиной радостно открыла, отец равнодушный (не выглянул даже посмотреть, кто приехал)... я — злой. И хорошо, что есть еще силы злым быть... кто-то же должен?

Ключ от нового замка батиной квартиры жег мне карман, как кольт, — но, в отличие от колты, ключ не вытащу никогда!

Подошел к Саввиному дому... Все время стеснялся заходить, но сейчас надо!

«И бледны щеки мертвеца, как лик его врагов бледнел, когда являлся он один среди их рядов!»

Анчар, как грозный часовой, ходил на задних лапах — того гляди, себя цепью задушит! И не лай, а тихое нарастающее рычанье... самое страшное! Смотрел он, правда, не на меня, а на Очу... правильно чует! Но все же в сарай я не пошел, прислонил весла к крыльцу — и увидел ноги. Савва стоит! И правильно смотрит!

Но жена в это время кинулась обнимать круглого Очу! Умница! Хрен теперь Савва поверит, что это враг!.. Жена — хрупкое существо, а наворотила много! Все, хватит!

Уйду на фиг по воде — пусть сами разбираются! Анчар рычал. Савва зевал, даже не глянув на меня. Отсюда, теперь со стороны, я видел, как в палисадник вышел из дома батя, похожий на знаменитого Анатэму из пьесы ужасов Леонида Андреева, — лысый, худой, без волосинки, в непонятных черных очках.

Он задумчиво шел к уборной, стоящей за оградой, — и буквально впилился в Очу — иначе бы и не заметил! Но тут уж пришлось отреагировать — хошь не хошь!

— О! Оча! Приехал? Молодец! — Оскалив свои крепкие еще зубы, батя схватил двумя руками мощную длань Очи и встряхнул. Но тот, кто принял бы это за проявление душевности, разочаровался бы! Тут же потеряв к Оче всякий интерес и снова погрузившись в себя, батя проследовал к туалету. Брякнула щеколда. Оча глядел ему вслед изумленно: как же так? Много он повидал в боях — но такое?.. Снова брякнула щеколда, задумчивый батя вышел из туалета и, как величественный «корабль пустыни», прошествовал мимо, даже не глянув на Очу. Вот это класс! Да, до бати мне далеко! Не зря сестра его покойной жены, как-то разглядывая нас, сказала льстиво: «А корень-то — покрепче!» Не спорю.

Учиться надо у бати!

Вон тем более меня Кузя зовет, старый друг! Этот порадует!

— Ну что? — Он презрительно оглядел меня, когда я приблизился. — Доволен?

Надо слепым быть, чтобы такое гуторить... Но он и есть слепой.

— Подарок! — Он насмешливо указал перстом на мои зеленые портки, сказочные... всего семь тысяч раз надевал. Что он имеет в виду? Чей подарок?

Вглядываясь в его мину, я наконец понял — а заодно и вспомнил!.. Совсем уже забыл — словно было век назад.

Понял наконец! Кузя намекает, что эти портки Фатьма Втахова мне подарила, боевая подруга... но где уже те бои? Только лишь Кузя, с его тупой последовательностью, может думать, что они идут!

Ну ладно! Не буду его разочаровывать. Уж совсем-то дураком не надо его выставлять — друг все же! Пусть проницательным считает себя... Ладно!.. с такой трактовкой моих штанов я согласен. Даже лестно. Все?

— Ну что? Добился своего? — Он усмехался еще более горько...

В каком смысле — «добился»? В смысле порток? Но с этим вроде бы я уже согласился... что надо еще?

У меня, извиняюсь, на огороде начинается малая кавказская война... тут не до порток! Но взгляд его все корил... Чего я «добился»-то?

Может, он премию имеет в виду? «За творческий вклад в дружбу народов в наши дни»... «Чернильный ангел»!.. Неужто — мне?!

А что? Я выкладываюсь! Даже кости трещат! Вон мой дружбан — машину загоняет во двор, жена тонкими ручонками ворота придерживает. Неужто мне премию дали?

— Ну что... старая любовь не ржавеет?! Выкинул Ваню? — терзал меня Кузя.

Я ликовал.

...Ваню выкинул... А где, кстати, он? В усадьбе его сейчас бушевали дети Юга, топтали малину... Он их туда пустил? Судя по высокой скорби в голосе Кузи, Ваня их сюда запустил... а премию «за вклад в дружбу» не получил... Бывает. А я что — не дружу с народами? Вон у меня какой сын Юга ядреный. Не столько люблю, сколько дорого!.. Заслужил?

— Ну и чего ты добился? — презрительно Кузя произнес.

Как — «чего добился»? А деньги? Меньше двадцати пяти тысяч долларов Фонд Пауэлла не платит никогда... Кончились, значит, мучения — нормально заживем! Накупим лекарств, витаминов!

Не зря «чернильный ангел» накануне мне явился: вон по-прежнему раздувается на простыне — жена убрать и не подумала, молодец!

— Ну и чего ты добился? — вскользя глянув на ангела, Кузя повторил.

— Ну... — проговорил я неопределенно.

— Пупу премию дали! Доволен? Вот так она любит тебя! — Кузя горько расхохотался.

Да-а-а... Любить ей действительно не за что меня!

— В общем, поздравляю тебя, — Кузя презрительно проговорил.

Почему меня-то? Я-то теперь тут при чем? Моя «дружба народов» ни при чем оказалась.

Кстати, Кузя и не замечает словно бы, что один из представителей угнетенной народности в палисаднике у меня и мне с ним нелегко придется, мягко говоря.

Но Кузю интересуют лишь высшие сферы — что конкретно, то все мелко для него. Я его близоруким считаю, а он, наоборот, меня.

— Неужели ты не понимаешь, — Кузя вскричал, — что это такое: Пуп?!

Ну почему... понимаю. Василий Никифорович Пуп. Советский классик.

Понимаю. Умел дружить! Видно, Фатьме ее партийное руководство поручило восстановить не просто дружбу, а весь Советский Союз!

И чтобы Пуп дружбой заведовал!

Она справится.

Но меня сейчас больше волнует то, что в палисаднике у меня творится!

— Неужто ты не понимаешь, что Пуп — это возврат к старому?! — Кузя произнес.

Но в новое ты ведь меня тоже непустишь?! — подумал я.

А при Пупе я пару раз плова урвал, в дружественных республиках, — плова, а также бешбармака, а также самсы, катырмы, катлымы, патырчи и немного чак-чака!

А ты хочешь, чтоб я тебя за идеи любил — причем за твои, ко мне не имеющие отношения?.. Отдохни!

Вот такой я нехороший...

Красавица моя гостя дорогого уже к порогу самому подвела... Умница!

Главное — его в саклю не пустить, потом его оттуда не выкуришь — уж я-то знаю!

— Извини! — сказал я Кузе.

Метнулся туда. Притормозить немного дружбу народов, раз она такие завихрения дает!

— Оча! — рявкнул я.

Буквально на самом пороге его подстрелил. Вздогнул, обернулся. На бегу я ладошкой призывно помахивал — мол, погоди, не входи, сказочное предложение имею.

— Хочешь... на остров... поплыть? — с трудом переводя дыхание, вымолвил все же до конца.

Оча изумленно застыл: на какой остров?! Ну, на необитаемый, разумеется! На нашем озере их полно! Предлагаю себя Пятницей! — честно в глаза ему посмотрел.

Оча явно заскучал от этого взгляда: и честь вроде явно не оскорбляют, как он рассчитывал, и в то же время предлагают какую-то чушь. Он сюда приехал войну развязать — а его на какой-то остров отправляют!

— Н-нэт! — мрачно Оча произнес.

Ну, оставайся... Но я, Пятница, буду неотлучно с тобой. И так позабочусь о тебе, что ты о далекой родине заскучаешь! Вот какой я нехороший.

Жена своими слабыми ручонками упорно тянула Очу в дом... еще один дом придется штурмовать?..

Но жизнь, как всегда, спасает, спасла и тут! Оча только наступил ногою завоевателя на крыльцо, как во двор красивыми зигзагами вошел Битте-Дритте — и с удивлением увидел работу по специальности, въехавшую ему прямо во двор.

— О! — Он глянул на «ниссан», после — на Очу. — Вдруг откуда ни возьмись... Сюда, быстро! — рявкнул он.

Оча, помедлив, снял ногу с крыльца и приблизился к Битте.

— Большой ремонт, малый? — резко поинтересовался Битте.

— ...Большой! — величественно произнес Оча.

— Сделаем! — Битте вдруг отдал честь. — Да... зацвела машинка твоя... как черемуха... Во, ржавчина... — сладострастно заговорил Битте.

Потом — я слегка отвлекся от них — Оча появился над гаражом, в домике Джульетты, украденном Битте при работе его в оперном театре... (Пусть Ромео и вытряхивает Очу оттуда!) Битте, открыв мотор, чему-то дико поразился:

— Ну и херня!

Оча на балкончике вздрогнул, потом достал из кармана телефончик и стал тыкать могучим пальцем. Телефон в его руках — это опасно.

Потом я ушел к себе, погрузился в маразм творчества и, когда часа через два вышел размяться, увидел следующую картину: мотор «ниссана» был разобран на составляющие и аккуратно разложен на тряпочках по всему двору. Битте, довольный, вытирал руки ветошью и, видимо, собирался пойти прогуляться. Молодец — здорово мне помог!

За оградой стоял Левин и, прищутив один глаз, что-то соображая, смотрел на Битте, неожиданно вдруг рассекретившего свои «золотые руки».

Битте неторопливо двинулся к калитке.

— Эй! Куда пошел? — рявкнул Оча с балкона.

Битте с некоторым удивлением, с трудом вспоминая, глядел туда.

— А-а... это ты. Ты очень-то не увлекайся мной — разочаруешься!

После чего Битте удалился вверх по проулку. Оча слетел с балкончика. Кузя неожиданно оказался на стреме.

— Совесть у тебя есть? — укорил он проходившего мимо Битте.

— Полный бак совести! — отрезал тот и зашагал по шоссе.

Я тоже решил прогуляться, вышел на озеро, глянул вверх...

А Мефодий-то разгулялся!

СОСКОЛЬЗНУВШАЯ МАНТИЯ

Я возвращался, обогнув озеро и даже слегка успокоившись... Вот так! Ни черта мне не дали... кроме порток. Да и те, если честно, я сам купил — в секонд-хэнде взял, с раскладушки «Одежда на вес».

Полкило штанов.

И ждать больше нечего.

О! Тут я остановился. На том же злосчастном мосту через ручей (по-английски — «крик») стоял теперь красный «пежо», и пассажирка, выглянув из него, расспрашивала все ту же почтальонку.

Пошел гость!

Надо предупредить. Запыхавшись, я притрюхал домой, вбежал на террасу, зорко взглянул на жену.

Она сидела откинув голову, открыв глаза и приоткрыв рот. Я осторожно взял ее за руку, господи, одна кость!

— Да-да... я слышу, — выплывая откуда-то, пробормотала она.

Лучше бы она сейчас не слушала, немножко бы поспала!

На цыпочках — что было, как теперь понимаю, глупо и полностью выдавало меня — я вышел с террасы, пошел к калитке.

События уже обрушивались на меня, как дома при землетрясении. К калитке, радостно хромая, двигалась бабка Марьяна, Саввина теща, поселковая горевестница — все худшие вести приносит всегда она, причем задыхаясь от страсти, забывая про хромоту.

— Тебя там баба кличет! — радостно и громко воскликнула она.

Ну зачем же орать? Я испуганно оглянулся на марлю, закрывающую вход на террасу мухам... и лишним звукам, я надеюсь.

Пошел.

Втахова, вылезая из «пежо», была прелестна. Как сказал английский поэт, «словно роза в утро битвы». Это сравнение легко было проверить: розы — от бордовой до чайной, желтой — как раз торчали из всех палисадников. «Линкор» — заглохший «КРАЗ» — нас надежно закрывал: она остановила авто у развилки. Козлятушки, как кусочки ваты, почему-то сгрудились у ее ног, жалобно мекая. «Ваша мать пришла, молока принесла»?

Мы смотрели друг на друга.

— Ну что? — усмехнулась она. — ...Войти, конечно, нельзя?

— Н-нэт! — страстно прошептал я и испуганно оглянулся... хотя, конечно, лучше бы войти: такие вот перешептывания в пределах слышимости — наилучший вариант. Но наилучший всегда и выбираем... лучше для романиста.

— Нельзя. Так я и предполагала. Работник невидимого фронта.

— «Союз меча и орала!» — не подумавши, брякнул я.

И тут же нам обоим в головы — спелись все-таки — явился неприличный смысл этого образа. Втахова густо зарделась, хотя и без того у нее румянец довольно темный, и я вдруг тоже почувствовал в щеках жар.

— Где меч-то? Не вижу! — взяв себя в руки, нагло проговорила она. — ...Но я не об этом... думала сегодня всю ночь. Я видела, как ты лез.

— ...Куда?

— ...В окно батиной квартиры.

— И что?

— И то! Я думаю, что ты среди нас... единственный... кто разбирается с дружбой народов всерьез. И за все отвечаешь, по полной программе!

— ...Ну?

— Гну. И я считаю, что «Чернильного ангела», — (он как раз раздулся на простыне), — достоин именно ты... а не этот... — Она кивнула на картинно застывшего на террасе Кузю. Я испуганно глянул на Кузю (обидели друга!), потом снова на Фатьму.

— ...Шутишь?

Вон там, за оградой, стоит действительно серьезный мыслитель... А я что?

— Ради шутки, даже самой блистательной, я бы не тащилась так далеко, — процедила она. Передо мной снова была серьезная дама, крупная международная функционерка. — Жди! — отрывисто закончила она, хлопнула дверцей и, оставляя за машиной вихрь тополиных пушинок, уехала.

А как же Пуп?! Маленько ошибся Кузя?

Неужто? — я глядел ей вслед. Неужто все мои муки позади и премия, по-пауэлловски увесистая, оттянет мой карман?.. Не зря я, выходит, над бездной висел? Накупим теперь лекарств, витаминов — и все будет хорошо! Я глянул на нашу дверную марлю, которая все это время странно шевелилась. Ничего, теперь предадимся роскоши — и все будет хорошо!

Вон и Кузя стоит — тоже радуется, наверное.

Странно — отворачивается...

Я открыл свою калитку. Навстречу шел Оча в ослепительно белом костюме... Мой герой! «Здравствуй, милый!» — обласкал его на ходу. А что же не обласкать — за такие-то деньги!

И наконец я приподнял марлю...

Жена лежала откинувшись, блестя испариной на лбу. Глаза ее были закрыты, и она была, кажется, далеко. Может, это сейчас и к лучшему? Воровато, на цыпочках, я стал уходить с террасы, но именно этот вороватый скрип — все равно же слышный! — подействовал на нее хуже всего. Она вдруг подняла тонкую высохшую ладошку, что значило, видимо: погоди! Я встал. «Сейчас!» — пошевелились беззвучно синие губы. Откуда-то издалека стали выплывать, возвращаться черты лица. «Садись!» — сказала она так же беззвучно, тронув ладошкой диван. И вот она открыла очи — в них был огонь.

— Может, тут премию урву, — проговорил я беззаботно. — Заживем!

Она покачала головою... Что? Не заживем? За такие-то деньги?!

Тишина!.. Но наконец пошел звук.

— ...Н-нет...

Что — «нет»?! Не может говорить? В больницу надо!

Снова подняла прозрачную ладошку.

— Н-нет... Не уходи... Я скажу!.. Втахова, конечно, сука... Но тут я с ней согласна. Ты заслужил!

Снова откинулась, закрыла глаза.

— Эй! — Я осторожно тронул ее за руку... Она покачнулась, голова упала на грудь и так оставалась.

В больницу срочно надо!! Но какая тут больница — в деревне живем! Кузя все знает, ведь в медицинском когда-то учился, и коллеги все до сих пор чтут его! Да еще бы не чтить — с третьего курса за убеждения на костер пошел! Это они все — мешане, Ионычи, а он — герой! Все боятся его — да и как его не бояться, когда он тут недавно самого Михаила Булгакова (тоже, кстати, врача) причесал. В каких-то архивах разыскал, что в «Мастере и Маргарите», оказывается, был абзац, посвященный Сталину, — а от него, Кузи, долгие годы это скрывали, вернее, пытались скрыть, но он нашел и сказал. Сам Булгаков перед ним трепещет — а куда уж нам!

На жену оглянулся — она, конечно, этот ход не одобрит, не любит Кузю, но что поделаешь, если для спасения все время приходится делать запретные ходы, когда хорошее иначе как через плохое не сделать!

Пойду — опять на цыпочках, воровато... Такая жизнь!

Кузя, естественно, меня надменно встретил, хотя и с дружеской снисходительностью.

— О господи! — трубку раскурил. — Ты бы хоть раз зашел ко мне просто так, без корысти!

Без корысти некогда!

— Тебе этого мало? — Кузя кивнул на шоссе, по которому умчалась Втахова.

Да, мало! Уже другое на уме!

— Не можешь к Бурштейну заскочить? Нонну в больницу надо! — сказал я.

— О дружбе ты вспоминаешь, только когда припрет! — сказал он.

Я оглянулся... из дома ни звука. Похоже, полемика с ним надолго затянется.

— Неужели не стыдно тебе... так позорно суетиться... буквально премию свою зубами выдирать?! — по-дружески проникновенно произнес он.

— Ну ладно! — закричал я. — Бог с ней, с премией. Кому отдать ее надо? Ваньке? Я согласен! Где это записать?

Вдруг Кузя побледнел. Я испуганно оглянулся. Держась за дверную занавеску, стояла моя жена — блеее занавески.

— ...Нет, — проговорила она. — Не соглашайся с ним! Он на болезни моей играет! Не соглашайся! Уж лучше я умру!

И вдруг она исчезла, словно растворилась!

Спасибо тебе, Кузя! Я кинулся домой.

Она сидела на полу, прислонившись к дивану, щеки, губы и закрытые глаза словно провалились. Я усадил ее на диван. Голова ее упала.

Так. Обращаться к Кузе бесполезно — это все равно что ехать в Москву через Владивосток... Наконец-то ты это понял! Все чужими руками делать норовишь!

Надо бежать к Сашке Бурштейну... хоть он мне давно уже не друг — жизнь рассосала... и вовсе не боится он меня... как все боятся неумолимого Кузи... Но вдруг получится? Ведь не враги же мы, как теперь с... этим? Сашка — хороший врач!

Песчаные улицы хороши на вид, но неудобны для бега, особенно в гору... в конце улицы Ломаной, на углу улицы Ломоносова (сколько раз каламбурили!), проступает сквозь сосны дворец Бурштейнов, «Храм Спаса на грудях», как шутит (шутила) поселковая интеллигенция... Покойный батя Сашки, академик Бурштейн, известнейший хирург женских грудей... а Сашка — простой больничный врач... но это-то и нужно сейчас!

Да, вблизи дворец выглядел уже бледно, а сам Сашка, скрестив ноги, сидел против работающей выхлопной трубы старенькой «Волги», дыша полной грудью и закрыв глаза... Самоубийство?

Не время, товарищ! Я качнул его за плечо. В его открывшихся глазах я не увидел восторга.

— Нонку в больницу надо! Не едешь? — Я уставился на «Волгу».

— ...Еду! — с трудом поднимаясь, вымолвил он. — Но на автобусе — эта сука не фурычит! — Он кивнул на машину, бывшую гордость семьи. Все мои некогда блестящие друзья нынче ездят (если ездят) лишь на гнилых машинах эпохи зрелого социализма, новая эпоха машин им не подарила.

— Может, тогда хоть заскочишь, а?

— Ладно. Счас... Но коек все равно нет.

В мятом белом халате (сам, что ли, стирает?), с отцовским потертым чемоданчиком он вышел из дома — степенно, солидно. Трудно было увлечь его в бег! Я убегал, на бегу весело, заманчиво подпрыгивая. Мол, с горки-то? А? Одно удовольствие! Потом, отдыхиваясь, стоял ждал... Потеряв терпение, возвращался — хоть как-то поторопить!

Мы вошли в палисадник. Очин «ниссан» (дар японского народа) был, как прежде, разобран. Битте-Дритте, представитель русского народа и друг немецкого, блистал своим отсутствием. Лишь Левин (сын еврейского народа) весело зыркал своими глазками из-за Надюшкиной ограды.

Мы вошли в дом. Нонна, тяжело опираясь о стол, поднялась, покачнулась. Господи, одни кости, глаза и рот провалились. Лоб блестел.

Сашка молчал — видно, не ожидал такого.

— Да-а... Давно мы не виделись, — наконец выговорил он.

— И вот результат, — бледно улыбнулась она.

Мы вышли на террасу. Сашка закурил.

— Колеса найди, — приказал он.

Я огляделся. Никаких особых колес.

Только синий «форд-скорпио» Левина остановился у калитки Саввы, и я видел, как выходит статный, коротко стриженный Савва в спортивной «пуме», садится в тачку... На разбой собрались? Вряд ли в больницу! Проклиная прежнюю свою необщительность, кинулся к машине. Открыл дверцу. Душно у них в салоне, накалено!

— Ребята! Жену в больницу надо срочно!

Левин поглядел на меня с изумлением, но Савва неожиданно буркнул:

— Ладно, давай!

А я его почему-то не любил. Но важно, что он Нонну любит. Зачем-то махая рукой Сашке, я помчался к дому.

— ...Эти мудаки в Кремле — что они думают? — страстно говорил Левин, выкруливая на шоссе. Я страстно кивал, соглашаясь.

Бурштейн неожиданно горячо вступился за правительство. Я на всякий случай кивал и тем и другим.

— Бедный! — вдруг горячо шепнула жена мне в ухо.

Мы въехали в Сестрорецк, зарулили в больницу. Поднялись по пандусу к приемному покою. Голова жены в закрытыми глазами (уснула?) каталась по моему плечу.

Потом она лежала на железной каталке, рядом на такой же стонал рваный бомж. Сашка убежал и не возвращался.

— Есть, слава богу, коечка! — сообщил он, наконец появляясь. — Старушку одну только упаковали!

После этого бодрого, жизнеутверждающего заявления вышла мрачная толстая санитарка и покатила каталку. Жена вдруг протянула ко мне свою тонкую горячую руку, и я держал ее до дверей... Все!

— На вот рецепт! — протянул листочек Сашка. — Сегодня наше закапает, а завтра, извини, — уже ваше. А теперь вали отсюда — у нас карантин!

Я остался с листочком в руках. Хотел было обратить внимание Сашки на всеми забытого стонущего бомжа — он, видимо, уже стал тут всем привычной деталью пейзажа... Идти искать правду? Но на всех правды не напасешься! — таким подлым способом успокаивал я себя. «Приемный покой»? Могу я хотя бы здесь посидеть покойно, вытянув ноги?.. Нет. Я поднялся. Нашел аптеку — тут же, под крышей больницы, протянул рецепт... Сколько?! Сто семьдесят три рубля! Где же мне столько взять? У Очи? Он сам только думает о том, как взять!

В отчаянии я спускался по пандусу.

— Эй! — вдруг услышал я.

Левин и Савва, оказывается, ждали меня! Хотелось бы в аккурат одному... Но что поделаешь? Я их раб! Уселся сзади.

— Прокатимся... тут? — ухмыляясь, предложил Левин.

Я кивнул. Мы выкатились из Сестрорецка. Я то отключался, то слышал их разговор.

— ...от плясуний этих изжога уже у меня! — голос Саввы.

Веселиться едем?! В самый раз!

Солнце с заката светило меж стволами сосен.

Я вглядывался, прикрываясь ладошкой... Куда?

А-а! Знакомые пенаты! Аж сердце сжалось — когда-то самая жизнь здесь была! Вот промелькнул писательский Дом творчества. Когда-то по этой сосновой аллее степенно прогуливались ужасно важные, надменные типы... Казалось, что с ними может сделаться? Смело революцией! Теперь там, за оградой, видны автомобили, и даже какие-то детские голоса звенят — но это уже жирует обслуга, освободившаяся от эксплуататоров и начавшая новую, светлую жизнь!

А на новую жизнь надеялись как раз мы, тут ее зачинали!

По этой вот аллее когда-то шел на станцию, на первые демократические выборы, на которых он выставлялся, наш тогдашний лидер Сережа Загряжский. Свою предвыборную кампанию он строил, в частности, на защите бездомных животных — и вот на этом перекрестке как раз увидел, что целую «собачью свадьбу», целую разношерстную собачью свору ловят удавками на палках и поднимают, полузадушенных, в машину. Сережа смело кинулся в бой. Душителю, естественно, психанули. В результате Сережа добрался к своим сторонникам рваный, окровавленный. И был встречен овацией. И на волне общего подъема был избран. Где теперь его избиратели? Да и сам Сережа в Германии.

Да-а... Были времена! Вот тут, вдоль глухого зеленого забора, мы прогуливались парами после обеда, явля правительство, которое нас, оказывается, содержало. Правительство почти открыто ругали тогда многие... но и мы не молчали! Наибольшую нашу язвительность вызывал «ложный детсад» напротив их забора. Проходя мимо, все переглядывались и тонко усмехались. Домики, грибочки... не было там никакого детсада! Это правители, обитающие за зеленым забором, приказали наставить за дорогой домиков и грибков — якобы там детсад, — а на самом деле — чтобы никто там не селился, не ел их кислород! Звонких детских голосов не слышалось там ни зимой, ни летом. Эта тайна сплывала всех нас, поднимала на борьбу!

Теперь звонкие голоса там снова не звенели — но хотя бы удалось покончить с ложью: домики и грибочки были разломаны, ложный детсад уничтожен.

За самым зеленым забором с победой демократии было решено устроить хоспис... но как-то не получилось. Из глухой дверки в заборе все время почему-то выходили румяные, мордатые, веселые люди, отнюдь не похожие на умирающих... Вот вышли и сейчас.

Но сладко было проехать через поле бывших великих надежд!

Так... Я огляделся. Теперь у меня другие друзья.

Мы проезжали мимо ярко-желтого сруба — кто-то строил огромную простую русскую избу из гладких ярко-желтых калиброванных финских бревен.

— Наш шеф строится... Вот так — скромно, по-ленински! — усмехнулся Савва.

Я огляделся пошире. Да, меняется пейзаж! Бывшая строгая обкомовская роскошь, не бросающаяся в очи, сменялась тесной аляповатостью... вон кто-то замок строит. На каменных стенах — выпуклые кресты... Фиалиал знаменитых Крестов?.. Проехали!

Теперь надо прислушаться к новым друзьям.

— Значит, так, — усмехался Савва. — Командир выступает перед частью. Вот, говорит, как у нас люди в армии растут. Вот Егоров был простой комбайнер, а теперь — зампотех полка! Сергеев после школы к нам пришел — а теперь командир роты химзащиты... Политрук сидит рядом и шепчет: «Про меня скажи... про меня скажи!» Командир поворачивается к нему: «...А ты как был мудаком, так и остался!»

В ответ Левин протяжно зевнул. Переехали мост над каменной речкой... Когда-то мы тут гуляли... Теперь гуляют они.

— Опять же, — Савва вдруг почему-то завелся, — командир выступает перед частью. Лепит: у нас в армии очень высокий моральный уровень. К примеру, я живу с женой тридцать лет и ни разу не изменял! Даже и не думал! Политрук ему шепчет: «Двадцать, товарищ командир!» — «Что?» — «Двадцать лет вы живете со своей женой, товарищ командир». — «Молчи ты... Так о чем это я? Ах да! Со своею женой я живу тридцать лет и ни разу ей не изменил!» — «...Двадцать, товарищ командир!» — «Слушай! Отстань! Это я с твоей женой живу двадцать — а со своей тридцать!»

Теперь уже Левин зло глянул на Савву, что означало вроде бы: прекрати! Что — «прекрати»? Я пытался понять, что происходит. И наконец понял.

— Политрука, что ли, везем? — кивнул наконец Савва в мою сторону, потеряв надежду достать меня тонкими намеками.

— Чего ты мелешь-то? — произнес Левин.

— Ну а кто ж он? — теперь уже открыто дерзил Савва. — Небось в книжках своих пишет, как нам всем хорошими быть!

— Никогда! — воскликнул я возмущенно.

— А за что ж тебе деньги платят?! — Савва презрительно уставился на меня.

— А ни за что! — Я тоже завелся.

Куда везут? На моральную казнь? Тогда зачем так далеко?

Я стал поглядывать в окно — и вдруг забыл о моих мучителях! Наплывало...

То, что я не надеялся никогда уже увидеть и даже был уверен, что то было видение... Ан нет! Вон оно, за соснами...

Давно это было, но как будто сейчас, мы с женой шли по почти уже призрачному мартовскому снегу, капли с крыш прожигали во льду желтые дырки. Мы сняли шапки — от голов повалил пар. И тут мы увидели вот эту затерянную в чаще столовую. Странно — для кого бы она? Вокруг — никого. Мы вошли... Большой зал, просвеченный солнцем. Чистые столики. Тишина.

Длинная алюминиевая стойка: салаты, винегреты, светится в лучах солнца пар над чанами с супами. Мы взяли подносы, тарелки, набрали салатов, хлеба. Так никто и не подошел. Заколдованная столовая?

— Наливайте, наливайте! — вдруг донесся откуда-то из гулкой глубины голос.

Мы налили по тарелке горохового супа, набрали гуляша с подливой, поставили компоты — и долго ждали у сияющей никелированной кассы.

— Ешьте, ешьте! Потом! — донесся тот же приятный голос, который, как нам показалось, удалялся.

Мы сели пересмеиваясь, шепча, что это, видимо, дворец заколдованного чудовища, ждущего Аленушку, которая его расколдует, — а пока что он угощает всех!

Мы поели, постояли у кассы еще...

— Эй! А платить кому? — крикнул я.

Тишина. Потом донеслось издалека:

— Да ладно, ребята!

Был ли в жизни момент большего счастья? Мы вышли на крыльцо, зажмурились на солнце. Не то что мы радовались халаве — просто приятно было побывать в раю. И вот — неожиданно возвратился сюда.

...Что — настал час расплаты? Я пошевелился на сиденье — немножко прилип.

Да, теперь тут не рай... Во всяком случае, не бесплатный. Впритирку стояли шикарные тачки — среди них преобладали бандитские «броневички» с никелированными кроватными спинками вместо бамперов. Стоял какой-то технический автобус с маленькими окнами, черные кабели вылазили из него и ползли по ступенькам. Над дверью была круглая

надпись, с желтым кругом внутри: «Золотой блин». Левин сиял. Нет... хорошее название... Соответствующее!

Мы вошли в зал, судя по гулкости — просторный. Не было видно почти ничего. За этим залом призрачно брезжил другой, с игорными столами. Похоже, что тут вечная ночь. И жара! Колотилась музыка, и в прокуренной тьме нас стали колоть и тут же исчезать тонкие лазерные «иглы»: синяя — зеленая — красная. Левин шел впереди — маленький, пузатый, лоснящийся, в мятой, выбившейся на животе рубашке, — но все, попадавшиеся на пути, почтительно кланялись.

Левин вскарабкался на низенькую приступочку сцены, взялся маленькой ручкой за стойку микрофона:

— Ша!

Ансамбль, состоящий из четырех лохов в переливающихся костюмах, резко умолк.

Левин повесил микрофон на стойку и взял протянутый ему из зала другой — мохнатый, похожий на растрепанную шерстяную шапку.

— Дорогие друзья! — заговорил он весело и слегка гнусаво, как многие радиоведущие. — С вами снова ваш друг Сеня Левин, президент — и одновременно почетный член, — (Сеня хохотнул), — названной в честь Сени Левина фирмы «Селяви»!

Сеня Левин — «Селяви»... Молодец! Сам придумал?

— Я снова с вами со всеми, кто в пути, кто выехал из дома, или кто едет к дому, или, наоборот, вовсе не собирается домой! Я с вами! Мы снова вместе с радиостанцией «Парадайс», которую, я надеюсь, все полюбили, находимся в самом знаменитом клубе Карельского перешейка «Золотой блин», который работает круглосуточно!

Гусляры вдарили по струнам.

— Рад сообщить вам, что фирма «Селяви» придумала для вас новую мультику. Если вдруг — тьфу, тьфу, тьфу! — забарахлит на ходу ваш мотор, то лучшие! Лучшие мастера Карельского перешейка!..

Битте-Дритте подразумевается, понял я.

— ...в течение получаса наладят вам его. Кроме этого связывайтесь с нами по поводу... мелких недоразумений с ГАИ! Мы будем рады вам помочь — стоит вам только позвонить по моему мобилу — 914-34-14! Смелей, ребята!

Грянула музыка. Левин, придерживаясь за микрофон, задом вперед спустился с приступочки и, позыркав своими гляделками, подошел вдруг ко мне.

— Слушай сюда! — заговорил он быстро. — Сделай мне штуку одну... Ну, песню как бы... чтобы с первого аккорда все просекали, что это я выхожу!

— Ну... тут Чайковский нужен! — воскликнул я.

— Ладно... Бери Чайковского! — рубанув маленькой белой ладошкой, разрешил он. — Главное — слова!

Я и без него знал, что главное — слова! Мысленно прикинул сперва — Первый концерт Чайковского... но — нет! Слишком много надо слов.

Что-то торжественное, но покороче... Ага!

— Пошли! — Я ухватил Левина за локоть. Он как раз посылал кому-то во тьму воздушные поцелуи — и удивленно глянул на меня своими птичьими глазками.

— Уже?

Вот это темп! Чайковскому такое не снилось. Левин пригнул ко мне ухо.

Я шепнул ему — и музыкантам, — что придумал, и Левин весело блеснул глазками:

— Годится!

С первыми же аккордами в зале наступила мертвая тишина. Все, оцепенев, смотрели на сцену... Вот это воздействие! Какому имиджмейкеру это удавалось? Левин, с окончательной выбившейся из порток рубахой, стал дирижировать. Понесся гул... Как? Снова эта песня? Ведь ее же вроде бы запретили, особенно по радио?... Опять? Что-то переменялось, пока они тут? Лохи запели, торжественно и грозно:

День за днем идут года,
Зори новых поколений,
Но никто и никогда
Не забудет имя... Левин!

Левин со вскинутыми руками повернулся к залу. Зал взорвался аплодисментами. Дальше пели все, причем с упоением, — видно, здорово въелась эта песня: с явным восторгом исполняют! И слова все знают!

Левин — в твоей весне!
В каждом счастливом дне!
Левин — в тебе и во мне!

Последнюю строчку, хохоча, тянули дольше всех две красотки, прильнувшие к нашему толстячку.

Я скромно сошел со сцены.

— Вот так... скромно, по-ленински, — сказал я Савве, стоящему у входа.

Тот мрачно усмехнулся.

Вдруг с улицы донеслись какие-то громкие хлопки. Левин кинулся к Савве: .

— Это что, однако?!

— Стреляют, однако! — равнодушно пожав плечом, вымолвил Савва.

— А тебе — что?! По ...?! — рявкнул шеф.

— Я сказал: охраняю только зал! Все! — рубанул Савва.

Левин в расстегнутой рубахе бесстрашно нырнул во тьму...

За соснами тлел то ли восход, то ли еще закат, когда мы покидали этот вертеп.

Левин поглядел на длинный, шестидверный, метров десять в длину, белый лимузин, стоявший чуть в сторонке.

— Что-то давно мы на катафалке никого не отвозили! — сладко зевнул Левин.

— Клиентов нет! — в ответ зевнул Савва.

Ну и делами они тут занимаются! — думал я в ужасе — на катафалке увозят!

Но потом, когда мы сели и поехали, из их разговора я понял, что на «катафалке» они торжественно отвезут домой того, кто проиграл в их казино не меньше трех тысяч долларов, — таких «счастливых» давно что-то не было!

Наконец мы мчались к дому, в приемнике записанный голос Левина повторял: «...по мобилу — 914-34-14!..» И медленно, торжественно: «Левин... всегда живой!»

Я больше был увлечен другим, в конвертике, который сунул мне Левин, пытался расклеить и пересчитать пальцами ассигнации, не вынимая их... Три?... Четыре!

Я всегда говорил, что одним правильно выбранным словом можно полностью изменить окружающую жизнь, но никогда еще за одно-единственное правильное слово (Левин) не получал так много!

Накупим лекарств, еды!

Победа ждет каждого, кто ее любит.

Я ликовал. Надо же — так увлечен, захвачен, даже угнетен делами семьи — а вторую ночь подряд дома не ночую!

— А политрук-то наш, похоже, нажрался?! — Савва, не подозревая о том, что я впалял уже его в январь вечности, продолжал дерзить.

Чуть не столкнув в кювет, нас лихо «урезал» бандитский броневичок, с бешеной скоростью промчавшийся куда-то к гибели.

— Гробанется — к нам же чиниться придет! — благодушно заметил Левин. — ...Если выживет. А тебе как? — Неожиданно он ехидно обернулся к Савве: — Завидно небось, что братки на поворотах обходят, на такой скорости?

— ...Ничего! — неожиданно возразил Савва. — Мой батя вообще... по началу на лошадке трюхал... а вся округа стояла «руки по швам»... О, а это что?

Небо вдали — над нашим проулком? — вдруг покраснело. Пожар?

Теперь уже мы обогнали броневичок!

Ага. Пока что не горим... Но близко к этому. В садике возле Ваниной халупы расположились табором дети Юга, громко галдя на своем языке, похоже, ссорясь. Для костра они отламывали доски от дома. Неужто Ваня сам их пустил? Ну, мутила! Самого, кстати, не видно — унесся к другим добрым делам, бросив на нас это? На него в аккурат похоже!

Да, судя по тому, как Кузя, стоящий у своей ограды, умильно поглядывал на детишек, тут все правильно... Для него!

А что там у нас? Все тихо, окна темные... но что-то переменялось! Ага! Ясно. Простыня исчезла с «чернильным ангелом» — символом, так сказать, гуманизма. Детишки сперли? Но зато гуманизм, посмотри, бушует на самом деле, во всей красе: бездомные дети обрели приют!

Вот так... скромно — по-ленински! — Кузя умильно смотрел на них. Ночами-то он на кого работает? Ну ладно. Я подошел.

Кузя вдумчиво глядел на меня, пытливо стараясь понять: можно ли еще спасти этого человека, только что развязно вылезшего из роскошной тачки вместе с Левиным и Саввой — не имеющими с передовой частью человечества ничего общего?.. Детский праздник, кстати, они ломать побоялись: только свяжись с Кузей — опозорит!.. Зевая, разошлись. Я, зевая, остался.

— Ты знаешь, что Ваню исключили из Союза писателей? — проговорил он взволнованно. Видимо, это позднее (раннее?) время казалось ему вполне подходящим для задушевной беседы.

— Исключили? — Я бестактно зевнул.

Да, в наше либеральное время нужно что-то особое отмочить, чтобы исключили... Но Ване это по плечу! А у меня, кстати, сил абсолютно нет — падаю с ног!

— А что, было собрание? — Я раззевался до неприличия перед личной чужой бедой. — Не слышал.

— Ты всегда не слышишь то, что тебе невыгодно! — припечатал Кузя.

Что за выволочка такая глубокой ночью? Завтра нельзя?

— Этих-то... Ванька привел? — указал, зевая, на закоптившихся у костра детей Юга. — Зачем?

— Тебе, разумеется, этого не понять! — вздохнул Кузя.

— Сейчас я вообще ничего не способен понять. Знаю только, что они простыню у меня украли!

— У меня они тоже кое-что увели, — усмехнулся Кузя, — и тем не менее я добился, чтобы именно Ване присудили «Чернильного ангела»! — отчеканил Кузя.

Ване? А я-то уже думал, что мне! Представлял, как мы жить теперь будем — все трудности позади. Всегда я так: лечу — и мордой об столб! Нормально.

— За что... исключили-то его? — пробормотал я (спросить, конечно, не то хотел, но постеснялся).

— Да... какие-то там деньги истратил, — вскользь сказал Кузя.

— А... наградили... за что? — все-таки выговорил я.

— За до-бро-ту! — глядя в сторону играющих детишек, по слогам произнес Кузя, намекая на то, что мне-то это слово навряд ли знакомо. Интересно — сам-то Ваня знает?

Кузя, ясное дело, торжествовал! Добился, помог несчастному, исключенному из Союза писателей, но доброму, приютившему детишек... которые и его, Кузю, обворовали... Для него Принципы выше! Удачно обокрали — так заметнее его благородство! Честное слово, если б Кузя премию взял себе, уважал бы его больше. А так...

Я зевнул. Меня тоже обокрали... но я ничего с этого не получил. Все остальные получили.

Украли детишки у меня «Чернильного ангела» для Вани. И для Кузи тоже.

Ну и чего?

Не удовлетворенный, видимо, моими переживаниями (которых и не было совсем), Кузя добавил:

— К сожалению, твоя *предприимчивость* тут не сработала. — Снова камень метнул. Все вроде уже сказал — но не может успокоиться, в свете костра! Понимаю, что должен переживать более бурно, — но спать хочу!

— Пришлось обратиться через Ее голову, — Кузя многозначительно улыбнулся, — непосредственно к руководителю фонда... ее, кстати, мужу!

Ах да! И, видимо, пришлось ему сказать, чем она занимается тут, в России, пока муж ее блюдет высшие интересы.

Молодец, Кузя. Ради его принципов на все пойдет!

Но почему он так страстно за Ваню стоит? Думаю, все средства массовой информации теперь ахнут, когда Ване вдруг вручат «Чернильного ангела»! И под этот «ах» Кузя тут появится: «Считаю необходимым!» Понимает, что больше никогда его не покажут, — хоть тут показаться! Если б мне вдруг премию дали, никто бы не удивился, подвига Кузи никто бы не оценил... А так — шум, сенсация!

Про Ваню же известно всем, что связан с правоохранительными органами. Он и сам хвастался... Помню, были мы с ним с писательской делегацией в Индии. И в последний день Ваня, потрясенный древней культурой, так напился, что бумажник и паспорт потерял. Индусы его внезапно выпустили... им-то зачем такое добро? Но как встретит его суровая Родина?... Ваня почему-то об этом не беспокоился. Только мы взлетели — он снова клюкнул и спокойно захрапел. Пока он спал в самолете, пуская слюни, в атмосфере что-то произошло, и нас вместо Шереметьево-2, с пограничниками и таможней, посадили в старозаветном Быкове, где ничего этого не было.

— Понял, какие у меня связи! — проговорил он, проснувшись и приглядевшись. Не скрывал — акцентировал!

И теперь ему — «Чернильного ангела». За спасенных детей. И сбоку от его славы, в ответах костра, — скромный Кузя.

Вот так... А я-то, честно говоря, особенно и не надеялся на простыне своей взлететь. Непрухо-Маклай!

Побрел. Да, соскользнула с плеч мантия... Ну что ж — нам не привыкать!.. Зато вон тень какая вытянулась — до самого леса!

Наши окна темные.

Отец уже спал (я надеюсь). Не хватает только ему узнать, что мне премию не дали. Да он про нее и не слышал.

Я вошел, чуть скрипнув дверь, посидел, зажмурясь, на опустевшем диване жены... О господи! Как она плясала! Переплясывала всех! Все уже лежали в изнеможении, а она все летала! Помню, одна тетка-врачиха, кстати, сказала: «Ну у тебя и жена! Сбрось ее с шестого этажа — отряхнет-ся и пойдет плясать!..» Шестого этажа не понадобилось — понадобилось всего пять лет!

Вдруг дом сотряс грохот! Взрыв?.. Наконец-то!

Я выскочил на улицу.

Битте-Дритте, сорвавшись с лестницы, ведущей к нему наверх, хладнокровно готовился к следующему штурму.

— Что происходит вообще? — поинтересовался я.

— ...Праздник клубня! — сообщил он.

Я пошел к себе, лег... Перед глазами замелькало. Ну и денек!

Надеюсь, у святого Мефодия нет братьев-близнецов?

БИТВА ПРИ ВАЛЕРИКЕ

...Надеюсь, у святого Мефодия нет братьев-близнецов?

С этой фразой я уснул, с ней и проснулся. Слава богу, не забыл, хоть записать вчера поленился.

Я сладко зевнул, понес руки к глазам, чтобы как следует их протереть, — и руки застыли... Надо же! Вчера Левин, расщедрившись, поставил мне на запястье круглый штампик — «вечный пропуск», как он выразился, в «Золотой блин»... и он, оказывается, еще и светился! Я плюнул, протер простыней... Не сходит! Навечно заклейте! Я потянулся... Вставай, проклятьем заклейте!

Я сел. Да, в доме тишина! Обычно батя рано утром, чуть рассветет, выходил на кухню, нетерпеливо брякал посудой, как бы собираясь готовить завтрак... на самом деле — тонко намекая, что Нонне пора вставать и готовить.

Да, ест он так же страстно, как и работает. Но сегодня он понял, что готовить некому. Тишина.

Натянув порты, я заглянул к нему в комнату... Нету бати! Рукопись топорщится на столе — а бати нету. А был ли он ночью, когда я пришел? Побоялся заглянуть — а теперь не знаю! Может быть, Очины штучки?

Я выглянул наружу. Большой светло-зеленый куст спаржи, наполовину поделенный тенью от угла дома, сиял мелкими капельками. Очи тоже не было видно. Выехали на батину квартиру? Решил батя покомандовать? Хоть бы спросил! Я метнулся было назад, чтобы окончательно одеться, — и тут увидел отца. Вдумчиво, размеренно ступая, он шел по тропинке от озера. Тучи, тут пронесшиеся, не омрачили его высокого, сияющего чела! Очень способствуют его гармонии темные очки — ничего не знает, ничего не видит. Зарядка, прогулка и — научные труды! Я бы так жил, если было б возможно.

Даже улыбается чему-то! Силен! Тоже почему-то улыбаясь, я двинулся навстречу. Столкнувшись со мной в калитке, он сначала недоуменно смотрел, словно не узнавая (давно не виделись?), потом вдруг озабоченно сморщился:

— Слушай, почему-то Нонны нигде нет. Она что — купается?

Да. Купается!

Мы молча вошли на террасу.

— Извини, мне надо срочно тут мысль записать! — Я сел к своему столу. Завтрак подождет... пока Нонна купается!

Он тоже низко склонился над своей рукописью. Скрипело перо, стучала машинка. Кто кого пересидит? В животе урчало. Потом из чьих-то штанов — из его или из моих — донеслась звонкая трель. Абсолютно не различается звук — даже это он мне полностью передал... а еще пишет, что условия, а не наследственность важнее в селекции... Хотя наследственность-то покрепче — тут не поспоришь. Так мы задумчиво переванивались часа полтора. Посмотрим, будет ли сыт одной наукой! Что-то такое же гневное он думал про меня. Наконец я отвлекся, улетел и вернулся, услышав бряканье на кухне... Ага! Сломался! В таких борениях прошла наша с

ним жизнь — и, думаю, на пользу! Понял наконец, где Нонна купается... сколько раз уже говорил ему, что Нонну надо госпитализировать! Просек — но с явным гневом, судя по громкости бряка. Понял наконец, где хозяйка, потому и лютует.

— Иди! — Его сияющая, словно отполированная, огромная голова появилась вместе с полосой солнца.

Лаконичное приглашение!.. Презирает? Я вышел.

Он молча, тряся большой ложкой — прилипло! — наложил мне крутой манной каши. Мы молча ели, глядя в разные стороны. Не прожевать просто! Резина!

— Ну, как каша? — не выдержав, спросил он азартно.

Я с трудом (может, несколько демонстративно) вырвал ложкою кус каши из упругой массы.

— Мамалыга, — пробормотал я как будто про себя.

— Что-о?! — взвыл батя, даже приподнявшись.

— Мамалыга, — уже слегка испуганно, но все же повторил я. — Очень густая.

— Ну, это... знаешь! — Отец возмущенно откинулся. — Хочешь — сам вари! — грохнул котелок снова на плитку. Горяч батя... Потом немного остыл. — Я делал все точно, как Нонна показывала... Сама она ни черта не знает! — снова вскипел.

Бедная Нонна! Одна в огромной палате — маленькая, тощенькая, с крохотным узелком в тумбочке: штанишки, платочки. Нашел на кого напасть!

Но — спокойно... если я не буду спокоен — кто же тогда? Для раздоров всегда найдутся люди, а вот для успокоения... Тильки я.

— Какую она тебе показывала чашку — крупу насыпать? — спросил я спокойно.

— Вот эту! — Совсем уже разгневавшись, он брякнул чайной чашкой, едва ее не разбив.

— Она показывала маленькую! Вот эту — кофейную! — торжествовал я.

— Нет, эту!

Уперлись два барана!.. Понятно, он, особенно в теперешнем возрасте (почти девяносто), должен бороться и побеждать... за себя борется. Но и у меня душа зудела и чесалась... Не могу больше — улыбаться и терпеть!

— Ты же ученый, *кажется*, — проговорил я с язвительной усмешкой. — Так почему же на результаты опыта не обращаешь внимания? — Я подвинул к нему свою миску с окончательно застывшей мамалыгой. — Не интересуется тебя? Только то интересуется, что твои теории подтверждает? — Я победно откинулся на спинку стула.

Сволочь! Ведь знаешь прекрасно, что сейчас батя и мается как раз над своей новой теорией, сомневается в ней!

Вдарил под самый дых! Но — драться так драться... Батя сам так меня учил... когда я еще в школе был. Но, видно, придется разучиваться... Не в фильме ужасов живем!

В нем еще крестьянская жадность выиграла — из двух чашек, ясное дело, выбрал большую. Но эта жадность, нахрапистость и держит его в форме! А разве я сам не такой? Всегда большую выбираю! Даже двум одинаковым людям не поладить, а что уж там про разных говорить?!

Мы ели, демонстративно отворотясь друг от друга — даже ложками промахивались мимо рта! Но вдруг поневоле наши взгляды сошлись. От озера, с полотенцем через плечо, важно шествовал Оча. Откуда у парня испанская гордость? Врожденное?

— Да-а! — вздохнул батя. — В войну я урожай проса втрое увеличил! Армию накормил! Калинин орден вручал! Весь Северо-Запад до сих пор мой ржаной хлеб ест — лучше не создали! А я в итоге всего питаюсь... каким-то кавказским хлопцем!

Если бы! Давно уж не им!

— Кстати! — Он вдруг стремительно и гибко пригнулся ко мне, горячо зашептал: — А деньги-то он привез? Нет?! — (Это «нет» он прочел в моих глазах). — Так надо поговорить с ним! — настырно и, как я понимаю, уже ко мне.

Вот сам и говори! Вслух я этого не сказал — но по глазам он понял!

Грохнув, как говорится, чашкой о чашку, мы разошлись.

Через час я заглянул к нему в комнату... Пишет и чему-то улыбается. Да-а-а... Корень-то покрепче! А я как-то не мог перейти к углубленной работе... Ручонки трясутся. Ну ничего. Как он учил: лучший отдых — перемена работы. Достал из шкафа пакетики... Вот это сварганим: быстрорастворимый рассольник!.. Сглотнул слюну. Божественный запах.

— Иди! — заглянул к нему в комнату, как он утром — ко мне.

Он вышел, улыбаясь. Видно, приготовил заранее какую-то шутку. Сел.

— Знаешь, — заговорил он, — когда я в молодости работал агрономом в Казахстане... часто приходилось в караванах на верблюдах ездить... с казахами. Помню, однажды долго ехали! Много дней. На привале вечером — каждый раз одно и то же. Слезаем с верблюдов. Они ложатся. Казахи костер разводят, в казане воду кипятят. Я в стороне, с моими сухарями. Потом, когда все у них готово, вода закипела, посылают ко мне маленького чумазого мальчишку. Тот подбегает, сияя, каждый раз с одним и тем же словом: «Чай!» Вот и ты меня так же зовешь!

Молодец! Уел. Разулыбался торжествуяще.

— ...Извини! — Я поднялся, ушел.

Чтобы зафиксировать, пока не забыл, батины речи, вынужден его самого покинуть. Такой жестокий парадокс... Такая работа.

Ну все! Теперь надо в больницу! Я вышел на крыльцо.

Да-аа, простыни на веревке нет... улетел мой ангел!

«Ниссан» Очи — уже, видимо, отремонтированный — сиял за оградой. Но вряд ли он покатит меня.

А над «ямой» в гараже уже темнел синий «форд-скорпио» маэстро Левина, и из «ямы» к нему вздымались золотые — в данный момент черные — руки Битге-Дритте.

— Быстрее не можешь? — колыхал над ним брюхом Левин.

Вот он, во всей красе, звериный оскал империализма! За что боролись?

— Погулять не пойдем? — Белозубо улыбаясь, на крыльцо вышел батя в своей довенной соломенной шляпе типа «брыль».

— ...Н-ну ладно!

И сразу после — в больницу! Всем должно меня хватить. Хотя, честно говоря, самому мало.

Молча — думая каждый о своем, проклятом! — мы перешли шоссе, углубились по узкой тропинке в поле. Вдали темнел лес, по бокам шуршали колосья. Видно, батя часто гуляет здесь, в родной стихии.

Вдруг, остановившись, он азартно ухватил колос.

— Зацвела наконец-то! — Он отпустил стебель, колос пружинисто закачался.

— Рожь? — думая о своем (что там, в больнице?), пробормотал я.

— Что-о?! — рывкнул батя.

— Рожь, говорю, зацвела, — повернулся к нему я, отвлекаясь от мыслей.

— Рожь?! — Отец выкатил на меня свои жгучие очи. — Рожь?!

Со школьных времен я так его не пугался.

— Не рожь? — пробормотал я. — ...Пшеница?

— Тысячу раз тебе рассказывал! Не слушаешь, что ли, ни черта?! — Он вдруг шагнул в поле, ломая с хрустом стебли. — Иди сюда!

— Да ладно... зачем? Я все понял.

— Что ты понял?! — (лутует батя). — Иди сюда!

Я шагнул к нему. Он зорко отыскивал самый крупный колос: ухватил, безжалостно отломал (ему, наверное, можно?), резко распотрошил и поднес к моему лицу.

— Смотри уж... раз ни черта не знаешь! Вот видишь — под пленкой, в закрытом чехле, — и пыльник желтый вон торчит, и рыльце, пушистое! Дошло теперь? Пшеница — типичнейший самоопылитель, а рожь, которой тут, слава богу, нет, — мрачно усмехнулся, — наоборот — типичнейший перекрестник. Перекрестное опыление. Поэтому когда *рожь* цветет, тучи пыльцы над полем висят. А тут что мы видим? Додул? — Отец уставился на меня.

По тропке шел какой-то мужичок и решил, видимо, похозяйничать:

— Эй! Вам делать, что ли, нечего? А ну выходите оттуда!

Батя, резко повернувшись к нему, кинул на него взгляд такой ярости («Что-о? Это ты *мне* предлагаешь с поля уйти?!»), что мужичок сразу что-то такое почувствовал, стушевался и, бормоча себе под нос, удалился.

Лютует батя!

Обратно мы возвращались молча, в мрачных размышлениях. Он, видно, думал с отчаянием, что жизнь, целиком отданная сельскохозяйственной науке, пропала даром, раз родной сын (о, ужас, ужас!) не отличает рожь от пшеницы.

А я думал, что без Нонны, очевидно, лютость станет нормой нашей жизни.

Мы молча прошли в калитку. Оча, важно раздувшись, стоял на тропинке и, видимо, не собирался нам ее уступать. Такие у них законы, очевидно. Видимо, на сестре потом никто не женится, если уступишь!

— Что встал?! — вдруг рявкнул батя. — В землю вращесть!

Своей жилистой крестьянской рукой он легко сдвинул Очу с дороги. Тот чуть не упал, замахал руками, как крыльями, — но не улетел. Вот так, дорогой мой Оча! Образ дряблого, безвольного интеллигента, увлеченного лишь своей наукой и ничего не замечающего, придется пересмотреть! Коренным образом! Просто некогда было бате показывать себя — а вот теперь любуйся!.. Я, кстати, тоже такой. Характер бойцовский, отцовский. Война? Война!

Я огляделся. Битте наконец вылез из «ямы», неторопливо (куда спешить рабочему человеку) вытирал ветошью руки.

— На... держи! — Левин протянул ему деньги. Но Битте не торопился подходить... Кто к кому должен подойти — это еще вопрос!

Вдруг между заказчиком и исполнителем вклинился Оча, навис своей могучей тушей над тем и другим.

— Теперь все *мне* будут платить! — величественно проговорил Оча, протягивая руку к Левину. — Дай сюда!

Я, совсем уже собравшись уйти, обернулся на крыльце.

Война?.. Война! Левин своими насмешливыми глазками-бусинками разглядывал Очу.

— Да пошел ты! — проговорил он и, обойдя Очу, дал деньги Битте в руки. Тот не спеша спрятал их в карманчик и, не обращая на Очу никакого внимания, пошел за ограду.

Война?.. Война!

Левин сел в тачку, завелся и поехал прямо на Очу. Тот стоял не двигаясь. Кто кого?

«Битва при Валерике. Слова М. Лермонтова. Музыка народная. Исполняет Валерий Попов».

И что? Никого уже не боюсь! Левин, потеснив все же Очу, уехал. Битте ушел. И Савва вряд ли вступится. Ну что ж... Раз я это затеял — мне и расхлебывать. Батя мой союзник! Я хотел было раньше уйти, но теперь, специально оставшись на крыльце, смотрел на Очу. Ну что?!

Оча торопливо тыкал пальчиком в свой телефончик... Подкрепление? Давай!

О господи!.. Секунду назад я был уверен, что ничего не боюсь (и так оно и было)... а теперь — боялся буквально всего! Кто все так запутывает — причем именно возле меня? Теперь всего боюсь. По переулку спускалась дочурка! Как всегда кстати! Тут малая кавказская война — а она явилась!

Я глядел на нее... Кукушонок! Как в гнезде у маленькой птички мог завестись такой крупный, неуклюжий птенец? На меня, что ли, похожа?

Она шла тихо улыбаясь, еще не видя меня, но заранее предвкушая, как мы удивимся и обрадуемся, увидев ее! Она же не предполагает, что тут война, — надеется порадоваться... О господи, что за жизнь?!

— Эй! — окликнула она с тропинки.

— Эй! — весело откликнулся я.

Только что собрался позлобничать — но снова надевай радостную улыбку! Так скоро кожа треснет!

Мы обнялись. Вошли на террасу. Батя ждал нас там (или случайно вышел?).

— Мила моя! — простонародно проговорил он, обнимая внучку.

Мы сели, глядели друг на друга.

— Мать-то в больнице! — сказал я.

— Да, я знаю! — энергично заговорила она. — Она с утра мне сегодня позвонила — я уже была у нее, лекарство привезла! Так что...

Молодец! А я сволочь! Все утро тут сочинял!

— Ну... так теперь я к ней поеду? — Я поднялся было с табурета, но вдруг почувствовал, что уже устал.

— Да я уже сделала там все более-менее... — задумалась она.

— Ну и как там? — спросил я.

— Отвратительно! — пробасила дочка. — В палате восемь человек, все харкают, блюют — в туалет не могут выйти! Я пошла к сестре, а та говорит: «А что вы хотите? Здесь больница, больные люди!» — Дочурка раздула ноздри. Характер бойцовский, отцовский — ...Надо ее оттуда забирать!

— Как — забирать? — вскричал я.

Сколько тут всяческих проблем — еще жена снова вернется...

Оча, увидел я, вышел на развилку и нетерпеливо глядел вдаль по шоссе... подкрепление? Ай да джигит — один не может справиться с мирным населением!

Надо срочно сматываться! Куда? Дорога, похоже, перекрыта. Только морем.

— А давайте на лодке покатаемся! — жизнерадостно предложил я.

Энтузиазма мой призыв не встретил. Дочь никогда не соглашается из упрямства, батя тоже глядел скучно — его в данный момент, кроме здоровья, необходимого для окончания его работы, не волновало ничто. Один я тут такой, безумный гребец... Но объяснять им сейчас мою тягу к гребле будет трудно... не стоит пока пугать. Лучше побуду идиотом — мне не привыкать! Взять весла в руки — и угреть! Вот только с Саввой у нас отношения отвратительные. Может, батя весла попросит?

— Счас, только переоденусь, — проговорил я беззаботно (беззаботность как раз дается трудней всего). — А ты сходи пока за веслами! — вскользь кинул я бате и направился в свою комнату.

— Сам возьми, — проскрипел батя. Упрям, даже когда понимает, в чем дело, а уж когда не понимает — тогда особенно!

Взять узлы и бежать на вокзал? Слишком волнительно! Покатаемся, поглядим со стороны... Неужто ничего не понятно? Я в отчаянии глядел на батю. Смотрит он когда-нибудь на людей? Понимает, что здесь закрутилось? Знает хотя бы, кто тут живет? Навряд ли.

— Ну, сходи... в виде исключения! — Я продолжал улыбаться.

— Я тут аб-солютно никого не знаю! — высокомерно проскрипел он.

Молодец! Хорошо устроился. Это только мне выпало такое несчастье — всех знать.

— И правда, пап! Ты чего придумал? Я вам капусту привезла, — Настя вытащила из рюкзака кочанчик, — сварю вам счас отличные щи...

— Наливайте, мама, щов, я привел товари-щов, — задумчиво произнес батя и удалился.

— А ты чего? Работай! — уставилась на меня дочурка.

Работать я скоро буду на том свете!

— Неужели трудно тебе покататься со мной на лодке?

— Папа! — обиженно пробасила она. — Я только что закончила тяжелый перевод! И тут звонит мать, я еду в больницу! Хотела немножко отдохнуть на даче — а ты устраиваешь непонятные скандалы!

Нет. Не объяснишь.

— А если я сам схожу за веслами? — Я заулыбался. — Тогда поплывем? А?! — воскликнул я бодро.

Весело подпрыгивая, я обогнул палисадники, развязно вошел во двор к Савве.

— Эй, хозяин! — небрежно окликнул я.

Какая, господи, мука!.. Похоже, нет хозяина. На крыльцо, зевая и почесываясь, вышла толстая Маринка, жена Саввы. Анчар, дремлющий в конуре, наконец проснулся и тихо зарычал.

— Чего надо? — зевнула она.

— Хозяин дома?

— Нажрался, спит... Отпуск у него! А чего надо?

— А весла нельзя взять? Покататься решили!

— Что, Нонка, что ли, приехала? — Подпрыгнув радостно, как девчонка, она повернулась к нашей усадьбе.

— Да нет. Дочка.

— А-а-а, — равнодушно проговорила она, снова вонзая пальцы в пышные пряди, мелко почесываясь. — Ну, возьми, — кивнула она в сторону сарая и, стукнув дверью, ушла.

Дорога в сарай лежала, между прочим, мимо Анчара... но это уже мелочь по сравнению со всем остальным!

Мы плыли молча, только хлюпали весла. Настя на корме обиженно курила. Не любит, когда ее что-то заставляют делать... А что это для ее спасения, ей не объяснишь.

Батя своими темными очками глядел в никуда — тоже был недоволен. Это бессмысленное катание в разгар рабочего дня никак не укладывалось в его научную концепцию... Один я тут такой любитель художественной гребли!

День, в отличие от предыдущего — святого Мефодия, был легкий, солнечный и ясный. Много Мефодий на себя брал, обещал, что все дни будут на него похожие. Обманул! Хотя в каком-то смысле похожим оказался.

Вода была чистая, прозрачная. В золотой сетке от волн качались водоросли, сверкали рыбки. Я глядел на дальний берег озера, с прекрасным песчаным склоном, обрывающимся вниз от корней сосен. Шикарное место! Счастье, казалось, поселилось там навсегда — оттуда неслись звонкие плески, радостные крики, веселый собачий лай. Как же это люди так счастливо живут? Как это получается? Я же за пол-года ни разу не искупался. Землю рою на берегу — какое уж там беззаботное плесканье!

Тем более... Тем более!! Все на том же мосту, где я впервые увидел приехавшего к нам Очу, стоял знакомый черный «броневичок» с фиолетовыми «кляксами»... боевая колесница Хасана... Пожаловали? И та же простодушная почтальонша указывала им путь...

— Ну, долго еще? — проскрипел отец. — Может, хватит?!

Он, как всегда, оценивает ситуацию блестяще... Но мне тоже надоело изображать гуляку.

— Хотите — так поехали! — пожал плечом я.

Будь что будет!

Зато от скольких проблем я сразу избавлюсь!

Мы причадили.

— Отнеси весла! — сказал я батю. — А ты ему помоги! — указал я Настю на весла. Теперь-то я могу покомандовать?

Надо хотя бы появиться чуть раньше их, взять на себя удары. Настя с батей тут ни при чем... Хотя батя, конечно, при чем... но он, как всегда, «не в курсе»! Я разъярился. Это хорошо.

Оча мотался по усадьбе — видно, в нетерпении, — но пока еще один. Заждался? Недолго осталось. Но пока я ему скажу!

— Что тебе здесь надо? — придвинувшись к Оче, заговорил я. — Мало тебе, что ты там нас ограбил, — приехал сюда? Не стыдно тебе? Вот тут девушка приехала. Ее тоже грабить будешь? Сука ты, Оча, а не мужик!

Глаза Очи почему-то бегали — он как-то не очень внимательно слушал меня... О чем, интересно, он думает? Не обо мне?

— Эй, ты, толстый! — окликнули меня. Я обернулся. У ограды стояла старуха с косой. Все как положено. — Там чарнявыи кличуть тебя!

Все правильно.

Пуускай кличуть! Навстречу им я не побегу. Но они уже съезжали по переулку. Протяжный, скучный скрип — затормозили у калитки. Выходят. Старые знакомые: седой, изможденный — видно, главный у них. Второй — сизый бритый череп, борода до бровей! И — маленький, но важный Хасан. Давно не виделись! Не может, видно, без Очи. Друзья встречаются вновь!

И тут же в калитку вошли батя и Настя. О господи! Не могли погулять?

— Уходи! — крикнул я дочери. — В лес!

— Не хочу, папа! — Вся ее злость почему-то на мне сосредоточилась. Я кругом виноват. Батя поглядел на гостей вроде внимательно — но, разумеется, не признал. Понял, что нечто неприятное — не более того. Решил, видимо, что это литературные критики. Тоже не радость.

— Держись, казак, атаманом будешь, — проговорил он довольно холодно и удалился.

Гости подошли вплотную ко мне. Оча почему-то куда-то скрылся. В гараже? Странное восточное гостеприимство!

— Ты кто? — спросил меня седой, изможденный.

Странно, могли бы предварительно изучить фотографию, чтобы ненароком не пришить постороннего. Или им все равно? Потом — мы вроде бы виделись, на батиной хате... Обидно как-то.

— Да... это алкаш местный! — отмахнулся Хасан.

Еще более странно. Семь месяцев у нас прожил, шесть из них не платил... а лица не запомнил? Что-то здесь творится не то! Я почувствовал вдруг, что у меня закружилась голова и я не понимаю уже, уперся я ладошкой в стену или в землю.

— Там он! — показал Хасан в сторону гаража.

Я — там?

Отпихнув меня с дороги (как непочтительно), Хасан двинулся к гаражу. Гаражная дверь со скрипом отъехала... и гости вслед за Хасаном вошли в гараж. Криков, радостных приветствий почему-то оттуда не послышалось. Что они там делают? Странная тишина. Решили посоветоваться с Очей, как меня известить? Так почему же молчат?.. Что ты за них волнуешься? Волнуйся за себя. С женщинами и стариками они вроде бы не воюют. Хасан назвал меня местным алкашом... Может быть, я им и являюсь? Крики, которые понеслись наконец из гаража, криками счастья не назо-

вещь — скорей криками ненависти. Тренируются? Странно. Раньше надо было тренироваться!

И тут я увидел чудо. Третье Тело, как всегда возвышающееся на помосте (сейчас, в частности, озаряясь вспышками — корреспонденты наехали!), вдруг шевельнулось и сошло с пьедестала. Корреспонденты удивленно загалдели. Считали, что он застыл навсегда? Он двигался медленно, величественно, напоминая мухинскую скульптуру Рабочего, на время покинувшего Колхозницу, только что скрестившую с его молотом свой серп. Он подошел к нашей калитке:

— Эй, земляк! Помощь не нужна?

Я вдруг почувствовал в горле слезы. Не пропадем! Точно не пропадем, если аж Третье Тело России сходит с пьедестала и спешает на помощь!

Слеза, прожигая едкую дорожку, выкатилась из глаза. Я не смог даже ему ответить. Он откинул калитку и вошел.

Я смотрел, как по переулку вниз ковыляет (в домашних шлепанцах, что ли?) Савва, с трудом удерживая за ошейник Анчара. Шлепанцы все время соскакивали, он как-то успевал их цеплять пальцами в пыли, но не останавливался. Он распахнул калитку, пропустил Анчара, но ошейник не отпускал.

— Ну что, политрук? По твою душу приехали?!

Я лишь глубоко вздохнул, пытаюсь удержать слезу на краю другого глаза.

На каждого из них — по глазу. Глаз да глаз! И оба плачут.

Слеза перекатилась через край глаза и побежала вниз — расплакался второй глаз. Слеза затекла мне в рот. Какая горячая! Не замечал раньше такого градуса в своем теле.

— Проблемы? — возвышаясь передо мной, спросило Тело.

— Вроде... не у меня! — пробормотал я, кивая на гараж. По звукам, доносящимся оттуда, можно было подумать, что там репетируют убийство.

Савва, держа ошейник Анчара в левой руке, правой сдвинул нас (даже Тело шелохнулось) и, подбежав, распахнул дверь гаража. Во тьме сияли ножи. Седой и изможденный обернулся и, увидев Анчара, вставшего вертикально, весело улыбнулся. Потом вопросительно глянул на Хасана: дальше что? Неужто крошка Хасан у них главный?

Савва глядел на все это молча. Анчар то поднимался вертикально, потом падал на лапы и снова вздымался.

Оча стоял у дальней стены гаража, у полка с горюче-смазочными материалами, и, прижав руки к животу, икал (от страха, что ли?).

— Ну что? — проговорил Савва, оглядывая гостей. — ...Минуту дать?

То была удивительно емкая минута. Гости спрятали ножи, помедлили, равнодушно прошествовали мимо нас. Они не сворачивали с пути, но при этом никого из нас не задели. Как-то грациозно они уселись в машину. Машина долго сипела и наконец завелась. Они медленно отъехали. После этого мы повернулись к гаражу. Оча стоял обхватив руками живот. Потом громко икнул и рухнул в «яму».

...Теперь мы снова порадовали Сашку, приехав в больницу на машине Третьего Тела — уже с раненым Очей на руках. Потом зашел к Нонне: «А вот и я!»

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. Но тут появилась дочурка — задержалась у Сашки в ординаторской, что-то бурно выясняла. Появилась раскрасневшаяся, возбужденная:

— Это не больница, а сумасшедший дом! Ты что, — вдруг накинулась на меня, — не мог заставить Сашку, — (с какой стати Сашкой называет его?), — в отдельную палату мать положить?

— Значит, не мог! Возьми сама положи, — ответил я достаточно сдержанно.

Но маленькая птичка уже кинулась на защиту своего крупного птенца:

— Зачем ты вообще Настю сегодня привез? Она работу закончила, ей нужно отдохнуть! Сам не мог привезти лекарство?

Снова я виноват! Объяснять ей, как мы здесь очутились, лучше пока не надо. Зачем оправдываться? Голова у меня дубовая, все выдержит!

— Ну... до завтра! — Мы, несмотря на инфекцию, расцеловались.

На ходу мы заглянули в палату к Оче — сидит и уже что-то рассказывает человеку с забинтованной башкой.

Теперь еще и Оча у меня на руках!

Обратно мы с дочкой ехали молча, сердясь друг на друга: она много на себя берет, а я, по ее мнению, мало.

Только Тело за рулем пело: оказывается, и голос у него замечательный!

Через неделю Оча вернулся в свою каморку над гаражом и горячо объяснял нам, как было дело — почему кинжал, направленный в меня, как я думал, вонзился в него.

Все оказалось по-своему логично. Хотя степени восточного коварства даже я, вроде бы знавший обоих жильцов, и Хасана и Очу, не мог предугадать, я был, честно говоря, потрясен. Они нас, оказывается, *не замечают!* — поэтому и кинжал мимо прошел!

Оказывается, Хасан не просто съехал, щедро оставив нашу квартиру своему соплеменнику. Оказывается, Хасан *сдал* ее Оче! Причем не за триста, как мы слабовольно сдавали ему, а за пятьсот! Зачем мелочиться — восточный человек любит размах. Видимо, Хасан не случайно вселил (в нашу квартиру) соплеменника — свято, как и Хасан, чтущего законы горской чести. Это с нами им можно кое-как, а тут попробуй не заплати! Слово горца нарушено, честь оскорблена... Только кинжал! Но наивный Оча (наивность их часто переходит в жестокость) платить не захотел! Все намеки Хасана на возможную месть разбивались о легкомыслие Очи: а! обойдется!.. Как?!

В этом месте рассказа даже я распереживался: что они думают? как живут?

Оча по-прежнему не хотел ничего делать, а значит, не мог вернуть нарастающий долг (естественно, Хасану, а не нам... О нас он как-то уже забыл — нас-то он не боялся). Правда, он назначал нам с отцом несколько странных свиданий в городе, что-то горячо, сбивчиво рассказывал... Мы с отцом переглядывались, переминались (была мерзкая зима) и никак не могли понять: что Оча говорит, что он хочет, зачем он вызвал нас, совсем уже немолодых людей, на эту бессмысленную встречу? Мы-то, когда шли, наивно надеялись, что Оча наконец отдаст деньги за аренду отцовской квартиры. Как, оказывается, далеки мы были тогда от истины! Отдавать деньги нам Оча даже не помышлял (это еще зачем, раз мы терпим и улыбаемся). Цель у него, оказывается, была прямо противоположная: взять деньги у нас, чтобы заплатить *за нашу* квартиру Хасану! Кстати, именно Хасан это ему дружески и присоветовал. Таких восточных тонкостей даже я, считающий себя мастером парадокса, не мог предположить. То есть мы были безумно уже близки к тому, чтобы, сдавая нашу квартиру, самим же платить за ее аренду — причем не либеральную сумму в триста долларов, как мы вяло назначили, а настоящую крутую цену — пятьсот! И только лишь добродушие Очи спасло нас от этой чумы! Но Очу не спасло. «Подружески» выждав три месяца (не то что мы), Хасан со товарищи приехал к Оче, нарушившему слово горца, чтобы его убить — прямо на квартире, за которую он подло не платил (Хасану, разумеется, а не нам).

Тут-то я как раз бестактно влез в окошко и Очу спас. Так что он мне теперь как сын! Квартиры из-за жестоких соплеменников лишился, не знает, где жить! Классический случай для «Чернильного ангела», жаль, что он улетел. И пока он летает с Кузей на спине, вряд ли высоко заберется.

Но эти мои страдания не всем интересны, и вообще я человек стеснительный и скрытный, стараюсь все переварить сам. И за эту свою хитрость и изворотливость Кузей уже осужден. А вот Оча — завидую ему! — выложил все горячо, страстно, открыто, как на духу. Теперь делай с ним что хошь, предлагай ему выход — а он посмотрит... и вряд ли одобрит. Ему что-то красивое нужно — и чтобы было благородно! Ему не угодишь! Он тут пытался *честно*, — Оча, говоря это, снова разгорячился, — пытался *честно* заработать денег, чтобы вернуть долг! (Хасану, разумеется, а не нам.) Так ведь мы же не дали ему!

Под *честным* он, видимо, подразумевал намерение простодушно забирать все деньги за ремонт машин, под которыми ползал Битге...

Так мы же не дали Оче сделать это! Он же *видел*: все мы были *против*!

Что теперь делать ему? Предлагайте: вот он весь перед нами, всю душу открыл!.. Надо подумать.

Но все это мы узнали потом — а пока, под чудесное пение Тела, мы домчались до дома. Нас встретил Савва — гордый, все еще разгоряченный:

— Вот думаю я: что бы вы, лохматые, — (действительно, волосы растрепались), — без нас, гололобых, делали? — Савва провел пятерней по своему короткому ежику.

Действительно, если бы не Савва, гости после Очи вполне бы могли приняться за нас! Да, за нас, слишком мягких, потом приходится доделывать другим, слишком жестким... а мы потом еще морщимся!

Вон Кузя, совесть интеллигенции, презрительно смотрит на нас со своей вершины: да, дошел ты (я), с сатрапом побратался!

Отдыхай!

И мы наконец вошли на нашу кухню. И только хотели расслабиться — как на нас коршуном кинулся батя:

— Вы где вообще гуляете столько? Обедать мы будем сегодня или нет?

Все, что тут было, прошло, видимо, мимо него. Главное — поесть и снова — работать. Молодец!

Мы с Настей переглянулись и засмеялись.

...И вот разнесся по дому пленительный запах щей. И мы сошлись на этот запах. И созвали всех соучастников сегодняшнего дня.

Наливайте, мама, щов, я привел товарищов!

Потом мы улеглись спать. Настя постелила себе в моей комнате, на раскладушке.

— На материнском диване пружины выскочили, как на капкане, — только она одна могла спать на таком! — возмутилась Настя.

Да, мать неприхотлива. Или просто — ленива? Как ей счас спится там?

Я уже погружался в сон, а дочь все читала в углу, при маленькой тусклой лампочке.

— Ну все! — вспыхнул наконец я... Во всем она так — не чувствует меры. — Хватит читать... тем более в темноте! Глаза спортишь! Спи!

— Сейчас! — недовольно проговорила она и читала, наверное, еще час.

Ну до чего же упрямая! Я вскочил, выключил ее лампочку.

— Все!

— Тебе все равно, что я хочу, — тебе главное, что ты хочешь! — обидевшись, громко захлопнула книгу, гневно заворочалась на раскладушке, пружины натужно заскрипели.

— Ну все! Спим! — миролюбиво проговорил я и закрыл очи.

Я лежал с закрытыми глазами, но не спал... Что-то беспокоило меня... Что-то не так!

Я поднял голову... Так и есть! С заката, между деревьев, шел темно-бордовый свет, и она, повернув книжку, читала. До меня донеслось ее хихиканье.

— Ну все! Хватит! — снова пришлось подняться. — Закат тоже вырубает!

— Папа! — пробасила она.

— Все! — Я задвинул занавеску. Тьма! Пружины раскладушки протяжно скрипели. — Ну все! Успокойся.

Обидно, что мне, мягкому человеку, приходится все время быть жестким, но иначе, увы, нельзя — иначе все рассыпется!

Я старался ворочаться поменьше, чтобы все вокруг успокоилось. Спи!.. Но нет! Наверное, надо записать эту безобразную сцену, которая только что произошла у нас с дочуркой? К утру забудешь!.. Да не забуду! (Не хотелось вылезать из-под одеяла и из накрывающего сознание сна.) Забудешь! Прекрасно же знаешь, что забудешь! Не впервой. Сколько уже был, вот так вот заспал. Поднимайся!

Я тихо поднялся, слегка покачиваясь, разлепляя очи, но не до конца, привычно уже нашарил стол в темноте, бумагу, ручку... и стал писать. Дело привычное. По ночам всегда пишу в темноте... Только утром не все разберешь.

Донеслось хихиканье дочурки.

— А ты зрение не испортишь? — ехидно проговорила она.

Я повернулся к ней, пытаюсь поймать в темноте ее взгляд.

— Да, вот так вот! — ответил я. — Читать вредно в темноте, а писать — полезно!

Мы улыбались в темноте, не видя друг друга.

— Что вы там бузите среди ночи? — вдруг донесся сквозь фанерную перегородку голос бати.

— Да так. Полемизируем. Спи! — сказал я.

— Я вспомнил вдруг, — глухо заговорил отец, — как в детстве... Бывало, выгонят меня с книжкой... мол, хватит керосин жечь! А я выйду тогда наружу, приложу книжку к белой стене хаты — все видно! И читаю, пока совсем не станет темно.

— О! Сейчас пойду попробую! — оживленно приподнялась дочурка.

— Лежи!

Потом мы вроде бы уже засыпали. В мозгу проплывали кадрики дня. Да, может быть, со святым Мефодием ему не сравняться — но денек тоже вышел ядрен!

Снаружи раздался уже знакомый, привычный грохот. Я высунулся. Так и есть: снова Битте ссыпался с лестницы.

— А сегодня у нас что? — поинтересовался я.

— Магнитная буря, — сухо пояснил он.

СВЯТАЯ АГРАФЕНА

В это утро я проснулся от бряканья на кухне. Батя лютует? Намекает, что хочет есть? Похоже, все не так, я прислушался к продолженью — тут было какое-то другое, веселое бряканье, журчащее непрерывно, словно ручеек. А, это Настя переставляет посуду! Живет у нас уже третий день — и как хорошо! С ней и я впервые по-настоящему почувствовал лето. И гуляли, и к Нонне ездили в больницу, а вечером даже поймали на удочку рыбку, которую тут же отпустили: посмотрим, как эта рыбка себя покажет!

С таким бодрым настроением я встал и даже дважды присел, изображая зарядку. Не только же одному бате прыгать и приседать. У меня сил на гимнастику почему-то нет, а он прыгает каждое утро — стекла дребезжат! Здорово вообще живет! Ни за что на свете по-настоящему не волнуется. Гимнастика, еда, труд. И не представляю, что может его заставить отказаться от обязательной ежедневной прогулки. И лютует он только тогда, когда путают его планы. А так он — сама выдержка. Наверное, и надо жить так аккуратно? Я точно уже знаю: если из батиной каморки доносят-

ся глубокие вздохи, значит, делает зарядку. Другие причины глубоких вздохов он отмечает. Только зарядка!

Я тоже буду так жить!

Я бодро присел еще раз, напялил перед зеркалом улыбку и пошел. Глянул на церковный календарь у двери. Так... Сегодня шестое июля... «Святая Аграфена, канун Ивана Купалы. Положено утром париться в бане, купаться до позднего вечера с песнями и играми. Заготавливать венники».

Точно. Вот так и буду жить, только прелестями. Почему нет?

«На Аграфену хорошо сажать репу. Репа, посаженная на Аграфену, особенно крепка».

И я буду крепок, как репа!

Сияя, я вышел на кухню.

Настя была веселая, румяная, совсем не такая, как приехала сюда, абсолютно измученная. Жизнь на воздухе, несмотря на все здешние ужасы, ей к лицу. Батя был уже за столом, не брякал, но сидел мрачный... Да, видимо, насчет вздохов только во время зарядки я не прав.

Настя ставила в стеклянную банку вымытые, пускающие зайчики (давно их такими не видел) ножи и вилки. Молодец!

— Всем привет! — Я, сияя, уселся.

Батя не ответил. Решил повредничать? Ну что ж — схлестнемся, батя! Могу!

Настя положила каши... Вот это каша! Отец ел молча, глядя куда-то в неизведанное. Пока, к счастью, настроение Насте не испортил... но испортит, если будет такой!

— Сегодня рано утром... — медленно проговорил он.

Долгая пауза. Интересно, жевать нам можно — или лучше подождать? Ладно, подождем. Хотя, в общем, мысль его понятна: он встал рано, как и положено труженику, а мы позорно спали. Что дальше?

— Я встал — вы еще спите...

Ну, это мы уже поняли.

— Решил на рынок сходить...

Это похвально! Но что-то не видно, чтобы он что-то купил... ни луковицы, ни морковки! Ходил, видимо, с целью научного изучения, как всегда.

— Так вот! — заметив мою ухмылку, припечатал гневным взглядом. — Посмотрел!

Тоже дело.

— И что я увидел?

...Лекция, видимо, на час. Каша остынет. Зачерпнул, медленно, вежливо поднес ложку ко рту. Так можно?

— Продают уже картошку. Свежую... Хорошую! Гладкую, розовую...

— Ну вот — а ты не верил в фермерство! — бодро произнес я. Надо перехватывать инициативу — не то завтрак затянется до ужина, а хотелось бы еще заняться кое-чем.

— ...И почти на всех лотках табличка — специально пишут, чтобы покупали: сорт «Невский»!

Тут уже была настоящая пауза. Как-то он никогда об этом не говорил. Казалось, уже и забыл... «Невский» — сорт картошки, очень удачный, выведенный его покойной женой Лизой, погибшей прошлым летом под автомобилем. С тех пор он никогда об этом не говорил, и вдруг — сегодня. Годовщина? Да нет, она в августе погибла.

— Вот так! — проговорил он в полной тишине (даже птички умолкли). — Лизы нет уже на свете — а сорт ее всюду продают!

Я подумал сперва сказать что-нибудь вроде: «Но это же хорошо, когда после человека остаются его творения — тем более такие наглядные!»... Но не сказал. Все это пустой звук! Умершему от этого навряд ли легче.

Мы с Настей долго молчали, потом осторожно начали есть.

— Я вот думал сегодня ночью...

Ложки снова застыли в неподвижности.

— ...Мозг после смерти сколько живет?

— Не знаю... несколько минут, наверное, — пролепетал я.

— О чем я все время думаю... и простить себе не могу, — проговорил он. — Когда я прибежал... а она на асфальте лежала... Может, она могла еще меня слышать? А я — ничего ей не сказал!..

Пауза. Да-а... Выступил батя! Разбередил всех нас — у Насти даже ложка задрожала, а сам он, похоже, уже успокоился. Спокойным движением, уверенно вытянул руку, пощупал бок чайника — горячий ли? — как это он, собственно, делает всегда.

Потом он, низко пригнувшись, словно принюхиваясь, стал что-то разыскивать на столе.

— Ч-черт знает что! При Нонне был порядок, все стояло на месте, а теперь ни ч-черта не найдешь!

— Слушай! — Я быстро, с улыбкой повернулся к Насте... Срочно надо что-то сказать, чем-то отвлечь, пока не поздно...

Поздно! Она глубоко вдохнула, удерживая слезы, но слеза уже покати-лась по ее круглой щеке. Она выскочила, задребезжав стулом. Надо за ней.

— Слушай, ну извини его, а? Старый человек, загрустил!

— Грустить можно никого не обижая! — резко задрала голову, но слеза уже выкатилась и из другого глаза.

Я заглянул на кухню: отец задумчиво пьет чай. Как же мне сделать тут нормальную жизнь? Невозможно. Хотя я пытаюсь. Но окромя меня — никто! Я почему-то должен все терпеть и улыбаться — а больше никто даже и не пытается что-то улучшить, наоборот — все норовят сделать как можно хуже! Неужели так надо?

— Ну, понимаешь, — заговорил я, — пришли к нему тяжелые мысли...

— А у меня, — она резко повернула ко мне заплаканное лицо, — у меня, думаешь, нет тяжелых мыслей? Может, только такие и есть! И все равно я приехала к вам, улыбалась, как дура, все делала — перемыла вековую вашу грязь... А он... руку не может протянуть за кружкой... сразу обвиняет!

— Ну... он не нарочно!

— И я не нарочно!

— Ну ладно... пошли помиримся! — Я обнял ее за плечи.

Когда-то и моя выносливость кончится!

Настя вывернулась из-под руки:

— Нет! Все! Сейчас схожу на озеро, немного успокоюсь — и уезжаю!

Ушла. Я заглянул в кухню. Батя тоже ушел.

Я заглянул к нему — раскорячась над столом, увлеченно пишет и даже чему-то улыбается. Забыл, видимо, все, о чем только что говорилось. Молодец! Мне бы так выучиться! Но — не выйдет...

Да-а... А мы еще обвиняем во всех наших бедах кавказцев! А мы сами себе кавказцы! Впрочем, я вспомнил недавний бой в гараже... и кавказцы «сами себе кавказцы»!

Заглянула Настя, уже аккуратно причесанная, с рюкзачком на спине.

— Уезжаешь все-таки?

Она весело кивнула: вся уже в предвкушении.

— А... — Я показал глазами в сторону бати.

Она отрицательно мотнула головой.

И действительно, ее можно понять — он пишет себе, ничего не слышит, — ничего не помнит, что только что было. Захочешь напомнить ему — он удивленно сморщится: «А чего было?»

— Ладно... — Я вышел с ней на крыльцо.

Неужто действительно — «нет в жизни счастья»? И правы те, кто пишет это у себя на груди? Неужели же нельзя ничего сделать.

— Слушай, не уезжай! Зайди к нему... он все уже забыл, уверяю тебя! Нормально поговорите! И все пройдет.

— Нет. Я когда ехала, действительно думала, что все будет хорошо. А он...

— Ну, слушай... Хватит уже! — не выдержал я.

— Это тебе хватит! — выкрикнула она. — Все!

Она сошла с крыльца на дорожку.

— Но пойми... мать же в больнице! — кинул я последний аргумент.

— К матери я заеду, — с достоинством произнесла она, нажимая на слово «мать», как бы желая подчеркнуть, что «мать»-то она не забудет — а вот такого отца!.. про него что-то определенное сказать сложно.

Ну и ладно! Моя выносливость тоже не бесконечна!

— Ну хорошо. Пока, — сказал я по возможности сухо.

Она мрачно кивнула и пошла.

Да, с ее крутым характером нелегко. Ей и самой с ним нелегко! Хотя, может, для дел — такой лучше?

Я смотрел, как она поднимается по песчаному нашему переулку.

Вернется ли сюда еще? Это очень важно. Это очень многое в ней покажет! А пока... я смотрел ей вслед. Она поднялась до поворота на шоссе. Обернется ли перед тем, как исчезнуть? Обернулась, улыбнулась, помахала рукой... Ну слава богу!

В блаженстве, вытянув ноги, я сидел на скамейке, погрелся на солнышке. Заслуженный отдых. Но надо вставать и идти! Устал? Ведь день только начался! Ждет уже следующий объект. А ждет ли? Я встал, огляделся... Хоть бы пейзаж запомнить, а то потом и не докажешь себе, что было лето! Во всех садах шикарные цветы — кроме, разумеется, нашего.

Так. Я отпечатал картину в мозгу... Это я как бы отдыхаю на даче.

Батя писал не поднимая головы. Не реагирует. Никакой реакции! Но постепенно я додул, что это отсутствие всяких реакций и есть реакция, причем довольно резкая. Мол, вам на меня плевать — и мне на вас тоже!

Неслабо. Остается и мне уйти в себя. Но не стоит. Все равно за обедом (который, видимо, мне предстоит готовить) мы помиримся. В крайнем случае — за ужином. Поэтому не стоит занимать мрачностью день. Помиримся с ходу.

Я с громким дребезжаньем подвинул к его круглому столу второй стул, уселся. И положил руку на рукопись. Он испуганно вскинул глаза.

Похоже, я все сочинил про него: он действительно ни о чем постороннем не думал, все забыл. И сейчас удивился: чего это я?

Постепенно в его глазах проявилось узнавание: а... вот это кто? И что же?.. Минута близости отца и сына?.. Ну давай. Только недолго! — не удержавшись, он кинул взгляд на часы. Да, крепок батя — ничем его не собьешь!

— Что... уехала Настя? — проговорил он.

Мол, раз хочешь о душевном — давай.

— Уехала.

Мы вздохнули. И у меня мелькнула мысль о работе: надо бы прощание с Настей записать!

Нет уж! Сиди! Общайся! Должны мы хоть когда-нибудь с ним по-человечески общаться? Или нет? Батя нетерпеливо заерзал. Слегка шутливо я вытянул ручку из его пальцев... ну и ручка, все пальцы его в чернилах!

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга... И что?

— Может, на лодке катаемся? — брякнул я.

И тут же чертыхнулся про себя: на лодке? в рабочее время? Ну и чушь! Ничего глупее не мог придумать? Кроме того, пора бы понять из послед-

них событий, что катание на лодке, как правило, ни к чему хорошему не приводит.

Точно такую же мысль я прочел и в глазах у бати: ничего глупее не мог?!

...Глупо, но надо!

— Вставай! — скомандовал я.

Отец греб мощно, размеренно, но — я почти уверен — не знал, где он находится и что делает. Да, трудно перебить привычный поток мыслей даже резкой сменой обстановки. Он думал о своем, научном. Я — о своем. Точней, о своем я пытался не думать. И, вольготно развалясь на корме, на берег даже не оглядывался: а ну его! На дальнем, песчаном, крутом берегу резвились, шлепали по воде, визжали. Справляли святую Аграфену, как положено: купание с играми. Хорошо бы туда уплыть, оставив задумчивого отца в лодке. Но боюсь, он куда-нибудь врежется — вперед должен смотреть я.

Проплыли мимо первого острова. Какие чудесные на нашем озере острова — песчаные, с соснами. Когда мы сюда вселялись, я ликовал. Думал, что на этих островах буду проводить все дни! Ни разу не высадился!

Я оглянулся на берег. Пока все спокойно. На мосту Ужасов через Чернильный ручей ни души: ни гостей с Кавказа, ни словоохотливой почтальонши. Ура.

— Это не тебя там ищут? — проскрипел вдруг батя, указывая мощным своим перстом в берег.

— ...Где?! — Я затравленно обернулся.

На мостках, от которых недавно мы отчалили, стояла женщина, удивительно как-то не гармонирующая ни с летом, ни с озером... А с чем? В темном деловом костюме, в строгих очках она резко выделялась среди окружающей ее дачной расслабухи — ярких шортков, мелькающих полотенец. Из города явилась? За мной? Откуда же? — сердце заколотилось. Из мэрии? Из Управления культуры? Судя по ее облику, что-то в этом духе. Зовут? Понадобился, значит!

Отец подгреб к мосткам удивительно быстро — мог бы более тщательно изобразить упоение природой, но он на такие вещи не тратит сил. Стукнулись о доски. Придерживаясь о борт, я выпрыгнул. Отражая очками озеро, веселый летний разгул на водной глади, она неподвижно смотрела на меня.

— ...Попов? — строго проговорила дама.

Вот она, слава!

— ...Да.

— ...Вы что — совсем уже обнаглели?

— ...Пач-чему?

— Всем даете наш телефон!

— Чей?

— Звонят прямо к нам в ДРСУ, в приемную директора, требуют вас!

— ...И кто же?

— Понятия не имею!.. Говорят, чтобы вы срочно в больницу приехали — там что-то стряслось!

Автобус катил мимо песчаного косогора. Там, за розовыми соснами, уютнейшее Сестрорецкое кладбище — сухое, песчаное. Там лежит Зощенко — помню, я даже завидовал ему: хоть после смерти в хорошем месте! Потом появился замечательный памятник, и вот недавно — кто-то его разгромил. Зачем? Зощенко-то перед кем виноват? Да, и после смерти, оказывается, нет покоя!

Проехали!

Я ворвался в больницу, легко сдвинув загораживающего двери дюжего омовца... здесь-то что охранять?

В палате ее койка в углу была пуста и аккуратно застелена. Я кинулся в ординаторскую. Отпахнул дверь — и обомлел. Рядом с Сашкой Бурштейном сидела Настя — обиженно надувшись, смотрела в окно. Сашка звонил куда-то по телефону.

— А... это ты. — Я посмотрела на Настю и повернулся к Сашке: — Ну что? — спросил я.

— Вот, Настя говорит, — кивнул Сашка, — что Нонну надо отсюда забирать!

— А что такое? — пробормотал я.

Сашка развел руками: я пас. И снова стал озабоченно набирать номер.

— Да? — Настя впилась в него взглядом. — А вы не хотите сказать, что у вас вчера двое рыбой отравились, один — насмерть?

— А я знаю, где у нас теперь... берут рыбу? — пробормотал Сашка. — Но она же не ест! — Он посмотрел на меня.

— Не ест?

— Нет. Абсолютно! — сказал Сашка.

— Дома вроде она ела... — проговорил я... Но точно ли?

— Исследование в основном проведено. Язва пока небольшая. Лечение назначено медикаментозное.

— ...В смысле?! — не понял я.

— В смысле, — вскипел Сашка, — если будет нормальное лекарство — я тебе записал, — давать его! Можно и дома... Если Настя настаивает.

Ей-то настаивать легко!

Только что вроде как-то устаканилось, какое-то настало равновесие — жена вроде при деле, мы тоже...

— Ты, я вижу, не понял! — напористо заговорила Настя. — Здесь невозможно! В палате у нее половина с температурой, форточка не открывается. Мать сказала мне, что ни одной ночи не спала!

— А где она? — спросил я.

— На обследовании. Сейчас явится, — проговорил Бурштейн и окончательно занялся телефоном.

Мы вышли. И вот в слепящем свете в конце длинного коридора, тая и временами исчезая в этом сиянии, с каким-то еще ледящим старичком под ручку появилась она. Из-за старичка она двигается так медленно или он из-за нее? Кто кого ведет? Наконец приблизились.

— О, Венечка! — обрадовалась она. — Вот, не знает, где ординаторская! — Она с улыбкой поглядела на старичка. — Сюда входите! — крикнула ему в ухо. Старичок обрадованно закивал.

— Настя говорит... надо отсюда уходить? — сказал я.

Она со вздохом поглядела на Настю, потом на меня... Ей бы только не принимать никаких решений!

Мы вошли в ординаторскую.

— Не знаю, — сказала она, глядя на Бурштейна. — Я как раз сейчас кишку глотала, с «телевизором». Заблевала два полотенца! — Она хихикнула. — Ты привези, слышишь? — строго сказала она Насте. Та кивнула, но с весьма непокорным видом: как же — им привезу! — Ну вот... — Она задумчиво уставилась на Бурштейна. — И когда рассмотрят эти... блевотные материалы... Будет видно, наверное?

Сашка нервно вскочил, выбежал. То ли в связи с ее последними словами, то ли без связи... То ли побежал узнавать результаты анализа, то ли вообще смылся от опостылевшей ему семейки! Однако через минуту вбежал обратно.

— Ну что? — Я уставился на него.

Сашка отчаянно, но и как-то лихо махнул рукой. Богатый жест. И понимать его можно по-всякому. Мол, еще целый век ждать этих анализов! Или: получены ваши анализы, ничего страшного! Или: что, в сущности, анализы! Все помрем! Понимай как знаешь!

— Так ты... отпускаешь ее? — Я все пытался, как честный семьянин, прижать Сашку в угол и добиться определенности. Но он в ответ лишь зевнул:

— Давай... Под твою ответственность!

— Конечно, под мою... Под чью же еще! — Я язвительно глянул на Настю.

— А ты что, вообще ничего не хочешь делать? — не менее язвительно сказала она.

Характер бойцовский, отцовский! Но бодаться с ней тяжело.

— Ладно. — Я глянул на Сашку. — Но... в случае чего... обратно можно?

— Ты меня уже утомил!

Я хотел было сказать, что это не я, а мое святое семейство утомило, — но не сказал.

— Ну, спасибо тебе... Вот.

— Убери свои вонючие деньги! — рявкнул Сашка.

Жена ушла собираться, а я стоял в коридоре и думал: откуда он узнал, что деньги вонючие? Или других сейчас нет?

Нервно расхаживая, прочитал табличку на кабинете зав. отделением: Р. Г. Фурдюк! Записал. Отнюдь не для писания жалобы — упаси боже! Наоборот, для восторгов: какое звучание!

За столиком, у лампы, тихо разговаривали две медсестры. Говорила одна — другая, наоборот, плакала.

— Он любит тебя, Жень! Уж он-то знает, откуда у тебя седина!

Записал и это.

И вот в сияющем конце коридора появилась она, подошла — уже в сандаликах на тоненьких ножках, с тощеньким узелком.

— Ну все. Я готова! — подняла голову ко мне, улыбнулась.

Мы пошли медленно, под ручку... Я теперь как тот старичок. В конце коридора у выхода курили Настя с Бурштейном, что-то хмуро обсуждая.

Приблизились мы под ручку, веселые старички.

— Ладно... Заскочу завтра, — проворчал Сашка.

Мы медленно прошли мимо омовоца, вышли во двор — абсолютно голый, с грудями мусора возле баков.

— Ой, как хорошо-то! — счастливо зажмурилась она.

Однако, только мы дошли до больничной ограды, сжала мне запястье:

— ...Постой... Передохнем!

Мгновенно провалились щеки, глаза, испарина на лбу.

Я посмотрел на Настю. Та обиженно отвернулась.

— Ну а ты сама рада, что ушла? — обратился я к жене. Может быть, хоть какая-то определенность, в конце концов?!

— ...Не зна-а! — вздохнула она.

— Ты можешь решить хоть что-то, хотя бы про себя?! — гаркнул я.

Она задохнулась, выпяченная челюсть дрожала, выставленный вперед кулачок трясся.

— Если ты... будешь на меня орать!.. Я лягу вот тут и умру! Ты этого хочешь?

— Нет.

— Тогда, может, пойдём? — Она выдавила улыбку.

— Он всегда недоволен! — бодро заговорила Настя. Жена тоже поглядывала с укором. Спелись! Кругом я виноват.

— Ну, пока, мамуля! — Настя чмокнула ее в бледную щечку, погрозила мне кулаком (шутливо, надеюсь?) и унеслась.

На остановке Нонна вдруг застряла возле нищего — довольно молодого, спокойного, наглого, выглядевшего, во всяком случае, здоровее ее.

— Счас автобус уйдет! — тащил ее я.

Она кивнула и стала лихорадочно рыться по кармашкам.

— Сейчас... извините! — улыбнулась она нищему.

Тот спокойно ждал.

Когда мы вошли наконец в наш палисадник, я увидел над оградой огромную мохнатую башку с выразительными, страдающими глазами.

— Привет, Анчарик! — Она подняла ладошку.

Анчарик взвыл. Будто бы знает, где она была!

— Здравствуй, мила моя! — радостно приветствовал ее батя, после чего вернулся к работе.

— Ладно. Ложись отдыхай! — Я показал на диван. — Я все сделаю... Быстротуп, в пакетах.

— Нет. Я все сделаю! — твердо проговорила она.

— Плохо мы без тебя жили, плохо! — смачно грызя хрящ, повторял батя. — Плохо! — с удовольствием повторил он.

Почему так уж плохо? Я даже обиделся. И Настя старалась, и я, и он сам... Так просто говорит, из упрямства!

— Он просто думает, что теперь будет жить хорошо! — шепнула Нонна, кивнув на кастрюли.

Ох, вряд ли. Пока готовила все, устала, снова провалились щеки, глаза... Испарина на лбу... Зря батя так радуется.

— А чего вы арбуз не ели? — бодро проговорила она. Приподняла срезанную часть над бледным, незрелым арбузным чревом. — О... какие-то мошки завелись! — сказала она радостно. И как оказалось, то были неосторожные слова.

— Дрозofiла мелеогастер! — проскрипел батя. Внимательно и с сожалением оглядел обглоданную кость, положил на тарелку. — Фруктовая мушка!

Долгая пауза, предвещающая еще более долгую тираду.

— Великий генетик Морган... — Он поднял палец и застыл многозначительно.

Очень трудно подстроиться к его ритму. Нонна откинулась на спинку стула, закрыла глаза. Неужто он не усвоил до сих пор, что его медленные, обстоятельные, скрипучие лекции почему-то утомляют ее, выводят из себя? Неужто не заметил? Или — назло? Отстаивает свои права, свои свободы?.. Но зачем же перед ней? Она-то чем виновата? Просто не выносит этих тягучих лекций, особенно во время обедов, которые она нам готовит все с большим для нее трудом! Неужто он не чувствует? Скорее, может быть, она послушала бы что-то о еде, которую она приготовила с такими усилиями? Или для него еда — это нечто недостойное разговора? При его-то аппетите!

— ...именно с помощью этой мушки... — потрогал рукою бок чайника, неторопливо налил. — Он сделал величайшее!.. Величайшее открытие!

Пауза. Громко прихлебывает чай.

— На ее примере он впервые в истории человечества — определил *карту* генов: как разные гены размещаются в хромосоме! Отбирал мутационные, уродливые особи...

Среди этих почти невидимых крохотулек, больше похожих не на живые создания, а на рябь в глазах, которая вот-вот должна исчезнуть?

— Уродливые особи! — аппетитный, громкий хлебок из кружки. — Ну там... с загнутыми крылышками! У всех прямые — а он находил загнутые!

У этих невидимок?

— Или другое брал — с опущенным брюшком... У всех — голые брюшки, а он находил опущенные...

Да, явно не торопится... Хорошо встречает ее из больницы!

Громкий прихлеб.

— И скрещивал их, — громкий прихлеб. — С нормальными особями!

Свечечку держал — при спаривании этих... песчинок?

— И рассаживал по пробиркам... Почему дрозofiла? — вперился взглядом в меня. — Потому что у нее самый быстрый срок воспроизведения потомства... Десять дней. Через десять дней можно уже видеть, что произошло. Сколько процентов получило опущенное брюшко... А значит...

Уже сейчас можно видеть, что произошло: Нонна почти без сознания!

Это он нарочно? Или просто привык, пусть даже со скрипом, но доводить каждую мысль до конца?

Нонна вдруг поднялась, закрыв ладонью глаза, и, покачнувшись, ушла в темную комнату.

Я кинулся за ней. Она сидела на диване, отчаянно зажмурившись.

— Извини, — тихо сказал я.

Лицо ее разгладилось, но глаза не открывались. Помедлив, она подняла ладошку, что, видимо, означало: ничего!.. все в порядке!.. я сейчас.

Разгоряченный, вернулся я к батю.

— Неужели ты — ученый, наблюдатель — не заметил еще, как на нее твои лекции действуют?! — вскричал я.

— А почему это? — воинственно произнес батя.

— Не знаю — почему! Тебя просто результат не убеждает? Обязательно надо рассказать — почему?! Теория нужна?! Ну так мы не доживем... до твоей теории!

Мы яростно глядели друг на друга.

— Я думал об этом, — заговорил наконец отец. — Видимо, объяснение такое: это нужно мне. Должен я чувствовать, что не совсем старик. Чувствовать еще свое упрямство... если не правоту. Побеждать кого-то должен... если не убеждать! Конем еще себя ощущать... хотя бы с вами. Паны-маешь? — Виновато улыбаясь, он взял меня за запястье.

— С ней-то зачем? — сказал я. Мы посмотрели в сторону комнаты.

— Эх, товарищ Микитин! — произнес он свою любимую присказку. — И ты, видно, горя немало видал! — Он полуобнял меня за плечи.

— Хорошо! — Я вывернулся из его полуобъятия. — Если ты побеждать хочешь — побеждай меня!.. Слабо?

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. Послышались легкие шаги, и вошла Нонна. Села.

— Извините, — проговорила она. — Я виновата. Все будет в порядке.

Мы весело дообедали. И лишь когда я воровато притянул к себе арбуз, эту бомбу, подкинутую диверсантами, чтобы немедленно выкинуть его подальше, и полетели вновь эти полуневидимые мушки, батя все же не удержался:

— Да... дрозofiла мелеогастер... Много генетиков через нее пострадало! — проговорил он и глянул на меня орлиным оком: все-таки сказал!

Но тут и Нонна уже набралась силенок для реванша. Она встала, задорно подбоченясь, напротив отца:

— Вот ты все время рассуждаешь о высоких материях. А помидоры — и не очень, кстати, хорошие — из Аргентины везут уже! — Она подняла тоненький пальчик. — Ты не согласен с этим, наверное... но ведь ешь! — Она воинственно уставилась на него.

— Конечно, не согласен... после того, как съел! — добродушно пошутил батя, и мы засмеялись.

Перемирие! Теперь можно заняться чем-то другим. Не купанием — такое даже представить дико!.. Работой!

Изрядно уже обессиленный, я плюхнулся за стол. Вот где сейчас действительно жарко! Семейные неприятности, интриги, обманы, нищета — все это мелочи по сравнению с тем, как тут тебя бьет! Дикая кошка, русская речь, так треплет, швыряет, кидает! Какие там кавказцы! Какой там Кузя с его хитростью... Это все — милое дело! А вот тут — это да! Дикая кошка, русская речь, — вот та треплет так треплет! Все последние ночи поднимала меня, кидала к столу: запиши, сволочь, а то забудешь! Пытаюсь спрятаться в сон, бормочу: «Не забуду, честное слово!» — «Нет, запиши!» Утром встаешь, покачиваясь, — и снова Она: что тут накорябал, что за ночной бред? Разбирайся! Вот кто уж действительно бьет так бьет! Уже солнце всю комнату прошло — не отпускает она! Привинтила к стулу! Наконец вроде бы оторвался, пошел, покачиваясь, к мосткам, хлебнуть озона... К-куда?! За шиворот — и к столу! Сиди. А то вот эту фразу записать забудешь!.. Какую, спросите вы, фразу?.. А вот эту, которую вы сейчас читаете!!

Уже солнце тонуло в озере, когда я выполз на скамейку, отдыхивался. Смотрел, как Нонна разговаривает с маленькой собачкой, коротконогой, с сосками, метущими пыль. Собачка снизу вверх задумчиво смотрела на Нонну, а та, грозя пальчиком, говорила ей:

— Сейчас я дам тебе немножко, но больше ты сюда не приходи — видишь, Анчарик волнуется!

Огромная башка Анчара моталась над изгородью, в глазах были боль, недоумение: что же это? Измена их любви?

С умилением я наблюдал эту идиллию — но, похоже, время идиллий ушло навсегда! Подняв глаза от маленькой собачки, я увидел, как по песчаному нашему переулку чопорно шествует строгая женщина в очках... явно по мою душу! Что там еще? С Настей теперь что-то случилось? Я встал.

— Пойду немного прогуляюсь! — пробормотал я и, выйдя за калитку, быстро пошел навстречу судьбе. В калитку, во всяком случае, не стоит ее впускать!

Мы пересеклись на середине переулка. Она уже вполне благосклонно кивнула мне:

— Вас к телефону!

Да будь проклята и эта пруха — благосклонность ко мне женщин! Сидел бы тупо, отдыхал!

— Не сказали кто? — осведомился я светски. Мол, наверняка откуда-то из высших сфер, замучили своей лаской, надоели.

Она многозначительно пожала плечом, улыбнулась... «Услышите!»

Что может быть? Я мысленно развернул перед собой веер возможных неприятностей... Эта?.. Или эта?.. Какая получше? Боюсь, что-то с Настей теперь!

Мы шли, мило улыбаясь, через проходную ДРСУ, через широкий асфальтовый плац, заставленный бездействующими скреперами и бульдозерами.

— Вы видели вчера этот ужас? — слегка кокетничая, возмущалась она.

— ...М-м-м... Что вы имеете в виду?

— Ну, по телевизору... У Сванидзе!

— О да! — понимающе улыбался я.

Не видал я никакого Сванидзе и даже забыл немножко о нем — своих ужасов хватает!

— О да!

Мы, интеллигентные люди, должны поддерживать друг друга, говорить и улыбаться... даже по дороге на казнь! Какая именно меня ждет?

— Прошу вас!

— Благодарю вас!

Она тактично, интеллигентно вышла. Да уж, моей реакции ей лучше не видеть! Трубка-двустволка, отражаясь, лежала на полированном столе. Чем вдарит?

— Аллеу? — вальяжно проговорил я (наверняка подслушивает).

— Здорово, пузырь! — сиплый голос... Господи, да это Иван! Уже легче. Особых бед от него вроде не жду... кроме тех, что уже случились.

— Да... слушаю, — проговорил я строго. Чтобы не поняла дама, что звала меня из-за какого-то пустяка.

— Соскучал я по тебе!

— Я тоже! Куда ж ты пропал? Когда приедешь?! — кричал я.

Отличный разговор, особенно на фоне того, что пугало раньше.

— Да ну, — зевнул Ваня, — надоело мне там!

А как же дети Юга?.. Жгут в его усадьбе костры, слегка приворовывают. Не важно?

— Слышь, у меня дело к тебе...

Я уже радостно, с облегчением сел на стул, вытер счастливый пот... Любое его дело — это не дело!

— Случайно узнал — тут на какую-то премию выдвигают меня... «Красный ангел», что ли... не слыхал? Ты вроде все знаешь?

Я-то знаю. Но как-то неохота рассказывать ему.

— «Чернильный ангел», — все же выговорил я. — «За творческий вклад в дружбу народов».

— А-а-а, — проговорил задумчиво, видимо соображая, когда же он внес этот вклад и куда.

— Так что... поздравляю, — от души сказал я. Измученный борьбой, я и тут подозревал поначалу подколку, подковырку... но раз он со мной простодушен — я тоже.

— Приезжай, выпьем! — сказал я вполне искренне. А что? И выпьем! Должен же я быть когда-то и буйным!

Вытирая пот, я вышел на улицу... Слава богу — живой!

И тут я увидел, что по переулку, бодро переставляя тоненькие ножки в розовых тапочках, поднимается жена с кошелкой в руке.

— Ты что? В магазин, никак, собралась?

— А как жы! А как жы! — радостно проговорила она.

...И больше я про это лето — теперь давно уже минувшее — ни черта не помню!

ФИНИШ

Немножко помню только день отъезда — и то лишь в силу его необыденности, особливости.

Жена, радостная, пришла с базара:

— А я насчет машины договорилась, уезжать!

— ...На когда? — вымолвил я, отрываясь от машинки.

— А на сегодня! — лихо ответила она.

Она давно уже рвалась в город, тосковала по городской квартирке. Говорила, мечтательно зажмурясь:

— Неужто я на моей кровати буду спать? И на моей кухоньке готовить?

— Будешь, будешь, — говорил я. — Но здесь вроде неплохо?

— Тебе везде неплохо! — обижалась она.

Это верно. Неплохо везде. А кому где-то плохо — тому плохо везде.

Она стала, подставив табуретку, скидывать со шкафа клетчатые баулы, главный инструмент «челноков».

— Какая-то я проныр-ливая! — довольная, проговорила она.

— С кем ты договорилась хоть? — смотрел я на нее.

— С нашим Битте-Дритте... с кем же еще? Встретила на рынке его — и договорилась!

Прям летала от счастья!

— Ну что... уезжаем, я слышал? — улыбаясь, вышел отец.

Мы посмотрели в окошко... Все пожелтело, пожухло. Пора.

— Да, — сказал я ей, пытаюсь перестроить свои мысли на городскую жизнь. — С Битте-Дритте договориться — большая удача!

Долго он хорохорился перед нами и, даже когда закончил наконец реставрировать свой «хорьх», вывезенный им из Германии и предназначенный, как он уверял, лишь для высшего командования... долго отказывался на нем ездить. Тем более невозможно было даже заикаться о поездке на «хорьхе» в город.

— Да там все с ума сойдут, постовые застрелятся, если я на «хорьхе» в город приеду! — хвастался он.

— Пообещала кое-что ему! Проныр-ливая я! — хвасталась жена.

Что, интересно, она ему обещала? — разволновался я.

— На когда договорилась-то? Собраться-то хоть успеем? — строго спросил я.

— Думаю, сто раз успеем! — проворчал отец.

И фактически оказался прав. Сто не сто — но два раза подряд мы успели упаковаться — первый раз наспех, второй раз — более тщательно.

— Ну что? — Запыхавшись, я присел на громадный бельевой узел. — Где твой... ездок?

— А вон он, — беззаботно сказала Нонна. — У Надюшки своей торчит!

Так... И сколько же он там проторчит?

На всякий случай я заглянул в гараж: может, главные приготовления уже позади? Но «хорьх», как и прежде, был задвинут в дальний угол гаража. Голый по пояс Оча — с боевым шрамом на груди, оставшимся на память, — мыл из шланга бетонный пол.

— Битте говорил тебе чего-нибудь... про сегодня?

— Что он может? Бездельничает, как всегда!

— Ясно.

Перейдя переулок, я открыл калитку Надюшки, которую Битте когда-то в порыве вдохновения всю изрезал узорами.

Хозяйка сидела в широком кресле, сделанном под старину, полностью заполняя его своими манящими формами. Кресло это ей доставил опять же пылкий любовник, когда он блистал в театре в роли монтировщика.

Битте-Дритте гордо расхаживал перед ней, однако полного счастья у них не было. На низенькой скамеечке у ее ног сидел Савва в пятнисто-болотистой форме (приступил уже, видно, к работе?) и огромным десантным ножом задумчиво строгал прутик, явно намекая на то, что прутик — это так, проба лезвия! Да, сложный завязан узел! Кровосмешение часто чревато кровопролитием!

Савва пренебрежительно отбросил прутик (да, лезвие острое!) и уставился своими мутными очами на негодяя.

— Если уж ты живешь... с ней! — прохрипел Савва (слово «мать» прозвучало бы тут кощунственно — Савва это ощущал). — Так и переезжай сюда, со всем хозяйством... вещи перевози! А так... — Савва подобрал другой прутик и зловеще начал стругать.

— Какие у меня вещи? Все вещи — ... да клещи! — хорохорился Битте.

— Да где у тебя клещи-то? — любовно глядя на Битте из глубин кресла, проговорила Надюшка.

Поняв в очередной раз, что эту преступную связь не разрубить никаким инструментом, Савва резко, мускулисто поднялся со скамеечки, мастерски сунул нож в ножны и, гулко стукнув калиткой, ушел.

Да, уже осеннее эхо! Все голое вокруг.

— Ты лучше вон... делом займись! — указала Надя в дальний угол двора. — Давно ему говорила: зачини сетку! — Ко мне повернулась: — Так нет, дождался! Вот в такую дырку, — она сложила колечком пальчики, — хорь пролез... ну прямо как червяк просочился, — и двух кур задушил! А этот все... красуется! — снова влюбленный взгляд на Битте. А говорят, не существует больше любви!

— Какой хорь? Я с людьми на сегодня договорился! — сурово проговорил Битте, кивнув на меня.

Надюшка махнула пышной и все еще красивой рукой.

— Давно этого раздолбая в шею бы выгнала, — доверительно сообщила она мне, — если бы он по ночам со мной такое не вытворял!..

Тут я даже зарделся, впервые за последние двадцать лет. Видимо, зачислили меня уже в летописцы поселка, раз доверили еще одну из его жгучих тайн!

Из бани в дальнем, завалившемся углу двора вдруг вылезло — почти на четвереньках, иначе не вылезти — Третье Тело России, распарившееся, довольное.

— Ух! — присело на топчан.

— Какие вообще планы? — строго осведомился у него Битте.

— На чемпионат еду, в Германию, на той неделе, — доложило Тело.

— Ты там аккуратней, гляди, — инструктировал Битте. — Смотри там... Третьим Телом Германии не останься!

— Слушаюсь! — усмехнулось Тело.

— Пошли! — сказал Битте Надюшке, кивнув в сторону бани. — Через полтора часа едем! — сказал он мне, удаляясь в страну блаженства. Эти полтора часа он отмерил, очевидно, для совершения главного мужского подвига.

Я вернулся к своим.

— Через полтора часа... обещает! — сообщил я жене. — А где батя?

Она кивнула, вздохнув, на гараж... Где, где... Известно уже, где он проводит теперь свободное время. В гараже! Неожиданный поворот.

...Однажды мы сидели на скамеечке с ним, и он уже добивал меня своей лекцией о науке селекции.

— Ну, ты понял хоть что-нибудь? — кипятился он. — Слушай тогда дальше!

Краем глаза я замечал, что Оча высунулся из гаража с отверткой в руке и давно уже с интересом к нам прислушивается.

— А я вас понял! — вдруг лукаво проговорил он.

Отец изумленно вытаращил глаза:

— Ты?! Разбираешься, что ли?

— Я там у себя... сельхозинститут закончил! — гордо проговорил Оча. И влип.

Теперь его тяжелый механический труд по ремонту автомобилей сопровождается, как правило, сложной лекцией по сельскому хозяйству... иногда эти лекции превращаются в экзамен. И сейчас, похоже, ему нелегко.

— Все эти ваши мерристымы... чушь! — грохотал в гараже батя. — Так... теория одна! А ни одного сорта так и не выведено — мало ли что можно напести!

Оча что-то говорил, оправдываясь.

— Чушь! — гремел батя. — Все чушь!

— Надо его вытаскивать оттуда! — сказал я жене. — Что он... последние минуты на даче... проводит в гараже?

— А давай — на лодочке покатаемся? — предложила она. — Простимся с озером.

— Ну, давай... только ты весла проси.

Так мы и не научились с батеем просить весла! Душевности в нас мало — вот что! Но сегодня, в день отъезда, вдруг начать вываливать душевность, которую все лето скрывал... как-то неловко! Вот уж на следующий год, если вернемся сюда, — сразу начнем с душевности! Надеюсь, тут уже не будет ни просто мук, ни мук творчества. Будем веселиться!

— Ладно, я возьму, возьму... Не беспокойся! — Она уже затопала своими ножонками к калитке.

Потом я наблюдал, как она стоит перед их крыльцом и Савва и его жена, шутиливо отпихивая друг друга, что-то весело говорят. Нонна улыбается, кивает маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой, внимательно слушает, снова кивает. Огромные весла торчат у нее за спиной.

Вот стукнула калитка, вернулась Нонна, довольная, покачивая головой.

— Савва с Маринкой говорят: если ты на следующий год не приедешь... мы с Саввой повесимся... Вот. А Анчарика отравим — так что смотри. Я почувствовала даже, что слеза у меня течет! И вдруг Анчар прыгнул — лапы мне на плечи — и слизнул ее. И хвостом замахал.

У нее вдруг опять засветились в глазах слезки — быстро потеряла их грязным кулачком.

— Ладно. Поехали! — сурово проговорил я, закидывая на спину весла. Заглянул в гараж к отцу: — На лодке поплывешь?

Замученный Оча спрятался от бати в «яму», под чей-то автомобиль, поставленный на ремонт. Батя бомбардировал его сверху:

— Селекция... это — все!

— На лодке поплывешь, нет?! — громко рывкнул я. Глуховат уже батя!

— Ка-ныш-на! — проговорил отец, довольный очередным разгромом оппонента.

И в последний раз мы выплыли в озеро. Я греб чуть слышно, осторожно... Может, в этот раз обойдется? Опасный вообще водоем! Каждое плаванье по нему заканчивается какой-нибудь неприятностью! Но в этот раз ни на мосту Ужасов, ни на зловещих мостках никто не маячил. Неужто Бог помилует нас?

Да, какое-то счастье мы, похоже, все-таки заслужили — поскольку на мостках появился всего лишь грозный Битте и рывкнул:

— Сколько можно вас ждать?!

И вот роскошный «хорьх» стоит у крыльца. Можно выносить пожитки. Я оглядел в последний раз увядающие местные красоты, вдохнул уже холодный, но особенно чистый осенний воздух. Вернемся ли? Подросшие козлики, как фавны, стояли на задних копытцах, уже доставая передними до края забора, сдергивали торчащие над ним листики... Все!

О господи! Настя! Спускается по переулку, еще не видя нас, но заранее улыбаясь, представляя, как мы удивимся и обрадуемся ее приезду.

— Ну, ты молодец! — встретила ее мать у калитки. — А мы уезжаем как раз!

— Значит, буду вам помогать! — бодро проговорила Настя.

— Да-а. — Отец вышел на крыльцо, огляделся. — Как написал мой друг в школьном сочинении: «Настала осень, и пришел конец гусям».

И вот багаж загружен. Что тут еще забыли... Оча.

— Ну, удачи! — по очереди пожали ему руку. Оча прифрантился даже — в честь торжественного момента.

— Будешь в городе — заходи! — неуверенно проговорил я.

Но своего адреса (собрав волю в кулак) не оставил. Увы!

Ключ от нового замка батиной квартиры жег мне сердце (как раз в рубашке лежал)... Представляю, как бы Оча обрадовался, если бы я ключ ему дал!.. Но кому-то приходится быть и злобным!

Напоследок батя конечно же установил рекорд лета! Он внимательно разглядывал Битте-Дритте, расхаживающего возле красавца «хорьха», потом вдруг спросил у меня горячим шепотом:

— А что это за парень? Надежный?

— Это, батя, хозяин нашей дачи, у которого мы прожили три месяца! Что, недосуг как-то было с ним поговорить?

— Да брось ты чушь-то пороть — не было его тут! — яростно прошептал батя.

Молодец!

Ну что еще? Кто еще тут не охвачен?

Вон Кузя стоит, отворотясь, на своей террасе.

Идейные враги? Нет уж, это слишком шикарно для нашей жизни! Пойду займу у него сто рублей — чтобы он понял, что такое настоящая дружба!

ПОСЛЕ ФИНИША

— Ч-черт! Где же их взять, десять копеек! — Я шарил замерзшим пальцем в задубевших углах кошелька... Ни черта! Сзади пихалась очередь — хорошая у этой бабки картошка!

Хоть в базарном павильоне холод не такой, как на улице, но руки все равно задубели... ч-ч-черт! Где все монеты? Ведь были же!

Теперь приходится держать деньги, когда они есть, вот в этом грубом кошельке, сшитом, похоже, из кирзового солдатского сапога, даже без особых изменений его формы. Тяжело такой запихивать за пазуху, вытаскивать еще тяжелей. Главное, у него нет отделения для мелочи, поэтому мелочь приходится искать где попало, что особенно неприятно, когда сзади бушует очередь!

А какой был у меня кошелек раньше — мягонький, с отделением для монет! Сперли-таки дети Юга на дачном рынке — прижимались, якобы что-то предлагали, какие-то свистульки... В результате вместо кошелька теперь этот сапог! Вот выковырял монету!

На каждом пальце по тяжеленному мешку — сметана, творог, сыр, камбала, картошка, свекла, капуста, — посеменял медленно к выходу из павильона, высунулся... Ну и мороз!

Идти приходится маленькими шажками по ледяным колдобинам, три квартала от рынка до дома занимают чуть ли не час! Насквозь промерз!

Вспоминал на ходу, как любимого кошелька лишился. Вспоминается ушедшее лето.

Был на даче такой момент, когда осталась у меня последняя сотельная, да и то потому только, что рваная была — уголок надорвался! Стал склеивать его папиросной бумагой — уголок чуть сморщился, и одна цифра из номера на ассигнации скрылась. Ох, вряд ли где примут такую бумажку! Левин дал мне ее за мою частушку в «Золотом блине» — а даренному коню, как известно, в зубы не смотрят!

Склеил, положил в кошелек — еще тот, мягонький, хороший! — и на рынок дачный пошел: может, там удастся кому-либо втюхать? Стал ходить по рядам, выискивать жертву. Вот, может, эта старая тетенька с цветами — моя жертва? Но на хрен мне цветы? Вот, может, этот крепко поддатый кавказец примет? А ну бритвой полоснет?

И вдруг, пока я искал жертву, жертва сама себя нашла! Хватился — а кошелька нету! Поначалу я обрадовался, хохотал. Вот, думаю, вляпался кто-то! Хотел обогатиться — а вместо этого проблему поимел! Но потом хохот как-то захлебнулся. Хоть и такую ассигнацию, а жаль. В нее хоть и позорный, но вложен труд! И потом, эта же сволочь не знала, что рваную крадет? А вдруг бы настоящую? Рассвирепел! Тем более я понял уже, кто спер-то, — дети Юга.

Добрался наконец до дома, поднялся крохотными шажками по лестнице, скособочась, всунул в дверь ключ. Ввалился. С грохотом кинул мешки, плюхнулся прямо в прихожей в кресло, сидел вытянув ноги, отдуваясь. Лицо абсолютно задубело! И руки! Удалась зима!

Жена выглянула в прихожую. Снисходительно:

— А! Это ты!

Я, представьте! Раньше она на Сенной ходила (дешевле там и лучше), теперь я хожу. Вместо моральных страданий имею теперь физические!

— Тебе какая-то баба звонила!

Я — воинственно:

— Ну и что?

— Приглашает тебя на вручение «Чернильного ангела»!

— ...Не мне, естественно?

— Естественно, нет! — смотрит презрительно. — Неужели попрешься?!

Я сидел молча. Вот отогреюсь маленько — погляжу. Конечно, радости мне там мало, а чести и того меньше... Но Ваня может подумать, что я сержусь на него... А я на него вовсе не сержусь — и надо, чтобы он увидел это и не расстраивался!

— ...Пойду! — произнес со вздохом.

— Идиот! — жена рывкнула.

Укрепила здоровье! Навставляла зубов!

Тут замок заскрипел. Батя является с регулярной прогулки. Каждый день ровно час прогуливается — при любой погоде в легкой курточке, даже в такой мороз! Бодрый, румяный! Молодец! А я-то сейчас, когда мы с женою ругались, старался потише быть, на дверь его поглядывал: как бы батя не расстроился! А он и не расстроился, оказывается, — спокойно в это время гулял!.. Даже неинтересно!

— Идитии-и! — Жена с кухни зовет.

Сели ужинать. Батя румяный, молодой, стройный. Зубами сверкает. Ест он так же истово — последовательно и основательно, — как и работает.

Откинулся наконец от стола. Улыбнулся.

— Ты знаешь, — сказал мне, — я сегодня ночью какой-то каламбур придумал... Помню, даже засмеялся под одеялом. Думаю, надо утром Валерию сказать! И забыл — представляешь?! — с досадой хлопнул звонко по коленке. — Забыл! — весело засмеялся.

— Записывать надо! — злобно проскрипел я.

Я так всегда все записываю!.. Даже много лишнего, как оказывается!

Глянул на часы. Половина девятого. Сейчас бы на диване распластаться перед телевизором. Вчера работал всю ночь. Но надо вставать и идти на вручение... «За творческий вклад в дружбу народов на современном этапе». К сожалению — не мой!

А я между тем тут тоже дружбы народов укреплял, на современном этапе. Был на конгрессе в Хельсинки, хотел со шведами, норвежцами, немцами подружиться... Но с удивлением обнаружил, что крепче бывшей советской дружбы ничего нет. Не увлекал почему-то нас ни острый галльский смысл, ни сумрачный германский гений... Почему-то бывшие советские народы — встречались в простонародной пивной у вокзала — все там оказались: и белорусы, и украинцы, и таджики, и узбеки, и грузины, и армяне. Два чеченских поэта. И ясно стало абсолютно: большего братства, чем между нами когда-то было, нигде не было и не будет уже никогда! Чеченцы нам ближе англичан!

Более того — я даже Россию в границах до 1914 года охватил! С финном подружился, у которого жил. Маленький, круглый, веселый. Кстати, вдовец, с двумя мальчиками. Но как-то спокойно, уютно живет. Машины журчат, стиральная, посудомоечная. А он сидит, добрый, симпатичный,

русской культурой восхищается: какая глубина! надо бы научиться жить по-ихнему. Договорились дружить!

И чеченский поэт в гости пригласил. Приезжай, сказал, как бога при-
му. Видимо, как бога войны.

Вот такой охват!

А премию — Ване!

Ну ладно. Пришел. Позолоченный дворец Воронцовых.

Ваня сидел какой-то встрепанный, растерзанный, словно и не понима-
ющий, что это с ним. Но когда какой-то референт шепотом спросил у
него номер его валютного счета, Ваня отчебучил весь длинный ряд цифр,
ни разу не сбился! Да, Ваня не так прост! Во всяком случае, не так прост,
как правда.

Но настоящим триумфатором конечно же Кузя гляделся! Скромный,
интеллигентный, в солидном костюме, с добротной бородой! «Совесть всех
современников»!

Ваня, ясное дело, отработал подарок. Соображает, что требуется от
него! Напился, устроил бузу, к иностранным бабам приставал с односмыс-
ленными предложениями, потом с барменом сцепился! Все культурно.
Буквально вся пресса отметила, что премию дали какому-то выдающемуся
мудаку. Таким боком, и Кузя получил пусть горькую, но всероссийскую
славу! По всем каналам объяснялся, и подтекст был такой: каким ничто-
жествам только не приходится давать высокие премии... Но главное — по-
мочь пробиваться принципам сквозь пургу и порошу, что он, с его
скромными возможностями, и делает! Аплодисменты.

Меня Кузя тоже приголубил. Столкнулись мы с ним только уже на
фуршете, и Кузя заявил громогласно:

— Ну, ты-то, ясное дело, только выпить приходишь!

А — по морде?!

— Что он ко мне цепляется? Ведь все уже отобрал, что можно! Мог бы
вообще не замечать! Я ведь все уже отдал — что надо еще ему? — такой
горький вопрос задал я Ване, когда он заглянул ко мне через пару дней
после премии, с двумя бутылками.

— Все, говоришь, отдал? — Ваня хитро улыбнулся. — Да, выходит, не
все!

На первой бутылке я еще осторожно общался с Ваней, особенно на-
счет премии... Вдруг узнает, что я его чуть ненароком «Чернильного анге-
ла» не лишил? Когда дети Юга сперли мой кошелек — и не у меня одно-
го, оказывается, — тут я маленько озверел, пошел к Савве и сказал, что не
все передовое человечество одобряет вселение детей Юга на Ванину дачу...
тем более Вани в помине нет! Часть передового человечества резко против!

Кузя с удивлением на меня посмотрел, словно впервые увидел:

— О! Оказывается, вы и нормально умеете разговаривать... когда при-
прет! А то этот, — в сторону Кузи кивнул, — все какой-то туфтой меня
кормит: мол, все человечество вздрогнет, если их убрать.

— Пусть вздрагивает! Убирайте! — сказал я решительно.

Кому-то приходится быть и нехорошим...

Так что теперь я — не спорю — от любой премии отрезанный ломоть!
Весь рейтинг коту под хвост! Приплясывающих, поющих детишек вывезли
на автобусе в какой-то монастырь. Жить спокойнее стало. Со мной теперь
все ясно: на детишек голос поднял... отрезанный ломоть! Можно не сует-
иться. Я только за Ваню тогда беспокоился: вдруг и премию ему отменят,
коли детишек-то нет? Обошлось! Никто и не поинтересовался! В разгово-
ре я даже засомневался, касаться ли с Ваней этой темы? Думаю, он даже
изумится: какие дети? Все хорошо.

Только вот Кузя что-то цепляется, никак не утихнет. Ваня признался
мне, на границе между бутылками, что Кузя всюду рассказывает обо мне

как о жалком, беспринципном, лживом, корыстном типе... Ну что цепляется-то? Ведь я же все ему отдал, что мог!.. Неужели — не все?

Кузя сильно в гору пошел, стал теперь тут официальным представителем фонда — за объективность свою и бескорыстие. Вытеснил Втахову за рубеж, стал выполнять все ее прежние обязанности. Ну, не все, конечно... Это я «не все» подразумеваю относительно меня! Ну, не поймите меня неправильно... фу, запутался... не все обязанности относительно меня — это я имею в виду, что он не снимает мою квартиру, как Втахова снимала. Вот. Это я и имел в виду. Все!

И вообще Кузя сейчас ощущает себя как бы батькой всей нынешней литературы. Недавно на деньги фонда Всемирный конгресс провел по самому передовому течению — постмодернизму. Весь мир созвал. Правда, приехали почему-то лишь албанские и монгольские постмодернисты... Неужто в других странах уже нет? Но все равно размах-то какой — от Монголии до Албании! Батька наш Кузя теперь — литературный батька!

Недавно я его в вагоне метро наблюдал, он меня, конечно, не видел, погруженный в свои мысли — о человечестве в целом. Рядом с ним беременная стояла, а напротив их развалясь сидел мерзкий юнец, закатив презрительно очи, жвачку перекидывая с зуба на зуб. Но наконец проняло его, кинул злобный взгляд на беременную, взвился с места, повис на поручне, буркнул: «Садитесь!» И тут Кузя меня потряс. Посмотрел на юнца, потом — на пустое место и скромно так произнес: «Ну что вы, юноша! Не беспокойтесь! Я постою!» То есть никакой беременной не заметил, даже не представил себе такого, просто уверен был, что юнец дрогнул перед ним, «совестью всех времен и народов», узнал, затрепетал, конечно, и место уступил! Скромное торжество это светилось в Кузином взгляде. Скромно отказался. А беременная тут вышла, на место не села... И Кузя, не заметив ее, остался при своем величии... Так что ж цепляется?

Зиновий, отец его, вернулся осенью из-под Бордо, где провел все лето с малой дочкой, проявляющей, говорят, недюжинные музыкальные способности, ну и деловые связи, разумеется, завел.

Вернулся он в сентябре, невзначай как раз к своему семидесятипятилетию... но народных торжеств, как было бы при прежней эпохе, — увы! Дали скромный «Знак почета», взяли пару интервью. Поселок — культурный центр перешейка — это событие отмечал, конечно. Но не так повально, как было бы раньше.

«Золотой блин», к примеру, на это событие никак не прореагировал.

— Кого эти старперы нынче интересуют?! — Это произнес именно Левин, владелец «Золотого блина», никак не отметивший славный юбилей своего бати, пусть сурового и немногословного — немногословного в отношении Левина. Но все-таки... так про бату... хоть духовно не близкого.

«Золотой блин», кстати, вскоре после этого сторел — запылал, подожженный со всех концов... Но вряд ли это с мезтью Зиновия связано!.. Исключено! Зиновий выше этого — вряд ли про «Золотой блин» вообще знал!

Да и сам Левин не очень унывал... «Ну, блин горелый... Ну и хрен с ним!» Ко мне он с другим предложением явился — рекламу сочинять. И в тот раз, когда я Кузю увидел, я как раз рекламу для его брата Левина сочинял, прикидывал, как лучше сделать на стенке вагона рекламу икры минтая. Два варианта крутил. Первый: «Поддай к столу любовь» — или: «Чья? Русалочья!» Остановился на первом... Вообще Левин теперь — все-таки сказались отцовские гены! — рекламу интеллигентную требует, с грустинкой! «Переходят все границы тараканы и мокрицы»... За грустинку — отдельная плата. Ну что еще Кузе надо от меня?!

Размашистый Ваня тоже скучать не давал, вскоре явился ко мне с новой незадачей: «Посоветуй как друг!» Оказалось, только что были они в

одной стране с делегацией поэтов-песенников на приеме у их королевы. Странно, подумал я, каких это поэтов-песенников королева принимает? Давно я думаю насчет Вани: не полковник ли он? Все может быть. Короче, во время этого приема вдруг погас свет. Все метаться начали: провокация! Ваня в темноте столкнулся с какой-то сухонькой женщиной. Ну и... сам толком не понимает, как все произошло. Потом, когда зажегся свет, увидал, что королева на него как-то странно поглядывает. Вот так. Теперь, если вдруг ребеночек родится, что же ему, Ване, королем становиться? Не хотелось бы — а вдруг придется? Как быть? За обсуждением этой жгучей проблемы мы вылакали с Ваней бутылку водки и в конце концов решили твердо: пусть будет так, как будет.

Вообще, все летние красавцы не позволяли себя забыть!

Савва, силу накопив, повязал главного бандита округи, чем привлек бурное одобрение — и поддержку — всех его конкурентов. Теперь берется за следующего...

Об этом мне язвительный Битте-Дритте сказал, явившись с визитом. Вообще у меня в доме как бы их посольство образовалось...

Надюшка, сказал Битте, ребенка ждет, но он не уверен, что от него, — к ней в последнее время поэт Марат Дьябкин ходил.

А в общем-то все на месте. Только вот Оча слинял, не вынеся низкоквалифицированного и малооплачиваемого труда. Сначала его якобы добродушный, интеллигентный Зиновий к себе сманил, суля интересный, творческий труд. А закончились посулы эти, как и следовало ожидать, покраской крыши их дачи. И когда Оча, на крыше засидевшись, сказал, что должен уйти покушать, то рачительный хозяин как бы невзначай лестницу свалил, по которой Оча взбирался, и про Очу «забыл». Вспыльчивый Оча спрыгнул с крыши, ногу повредил, но, хромя, ушел. Кузя, хоть на террасе был, этого мелкого происшествия не углядел. Ваня почему-то к себе на дачу беженца не пригласил, хотя хладнокровно наблюдал эту сцену... и мог бы дружбу народов укрепить... Но зазнался, видимо, после получения премии.

В итоге наш «кавказский пленник» сбежал. Хромя, ушел к своим соплеменникам, которые у фермера Ивана Ивановича доярками работали. История, потрясшая в свое время всю округу. Было у Ивана Ивановича три сына, справных красавца, все хозяйство ему вели. Но тут пошла кавказская война. Сыновей забрали. И все трое не вернулись. Погиб, правда, только один. Другой там влюбился, женился, остался. А третий на той войне каким-то бизнесом занялся и вскоре сел. Не стало, короче, сыновей. И тут вдруг на ферме появился кавказец, из того самого народа, с которым сыновья воевали, — и свои услуги предложил. Сперва Иван Иванович его прогнал, но тот снова пришел: жить негде. Стал работать. Иван Иванович пригляделся: хорошо, черт, работает! И скромный — не гуляет, не пьет. Потом к нему соотечественник прибил. К тому — брат. И теперь на ферме Иван Ивановича коров доят дояры из той самой народности, в войне с которой сыновья его сгнули. Сперва Иван Иванович не мог вместить в свою голову такой парадокс: как же так, сыновья сгнули, а эти — тут? Пил горькую, гулял. Среди местных про него шутка ходила: «Дорогой Иван Иванович, ты пусти нас с бабой на ночь». За пол-литра пускал. А хозяйство все гости захватили. И вдруг однажды Иван Иванович проснулся и сказал: все! Снова стал командовать, молоком торговать. Возле его ворот на шоссе всегда стоит банка на табуретке, и в ней что-то белеет: не молоко, правда, а свернутая бумага. Но проезжающие все равно понимают: молоко. Выходят, покупают у трех его верных нукеров — сам Иван Иванович теперь только командует. Вот кому надо было «Чернильного ангела» дать!

Но Оча и там не прижился. «Коровьей сиськи не хватило», как язвительный Битте-Дритте сказал. Теперь Оча, как Битте говорит, подался в город к своим соплеменникам, на Сенном рынке предлагает контрабандный спирт.

Была в визите Битте-Дритте и деловая часть: взял триста рублей «в счет ремонта моей будущей машины», как он сказал. Вон как люди вперед смотрят: я и не знал, что у меня, оказывается, будет автомобиль!

— Вы тут «Чернильного ангела» разыгрываете, — сказал Битте уже в прихожей (все ему ведомо), — а вон наши мужики, пока спирт из «чернильной цистерны» не прикончили, на самом деле посинели! Вот кто «чернильные ангелы» в натуре — а вы языком только ля-ля-ля!

Умело обидел. Сказал бы это до трехсот рублей — не получил бы!

Но в общем-то Битте мало изменился: руки золотые, сердце стальное, глаз — алмаз.

Как-то судьба Очи меня растревожила. Хотелось бы ему помочь... Только желательно не квартирой! Желательно — морально! Специально несколько раз на Сенном рынке проходил мимо их рядов. Смуглые хлопцы стоят, в сторону смотрят, но доносится шепот, когда идешь вдоль их шеренги: «Спирт, спирт, спирт!» И вот — снова иду! Навстречу мне движется милиционер и «спирт, спирт, спирт» по мере его приближения затихает. Милиционер поравнялся со мной — и вдруг из его уст: «Спирт, спирт, спирт!»

А Ваня-друг скучать не давал. Уже ближе к весне явился с новой незадачей: жить негде! Разводится с Амгльдой! Решил-таки поднять семью на недосыгаемую для себя высоту! Амгльда требует за развод дачу и квартиру. Что делать?

Помню, как Ваня — давно еще — с Севера вот так же явился: «Скажи всем там, — (где «там», конкретно не указывалось, это я сам должен был сообразить), — ...скажи там: приехал с Севера чувак, денег ни копя, жить негде... скажи там всем — может, кто заинтересуется».

Заинтересовался тогда один я... Но сейчас — нет: перенаселенность у меня... К Кузе! К Кузе, на дачу его! Заодно нашу старую дружбу возродю! После того, как Зиновий опять в Бордо убыл — лекции читать, — Кузя один мыкается. Я даже думал: если он один, может, будет стирать заодно и нам? Но не вышло. Мается Кузя!

— Есть один вариант, — пока уклончиво Ване сказал. — Попробую.

— Давай... скажи ему! — Ваня разгорячился. — Хороший, мол, мужик! А если не поверит... — тут Ваня вообще закипел, — я так будку ему начисчу — век не забудет!

— Послезавтра зайти, — сказал Ване сухо (вдруг не получится?), но внутренне ликовал я... дружбу нашу верну!

Уходя уже, Ваня глянул на стенку и стал вдруг рыдать: мол, точно такой коврик висел у него над колыбелькой... пришлось отдать!

Наверняка снова вокруг пальца меня обвел!.. Не было у него никакой колыбельки! Но трудно разве обвести вокруг пальца, если человеку это приятно? Тем более — друг!

Помню, как в молодости я целую зиму ходил без рукавов, рукава поносить дал: один рукав Кузе, другой — Ивану!

Так что коврик — тьфу!

Понесся к Кузе в деревню — насчет Вани узнать. Все-таки неизвестно, как Кузя отнесется к нам после всего... Может, сердится?

Возле станции в наш Дом творчества заскочил. Грезилось мне, что там все по-прежнему... Нет! Совсем уже там ледовый дворец: сосульки с крыши в сугробы вросли. Не пролезет.

Вышел на улицу — и увидел вдаль: дым розовым столбом над Кузиным домом. Помчался туда. Как раз был канун поста, прощенное воскресенье... солнце пригревало уже. Сейчас мы с Кузей друг друга простим!

Однако суховато он меня принял, хотя перебору с визитерами не наблюдалось в тот день. И вдруг — Дженифер вышла! Вот это да! Воссоединились, значит? Ну, хорошо! Но, похоже, грустили. Похоже, не она его втянула в свое богатство, а он ее — в свою нищету. Стекла замерзшие. Угля нет! Весь пол, как в мелком бисере, в мышиных какашках. Достали корочку сыра из мышеловки, угостили. Но все же я поцелуй с них сорвал!

Нет, все же хорошие у нас люди! Мужик с доской на плече разворачивался, выходя на станции Удельная, и сам себя треснул доской по голове. И сам же извинился: «Простите ради бога!» И сам же простил: «Ничего, ничего!» И даже не заметил в задумчивости, что не два тут было хороших человека, а всего один!

Ночью Ваня позвонил: с Амгльдой помирился!

Потом я за столом письменным сидел, бормоча откуда-то прилетевшее: «Да... Ужасно! Ужасно!» Потом вдруг спохватился, опомнился: что — ужасно-то?

Ночью можно только ручкой работать: стук машинки будит семью.

Ну вот, пожалуй, и все! Я шлепнул ручку плашмя на лист. Потянулся... Прислушался. Из кухни бряканье донеслось: батя шастает.

— Ты чего это тут... по ночам?

— Да вот, — смущенно проговорил батя. — Чайку решил попить... Вроде закончил! — Он слегка ошалело глянул на меня.

— Что?

— Все! Абсолютно!

— И я вроде тоже!

Вот так вот! Главное — усидчивость. И — выдержка. И гений, парадоксов кум!

Мы смотрели друг на друга, потом налили чай, взяли чашки.

— У тебя пальцы в чернилах! — усмехнулся батя.

— Этим и горжусь!

— Вы чего это тут делаете? — зевая, вошла жена.



ЭЛЬМИРА КОТЛЯР



ЦМШ*

*Иду по любимым местам.
Детство мое — за мной по пятам!
Улица Герцена, консерватория —
моя территория!*

.....

Школа моя музыкальная!
Это же целый роман!
Надежд и страстей обман.
От детишек требовали мамы,
чтобы по четыре часа
играли упражнения и гаммы.
Девочки и мальчишки
забыли прыгалки и мячики!
А какие ревности сцены
видели школьные стены!
Матери юных дарований!
Сколько в них было
бесовской гордости,
несбывшихся упований!
А мама Лени Когана
не участвовала в гонке.
Сидела себе в сторонке
в раздевалке, в тихом уголке.
В длинной деревенской юбке и платке.
Говорила сыну:
— Ленечка!
Ты тихонечко!..

Леня Коган уже тогда
был мальчик-звезда!
На переменах не прыгал, не скакал.
В игры детские не вникал.
Глаза у него черным-черны —
глядели из глубины.
Над переносицей
почти сходились брови.
От этого взгляд
казался еще суровой.

Котляр Эльмира Петровна родилась в Казани. В 1931 году семья переехала в Москву. Окончила Московский педагогический институт им. Ленина. Работала преподавателем. Автор четырех поэтических книг, а также пятнадцати книг стихотворений для детей. Живет в Москве.

* ЦМШ — Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории.

Леня Коган
 никогда не разговаривал со мной,
 хотя мы сидели за партой одной.
 И вот контрольная по арифметике.
 Я вижу, что он
 ничего не пишет в тетради,
 а только делает вид
 и списать у меня норовит.
 Я сказала:
 — Ленька, не списывай,
 это нечестно! —
 Я была пионерка,
 и мне это было известно.
 Но он списал задачки решенье.
 Я доложила учительнице,
 и Анна Семеновна сделала ему внушенье.
 И тут подходит ко мне
 Эльвира Борисовна
 из родительского комитета
 и говорит:
 — Зачем ты сделала это?
 В гимназии ябед не любили,
 их даже били! —
 И что же ответила я?
 — В гимназии учителя были враги,
 а теперь — друзья!.. —
 Эльвира Борисовна поперхнулась,
 а я разревелась навзрыд:
 какой позор! Какой стыд!..

На экзаменах в музыкальной школе,
 почему, не знаю до сих пор,
 я произвела фурор.
 Сам композитор Ипполитов-Иванов
 покивал мне седой
 бородой!

Сначала
 ученическая музыка
 у меня под пальцами
 чистенько звучала.
 А в старших классах
 обнаружилось,
 что слабо пишу музыкальные диктанты.
 Куда-то подевались мои таланты.

На ритмике
 в маленьком зальчике
 кружимся, девочки, мальчики...

А один раз в школу приехал джаз.
 В нашем маленьком зале
 он гремел.
 Мы считали,

что к настоящей музыке
отношения не имел.

Наш детский оркестр
приглашали в Кремль
в те времена.
Однажды во время концерта
на скрипке у Доли Клиота
лопнула струна.
Такая накладка,
но, слава Богу,
все сошло гладко!

Музыка! Ты была любовью моей безответной!
Рояль в классе стоял отчужденный и неприветный.
Рукам моим не была дана благодать
с ним совладать.
То была детства и юности моей беда.
Я думала, не исцелюсь никогда.

.....

С Ньюмой Фруманом
я дружила в пятом, шестом, седьмом.
Он отличался какой-то взрослостью и умом.
После уроков с улицы Герцена
мы спускались на Якиманку
с Каменного моста.
Это были наши места.
Когда мы прощались, рукопожатье
означало больше, чем поцелуй,
чем объятье!

Боже! Какими мы еще были малышами!
Ньюма писал мне записочки
и слова подчеркивал цветными карандашами.
Я голубую ленточку
повязала на запястье.
У него в кармане
голубое стеклышко на счастье!

Не знаю, всерьез или на потеху
мальчики поклонялись на чердаке
грецкому ореху.
Когда они приходили с чердака,
у них были перепачканные лбы.
Какие они ореху приносили мольбы?

В заветном уголке, на чердаке,
мы испытывали силу воли:
надо было уколотся иголкой до крови
и не вскрикнуть от боли!

Мы ходили в зоопарк.
Покупали булочку
и делили ее пополам:

половину птицам,
половину нам.

Мы с ним бродили по улицам и провожались.
Прохожие прислушивались и поражались:
о чем говорят дети?
А мы говорили обо всем на свете.

О родстве душ и мировых идеях,
носящихся в воздухе современности...
И во всех разговорах
доходили до большой откровенности.

В школе я видела его маму.
С подбритыми бровями даму.
Отец его был часовщиком.
Он не жил с семьей.
Нюма переживал — ой-е-ей!

А когда мы перешли в восьмой класс,
я вдруг потеряла над ним власть.
Появилась Манюра —
маленькая красавица армянка...
И она Ньюму увела.
Я на нее не держала зла.

Меня в классе считали чудачкой.
Точно я задумалась
над труднейшей, неразрешимой задачей.
А мои одноклассники
фокстрот танцевали,
влюблялись и флиртовали.
А мне казалось,
надо сначала что-то понять,
загадку мира разрешить,
а тогда жить.

Всю войну мы с Ньюмой
друг о друге ничего не знали.
И вдруг встретились в консерватории,
в Большом зале,
в вестибюле, где зеркала...
Мы вместе в зеркало взглянули, —
и как будто колокола
над нами вздрогнули
и воздух качнули!

.....

Дмитрий Иванович Сухопрудский —
учитель словесности русской.
Все поколения учеников
ходили на исповедь к нему
как к духовнику своему.
Он был старый, сухопарый, седой.
Волосы — нимб, точно святой!

Говорили, что прежде он был
не учитель —
священнослужитель.

Во время войны из Москвы не уезжал,
а в школьном здании старом
был истопником-кочегаром.
Когда я вернулась из эвакуации,
предложил мне хоть сейчас
пройти с ним курс литературы
за десятый класс.
В тетрадке моих стихов —
детских мечтаний —
сделал столько замечаний,
как будто эти пустяки
были и вправду стихи.

Математик — Самуил Ефремович —
Самоша.
Он был хороший.
Меломан!
В голове у меня от математики
стоял туман.

Физик — Георгий Дмитриевич Палеолог —
был девчачий бог.
Рита Ганковская на уроке
написала ему посланье —
в любви признание —
и подписалась «Артур».
Ну что взять с нас, дур?

Военное дело — такой у нас был урок.
Мы разбирали винтовку: ложа, затвор, курок.
Если военрук Николай Иваныч
похвалит: — Молодец! —
скажи: — Служу Советскому Союзу! —
и делу конец.

.....

«Конститутором»
звали мы его за глаза
и не учили ни аза.
«Конститутор» языком суконным
знакомил нас с законом,
а мы скучали
и лысину его изучали.
И вот однажды
не пошли на его урок.
Какой в нем прок?
А «конститутор»
страшно обиделся на нас,
на весь класс!
Нам грозила беда,
и тогда

Рита Ганковская,
 девочка с толстой косой,
 подобралась к нему лисой,
 встала на колени перед ним
 и голосочком нежным своим
 стала умолять и просить
 нас простить!
 «Конститутор» не выдержал,
 махнул рукой.
 А если бы на его месте
 был другой?
 Надо иметь в виду,
 что это было
 в тридцать седьмом году!

Родители многих учеников
 занимали посты ответственные.
 И вдруг ими заинтересовывались
 органы следственные.
 Обыск. Арест.
 На всю жизнь — крест!
 Дети, носившие шубки
 на гагачьем пуху,
 вдруг просыпались сиротами...
 Вот какими время шло поворотами.

В нашем классе
 у Манюры Гамбарян
 отец — ученый — был в ссылке.
 Ему посылали посылки.
 У Светланы Виноградовой
 отец — музыкант —
 арестант.
 Отец Риты Ганковской
 объявлен врагом народа.
 Мы не знали, что и думать
 про дела такого рода.
 В классе никто
 не напоминал детям
 об их беде.
 Это было не принято
 в нашей среде.

А тут война!
 Все узлы разрубилa она.
 Я уже не пианистка
 никуда не годная,
 а девочка,
 от пианино свободная.

И вот мы встретились —
два старика:
глядим издалека-издалека.
Случай — гениальная сводня —
в нотариальной конторе
свел нас сегодня.
— Аркадий!.. —
Я сразу узнала его
по «злодейскому»
носу еврейскому.
А он на меня
долго-долго глядел,
а потом выдохнул еле-еле:
— Эля!

.....

Наверное, две зимы
за одной партией
сидели мы.
Аркадий слегка заикался,
ходил растрепой, лохматый,
юнец прыщеватый.
Хотя он и считал,
что собой недурен,
никто из девочек
не был в него влюблен.
А мы с ним разговаривали на переменах.
Он много читал,
о Достоевском важно рассуждал.

...Я встретила его
в Алапаевске в войну.
Как две снежинки,
нас занесло в уральскую глубину
в сорок втором,
когда наши войска терпели разгром.
Аркадий был такой худющий,
шинель велика.
Шея, как пружик, из воротника.
Это было под Новый год.
По пакету сдобы
выдал нам, «артистам», хлебозавод.
Я говорю ему: — Аркадий!
Булочку возьми Христа ради!
Я тебе как брату!.. —
А он: — Булочка не положена солдату. —
Поцеловал меня.
Наугро из казарменных ворот
он уходил на фронт.

После войны
случайная встреча
была у нас.
Он только что женился
и вел виолончельный класс.

И вдруг
 лет десять назад,
 как будто из другого мира,
 мне позвонила
 родственница Бира —
 одна из любимых его учениц.
 — Аркадий хочет видеть тебя, Эльмира! —
 И мы поехали к нему.
 А он навстречу нам только: — Му-му!.. —
 Не так и стар.
 Инсульт! хватил его удар.
 Смотрит на нас с Бирой,
 глаза сияют, как две звезды.
 Бедняга! С сыном у него нелады.

На похороны его
 съехались музыканты училища,
 ЦМШ.
 И вот я сижу
 и думаю о нем,
 прошлое вороша.
 Он был замечательный
 виолончельный педагог.
 Допотопный праведник-еврей.
 Четырнадцать учеников
 в его честь
 назвали Аркадиями сыновей!

*Школа моя,
 ЦМШ!
 Там — всё,
 там — душа!*



А. СОЛЖЕНИЦЫН



КРОХОТКИ

В СУМЕРКИ

Хорошо помню очень у нас на Юге распространённое — сумерничанье. Перенесенное из дореволюции, может быть ещё подкрепилось оно скудными и опасными годами гражданской войны. Но обычай этот жил и раньше. Склоняла к тому многомесячная теплота южных сумерек? — а многие были изважены: никогда не спешить с лампой. Ещё засветло управляясь с делами, кто и со скотом, — не склонялись, однако, и спать ложиться. Выходили на завалинки, на уличные или дворовые скамейки, а то и просто сиживали в комнате, да при окнах открытых, без огня не напорхнёт мелкота. Садились тихо — один, другой, третий, как бы в задумчивости. И подолгу молчали.

А кто и говорил — то негромко, нерезко, невперебив. Почему-то в разговорах тех ни у кого не возникало задора спорить, или желчно упрекать, или ссориться. Лица — не видны почти, потом и вовсе, — и что-то незнакомое, вот, опознаётся в них, да и в голосах, что мы упустили заметить и за годы.

Овладевало всеми чувство чего-то единого, нам никогда не видимого, что тихо спускалось с гаснущего послезакатного неба, растворялось в воздухе, вливалось через окна, — та, незамечаемая в суете дня, глубокая серьёзность жизни, её нерастеребленный смысл. Наше касание к упускаемой загадке.

ПЕТУШЬЕ ПЕНЬЕ

С обезлюженьем, с запустением, с вымиранием наших деревень забыли мы и помнить, а поколения и не слышали никогда — полуденного многогласного петушьего переклика. Из дворов во дворы, через улицу, за околицу, в солнечное лето — удивителен этот хор победной жизни.

Редко от чего приходит такое успокоение в душу. Никакими суетными звуками не зашумленный — этот яркий, вибрирующий, сочный, сильный выпев доносит до нас, что во всей тут округе — благословенный мир, нетревожный покой, таково нынешний день тёк досюда — да отчего б ему не потечь и дальше так? Пребывайте в ваших добрых занятиях.

Вот тут где-то он расхаживает гордо, бело-оранжевый, со знатным рыцарским красным гребнем.

Беспечально держится.

Нам бы — так.

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

То-то в лагере: наломаешь кости за день, только положил голову на соломенную подушку — уже слышишь: «Подъ-ё-ом!!» И — никаких тебе ночных мыслей.

А вот в жизни современной, круговертной, нервной, мелькучей, — за день не успевают мысли дозреть и уставляться, брошены на потом. Ночью же — они возвращаются, добрать своё. Едва в сознании твоём хоть чуть прорвалась пелена — ринулись, ринулись они в тебя, расплющенно-го, наперебой. И какая-то, поязвительней, подерзей, извилась на укус впереди других.

А твоё устояние, твоё достоинство — не отдаться этим вихрям, но овладеть потоком тёмным и направить его к тому, что здоровит. Всегда есть мысль, и не одна, какие вносят стерженьки покоя, — как в ядерный реактор вдвигают стержни, тормозящие от взрыва. Лишь уметь такой стержень, спасительный Божий луч, найти, или даже знать его себе наперёд — и за него держаться.

Тогда душа и разум очищаются, те вихри сбиваются прочь, и в будоражный объём бессонницы вступают благодатные, крупные мысли, до которых разве бы коснуться в суете дня?

И ещё спасибо бессоннице: с этого огляда — даже и нерешаемое решить.

Власть над собой.

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

Оно — с высокой мудростью завещано нам людьми святой жизни.

Понять этот замысел — не в резвой юности, когда мы тесно окружены близкими, родными, друзьями. Но — с годами.

Ушли родители, уходят сверстники. Куда уходят? Кажется: это — неугадаемо, непостижно, нам не дано. Однако с какой-то предданной ясностью просвечивает, мерцает нам, что они — нет, не исчезли.

И — ничего больше мы не узнаём, пока живы. Но молитва за души их — перекидывает от нас к ним, от них к нам — неосязаемую арку — вселенского размаха, а непреградной близости. Да вот они, почти можно коснуться. И — неизвестные они, и, по-прежнему, такие привычные. Но — оставшие от нас по годам: иные, кто был старше нас, те уже и моложе.

Сосредоточась, даже в ды х а е ш ь их отзыв, заминку, предупреждение. И — своё земное тепло посылаешь им в обмен: может, и мы чем-то пособим?

И — обещанье встречи.



СВЕТЛАНА БЫЧЕНКО



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Документальные сказки

ГАРМОНИСТ

Польке было три года, когда началась война. Как она началась, она не помнила, — скорее всего с того, что в их деревне появился беззубый Гармонист на деревянной ноге. У него была зеленая блестящая гармонь с белыми писклявыми кнопочками, огромный чуб, закрывающий один глаз, и подвода — скрипучая телега, в которую запрягали колхозную лошадь Машку.

То, что Машку отдали Гармонисту, Польке не нравилось — раньше с беззубой конягой можно было играть, угощать ее сахаром... А теперь старушка все время была занята и совсем не обращала внимания на девочку — как заколдованная служила чубатому, забыв про свою прежнюю жизнь.

Когда Гармонист ехал на подводе, он даже не правил лошадью. Он просто сидел на конце телеги спиной к Машке и широко растягивал мехи своей гармони, а старая кляча покорно везла его по улице и останавливалась там, где хозяину хотелось. И сразу из этих домов выходили мужики с котомками, за ними выбегали бабы, они причитали и плакали, обнимали своих мужей... А Гармонист, распустив чуб, весело играл и пел. Дяденьки усаживались рядом с ним, и он увозил их на фронт.

Полька боялась, что Гармонист подъедет и к их дому и заберет на войну отца и старших братьев. А те, не подозревая об опасности, жили как обычно — каждое утро вместе с мамкой уходили в поле работать, возвращались затемно. А Полька целыми днями сидела у окна и смотрела на пустую улицу, с замиранием и страхом ожидая Гармониста. Однажды Машка подвезла своего хозяина прямо под окно и остановилась — чубатый поднял голову и темно-темно так поглядел на девочку, потом поправил свою деревянную ногу, — и коняга потащила подводу прочь. Полька поняла — завтра этот злодей приедет за папкой. Заметалась по дому, нашла походную котомку, хотела спрятать, да не знала куда... Тогда стала ждать своих с поля, чтобы все им рассказать про страшного гостя. Но родители никак не приходили — она так и уснула с котомкой в руках.

Утром она увидела, что мамка собирает папку в дорогу. Завернула в белый платок буханку хлеба, сунула ее в мешок. Расстелила на столе рубашку... Потом опустилась на скамейку, закрыла лицо руками, будто не хотела ничего видеть.

Отец поставил табуретку посреди комнаты, позвал Польку. Она спрыгнула с печки, забралась к нему на колени. Тогда он достал из маленького

Быченко Светлана Николаевна родилась в пос. Предивное Красноярского края. Окончила Уральский государственный университет, Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Режиссер документальных фильмов «Метод вычитания», «Баль», «Метаморфозы». Живет в Москве. Печатается впервые.

карманчика пиджака часы на цепочке, открыл блестящую серебряную крышечку... И вместе они стали смотреть, как двигаются стрелки. Обычно стрелки по циферблату двигались медленно, а теперь они бежали быстро-быстро, и чем быстрее они бежали, тем ближе слышалась веселая песня Гармониста. И вот он заиграл уже совсем рядом, под самыми окнами. Папка закрыл часы. Опустил дочку на пол. Взял свою котомку и молча вышел из дому. Польша выбежала за ним.

Гармонист будто ждал — уставился на нее своим черным глазом и заиграл еще громче. Польша хотела сказать, чтобы он не забирал отца на фронт и уезжал из их деревни. Но чубатый опередил. «Вырастешь, чернявая, замуж возьму!» — кричал он через свою музыку. Подвода заскрипела, закрутила свои крестовины... И тут Польша увидела, что папка стал одет во все белое. Как заколдованный сидит на краю телеги и уже не смотрит на дочь. И она поняла — так Гармонист заколдовывал всех мужиков, которых забирал на фронт. Он одевал их в белые одежды, и они делались послушными. Потом помещал их в мехи своей зеленой гармонии и увозил из деревни...

Польке в тот день стало ясно — это мужики поют у него в гармонии высокими тонкими голосами. Слыша эти голоса, женщины плакали. А он радовался, выжимая маленькими белыми кнопочками нужную ему песню. Теперь она видела — чубатый колдун виноват в том, что тетка Марья воеет по мужу каждый день и не может ходить на работу, и дети у нее поэтому голодные. Из-за него соседка Агафья каждую ночь приходит к мамке и рвет свои волосы и жгет их в печке, а потом долго кричит в поддувало: «Вернись, То-о-о-о-ля!» Польке даже показалось, что мамка думает так же — не вышла же она из дома провожать папку и не выла Гармонисту на радость, не слушала его песню. Она осталась сидеть у стола, закрыв глаза и зажав рот руками, чтобы не кричать.

Польша вернулась к мамке. Потом поила ее водой, гладила по голове, укладывала спать. Так прошел день. И время покатило дальше.

Мамка с братьями уходила на работу, а Польша оставалась дома одна. Чтобы она не боялась Гармониста, мать сделала ей соломенную куклу. Пучок соломы перегнула вдвое, туго перетянула его жгутом, надела платье, а рот и щеки раскрасила краской. Польке кукла очень нравилась, она каждый день давала ей разные имена, баюкала... А когда та не слушалась — пугала ее Чубатым на деревянной ноге.

Однажды мамка с братьями пришли с поля рано. Гошка привел с собой Люську Воробьеву, дочку соседки Агафьи. Ее волосы были как огонь, от которого рассыпались искры веснушек. Рыжие веснушки все время щекотали Люську, и потому она все время смеялась.

Но в этот раз подруга Гошки сидела смиренная и даже не улыбалась. Мамка накрыла на стол, они выпили. И Люська стала петь. Она пела, а слезы смешивались у нее с веснушками, и Польша подумала, что от веснушек можно не только смеяться, но и плакать.

Гошка хотел танцевать перед Люськой, и хоть песня была грустная, он топтался по полу, изображая, что он артист. Польша наблюдала за ним с печки и не заметила, как уснула.

Разбудила ее гармонь. Чубатый играл и пел: «Польша-Поленька-Полинка, во дворе растет калинка, эту ягодку не рви, Польша, громко не реви...» Она подбежала к окну. Гошка был уже в белом. Он странно танцевал около подводы, зазывая Люську с собой... Старший брат Вася, тоже в белом, сидел рядом с Гармонистом и молчал. Он стыдился за Гошку, за то, что тот так танцует. Пальцы чубатого быстро-быстро бегали по кнопочкам, гармонь голосила... Мамка кинулась к Гошке, хотела остановить его. Он вырвался, запрыгнул на телегу, и Машка потащила ее прочь. Мамка смотрела им вслед... Их уже не было видно, а гармонь все пела громко-громко, как будто рядом...

После этого мать заболела. Тогда Польшка решила во что бы то ни стало освободить пленников хитрого злодея. Только она не знала, как это сделать.

Шло время. Польшка ухаживала за мамкой, и она выздоровела и снова начала ходить на работу вместе со всеми. Гармонист теперь редко ездил по деревне — он увез уже всех мужиков. Так что бабы были в поле одни и потому возвращались очень поздно.

Но однажды мамка пришла домой засветло, нарядила дочь в красивое платье, и они пошли на вечерку.

Там было полно народу. Гармонист, распустив чуб, пел изо всех сил. Скрипела его деревянная нога. Скрипели половицы от дробушек баб. Они танцевали так, словно что-то хотели доказать злодею. А он играл, не останавливался, не давал им передохнуть. Мамка тоже плясала. Чубатый подмигивал Польшке, приглашая в круг. Она подошла к нему поближе и стала ждать, когда он поставит гармонь на скамейку. А он продолжал свою песню и все посматривал на Польшку черным глазом, понимая, что она знает его тайну.

Наконец Гармонисту налили бражки и велели выпить. Музыка смолкла. Он поставил свой инструмент на табурет. Откинул назад лохматый чуб и распрямился. Рюмка дрожала в его руке, уставшей держать мужиков внутри гармонии. Он поднял рюмку: «За вас, бабоньки!» Польшка быстро вонзила гвоздь в зеленые мехи и стала ждать, когда оттуда выйдут отец, Гошка, Вася. Но никто не выходил... Гармонь вздохнула облегченно, как человек, и затихла.

Гармонист закусил огурчиком, сказал: «Спасибо». Молча посмотрел на Польшку и вышел из дому. Стало тихо. И вдруг за окном кто-то крикнул: «Маринка! Твои вернулись!» Все выбежали на улицу.

Там толпились люди. А среди них — папка, тощий, длинный. Он улыбался дочке. Рядом с ним стояли братья Васька и Гошка, огромные, в гимнастерках... Польшка подумала, как это они такие большие умещались в гармони...

На следующий день привезли всего в белом мужа соседки Агафьи, он не мог ходить. Но Польшка знала, что скоро чары Гармониста рассеются — и дядя Толя снова станет здоровым. Женщины смеялись и плакали, говорили, что война закончилась. А Гармонист куда-то исчез.

ПОД БЕЛЫМ ПЛАТКОМ

У Полькиной мамки красивые длинные косы. Говорят, когда она была молодой, то по утрам распускала их, садилась на отцовского коня, и они мчались в молочном тумане к реке... Она прижималась к шее своего скакуна близко-близко, и волосы закрывали ее всю, и у белого коня получалась огромная черная грива. Грива развевалась на ветру, и белый конь летел над полем и смеялся мамкиным смехом... И все любовались ими.

Польшке очень хотелось увидеть мамку такой — веселой, с распущенными косами... Но мамка стала суровой. Она туго закручивала свои волосы на затылке, а сверху надевала белый платок.

Мужиков в доме не было — отец и братья ушли на войну. И Польшка с матерью жили вдвоем. Еще до рассвета мать уходила в поле — трудодни зарабатывать и возвращалась поздно. Польшка целыми днями сидела дома одна. А когда темнело, выходила на крылечко. Она сидела и высматривала белые платки баб, спешащих домой. В сумерках платки были похожи на белых птиц, сбившихся в стаю. Стая смеялась и пела... Польшка издали начала мамкин голос и мамкин платок, от этого ей становилось спокойно.

Однажды стая не появлялась долго. Польшка уже почти заснула, когда увидела белых птиц. Они плыли устало, без знакомого гомона. Молча раз-

летелись по домам, а мамкиного платка все не было. Стало совсем темно и холодно, а мамка все не приходила... Польшка так и уснула на крыльчке.

Мамка вернулась с поля только утром. Ее черные волосы были спутаны и выбивались из-под платка. Она умылась, вскипятила Польшке чай и снова ушла. Вечером она вернулась вместе со всеми. Молча накормила дочку. Уложила ее спать на печку, а сама легла на кровать. Ночью Польшка от чего-то проснулась и увидела: мамка сидит простоволосая, смотрит на угли в печке и курит. От этого Польшке стало страшно, она даже не посмела окликнуть мать.

В тот день мамкиного платка в стае снова не оказалось. Польшка испугалась за мамку и пошла искать ее в поле. Лысая луна желто светила на дорогу. Польшка наступала на свою тень и боялась смотреть вперед. За деревней была горка, там девочка остановилась и подняла голову — посреди поля белел платок. К нему со всех сторон летели черные вороны. Они пролетали прямо над Польшкой, задевая ее крыльями. Она закрыла глаза и услышала мамкин голос. Он звал кого-то. Польшка пошла на зов. Голос был уже совсем близко — тогда она открыла глаза: мамка билась головой о землю, рвала волосы и причитала: «Заберите мои черные волосы, вороны! Они вашего цвета. Заберите мои белые зубы, они белы, как птичье мясо. Только пусть вернуться с войны мой муж Коля, сыны мои Васенька и Гоша. Пусть покалеченными, но ж-ж-ж-живыми...» Вороны кружили над мамкой близко-близко. Они закружили вокруг нее целую воронку, будто хотели унести ее прочь...

Ее волосы трепал ветер, и было непонятно уже, то ли волосы закрывали ее черным, то ли вороны.

Польшка проснулась дома. Мамки уже не было. На столе стоял завтрак — горячий чай и хлеб. Польшка вспомнила черных воронов, мамку в поле и подумала, что это все ей приснилось. И жизнь потекла дальше.

Через год Польшку стали брать с собой в поле. Она подносила воду женщинам, когда они уставали и хотели пить. Перед обедом расстилала на траве огромный платок, доставала из тряпичных узелков хлеб. Иногда от жары ее клонило в сон, тогда, чтобы не заснуть, она разговаривала с жуками, рассказывала им про белую стаю.

В тот день в поле стоял звон. Блестящие серпы вжикали по сухим стебелькам желтой ржи, тихо переговаривались бабы. Польшка отгоняла жука от узелка с хлебом, а он разозлился и стал жужжать у нее над самым ухом и приговаривать: «Ж-ж-ж-жизнь, ж-ж-ж-жизнь». Девочка хотела спросить у него, что такое «ж-ж-ж-жизнь», да не успела. Наступило время обеда. Женщины побросали свои серпы и стали умываться. Их белые платки лежали на траве. «Птицы отдыхают», — подумала Польшка, и тут она увидела, что белые платки взмыли в небо, и образовалось там множество столов, уставленных яствами. Но за столами теми никто не обедал, только женские голоса слышались издалека. «Ж-ж-ж-жизнь, — прожужжал знакомый жук. — Ж-ж-ж-жизнь уходит». Польшка посмотрела в небо — белые столы вдруг стали черными и пустыми, потом платками черными упали на головы женщин, только мамка, соседка Агафья да тетка Галя остались простоволосыми. А бабы будто ничего не замечали, они ели хлеб, разговаривали и смеялись. Польшка подумала, что они все видели, но просто не говорили об этом, и тоже промолчала.

А вечером, когда мамка уложила Польшку спать, а сама стала расчесывать свои черные волосы, за окном кто-то крикнул: «Маринка! Твои вернулись!» Мамка выскочила на улицу. У ворот толпились люди. Среди них папка — тощий, длинный, старший брат Вася, огромный, в гимнастерке. Он одной рукой обнимал мамку, а второй рукав гимнастерки болтался у него пустой, неловкий, будто хотел обнять Польшку, да не мог. В сторонке с костылями стоял другой брат, Гошка. Мамка бежала к нему от Васи долго-долго... «Кто ж теперь будет танцевать?» — сказал кто-то...

Вся деревня была в доме. Пили, шумели... Гошка танцевал... Полька так и уснула, не досмотрев танец.

Утром она встала рано. Отец и братья еще спали. Мамки в доме не было. Полька вышла на крылечко. Огромная стая черных птиц кружила над деревней. Она то взмывала в небо, то опускалась низко-низко, до самой земли... Польке хотелось отмахнуться от ворон. Они как будто заглядывали ей в глаза и кричали громко-громко, в самое ухо... А посреди двора стояла мамка. Ее волосы были белыми-белыми. Она расчесывала их осторожно, как чужие, потом туго завязала на затылке и спрятала под белый платок.

Воронья стая прошумела над Полькой и полетела к реке, туда, где в тумане скакал белый конь с огромной черной гривой.

ЦЫГАН

Шла война. Деревня стояла серая и пустынная. Женщины и старики целыми днями работали в поле. Мамка вставала рано, оставляла Польке на подоконнике кусок хлеба, кружку молока или воды, а сама уходила вместе со всеми и возвращалась затемно. Польке было одиноко и скучно. Она сидела взаперти у окна и смотрела на улицу. Вглядывалась в лица домов и думала, что дома тоже живые, совсем как люди. Дом Крастылевых, широкий, с маленькими окнами, был не злой и очень похожий на Мишку Крастылева — у него было широкое лицо и маленькие глазки... Дом председателя колхоза все время хмурился и сердился. У него в кармане явно был пистолет... Дом старухи Беляихи с утра выпил бражки — крыша у него съехала и окна его открывались и закрывались часто, будто хотели спать. Как-то Полька решила рассмешить Дом председателя — приделала всем другим избам маленькие ножки, и они кряхтели, приседая, пританцовывая. При этом у них смешно сдвигались набок крыши, рассыпались трубы... Но хмурое жилище не смеялось, а еще больше сердилось.

И тут Полька услышала шорох: у окна стоял старый цыган, в тряпье и совсем голодный — так жадно он смотрел на Полькин хлеб. Старик стоял под окном и молчал. Польке стало страшно, и она закрыла глаза. На следующий день страшный гость пришел снова и снова смотрел на хлеб. Полька хотела поделиться с ним, но стекло мешало, а дверь была заперта снаружи. Она кричала ему через окно: «Приходи вечером, когда мамка будет дома!» Но он не уходил. Тогда Полька вспомнила, что ее часто называли цыганкой из-за черных глаз. Наверное, цыган решил, что я его дочь. Пока она так раздумывала, странный гость исчез.

Полька боялась рассказать мамке об этом — мамка всегда ругала ее за выдумки и все равно бы не поверила, потому что в деревне никаких цыган не было. На следующий день Полька уже ждала своего гостя, она хотела сказать ему, что у нее другой папка, что он на фронте. Цыган пришел под вечер, когда Полька собиралась есть свой хлеб. Он посмотрел на нее, потом кого-то позвал. К нему подошла девочка такого же возраста, как Полька. Она была очень худая, в изорванном платье и тоже устала на Полькин хлеб. Полька поняла, что гостя голодная. Тогда она разбила стекло и отдала ей свой обед. Цыганка ела жадно и не отрываясь смотрела на свою спасительницу. Полька отвернулась, чтобы не заплакать, — она порезалась, когда разбивала окно, и из руки у нее текла кровь... Теперь ей было не до разговоров, она испугалась, потому что мамка непременно отлупит за разбитое окно...

Так и вышло. Вечером Полька получила от мамки тумачок и долго хныкала, лежа на печке с перевязанной рукой. Окно заткнули подушкой, что было выгодно для Польки — теперь она могла выбираться через него на улицу, когда дома никого не было. А вот от раны на руке остался

шрам, похожий на молодой месяц. Польшка еще какое-то время ждала своих новых друзей, но они больше не приходили. И девочка вскоре забыла об этом случае.

Шло время, война давно закончилась. Польшка выросла и стала ходить с девочками на вечерки. И снова в деревне появился Гармонист Федька. Он был чубатый и говорил Польшке, что она черноглазая.

Как-то раз она поехала на базар в город купить себе новый платок. Папка дал ей десять рублей и велел выбрать самый красивый. Но это было не так-то просто. Польшка долго бродила по шумному рынку и никак не могла найти себе обнову — все платки были мрачными, а ей хотелось веселенький, шелковый.

Какая-то женщина предлагала ей пуховую шаль и плакала о том, что приходится ее продавать. Парень, похожий на Гармониста Федьку, кричал: «Часы даром отдаю». Часы были точь-в-точь как у отца, на цепочке, с крышечкой... На одном из прилавков в ряд лежали белые ситцевые платки... Польшке даже показалось, что рядом пролетел жук: «ж-ж-ж-жизнь-ж-ж-ж-жизнь». И тут она увидела цыганок, увешанных разноцветными шелковыми платками. «Для тебя, милая...» — застрекотали торговки. Польшка примерила красный платок с желтыми цветами. Цыганки цокали, одобряя. Толстая достала из кармана маленькое зеркальце, и девушка посмотрелась в него.

«Какая ты красивая!» — услышала она. Это был старый цыган, он пристально смотрел на Польшку. Потом он что-то по-своему сказал толстой цыганке, выбрал у нее самый красивый платок и накинул девушке на плечи. «Как ты похожа на цыганку! — сказал он. — Этот платок принесет тебе счастье». Погладил ее по руке и пошел прочь. Полина стояла с подарком, удивленная. Разноцветные цыганки куда-то исчезли...

С обновой девушка вернулась домой и пошла на вечерку. Там было полно народу. Гармонист Федька играл и пел... Скрипели половицы от дробушек баб. Под столом сидела деревенская ребятня. Федька казался Польшке самым красивым, больше она гармонистов не боялась. И танцевала только для него...

А потом пришел фотограф. Он поставил свою треногу, закрылся черной тканью и громко объявил: «Сейчас вылетит птичка!» И на фото остались: мамка Польшки — моя бабушка, чубатый Гармонист Федька, мамка в цыганском платке; ее братья — Гошка и Васька — и мой дед, они — в белом...



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



СКВОЗЬ РОЗОВАТОЕ СТЕКЛО

* *
*

Смотрю на снимок бледный
Из отдаленных лет
И вижу столь заметный
Твоей болезни след.

Наметанному глазу
Открытая беда,
Которую не сразу
Мы поняли тогда.

Была в ту пору вечность
Пред нами разлита.
Нелепая беспечность,
Святая слепота.

Сельское кладбище

Не обойденная Богом
Эта деревня в садах.
Кладбище прямо под боком,
Как говорят, на задах.

Спят, ни о чем не жалея,
Возле домишек своих.
Смерть их убила?.. Скорее
Жизнь уничтожила их.

* *
*

Все кончилось давно.
Господь сказал строго:
— Пусть что-нибудь одно,
А так очень много.

Стою среди могил.
Жизнь годы вдаль катит.
Я слишком счастлив был.
Господь сказал: — Хватит!

Двор. 1936

Еще не увлекались танцами,
И, чтя дворовый ритуал,
Меж растопыренными пальцами
Я тонким ножичком ширял.

И шли футбольные баталии
На близлежащем пустыре.
Девчонок ножки или талии
Еще не снились на заре.

Береза желтая осенняя,
Грузовика далекий гром
И дымка умиротворения
Над вечереющим двором.

Воспоминание

Проснулся. Уже светло.
Переглянулся с нею.
Какое сейчас число,
Понятия не имею.

Не помню ни снов моих,
Ни голоса и ни жеста,
А только внезапный миг
Божественного блаженства.

Слепок

С заснеженных опушек и домов,
Струящих нам задумчивую ласку,
С округлых ослепительных холмов
Зима снимает гипсовую маску.

Жаль только, не удастся сохранить
Пока что идеальный этот слепок.
Метет поземка... Рвется тропки нить...
И вы стоите в валенках нелепых.

Ощущение. 1972

Помнишь, как горячо
Шли под слезы и стоны
До приемки еще
Новых фильмов прогоны?

Или — взвинченный зал,
Вместе — мэтры и монстры,
И как скрытый скандал
Тех спектаклей просмотры?

Это было тогда
Посерьезней премьеры:
Вдруг случится беда?
Ведь имелись примеры!

Там витает запрет,
Вечный ужас изъятья,
И примета тех лет —
Острота воспрятья.

День рождения

Заиндевелая заря
Едва над крышами сочится,
А в окна ранние стучится
Семнадцатое декабря.

По гороскопу я Стрелец,
Родился в темную погоду,
Когда уже осталось году
Совсем немного под конец.

Не будь вот этих двух недель,
Считался б на год я моложе
И соответственно бы позже
Шагнул в военную метель.

Но разве знает кто-нибудь,
Как бы тогда сложилось дело
И до какого бы предела
Пролег мой юношеский путь?

Скорее даже повезло.
...А белощекая синица
То ли в натуре, то ли снится
Сквозь розоватое стекло.

Ровесник

Ровесник-старик,
Бездельем страдая,
Спросил напрямик:
— Как жизнь молодая?

И грянул к сему
Надтреснутым смехом...
Окрестность ему
Откликнулась эхом.



ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

*

МОРЕ СУХОЕ

* *
*

На древесине нежной
Слоистая кора.
Болезнь все безнадежней,
Но боль не так остра.

Дробилась жизнь на годы
И раскрошилась вмиг.
Нет власти у природы —
Господь, лишь Ты велик!

Дозволь вернуться к Свету.
Пусть жертвенник пунцов,
Не призови к ответу
За темный грех отцов!

За что сгорают ветки
В пылающей пыли,
И в чем виновны предки
Дерев Твоей земли?

4 мая 1998.

* *
*

Я верю, Господи, в Тебя,
Но я себе не верю,
Как будто бы душой кривлю,
К Тебе взываю всеу,
Как будто, о своем скорбя,
Себя Тобой не мерю
И больше вечности люблю
Свою тропу земную.

Ты видишь, жизнь моя скудна —
Разбитое корыто.
Но пощади моих детей,
Даруй им милосердьё!
Как велика моя вина,
Лишь нам с Тобой открыто —
Что взять с меня? Остаток дней
И позднее усердьё.

Что взять Тебе, кто всех щедрей?
Ты взял, кого любила,
Кому определил Ты срок,
Кто жил, не зная срока.
Но пощади моих детей,
Спаси их и помилуй!
Дозволь мне заплатить оброк
Отдельно, одиноко.

28 мая 1998.

Аксельрод Елена Мейеровна родилась в Минске. Окончила Московский государственный педагогический институт им. В. Потемкина. Автор многих поэтических книг и книг переводов. Последние несколько лет живет в Израиле.

Старая ваза

Кажется, себя я отучила
От предметов, брошенных давно.
Телевизор вечером включила —
Зимний день. Москва. Мое окно.

Тополь в снежной траченной попоне,
Тычется в стекло его рука.
Стопка книг, широкий подоконник,
Ваза на краю и три цветка.

Эта ваза — чей-то дар дешевый,
Ширпотреб — не более того.
Две переплетенные подковы —
Знак двойного счастья моего.

Счастья — исчезать и возвращаться
Памятью, как будто наяву,
Счастья — расставаясь, обольщаться —
Пусть в двух жизнях, но еще живу.

22 мая 1998.

* *
*

Памяти С. Д.

Ялта безлюдная. Мы вдвоем.
Год шестьдесят девятый.
Мы заплатили за весь окоем —
Так мы были богаты.

Четверть века транжирила я.
Казалось, запас бесконечен.
Море сухое. Пустая бадья.
Мне расплатиться нечем.

22 июля 1998.

После сессии

Торчали елки из горы,
Как перья из подушки,
В те стародавние поры,
Когда мои подружки
Поутру, чуть продрав глаза,
Скатившись вниз по склону,
Несли гурьбою на базар
По Новому Афону.
Как мы рвались на запах дынь,
Впивались в абрикосы,
Преодолев истмат, латынь
И прочие торосы.

На даче до колен лопух,
Скулеж нравоучений,
А здесь морской дурманый дух,
Здесь призрак приключений.

И я, ровесницам под стать,
 На пляж с надеждой тайной
 Шла камушки перебирать
 И взгляд ловить случайный.

Все приключенья позади.
 Отзеленела Рица.
 Попробуй тот Кавказ найди,
 Те солнечные лица.
 И мне судить о нем смешно —
 Той давешней школярке.
 Перебродившее вино.
 Расколотые чарки.

17 июня 1998.

Мечта живописца

Мише.

Я хочу такую мастерскую,
 Чтоб в одном окне лилась пустыня,
 Чтоб в другом — зеленую иссиня
 Вечно видеть полосу морскую,
 В третьем — чтобы улицы косые
 Вдоль Оки, где ветер жметя к ветлам,
 Чтоб жестоковыйные, сухие
 Горы высились в окне четвертом.

Пятое окно бы и шестое,
 Чтобы в них жильё под черепицей,
 Чтобы пахло шашлыком и пиццей,
 Чтобы небо, светом налитое,
 Над поселком мягко трепетало...

Мне б и сотни окон не достало,
 Отчего ж единственное снится?

20 мая 1998.



ЛОРЕНСО СИЛЬВА



СЛАБИНА БОЛЬШЕВИКА

Роман

Был понедельник, и, как всегда по понедельникам, душу мне давило где-то внизу, в мошонке. Однажды мне даже подумалось, что душа, должно быть, забила туда третьим комочком и болтается там, почти такая же бесполезная, как два других. С тех пор, едва наступает понедельник и душу начинает давить, или когда не понедельник, а душу давит, или когда я вообще не знаю, какой день, а душу все равно давит, я просто физически ощущаю этот комок, эту тяжесть в самом низу, и как она сражается там с эластичными трусами.

Я не всегда носил душу в мошонке. Довольно долго я даже не сквернословил, была пора, когда язык мой был изысканным и богатым. Но пришел к выводу, что для жизни хватит и пяти сотен слов, многословие излишне, а сквернословие — в самый раз. Однако я не начинал с этого, а к этому пришел. Некоторые засранцы оказываются в состоянии, в котором нахожусь я, с самого рождения и застревают там навсегда. Я же пришел к этому, пройдя через многое другое, и кое-где пахло довольно недурно, хотя это никогда долго не длилось. Могут сказать, что, наверное, лучше бы с самого начала быть тем самым засранцем, который мира не видал и понятия не имеет, что где-то может пахнуть лучше. Я так не считаю. Если бы вся моя жизнь была как у тех засранцев, я сейчас был бы рад и доволен и душу бы мне там, в трусах, не давило.

Понедельник, о котором я говорю, начался с того же дерьма, с какого начинаются все понедельники. По радио пятеро болванов болтали о том же самом, о чем накануне болтали пятеро других болванов, исключительно ради того, чтобы назавтра еще пятеро болванов (некоторые из них — те самые, что болтали накануне) болтали бы о том, о чем уже болтали пятеро болванов, и так — до бесконечности, поскольку это есть так называемый регулярный круглый стол пяти болванов. Так как с годами моя сопротивляемость пустозвонству стала ослабевать, я поставил пленку, но оказалось, давнишнюю, на которой я когда-то записал зануду Баха. И хотя я уже давно стер все старые записи и поверх записал другую, более подходящую музыку, все равно нет-нет да и выскочат кусочки его вонючих кантат, которые все об одном и том же и звучат одинаково. Я прогнал пленку вперед и врубил Джюдаса Приста. И оставил ее, но вовсе не потому, что мне нравятся всякие Иуды, которых я считаю шайкой проходимцев, случайно попавших в масть, а просто потому они так громыхали, что отгоняли мысли. А мне как раз не хотелось думать, с чего мне так давит душу, а давило ее все с того же самого: был понедельник (вонючий понедельник), ранняя рань (вонючая рань), я в машине (вонючая машина), в заторе (вонючий затор), не знаю, как пропустить галстук — поверх

Лоренсо Сильва (род. в 1966) — известный испанский писатель, адвокат по образованию, автор романов «Ноябрь без фиалок» (1995), «Внутренняя сущность» (1996). Роман «Слабина большевика» (1995) в 1997 году удостоен премии «Надаль» — одной из самых уважаемых в Испании.

© Ediciones Destino, S. A., 1997.

ремня безопасности или под ним (вонючий ремень, вонючий галстук); еду на работу, где гною день за днем свою жизнь в обмен на деньги, которые нужны, чтобы покупать еду, оплачивать квартиру, машину, галстук, радиоаппаратуру и компакт-диски, с которых переписываю на кассеты всяких Иуд (вонючая работа, вонючие дни вонючей жизни, вонючие деньги, вонючая еда, вонючая квартира и т. д. и т. п.); а тут еще на середину улицы выходит полицейский и, как всегда, перекрывает площадь Сибелес, пропуская поток, идущий вниз по Алкала, и все мы, едущие по проспекту Прадо, оказываемся в глубокой заднице (вонючий полицейский).

Мне легко вспомнить, о чем я думал, потому что я думаю об этом много и выучил все эти мысли наизусть. И насчет полицейского, потому что он каждое утро делает одно и то же. Равно как и насчет Баха с Джюдасом, потому что именно в этот момент все и началось, я хорошо помню: я как раз нашел *Breaking the Law*, когда шедшая впереди машина тормознула, и я, занятый кассетником, въехал в нее на скорости километра двадцать два, скорости не высокой для шестнадцати километров, которые я проезжаю каждое утро, но вполне достаточной, чтобы раздрюхать обе машины.

И тут на меня обрушивается весь ад: из передней машины вылезает сучка в костюмчике от Шанель и принимается обзывать меня сукиным сыном, педиком и еще черт знает какими словами, которые никак не сочетаются с ее блузочкой; идиот полицейский хлопает глазами и, не вынимая изо рта свистка, направляется к месту происшествия в намерении всласть поиздеваться; задние машины начинают давить на клаксоны, надеясь, что им удастся свести меня с ума; ремень безопасности никак не хочет отстегиваться, видно, я дернул его сильнее, чем должен был, по мнению изготовителя, дергать в таких случаях, а Иудина компания продолжает во всю мочь наяривать на ударных, басы и гитарах.

Когда в конце концов мне удастся освободиться от ремня и вылезти из машины, сучка в костюмчике от Шанель и страж порядка успевают снюхаться. И полицейский выплевывает мне без затей:

— Перво-наперво отгоните машину в сторону. Не видите, что загородили дорогу?

— Я бы с радостью, но перво-наперво пусть она продвинется, — говорю я простодушно. — Я же въехал ей в зад.

— Вы слышали этого козла? — взвилась женщина. — Да чтоб ты въехал в зад своей долбаной матери.

— Ну что ж... Однако, если вы не сдвинетесь с места, я тоже не смогу двинуться, а полицейский не сможет наладить движение, что ему важнее всего.

— Сеньора, — вступил полицейский, — сделайте такое одолжение, и давайте попробуем уладить все как можно скорее.

Женщина чуть отъехала в сторону, я — тоже, а полицейский между тем регулировал поток объезжавших нас недоносков, которые пялились на расквашенную харю моей машины и радостно ржали. Я искал документы на машину, страховку, ручку и нашел все, кроме ручки. Мне совсем не улыбалось просить стило у женщины или у полицейского, но «Евробланк для дружеского разрешения конфликтных ситуаций» предусмотрительно снабжен копиркой, и потому мой «Мон-Блан-Майстерштук» я мог засунуть себе куда угодно — он для этого бланка не годится. Оставив поиски, я вылез из машины, готовый терпеть все, что на меня свалится. Женщина продолжала осыпать меня оскорблениями и, когда я подошел, позволила себе усомниться:

— Неужели, идиот, тебе удалось кого-то надуть и получить страховку?

— Если бы тут не было полицейского, вы бы меня так не обзывали.

— Это почему же? Что бы ты сделал, если бы тут не было полицейского?

Я бы тебе всадил раз пятьсот, подумал я, но вслух сказал:

— Думаю, я бы уехал и оставил вас орать одну.

— Чушь. Как будто тебя трудно найти.

— Нетрудно. Но вы не ранены. А за такое в тюрьму не сажают. Я бы просто дал номер своей страховки полицейскому и избавил бы себя от беседы с вами.

Тут к нам подошел полицейский и задал дурацкий вопрос:

— Значит, так. Что произошло?

— Я спокойно еду, торможу на красный свет, и вдруг этот трахает меня в зад.

— Безо всякого удовольствия, — пошутил я. — Отвлекся на музыку. Если бы я ее увидел, ни за что бы не трахнул ее в зад.

— Я требую, чтобы вы запретили этому ублюдку насмеяться. Ничего смешного тут нет.

— Ладно, шутки в сторону. Успокойтесь оба.

— Я спокоен, шеф.

— Еще бы, сам во всем виноват.

— Ну, виноват. Может, сперва оформим бумаги, а уж потом меня расстреляете?

— Права и техпаспорт, прошу.

Я отдал права и техпаспорт полицейскому, и он явно пожалел, что не может оштрафовать меня за то, что я не оставил их дома или не забыл продлить удостоверение — словом, не может выжать максимум из этой замечательной ситуации. А у меня в машине все громыхал Джюдаc.

— Ты не можешь заткнуть свою говенную музыку?

— Я все еще не перешел с вами на «ты». И не лезу в ваши музыкальные пристрастия.

— Мог хотя бы стекло поднять.

— Не поднимается, заело. В следующий раз постараюсь, чтобы машина была в полном порядке.

— Он, сукин сын, еще издевается.

— Шеф, я вижу, вы заняты, но почему я должен сносить оскорбления этой женщины?

— Успокойтесь оба. Достаньте страховку и заполните, пожалуйста, бланк.

Полицейский отдал мне документы, раздраженный, что не смог сорвать штрафа. И обратился к женщине:

— И вы тоже давайте права.

Я не всегда умею промолчать и на этот раз не удержался:

— А у нее документы на машину вы не спрашиваете?

— Она ничего не нарушила.

— А я?

— Вы не обратили внимания на светофор.

— Если допустить, что все именно так, как вы говорите, и я не обращаю внимания на светофоры, разве это означает, что у меня не должно быть с собой водительских прав? По-моему, все наоборот. Если я собираюсь врезаться в истеричку на глазах у полицейского, проскочив на красный свет, то уж лучше иметь все бумаги в порядке. А у нее их, возможно, как раз и нет. Она не знала, что я собираюсь трахнуть ее в зад.

— Истеричка. Уписаться можно.

— Не осложняйте, — сказал полицейский.

— Никак не пойму, почему всегда вяжутся к безобидным. Случись все это на пустынной дороге, да вы были бы один, а я — с четырьмя коллегами, и все с бейсбольными битами в руках, не очень бы вы у меня попросили документы.

— Ладно, хватит, приступим.

— Не обращайтесь на него внимания, — проговорила женщина, неожиданно успокаиваясь. — Конечно, следовало бы этого типа проучить.

И тут я посмотрел на нее повнимательнее. Баба лет тридцати пяти, крашеная блондинка, поухлая, кожа загорела под кварцевой лампой. Темные солнечные очки раза в три больше самого лица, блузка расстегнута чуть ли не до низу, чтобы светлая ткань контрастировала с ее обгоревшей шкурой, а мужи-

ки заглядывали бы в ложбинку между грудями. И, видно, чтобы иметь в таких случаях возможность наливать праведным гневом, над этой самой ложбинкой у нее болталось золотое распятие. Еще на ней было множество колец и браслетов, а ногти наверняка никогда не отскабливали со сковороды жирный нагар, который не берет никакие специальные моющие средства.

— Чего смотришь? — опять пролаяла она.

— Прошу вас, займитесь делом, — настаивал полицейский.

В этом вонючем городе миллион машин, а я еду и налетаю на эту скотину, подумал я. А вдруг это что-то означает. Однако не похоже, чтобы складывалось в мою пользу, а потому я решил послушаться полицейского.

— У вас нет шариковой ручки? — попросил я. — Заполнить бланк. — И я обнажил перед ними свой «Мон-Блан» в подтверждение его полной бесполезности.

Полицейский дал мне шариковую ручку, и я написал свой адрес и все остальное, что следовало написать на бланке. Признал полностью свою вину за учиненный разбой и принялся зарисовывать положение машин относительно друг друга. Но остановился, не закончив рисунка. Мне вдруг подумалось, что она может представлять дело иначе.

— Дорисуйте сами, если хотите. Я уже написал, что признаю свою вину.

Женщина достала серебряную ручку «Дюпон» и, недовольная тем, что не может поручить это кому-то еще, небрежно закончила рисунок. Полицейский сверил данные, выписал что-то на свой бланк и дал нам на нем расписаться. Разумеется, прежде чем переписать на свою бумажку номер моей машины, он внимательно посмотрел на номер. Он и раньше смотрел на него, когда попросил меня предъявить документы. На номер ее машины он даже не взглянул. Потом отделил листки друг от друга и отдал каждому по экземпляру.

— Порядок. Можете ехать, — сказал он женщине.

— С удовольствием. Чтоб больше тебя не видеть, — попрощалась она со мной.

— А почему мне нельзя ехать?

— Вам я должен выписать штраф.

— Послушайте, шеф. Если я совершил проступок, то Бог меня уже достаточно наказал. Надо ли вдобавок терзать меня штрафом?

— Это моя обязанность. А ваша — ездить внимательнее.

Сучка в костюмчике от Шанель уже сидела в белом кабриолете, в каких всегда разъезжают такие сучки, и я должен был терпеливо смотреть, как она устраивалась — поправляла зеркало заднего вида, волосы, откидывалась назад, пока вонючий полицейский измывался надо мной и отрабатывал свое вонючее жалованье, более-менее такое же, какое получает любой из нас, засранцев, независимо от того, был он таким с самого рождения или стал им в конце концов.

Когда я наконец сел в машину, стало ясно: потеряно двадцать минут и все то, ради чего я поднялся ни свет ни заря в надежде, что затор, в который попаду, не будет тошнотворным затором, какие случаются по понедельникам в половине девятого утра; было уже половина девятого, а я все еще торчал в самой гуще тошнотворного затора и в довершение опаздывал, отчего понедельник становился еще мрачнее, а в мошонке давило вдвое тяжелее обычного. И тут я вспомнил, что в папочке со страховкой лежит теперь и бумажка с именем и адресом этой сучки в костюмчике от Шанель. Вокруг меня надрывались-гудели машины, таксисты каким-то образом просачивались сквозь затор, а поток не продвигался вперед ни на метр. Я открыл папочку и прочитал имя этой скотины: Сонсолес. И первую фамилию: Лопес-Диас. И вторую: Гарсиа-Наварро. Другими словами: какой-то Сонсолес Лопес Гарсиа показалось мало говна называться просто Лопес Гарсиа, и тогда она вспомнила своих дедов. Или же это сделал ее отец, или отец отца, что еще хуже. Судя по улице, которая значилась на бланке, она жила рядом с Лос-Херонимос¹. Когда я был еще

¹ Район музея Прадо. (Примеч. переводчика.)

чувствительным кретином, мне нравился этот район. Ночью тишина и покой, а днем его нарушали немного стада желтолицых, которых привозили на автобусах поглядеть картины.

Пока я двигался в потоке к своей ежедневной помойке, я не переставал думать о случившемся, и вдруг мне ударило в голову: да ведь эта Сонсолес Лопес Гарсиа отвлекла меня от смертельной повседневной скуки. В судьбу я не верю и вообще считаю: почти все, что происходит с человеком, происходит оттого, что он сам этого добивался, в результате, правда, случается, это выходит ему боком, но все равно — ответственности с него не снимает, но и вины не добавляет. И все-таки в то утро нарвался я на эту сучку Сонсолес по-глупому, я этого не добивался. Как будто мне ее подставили, и я на нее напоролся. Пока что результат — разбитая машина, это неприятно, однако, как знать, глядишь, из этого что-то выйдет. Я имел в виду забаву, но легонькую, потому что если бы в ту пору мне могло прийти в голову, что жизнь и на самом деле может быть интересной, я бы не похоронил всего Моцарта под гитарным завыванием Джюдаса (а заодно и Крейтора и *77 Fucking Bastards* и *Blame It On Your Dirty Sister*). И пока моя раздрызганная машина двигалась вверх по Кастельяне, в голове зрел гнусный план. И я ржал, клянусь, ржал до колик, как над самой остроумной в жизни шуткой.

Вот таким непонятным образом вошла Сонсолес в мою подлую жизнь, и я играючи, по-дурацки от пустяковой дорожной аварии дошел до того, что все, абсолютно все пустил к чертовой матери под откос.

А ведь интересно, думаю я теперь, что все началось с машины. Современный человек зависит от машины, и из всех машин, от которых он зависит, крепче всего держит его за глотку собственный автомобиль. Современный мужчина тратит на автомобиль часы: сперва лезет вон из кожи, чтобы его купить, потом ему не спится, если в моторе посторонний шумок или машина дергается при переключении передачи. Многие современные мужчины не проводят столько времени со своей семьей, сколько с машиной, на семью тратят меньше, чем на автомобиль, и по фигу им, когда у сынишки поднимается температура, что для ребенка может означать, выражаясь этими терминами, неисправность гораздо более серьезную, чем скрежет амортизаторов для автомобиля.

Современный мужчина, чуть только меняется в лучшую сторону его материальное положение, сразу же покупает автомобиль. И если через четыре или пять лет после этого он не покупает нового, то большинство остальных современных мужчин начинают считать его последним говноедом. Один из немногих мотивов, по которому современный мужчина может убить себе подобного, — если тот своим автомобилем перекроет проезд его автомобилю. Одна из немногих причин, по которой современный мужчина, не достигший тридцатилетнего возраста, перестает платить взносы в Социальное страхование, — дорожно-транспортное происшествие.

Лично мне мой первый автомобиль достался тяжело, потому что у меня было X песет, а автомобиль стоил X плюс еще 500 000. К тому же у мерзавца был заводской дефект в зажигании, так что каждые три дня мне приходилось навещать авторемонтную мастерскую и глотать лапшу, которую мне вешали на уши, мол, бензин у нас грязный, не то что в Германии, — за отсутствием воображения талдычили одно и то же, вместо того чтобы придумать более убедительную чушь.

Второй мне достался легче, поскольку денег к тому времени у меня было больше, а зажигание оказалось таким, каким ему и положено быть, то есть вполне стойким к любой гадости, которая может содержаться в бензине той страны, где продаются эти автомобили.

К третьему, тому самому, на котором я въехал в Сонсолес, у меня не было никаких особых чувств. Во всяком случае, мне так казалось. Насколько мне помнится, я купил его только потому, что он оказался дешевле всех осталь-

ных, у которых был кондиционер и мощность, необходимая для обгона грузовиков без риска для жизни.

И тем не менее однажды ночью, когда у меня расстроился желудок, я неожиданно обнаружил, что во внутренностях у нас с ним есть что-то общее и настолько специфическое, что впору встревожиться: мой собственные газы под простыней пахли точь-в-точь как бензин без свинцовой добавки, прошедший через катализатор моего автомобиля. Я купил его всего несколько недель назад и все эти недели мучился, не мог понять, что мне напоминает вонь, которая остается от моей машины в гараже. Таким образом (хотя это не имеет никакого отношения к последующей истории), ко всем моим неприглядным свойствам, которые не следует выставлять напоказ, добавилось еще одно — враг экологии.

Я одинаково ненавижу педагогику, либеральный капитализм и спорт. Не знаю почему, но все, что стремится — или заявляет, что стремится, — улучшить жизнь людей, в конце концов рано или поздно, наоборот, ухудшает ее.

Сонсолес Лопес Гарсиа предусмотрительно приняла меры, зная, что это не помешает ей починить ее мерзкий кабриолет, но мне пришлось немного потрудиться. А именно: на бланке, в клеточке, предназначенной для телефона водителя автомобиля В, я обнаружил прочерк. И прочерк, сделанный в сердцах, потому что черточка в конце взлетала кверху. Среди книг, которые случилось прочесть помимо конторских бумаг и счетов моих личных трат, мне как-то попала книжка по графологии. В ней говорилось, что подпись, в конце взлетающая кверху, свидетельствует о восторженности и воодушевлении ее владельца или же о его дурном характере. У меня не создалось впечатления, что Сонсолес Лопес Гарсиа способна была легко воодушевляться, разве что покупая золото, чтобы нацепить его себе на запястья, пальцы или повесить между грудями. Я тоже трудно воодушевляюсь, а подпись у меня в конце задирается на тридцать градусов.

Кому-то все-таки следовало сказать Сонсолес, что глупо не давать телефона, если даешь адрес. Рано или поздно телефон достать можно. Первое, что я сделал, опустив зад в служебное кресло у себя в кабинете, — набрал справочную: 003.

— Вас обслуживает номер восемь... четыре... девять... — проговорил компьютер телефонной компании. — Служба информации, добрый день, — раздался следом человеческий голос. А точнее — женский.

— Добрый день. Я бы хотел узнать телефон сеньориты Сонсолес Лопес-Диас. Двойная фамилия. Живет на улице Морето, дом 46.

— Под таким именем у нас никто не значится.

— А какой-нибудь другой Лопес-Диас или просто Лопес по этому адресу?

— Такой информации дать не могу.

— Спасибо, Мата Хари.

Я дал отбой и набрал снова.

— Вас обслуживает номер семь... три... один... — На этот раз ответил мужчина: — Служба информации, добрый день.

— Добрый день. Я бы хотел узнать телефон сеньора Лопеса-Диаса.

— Вы шутите, я не Коломбо², — съязвил телефонист.

— Но это не так трудно. Он живет на улице Морето, дом 46.

Слышно было, как он набирает на компьютере. Через секунду оператор ответил:

— Армандо Лопес-Диас. Записывайте.

Голос другого компьютера, того, что первым приветствовал меня и складывал номера, продиктовал телефон, и если бы я не повесил трубку, повторял бы его до бесконечности, пока у меня не выпадут все зубы.

² Сыщик, герой популярного телесериала. (Примеч. переводчика.)

Я набрал семь цифр, и на другом конце провода ответила молодая девушка:

— Слушаю.

— Привет. Кто это?

— Лусиа.

— А-а. Я хочу поговорить с Сонсолес.

— Ее нет дома.

— А когда будет?

— А ты кто?

— Антонио. Я работаю с доном Армандо.

— А зачем тебе Сонсолес?

Ясно было, что крючок она заглотила. Но я собирался позабавиться и потому забросил другой, покрепче:

— Видишь ли, мы познакомились с Сонсолес пару месяцев назад. Ну, зашли ко мне, выпили, перебрали чуток, сама понимаешь. Презерватив-то у меня был, я ведь бисексуал, и дружки у меня всякие, но она не дала надеть. Ну а тут я сделал анализы, и оказывается, у меня...

— Совсем неостроумно, дурак.

— Погоди, Лусиа, не вешай трубку, это важно для твоей сестры.

— Она мне не сестра. Я у них работаю.

— Все равно. Ей надо это знать.

— Что? У тебя СПИД, что ли?

— Не совсем.

— А что же?

— Знаешь, пожалуй, это слишком щекотливое дело. Я тебе дам телефон, скажи, чтобы она мне позвонила.

Я достал свой список избранных номеров и, немного поколебавшись между Архиепископством Мадрида-Алкалы и Министерством социальных проблем, дал телефон полицейского комиссариата района Тетуан.

— И не подумаю записывать, иди в жопу, — отрезала она.

— Запиши и дай ей. Что такого?

— А то, что выгонят, вот и все.

— Скажешь, звонил какой-то шутник. Но увидишь, ей будет не до шуток.

— Ладно, повтори номер. Будет что полиции показать.

Я продиктовал номер.

— И только, пожалуйста, чтобы муж не узнал, — захныкал я.

— У нее нет мужа. Прощай, засранец.

Лусиа двинула мне в ухо, — так выражаются в американских детективах, — другими словами, я все еще прижимал трубку к уху, когда она трубку бросила, и в барабанной перепонке у меня здорово щелкнуло.

Или мне пофартило, или я был чертовски умен, но из короткого телефонного разговора я извлек кое-какие сведения. Сонсолес была не замужем, жила с отцом, неким доном Армандо, по-видимому, важной шишкой, раз он мог работать с каким-то Антонио, и имела служанку, которая ничуть не смущалась, когда с ней разговаривали об андрогинах и венерических болезнях.

В тот день дел у меня было выше крыши, многие я оставил недоделанными с пятницы, а кое-какие отложил еще раньше, так что больше откладывать не мог — в любой момент начальник способен был вызвать меня и спросить, что я думаю по этому поводу, в то время как я ничего не думаю. А поскольку я терпеть не могу врать — кроме тех случаев, когда делаю это из чистого удовольствия, — то я забыл о Сонсолес и окунулся в работу. Я не раз убеждался, что самый лучший способ — оставлять все на конец. Работу надо делать тогда, когда ее уже нельзя не делать: поскольку нет иного выхода, как браться за дела, начинаешь щелкать их как орешки, быстро и не задумываясь. Когда Бог Иегова сказал Адаму, что ему придется вкалывать, дабы не помереть с голоду, и хватит, мол, шататься — околачивать яблочки на деревьях, он не думал, что растлевет его, поскольку не сумел приспособить к мотыге или просто не в состоянии был совершить усилие — приучить его к делу. Нет, он знал, что

растлевать — делает из него праздного бездельника, который, копая землю, станет думать, что копать землю — тяжкое бремя. Самое плохое в работе — не сама работа, а мысль, что ты работаешь. Просто думать — сколько угодно, просто работать — тоже можно, но хуже, а вот думать и работать одновременно — хуже некуда, легче застрелиться. Вот потому-то самый умный из древних в две руки ублажал свою плоть, в то время как дурак Платон все что-то записывал и записывал.

В тот вечер я вышел из банка рано, а точнее, в девять часов. В здании еще оставалось десятка полтора таких же придурков, как я, просто у них не было никаких дел за стенами учреждения, вот они и сидели, пока их не выгонят. Когда-нибудь в другой раз я расскажу, как организовано дело в проклятой конторе, в общем-то, как у муравьев, только по-скотски. Можно помереть от смеха или от жалости, когда подумаешь, что ты, по сути, принадлежишь к отряду придурков муравьев.

Садясь в памятый автомобиль, я вспомнил: завтра мне предстоит отогнать его в мастерскую, чтобы ему выправили рыло. А пока я поехал на проспект Прадо. Остановился там, где парковался всегда, когда мне случалось оказаться в этом районе, а именно около мусорных баков отеля «Риц». И хотя в телефонной кабинке здесь постоянно кто-то колется, служащие отеля тут ходят и бдят. Однако, увидев, как грабят машину, они едва ли сделают что-нибудь, кроме как пожелают, чтобы ее ограбили поскорее. Но в отличие от наркоманов, которых чужой глаз не колет, пакостники чувствуют себя гораздо комфортнее, когда на них никто не смотрит. Это следует иметь в виду. Поскольку я одет хорошо, зарабатываю хорошие деньги и у меня есть что украсть, я стараюсь познать обычаи тех, у кого всего этого нет. Я знаю, что гораздо приличнее говорить, будто тебя жутко волнует положение маргинальных слов и этнических меньшинств и что ты готов поделиться с ними своим добром, но только почему-то все подсакивают как ошпаренные, когда узнают, что их освободили от кое-какого добра, которым они и не думали делиться.

Я вошел в кабинку, стараясь не наступать на шприцы и не прислонить трубку к уху. Трубка воняла табаком и, вопреки моему желанию, чуть не прилипла ко рту. Я бросил в щель двести песет, набрал номер Сонсолес и настроился позабавиться при любом варианте.

— Да, — в трубке откашливалась пожилая женщина. Самый слабый фланг. Стратегия А.

— Добрый вечер. Это квартира дона Армандо Лопеса-Диаса?

— Да. Кто говорит?

— С вами говорят из Податного управления.

— Откуда?

— Налоговая инспекция. Сеньор Лопес-Диас дома?

— Одну минуточку, подождите, пожалуйста.

В трубке, которую сжимала рука мамы Сонсолес, послышалось перешептывание и затем — густое мужское «хम्म!».

— Армандо Лопес-Диас у телефона. С кем я говорю?

— Я — Эдуардо Гутьеррес, налоговый инспектор. Извините, что беспокою в такое время, сеньор Лопес-Диас. Мы звоним по вечерам, вечером легче заставить налогоплательщиков дома.

— А что за проблема? Я честнейшим образом декларирую все мои доходы. Голос Армандо Лопеса-Диаса чуть дрогнул, произнося ложь.

— Рядовая проверка. В рамках проверки уплаты налогов с ренты физическими лицами компьютер выбрал вас. Я хотел узнать, когда бы вы могли подготовить и официально представить всю документацию.

— Всю документацию...

— За последние пять лет. Всю документацию, которая подтверждает данные, указанные в ваших декларациях.

— Ах да, ну конечно.

— Итак?

— Ну... Пара дней мне понадобится, чтобы привести в порядок бумаги.

— Разумеется. Если у меня тут не вкралась ошибка. Вы — человек свободной профессии.

— Да. Я архитектор.

— Совершенно верно. И устанавливаете расценки напрямую с заказчиком.

— Да, по-моему. Да.

Предположив наобум и угадав, что Армандо Лопес-Диас — человек свободной профессии, можно было без особых мук догадаться, какими именно способами он списывает свои личные расходы, маскируя их под необходимые профессиональные затраты, как-то: такси туда-сюда, телефонные счета, автомобильчик по лизингу. Пока в конце концов не является налоговый инспектор и не вставляет ему перо... И еще незадача: он должен вести бухгалтерский учет.

— И у вас обязательно должны иметься счетные книги.

— Да, конечно.

Я забавлялся, представляя, как у Армандо по затылку струится пот. Но я из тех, кому все нейдет, тем более что мои намерения были несколько иными.

— И еще кое-что, дон Армандо.

— Да? — спросил он тихо, еле слышно.

— У вас есть дочь. Сонсолес Лопес-Диас Гарсиа-Наварро.

— Да. А она при чем?

— Она живет с вами.

— Ее нет дома. Я не понимаю...

— Она незамужняя.

— А какое до этого дело налоговой инспекции?

— Ваша дочь не работает, так?

— Нет, не так, работает.

Я выждал несколько секунд, чтобы Армандо потомился и стал еще менее умным.

— Не может быть, дон Армандо. В ее налоговом формуляре доходы не декларированы. Она ведь не получает черным налогом?

— Черным налогом? Что вы говорите? Моя дочь работает в Министерстве промышленности. Она Государственный Технический Торговый Эксперт. — Я отчетливо услышал эти настырные заглавные буквы, которые всегда так четко выговаривают государственные служащие, прошедшие по конкурсу, и родители этих служащих.

— В Министерстве промышленности? Не может быть. В Мадриде?

— Именно в этом министерстве. Послушайте, что это за путаница?

— Да, что-то не так. Прошу прощения, сеньор Лопес-Диас. Но мы должны проверить все данные на вашу дочь.

Армандо Лопес-Диас захрустел всеми суставами. Такое случается с не в меру напыщенными людьми. Они надуваются, как беременная черепаха.

— Вы же собирались инспектировать меня, разве не так? — Он пытался разобраться.

— И вашу дочь. Вы оба выбраны для проверки. С вами больших трудностей не предвидится, поскольку у нас есть ваши декларации. Вы представите мне подтверждающие документы и счетные книги, мы сверим, и все дела. Если все в порядке, подпишем акт о проверке и управимся в полчаса. Что же касается вашей дочери, в компьютере не значится, что она платила какие бы то ни было налоги. Никаких деклараций, никаких взносов.

— Этого не может быть.

— Если она работает в министерстве, то странно, что к нам не поступают сведения о ее доходах. Вы же не станете мне лгать, правда?

— Бога ради. Как я могу лгать! Если у вас ошибка в компьютере, его надо починить.

— Хорошо. Давайте сделаем вот что. Я еще раз посмотрю компьютер. А вы скажите дочери, чтобы она позвонила мне завтра утром с девяти до одиннадцати по этому телефону. Пусть назовется и скажет, что она — в списке отобранных на этот месяц. Записывайте.

Я дважды назвал номер телефона Ассоциации марксисток-лесбиянок, и Армандо записал его, заверив меня тоном примерного ученика, который никогда не показывает учительнице язык:

— Это, конечно, ошибка, тут нет сомнения.

— Мы разберемся. Не беспокойтесь. А что касается вас, то понедельник вас устраивает?

— Хорошо.

— Завтра же я пришлю вам запрос. Спасибо за все и спокойной ночи.

— Сп...

На этот раз я двинул в ухо обитателю резиденции Лопесов-Диасов. Садясь в машину, я думал, что бедный папаша Сонсолес сегодня ночью спать не будет, и ни хрена не раскаивался. Что же касается самой Сонсолес, то я не только пополнил сведения о ней, но и надеялся заставить ее немного подергаться, а как же иначе — она сама нарвалась.

Пока я ехал домой, меня не переставала гвоздить мысль: все это — детские шалости, забавного развлечения, на которое я рассчитывал, не получилось. Не переставала она гвоздить и дома, пока я вырезал самые мерзкие фотографии голых мужиков из журнала для мужчин, чтобы послать миленький коллаж Сонсолес в Министерство промышленности. Тоже невелика пакость. Надо было или как можно скорее брать быка за рога, или же оставить эту затею. Сказать по правде, брать за рога было лень, но скуку я ненавидел смертельно. После того как мне перевалило за тридцатник, стоит заскучать, я становлюсь агрессивным и еле сдерживаюсь, чтобы не биться головой о телевизор. Приходится сдерживаться, потому что голова мне нужна для работы, да и денег я зарабатываю не столько, чтобы покупать телевизоры каждый день.

Сам телевизор мне до лампочки, почти все, что там показывают, — чушь для умственно отсталых, словом, без лишних хлопот добиваются, что все, кто не получает никакого иного образования, то есть большинство населения, с каждым днем все больше и больше отстают умственно. Однако иногда по телевизору показывают и женские чемпионаты по фигурному катанию и гимнастике, спортивной и художественной. Фигурное катание с гимнастикой мне тоже по фигу, но вот фигуристки и гимнастки — это главное из того немногого, ради чего стоит ежедневно по утрам подниматься с постели.

Я проснулся на рассвете весь в поту, сердце колотилось как сумасшедшее. Попробовал успокоиться и заснуть, но не тут-то было. Встал, выпил настой из альпийской липы. Стало немного лучше, но не совсем. Тогда я надел спортивный костюм и спустился к машине. Проехался немного по кольцевой М-30. На М-40 повороты лучше и скорость можно развить побольше, но беда в том, что она контролируется Гражданской гвардией. Не успеешь расслабиться, как сзади пристраивается мотоциклист, специально натренированный ловить таких метеоров, и тут же тебе вклеивают жуткий штраф, так что глаза на лоб лезут. М-30 патрулирует муниципальная полиция, и у них то ли нет хороших мотоциклистов, то ли они берегут их для парадов. Поэтому самое страшное, на что они способны, — это сфотографировать тебя и прислать штраф на дом. У меня дома скопилось уже сто семьдесят восемь таких штрафов от муниципальной полиции, все, как один, потерявшие силу, поскольку они вовремя не оформили посланные мною опротестования. Процедура такая простая, что на этом можно было бы сделать хороший бизнес. Разумеется, в один прекрасный день до них дойдет, они изменят закон, и придется покупать себе личную подвесную дорогу.

Устав жать на педаль, я выехал с кольцевой и искал телефонную кабинку. Набрал номер Сонсолес. Шесть гудков, и после звучного щелчка, как будто тот, кто взял трубку, сразу же ее выронил, я услышал голос Армандо:

— Да? Кто это?

— Сонсолес, — прошептал я.

— Кто это?

— Сонсолес, — опять прошептал я.

— Иди в задницу, сукин сын. — И повесил трубку.

Я снова повторил операцию.

— Кто это, на хер, в конце концов? — снова Армандо.

— Сонсолес, — снова прошептал я.

Он повесил трубку. Я выждал десять минут и снова позвонил. На этот раз только два гудка.

— Кто ты, педик вонючий? — неповторимо прокаркала Сонсолес.

Я шумно засопел в трубку. Она молчала, пока я не перестал сопеть.

— Свинья. Думаешь, напугал? — захохотала она.

Она была права. Получалось довольно пошло. Я достал носовой платок, прикрыл им трубку. И заговорил гулким голосом:

— Привет, Сонсолес. Ты меня не знаешь, а я тебя вижу каждый день. Слежу за тобой уже не первую неделю.

— Понятно, и хочешь, чтобы мы встретились или чтобы я сказала тебе, ношу ли трусики.

— Я не из этих мужчин.

— Ах, так ты — мужчина?

— Более-менее.

— Так более или менее?

— Знаешь, чего я хочу, Сонсолес?

— Умираю от любопытства.

— Хочу вырвать твою печеньку, зажарить и съесть. Твое сердце я брошу псу, а тело высушу, набью чучело и отдам на забаву моему орангутангу. А пока я тут, дорогая, берегись, прикрывай спину.

— Я сейчас же позвоню в полицию. — Сонсолес уже не смеялась.

— И что им скажешь? Нечего тебе сказать. Звоню из автомата, кто я — ты не знаешь. Представляешь, сколько таких случаев за день они складывают в долгий ящик? И будут ждать, когда я тебе что-нибудь сделаю.

— Я тебя знаю.

— Не трудись понапрасну.

— Ты — шваль.

— А как же иначе. Мой орангутанг шлет тебе воздушный поцелуй. Он спит и видит, как позабавиться с тобой.

Я повесил трубку. На сегодня достаточно. Разумеется, мне самому было противно то, что я делал, но, надо сказать, это здорово помогло расслабиться. Было время, когда я почти не делал гнусностей и считал, что те, кто их делает, — грязные типы и, сделав пакость, ужасно мучаются и даже хотят покончить с собой. Однако же, сам став гнусняком, убедился, что, когда даешь выход дурным инстинктам, чувствуешь себя не виноватым, а опустошенным, а это — единственный способ для гнусняка успокоиться. Сделаешь пакость — и порядок. Худо, если останавливаешься на полдороге, вот тогда нейметя, свербит, нету мочи.

В тот вечер, к примеру, я пришел домой, лег и спал как убитый. А когда проснулся, увидел, что вся подушка — в слюнях. Хотя Фрейд об этом ничего не написал, а попусту тратил время на спорные тонкие материи, сон в слюнях — непременно счастливый сон.

Вонючая контора, и вот что думает о ней ее жертва.

В современном мире, отчасти под влиянием присущих концу тысячелетия конвульсий, на рынке труда сосуществуют три четко выраженных касты.

Во-первых, процентов тридцать, а то и больше составляют те, кто служит давно и успел укорениться в головной конторе и потому обеспечивается особо. Головные конторы обычно более изобильны, чем может показаться и чем

полагается знать тем, кто не пользуется их льготами. Благодаря усилиям влиятельных профсоюзных деятелей эта публика не совсем еще покинула золотую пору офигительных трудовых соглашений. Тогда еще существовали дополнительные оклады по случаю круглой даты служения данной конторе, в полдень заведено было уходить на сиесту, по утрам пить кофеек, а в сентябре выдавалось индивидуальное пособие, которого хватало снарядить в школу детишек, да еще оставалось на хорошую жрачку с выпивкой и сигарой. Разумеется, новая модель трудовых взаимоотношений начинает тревожить и их, однако требуется землетрясение, чтобы они забеспокоились всерьез, да и то скорее всего решат, что землетрясение сдвинет стулья только под временными служащими. Они знают: худшее, что с ними может случиться, — отвалят хороший куш, урезав жалованье у молодых служащих, и отправят по домам предаваться порокам. На так называемую досрочную пенсию. А пока, в ожидании, когда наступит срок или подойдет очередь, эти будды все восемь часов, полный рабочий день, развлекаются, зачеркивая крестиками дни в календаре или заполняя клеточки лотерейных карточек. Они регулярно подхватывают грипп (две недели), весеннюю аллергию (десять дней), летнюю простуду (восемь дней) и обязательно ломают лучевую кость в последний день летнего отпуска (двадцать дней). Каждые два года им вырезают какой-нибудь жировик (тридцать дней), и они ломают большую берцовую кость, катаясь на лыжах (два месяца). Но всего этого им кажется мало, и они никогда не упускают случая присоединить денек-другой к праздникам (мостик).

Если говорить всю правду, то среди тех, кто пользуется этой благословенной вседозволенностью, встречаются иногда идиоты, которые работают, поскольку имеют принципы или призвание. Ну конечно же все над ними смеются. У этого идиота, видите ли, принципы, которых ни у кого уже давным-давно нет (раз воруют министры, то с меня ничего не спрашивайте, заявляют сегодня девяносто пять процентов опрошиваемых). Эти, с принципами, особенно смешны (девяносто девять процентов опрошиваемых насмерть стоят на том, что принципы пусть спрашивают с отпетых сукиных детей, которые сосут прибыли). А потому позвольте в моем кратком анализе обойти вниманием этих, кого народная мудрость так безоговорочно презирает.

Четыре пятых из оставшихся семидесяти процентов составляют мудаки — временные служащие. Поймите правильно: я имею в виду не тех, у кого временный контракт, а тех, у кого контракт составлен в пользу работодателя, который может уволить их в любой момент. Истекший контракт постоянного служащего возобновляется тотчас же. Временный мудак — это тот, кто был нанят на работу после того, как контракты скурвились настолько, насколько могут скурвиться контракты: зверские условия для новеньких и крайне деликатные для работающих давно, а именно для будд. Мудаки-временные могут работать в любом секторе или отделе, а их профсоюзные представители, там, где они имеются, если и играют какую-то роль, то роль камикадзе. Другая особенность мудаков-временных — их средний возраст: он гораздо ниже среднего возраста будд. Но зато выглядят они гораздо хуже, поскольку им едва хватает денег на приличную одежду (разумеется, на лыжах они не катаются и летом никуда не ездят), а двенадцатичасовой рабочий день для здоровья гораздо более вреден, чем тихая восьмичасовая отсидка в конторе. Если какому-нибудь будде случится столкнуться в коридоре с мудаком-временным и он снизойдет до того, чтобы взглянуть на него, то с чувством глубокого удовлетворения убедится, что, невзирая на разницу в двадцать лет, мудак-временный гораздо менее загорел, уши у него торчком, а в волосах гораздо больше седины, которую ему к тому же некогда закрасить.

Согласно последним подсчетам, жизнь мудака-временного имеет несколько меньшую ценность, чем жизнь мокрицы. Если ему случится заболеть более двух раз за год, контракта ему не возобновят. Если однажды в двенадцать ночи ему скажут, что он должен заново переделать всю сделанную за день работу, а у него при этом немного скривится лицо, контракта ему не возобно-

вят. Если он плохо размешивает сахар в кофе, контракта ему не возобновят. Если это секретарша и она наденет брюки, контракта ей не возобновят. Если она не улыбается постоянно (притом, что улыбающаяся физиономия с темными кругами под глазами выглядит чудовищно), контракта ей не возобновят. Если взбредет в голову спросить, что такое «мостик», контракта не возобновят. Существует перечень, содержащий еще двести пятьдесят тысяч причин, в силу которых мудаку-временному могут не возобновить контракта. Перечень не продолжили не потому, что больше не нашлось, а потому, что без надобности: нет такого мудака-временного, которого нельзя было бы уволить три тысячи раз в день с помощью тех причин, которые в этом перечне значатся.

Может показаться, что нет положения хуже, чем у мудака-временного. Их всегда меньше, чем нужно, и они должны делать всю работу, в то время как будды знай заполняют лотерейные карточки. Платят мудакам-временным плохо, потому что если бы им платили хорошо, то не из чего было бы выкраивать роскошные пенсии для других. У них нет социальных благ, потому что, если бы они их имели, будды не получали бы замечательного медицинского обслуживания, которое позволяет им чудесным образом полностью восстанавливаться после их многочисленных «заключений». Кроме того, когда они доживут до старости (имеются в виду те немногие, которые доживут), все, что они внесли в Фонд социального обеспечения, наверняка окажется растраченным за долгую жизнь буддами, а на их долю останется лишь хороший пинок под зад.

И тем не менее есть такие, кто внушает еще большую жалость. Это — оставшаяся пятая часть от семидесяти процентов, которые трудового соглашения и не нюхали: придурки (например, я). Их можно встретить на самых важных постах: в коммерческих банках, в биржевых посредниках, в мультинациональных компаниях любого профиля и иногда даже там, где спокойно поправляют свое здоровье будды. Придурки — не временные и получают хорошее жалованье, по сути, даже лучшее, чем сами будды. А потому всякие профсоюзные игры у них считаются отчасти неприемлемыми, а отчасти — признаком дурного тона. Они молоды, хорошо одеваются и стараются сохранять презентабельный физический облик, чего достигают различными скорее менее, чем более разумными способами. Если иногда им позволяют «мостик» — объединить выходные и пару праздничных дней, — они едут кататься на лыжах, а летом отправляются за границу. В остальное время года они самым жалким образом искупают свои грехи.

Согласно последним подсчетам, жизнь придурка стоит дешевле жизни мокрицы с оторванными лапками. Во-первых, их рабочий день еще длиннее, чем у мудака-временного. Они не могут болеть, так как всегда по той или иной причине срочно требуется их присутствие, а потому они вынуждены глотать уйму различных лекарств, чтобы вопреки всему быть готовым к труду в любое время дня и ночи. Переноса температуру на ногах или сдерживая тошноту, им, бывает, приходится давать разрешение какому-нибудь будде уйти домой из-за легкой головной боли. И хотя официально почти все они — начальники, они все владеют компьютером, ксероксом, факсом и скоросшивателем, поскольку в часы, когда они обычно заканчивают работу, даже последнего мудака-временного в конторе уже нет (к этому времени будды, имеющие детишек школьного возраста, успевают проверить у них уроки и, уложив спать, сидят попивают виски у телевизора). Но мало того, за любую допущенную ошибку они могут быть унижительно и жестоко наказаны — и никаких возражений.

Некоторые придурки полагают, что все это — лучше, нежели вылететь на улицу (крайнему наказанию их подвергают не так часто, как мудаков-временных), — и только улыбаются, когда начальники плюют им в лицо, и только благодарят за то, что они — придурки, а не мудаки-временные. Любой с куриными мозгами понимает, что мудака-временный по крайней мере может посмотреться в зеркало. И хотя и тот и другой наверняка помрут, не дожив до

пенсии по старости, у временных мудаков остается еще надежда, что хотя бы их дети любят их и позаботятся о них в тяжкую пору. Придурки не только не заслуживают уважения собственных детей, но едва ли могут надеяться, что те знают, что за тип появляется в доме по праздникам (не по всем).

Невозможно объяснить, каким образом столько приличных людей, и иногда даже относительно стоящих, проживают под этим проклятьем всю свою придурочную жизнь. Некоторые позволяют ослепить себя деньгами или тешат тщеславие каким-нибудь высоким постом, обозначенным на визитной карточке. Всегда найдется такой, который, пребывая на должности координатора с окладом, к примеру, 80, будет свято верить, что тот, кто находится на должности заместителя координатора и имеет оклад 79, соответственно находится ниже его на шкале зоологической ценности. Из этого оболваненного воинства рекрутируется значительная часть придурков, которые рассеяны по всему свету, и самое тревожное — в наши дни подобных болванов такое перепроизводство, что любая потребность в них будет тотчас же удовлетворена с избытком.

Однако есть и придурки, которые не любят деньги больше всего на свете (или же им безразлично, будет ли их визитная карточка представительнее, чем у других). Таких больше всего волнует, что они — придурки, и, возможно, именно потому они более других виноваты и заслуживают своей собачьей участи, ибо, имея они яйца и прояви характер, они бы не оказались в столь униженном положении. А оказались они в нем исключительно из тщеславия. Они залезли в пасть к волку не подумавши — или подумавши, но не желая того, а может, решили, что никогда в жизни не захотят и не позволят увлечь себя этой мерзости. Вот тут-то их и принимаются искушать: ну-ка посмотрим, можешь ты то или это. Они знают, что они могут и то, и это, и начинают показывать, как они могут, чтобы уже никто не усомнился. А потом подходит очередь еще другого и третьего, и опять они могут и показывают, что могут. И так далее, и так далее.

А если бы они захотели обернуться назад и посмотреть, какую кучу дел наворотили, доказывая свои способности, они бы поняли: ничто из сделанного, какими бы трудами оно ни давалось, не стоит ни шиша. И наоборот, есть куча вещей, которые дорогого стоят, и на это они тоже были способны в свое время, но столько времени потратили на вещи, не стоившие ни шиша, что теперь уже сами ни на что другое не годятся. И позорнее всего, что большинство этой публики вместо того, чтобы вскочить в машину и сигануть с обрыва, старается отбросить сомнения, чтобы не мучить себя напрасну, и с еще большим рвением отдается делу, не стоящему ни шиша. И даже радуется, когда их похлопывают по плечу, желая видеть в этом похлопывании одобрение: так бабник, не схлопотавший по морде после смелого захода, предпочитает счесть это за поощрение.

Вот тут и нужны как раз те самые упомянутые выше яйца. Тщеславие есть у нас у всех, и каждому нравится, когда его хвалят за любую чепуху. Однако надо иметь яйца и сказать дрессировщику, желающему, чтобы ты прыгнул через горящий обруч, что через обруч пусть прыгает его долбаная мамаша, — и конец, может браться за кнут. Стоит только раз прыгнуть через обруч — как яйца повиснут на нем, и назад их не получишь. А для тех, кто не знает, скажу: яйца — вещь легковоспламеняющаяся.

Было время, когда я сопротивлялся, не хотел ходить в придурках. Я никогда не боготворил ни деньги, ни визитную карточку, и гордость моя не взыгрывала оттого, что восхищались моими акробатическими способностями. В ту пору у меня были яйца. А потом почему-то втемяшилось в голову, что худо человеку быть одному, выбиваться из круга и не делать того, что делают все, или, во всяком случае, все, кто это может. Я лично мог, не хуже любого другого. И я позволил себе прыгнуть через горящий обруч только затем, чтобы не кончить свои дни в канаве безо всякого проку. Я принял это решение как временное, пока картина не прояснится и я не устрою все на свой лад.

Прошло около десяти лет. И вот я — придурок и одинок еще больше, чем прежде.

Думая об этом, я всегда вспоминаю Фридриха Ницше. У меня был преподаватель религии, который при каждом удобном случае злорадствовал по поводу того, что этот безбожник, судя по всему, умер, тронувшись разумом. Я никогда не был в восторге от старика Фридриха, разве что когда обнажал свой ствол, однако не считаю справедливой наградой за утверждение, что человек — звучит гордо, получить репутацию маразматика и вдобавок чтобы какой-то антропоид в сутане сто лет спустя изгалялся на твой счет перед горсткой сопляков.

Возможно, я еще не сказал, что было лето. Обстоятельство довольно важное по причинам, которые прояснятся далее, и еще потому, что летом рабочий день в банке короче и заканчивается в полдень. И хотя мы, придурки, почти никогда не пользуемся этим благом, вполне допустимо раза три или четыре за лето позволить себе соскочить с круга и уйти с работы вместе со всеми остальными, чтобы обнаружить: за дверями банка существует мир. В котором есть парки, птички, детишки с мамами и тучи баб в облегающих маечках и с пупком наружу.

Именно так я и поступил в ближайший четверг — ушел с работы пораньше, но не для того, чтобы созерцать голые пупки, а дабы сделать попытку продвинуться дальше по пути слезки и морального изничтожения Сонсолес. Словом, мне хотелось последить за ней, понять ее привычки. А потом придумать что-нибудь такое-эдакое и скомпрометировать мою избранницу. Облить грязью, вздрючить как следует, чтобы эта идиотка прокляла день, в который встретилась со мной. Теперь, когда пишу, я даже не могу вспомнить, какие именно пакости я против нее затевал.

Да и наплевать. Потому что в тот день случилось такое, что спутало мои расчеты и перевернуло все. До того дня вся моя суета вокруг Сонсолес была чем-то вроде собрания в горсть шелковичных червей, чтобы зажарить их в ложке на бунзеновской горелке. Не знаю, понятно ли я изъясняюсь. Все, что я делал, не было необходимым и не доставляло мне особого удовольствия. И продолжай я свои идиотские забавы, скорее всего непоправимого не случилось бы. Но в тот день я предал свои принципы, забыл уроки и разочарования сокрушительной науки жизни и поддался безумию — позволил себе увлечься человеческим существом.

Когда мне было восемнадцать, я сочинил выдающееся эссе под заглавием: «Хвала импотенции, трусости и другим видам недобропорядочности во имя преобразования реальной действительности», которое стоило мне исключения из маоистского кружка, куда я затесался по неведению. Теперь у меня много свободного времени, и я имею возможность перечитать эссе. На одной странице категорически утверждается следующее:

«В беспощадно симметричной Вселенной вид как таковой стремится сделать несчастным индивидуум во имя блага всего вида, и каждый отдельный индивидуум может избежать беды, только если перестанет беспокоиться об участи вида. Тот, кто станет обращать внимание на себе подобных более, чем следует для того, чтобы просто не столкнуться с ними, встает на верный путь самоуничтожения. И нет лучшего заклатья от этой опасности, чем недостаток смелости, который иногда смешивают с неспособностью. Для благословения мучеников и порицания нестойких или слабых стадное чувство создало такое бредовое понятие, как честь. Но разум утверждает иное, предпочитая снять вину с тех, кто действовал, руководствуясь хитроумием или необходимостью, нежели славить деяния какого-нибудь чудилы».

Фалес Милетский (а может, Иммануил Кенигсбергско-Калининградский) сказал как-то, что нет худшей мудрости, нежели то, что усвоено преждевременно, ибо впоследствии это приводит к ужасающему невежеству. К несчастью, мне довелось убедиться на собственном опыте в справедливости этого

афоризма, автору которого Зевс Громовержец должен был бы врезать так, чтобы задница отвалилась.

Дальнейшие события можно было бы пересказать в их последовательности, но для разнообразия и чтобы не делать лишнего я просто воспроизведу одну запись, которая обладает двумя достоинствами: непосредственной близостью к событиям, поскольку она была сделана в первую же ночь после случившегося, и вдобавок свидетельствует о силе чувств, — я писал волнуясь, как последний идиот.

Вот она, эта запись:

«Спрашивается: как случилось, что я понапрасну растратил жизнь? Почему из всех возможных жизней я в конце концов выбрал эту, всю сплошь из дерьма и никуда не ведущих глухих туннелей? Несколько часов назад я сидел на скамейке в парке Ретиро, снова и снова задавая себе эти два вопроса (или один, какая разница). Если долгие годы я носил их в себе и при этом не менялся, значит, я все это время старательно твердил их, как богомолка перебирает четки, не вникая в смысл. А сегодня, сидя на скамейке, взглянул им прямо в лицо. И мне сделалось так мерзко и так грустно, что не знаю, почему я не бросился из окна, не разможил голову о дворовый асфальт в назидание всем умственно отсталым особям нашего дома.

Нет, знаю почему. Как ни трудно, признаюсь: я включил компьютер и сел писать. Тот самый приступ ярости и тоски, который терзал меня двумя проклятыми вопросами, как раз и сохранил в целости мою черепушку.

Вначале казалось, ничего вообще не произойдет. Битых два часа я проторчал напротив дома мерзкой сучки, в голове клубились идеи. Ровно в шесть открывается автоматическая дверь гаража и выплывает кабриолет Сонсолес, и она — за рулем. И точно так же, как и два дня назад, смотрит на все и на всех сверху, скрываясь за огромными темными очками, которые делают ее похожей на помесь выдры с астронавтом. Я смиренно трогаюсь и пристраиваюсь ей в хвост. Машине, которую я одолжил у двоюродной сестры, пока моя подвергается пластической хирургии, не хватает лошадиных силенок, и мне приходится жать на газ. Сонсолес ездит как таксист, другими словами, полагается на удачу и на осторожность других водителей, то и дело проявляя дикое лихачество, лучше бы она засунула его себе куда-нибудь, глядишь, и сама была бы целее. Чтобы не упустить ее, мне пришлось то и дело кидать подлянки совершенно неповинным людям, и оттого я все больше злился, появлялось желание распялить ее под кварцевой лампой и оставить жариться на медленном огне недели две.

К счастью, путь оказался коротким. На перекрестке Сонсолес сворачивает, наплевав на все указатели, которые регулируют движение четырех улиц, оставляет машину во втором ряду и идет к двери колледжа для сеньорит. Мать-одиночка? Невероятно, если добавить еще время на аборт и на епитимью после него. Я паркуюсь так, чтобы видеть школьный выход, не очень при этом мешая другим, и жду. Десять минут. И тут начинают выходить девочки в сине-белом, десятки потенциальных Сонсолес. Зрелище, которое у меня вызывает то тошноту, то нездоровые желания. Наконец появляется Сонсолес, а с нею — девочка, вернее, молоденькая девушка лет пятнадцати. У меня обрывается пульс, как будто меня выключили. И тут все происходит.

Существо это — самое потрясающее из всех, кого мои грешные глаза видели за всю мою свинскую жизнь. Если Сонсолес ее мать, то я принимаю божественный смысл существования Сонсолес, каким бы неуместным оно мне до сих пор ни казалось. Если же она ей не мать, то одно лишь то, что она пришла забирать эту девочку из школы, придает на время ценность и пользу ее жалкому существованию. Мое сердце снова забилося, и забилося бешено. Тыщу лет со мной уже не происходило ничего подобного, и я с трудом привожу в порядок впечатления, но инстинкт восполняет недостаток навыка. Мало-помалу я начинаю понимать, что попался. Они садятся в автомобиль, я трогаюсь следом, не сопротивляясь, не строя заранее никаких планов, безропотно.

С этого момента Сонсолес, которую я до того преследовал, превращается в мутное мокрое пятно, сопровождающее непонятное юное божество. Девочка словно заполняет собою все. Даже закрыв глаза, я могу ее видеть: ее долгое тело, готовое вот-вот расцвести, волосы, как у изумительных нимф, которых рисовал этот озорник Боттичелли, и синий взгляд такой глубины, какой ни измерить, ни охватить. Мелькнула мысль, что меня никогда не привлекали женщины-блондинки, но и она не женщина, и чувство, которое она во мне вызывает, не похоже на обычное влечение. Обычным влечением, как известно, забиты все духовные помойки.

Далее все разворачивается молниеносно. Я доезжаю с ними до улицы Серрано, где они входят в магазин, в котором все цены на одежду округлены путем умножения на десять тысяч. Конечно, мне бы хотелось войти с ними и в примерочную, в ту, разумеется, куда пойдет девочка, но мое появление выглядело бы слишком подозрительным. Возвращаются они минут через пятнадцать, освобождая типа, который все это время томился в машине, потому что Сонсолес загорела ему дорогу своим кабриолетом, — девочка несет два целлофановых пакета и Сонсолес — штук шесть. Они не кладут их в багажник, потому что, во-первых, удобнее просто бросить на заднее сиденье. А во-вторых, потому, что описать, во что превратился багажник после того, как я его поцеловал, можно только стихами. Они трогаются, и я снова еду за ними. Когда мы останавливаемся у светофора, девочка перекидывает волну волос на одну сторону и устремляет взгляд на полицейского — из тех, что носят рычаг на своих мотоциклах, но иногда все-таки вынуждены слезать с них и регулировать движение на перекрестках. Муниципальный ковбой пропадает прямо на глазах: свисток чуть не вываливается изо рта, а сам он едва не испаряется от сознания собственного ничтожества и удерживается лишь благодаря ковбойским сапогам. Через пять минут дверь гаража в доме Сонсолес открывается и кабриолет тонет в подземной темноте. Конец видению.

Времени — четверть восьмого. Еще белый день и солнце не село, но ничто больше не имеет смысла. А я сижу в чужой, взятой на время машине и с выпотрошенной душой гляжу, как опускается дверь гаража: вот она захлопывается, и я погружаюсь в глухую ночь. Тоска и чувство потери мне не в новинку, эта растительность заполонила весь мой сад, и я даже научился стричь в нем живую изгородь. Но какая на этот раз тяжкая, какая удручающая горечь — я уже и забыл, что такое бывает. Кажется, я переживал такое когда-то. Когда с мальчишками на ярмарке мы купили лотерейные билетки и одному достался вождьеленный велосипед, а мне — дурацкий танк, который трещал и пукал. А может, когда мы играли в фанты и я потерял Палому, у которой кожа была как фарфоровая, ей выпал фант поцеловать меня, и я почувствовал ее нежную щеку и что ей противно, а потом смотрел, как она уходит и ушла навсегда. А может, когда умерла моя мать, в тот день мне должно было исполниться девятнадцать, а исполнилось сто.

Я поискал место, где поставить машину, и направился в Ретиро. Вошел в решетчатые ворота и быстро зашагал по тропинке в глубь парка, где нет людей. Сел на скамейку и смотрел на деревья. Было жарко, и я чувствовал себя скверно. Некоторое время я старался от них уйти, но в конце концов все-таки задал себе эти два вопроса: как случилось, что я понапрасну растратил жизнь? Почему из всех возможных жизней я все-таки выбрал эту, всю сплошь из дерьма и никуда не ведущих глухих туннелей?

Короче, мне глубоко насрать на все, чего я не могу или чего у меня нет: секрет в том, что все, что видишь вокруг, — дерьмо или находится на пути к этому. Но беда, если вдруг встречаешь нечто, явно не являющееся дерьмом, и в то же время понимаешь, что тебе это недоступно. Вот это — унижение, а унижения не любит никто. Какой-то несчастный, к примеру я, может долго строить из себя циника, хотя, по сути дела, остается все тем же несчастным. До тех пор, пока не испытает унижения. И вот тогда надо бежать и прятаться, чтобы тебя никто не видел, и рыдать, рыдать, глотая слюны. Ты вдруг снова

видишь юное хрупкое раздавленное существо, на которое взгромоздилась тяжелым задом твоя взрослая личность, и умираешь от тоскливого желания достичь мечты, отчетливо понимая, что это невозможно. И не имеет значения, как быстро ты бегаешь и каким высоким вырос: это чувство тебя сокрушает. Человек может быть очень мужественным или очень ловким, но трудно оставаться твердым, когда глотаешь соплю.

В этот вечер я сидел под деревьями до глубокой ночи, пока не появился риск, что какой-нибудь злоумышленник выпустит мне кишки и заберет кредитные карточки (вернее, наоборот, потому что если он сперва выпустит кишки, то от кого же узнает секретный номер кредитной карточки). Потом я сел в машину и медленно поехал под огнями ночного города. И вот я тут пытаюсь найти облегчение при помощи дурацкой машинки, но машинка делает только то, что ей прикажешь, и в виде светящихся строчек знает выдает мне обратное мое остолебенение.

Должен объяснить, почему я повинуюсь участи, хотя в этом как раз труднее всего признаться. Я опускаю веки и вижу ее: как она двигается, как улыбается, как поводит своими потрясающе синими глазами. И думаю: возможно ли хоть в самом отдаленном будущем добиться ее? Мне бы следовало знать, что нет, или хуже: окажись такое возможным, все незамедлительно превратилось бы в прах, в дерьмо, в ничто. Следовало понять это и сделать выводы. Но коль скоро я пишу, а не валяюсь с разможенной черепушкой на дне двора колодца, значит, я не желаю этого понять. Когда я еще был способен верить, это беспокойство означало, что я жив. Теперь это же самое означало бы оскорбить того, кто повелел мне быть мертвым. Так пусть же кара, когда она меня постигнет, будет не слишком тяжелой».

Закончив это признание в своей вине и даже в преступном помышлении, я оставил удобную и подленькую слежку за Сонсолес и поспешил навстречу своей гибели. А тем, кого удивит смешная чувствительность этих строк, как она удивляет меня самого, скажу, что в ту пору я переживал меланхолию, имевшую чисто химическую основу, и, без сомнения, именно благодаря ей оказался столь уязвимым. После нескольких лет неясности и сомнений я вконец разуверился в психиатрах и в бензодиазепинах. Не знаю, способно ли это служить оправданием, но глядишь, поможет понять суть дела. Несколько дней подряд я вынашивал замыслы мрачной забавы насчет Сонсолес, и вдруг — эта девочка, она оказалась слишком сильным искушением. Возможно, я выродок, допускаю. Но злыхпыхателины готов утверждать, что на моем месте сам Иммануил Кенигсбергско-Калининградский послал бы к чертям собачьим категорический императив и, перестав поучать окружающих, завалился бы на койку предаваться гнусным и сладостным мечтам педофила.

Из всех самых впечатляющих фотографий на свете одна впечатляет особенно вопреки всем идеям и предрассудкам: четыре русских великих княжны, дочери Николая II, которые умерли от пуль большевиков (интересно, от чьих именно) в Екатеринбурге, после Революции. Не имеет значения, кто ты: безбожник или православный, реакционер-коммунист или технократ-либерал, сторонник монархии или же, наоборот, считаешь, что всю голубую кровь следует как можно скорее спустить в канализацию. Эти четыре изумительных лица, четыре гордых девочки ангельской внешности, на веки вечные соединенные своей трагической судьбой, производят неизгладимое впечатление на тот живой клочок, который в каждом сердце еще остается.

Эта фотография стоит у меня на письменном столе (назовем его так) везде, где бы я ни жил последние пять лет с тех пор, как я ее обнаружил. Я столько смотрел на нее, что помню наизусть. Трудно отдать предпочтение какой-то одной. Все четыре красивы неуловимой славянской красотой, получеловеческой-полуживотной. Той самой красотой, какой отличаются лучшие фигуристки и гимнастки (кроме американок, ужасно одинаковых с их искусственными зубами), из-за чего я полюбил их соревнования. И все-таки, если

бы мне пришлось выбирать, если бы, к примеру, кто-то пригрозил мне безжалостно урезать фотографию, я бы умолил, чтобы мне оставили великую княжну Ольгу.

Из всех четырех она выглядит наиболее гордой. Она смотрит в камеру, сознавая свое огромное обаяние, смотрит профессионально. Остальные держат голову прямо, а она, нарочито слабая, ее склонила. В таком раннем возрасте она уже осознает свое полубожественное положение и понимает, что фотограф — лакей, ненамного выше простого мужика. На великой княжне платье, которое обошлось (не ей, разумеется) дороже, чем все имущество этого фотографа. У нее нет никаких оснований его бояться, и она демонстрирует это с детской дерзостью, за которой сквозит раньше времени проступившая повадка роковой женщины.

Я всегда спрашивал себя, что почувствовал этот ребенок, уже девочка, когда увидела первого мужика с винтовкой, ворвавшегося в их покои, чтобы растоптать то тюлевое облачко, в котором они витали до сих пор. Что она почувствовала, когда ей долбануло в темечко, что придется платить своим красивым тельцем за мужицкую кровь, пролитую всеми деспотами ее генеалогического древа. Мне не приходилось читать, хотя наверняка об этом написано, что именно делали с великими княжнами перед тем, как отправить их в могилу, чтобы уже никогда никто не смог зачать в их чреве возможного царя всея Руси. Но, конечно, я пытался вообразить, и картины получались не всегда изысканными. В том возрасте, когда великая княжна Ольга была вычеркнута из продолжательниц царской линии, она, наверное, была уже существом, в высшей степени способным возбуждать нечистые помыслы и поступки, и одинаково сомнительно, что разгоряченному большевику стало противно или что он подавил свое мужское естество. Склонность русских к похоти и насилью над ближним стала столь же расхожим представлением, как и их приверженность к стонам под балалайку. И потому, допуская возможность такой ситуации (имела она место или нет, не так важно), я часто задавался и другим вопросом: какое чувство испытывала великая княжна Ольга, когда первый мужик скинул патронташ и зарычал от наслаждения? Хорошо известно, какие бы чувства испытывала обыкновенная женщина, но неизвестно, что чувствовала великая княжна, привыкшая считать, будто мужик — все равно что собака, а то и хуже, смотря какая собака.

Не скрою: воображая эту жуткую сцену, я, как и любой другой, всегда на стороне великой княжны и против большевика. Начнем с того, что великая княжна наверняка была чище и умела говорить по-французски. Когда ночью идешь по пустынной улице (а жизнь и есть ночная пустынная улица), предпочтительно, чтобы за углом оказалась благоухающая юная девица, знающая по-французски, а не завшивевший мужик. Во-вторых, хотя это утверждение и звучит слишком низко, чтобы люди спокойно с ним согласились, любой мужчина, которому нравится женщина, испытывает чисто физиологическую ненависть к тому, который пользуется благосклонностью этой женщины, постоянно или время от времени.

Однако при всей моей смиренной приверженности великой княжне я, по правде говоря, никогда не мог ощутить себя в ее шкуре, а вот в шкуре большевика — мог. И меня потрясает один совершенно конкретный момент, который довелось пережить большевику. Не когда он увидел ее впервые и не когда раздевал и его взору предстало сокровище богов (негодяй вряд ли ограничился тем, что раздел ее). И даже, может статься, не когда он осквернил ее, низвел до положения любой другой и содрал с нее ее великокняжество. Момент, когда большевик осознает свою щекотливую миссию на земле, наступает после того, как великая княжна уже убита и похоронена и он в первый раз вспоминает ее.

До тех пор он мог загоразживаться бесчувственной толпой. Но в этот момент его поведение приобретает индивидуальный характер. Его воспоминания о великой княжне, отфильтрованные памятью, которая возвращает их ему в

первый раз, принадлежат ему одному. И мученическая смерть отроковицы для него наполнена совсем не тем смыслом, что для всех других. Другие едва ли ощущают что-либо, кроме черного наслаждения мстью, но он, попавший в западную судьбу, испытывает чувство потери. Дело требовало, чтобы девочка была казнена, а он верил в Дело. Сколько мужиков умерло в царствование одного только Николая II? До сих пор простенькие вопросы вроде этого служили ему защитой. А теперь — нет. Как бы ему хотелось, чтобы девочка не исчезала. Ответственность за ее уничтожение ложится на Дело. На Дело и на него.

Как сладок миг, когда большевик отказывается от себя самого и от Революции во имя теперь уже непременно безответной любви к великой княжне. Когда он забывает, что утонченная нежность, воспоминание о которой его сразило, дистиллировалась веками из пота и крови его предков. Верующий не вызывает интереса, интерес вызывает тот, кто меняет веру. Непокосимый патриот, пламенный революционер, целомудренный монах одинаково достойны хвалебной эпитафии и зевка. Благодаря ренегатам мир движется вперед. Я всегда считал, что местность, куда отправятся герои, называется ли она Валгалла или как-то еще, должна быть довольно мрачной: там завывают горны, развеваются штандарты и атлетически сложенные гетеры в награду занимаются с прибывшими тяжелой любовной гимнастикой. И наоборот, подземелье, куда сваливают отщепенцев, должно быть местом, располагающим к фантазии: там наверняка роятся самые непростые дамочки, с которыми вполне можно завести содержательный разговор. Это не означает, полагаю, что надо целый день напролет спариваться, как макаки, довольно скучная награда, однако в многочисленных культурах, пугающе многочисленных, это, сдается, единственное, чем озабочены безмозглые существа, способные убивать друг друга за возвышенную идею.

Как в каждом человеке, во мне, конечно, есть и что-то революционное. Мне, например, не нравится, когда восхваляют геноцид, который цари вдохновляли или которому они попустительствовали во имя усиления империи. Это следует отметить, чтобы правильно понять то, что я сейчас скажу: во всей Русской Революции меня больше всего поразил большевик, который дал слабину и погряз в порочной страсти к дочери тирана. Возможно, такого большевика и не было, и бесспорно, что тот бунт был эпической кульминацией мощного верования. И все равно я настаиваю на сказанном. Верования неизменно проходят один и тот же естественный путь — от мятежа против несправедного верования к новой несправедности, которую необходимо будет разрушить. Страдание же и красота неопровержимы, поскольку не измеряются верованием и не требуют, чтобы верование прислуживало им. Человек ценен не тем, во что он верит, а тем, чего желает и что выстрадал. Какой-нибудь отпетый сукин сын или невинный агнец могут верить во что им вздумается. Избранные же — те, кто познал высокое вдохновение или большую беду. А лучшие из лучших — то и другое.

Я смотрю на давнюю фотографию Ольги с сестрами, которым уготовано принять муки (уж, во всяком случае, моральные) и смерть. Можно ли было подумать тогда, когда все, о чем я здесь написал, представлялось не более чем бодрящим развлечением для воскресных вечеров, что и мне тоже, как тому большевику, доведется дать слабину.

Наутро — а тело знает, что ему надо, как иногда знает это и котелок над ним, в котором все время что-то варится и булькает, — я уже не помнил, как накануне лелеял сомнительные идейки относительно себя и девочки, приведшей меня в такое замешательство. И даже проснулся в необычайно хорошем расположении духа. Когда-то меня беспокоило, что я могу из отчаяния впасть в беззаботность с такой же легкостью, с какой меняют галстук, но с тех пор, как понял: быть циклотомиком — все равно что иметь прививку против дру-

гих более утомительных и неприятных душевных недугов, я с дорогой душой принимаю все перемены своего настроения.

Пока готовил кофе, я решил, что болен, и, позвонив в контору, как можно жалобнее сообщил им об этом. Мне хватило времени придумать, что со мною стряслось, из-за чего я позволил себе подумать, будто могу на день выпустить из рук весло. Я освободился от галстука, но, снимая рубашку, надетую для банка, чтобы поменять ее на рубашку-талисман (у нее на груди неотстирывающееся пятно от мясной подливки, которой в меня брызнула во время одного странного делового ужина темпераментная рыжуха), подумал, что, пожалуй, лучше пойти прилично одетым. Итак, я принял свой обычный вид респектабельного человека в привычном смысле этого слова. Иначе говоря, стал более похож на тех ублюдков, которые, желая дать тебе пинок под зад, платят другому, чтобы он сделал это за них, и менее на тех ублюдков, которые пинают потому, что им заплатили за то, чтобы они это сделали (неублюдки не имеют ярко выраженного вида, и узнаешь их лишь по тому, что время идет, а они все не пинают тебя). Возможно даже, мне стыдно в этом признаться, я брызнул на себя «Пако Рабанном» или «Армани», которыми пользуются козлы после тридцати вроде меня, чтобы перебить запах гниения.

Выходя из дома, я еще не имел четкого плана, но знал, что собираюсь подойти поближе к девочке и сжечь свою судьбу. Я отшел в сторону все, что советовало мне избегать ее, и все, что накануне вечером меня сокрушило. В этот момент я был грязной свиньей безо всякой совести, а девочка — всего лишь обещанием низменных наслаждений. Только таким образом глядя на вещи, можно было добиться результата.

Я подъехал к школе, когда девочки уже вошли в классы. На минуту я позволил себе самые безумные идеи: назваться инспектором Министерства образования и заставить хозяев этого учебного заведения для избранных хорошенько поволноваться; выдать себя за служащего рекламного агентства, который ищет смазливых девочек для рекламы мини-прокладок; войти в темных очках и уговаривать какого-нибудь служащего или служащую, что торговля женщинами может стать жирным приварком к их скудному содержанию. Но, по правде говоря, мне было лень, и я решил, что лучше дожидаться перемены. Школу опоясывала низкая каменная ограда с решеткой, и можно было попытаться увидеть что-нибудь.

Перемена началась в одиннадцать. Девочки выходили группами, по возрасту, и сбивались в стайки вокруг той, у которой был обруч, жвачка или загадочная китайская сигарета с марихуаной. Меня немного удивило, что сеньориты такого изысканного учебного заведения, имеющие все основания (настоящие, а не высосанные из пальца, какими страшат жалких беспризорников) вообще не прикасаться к наркотикам, предавались этому занятию, как завязтые потребительницы гашиша. По случайности — я притаился за оградой самого дальнего угла школьного двора — эта группка в поисках укромного места остановилась метрах в пятнадцати от меня. Когда до меня дошло, что у них было в руках, я просто ошалел, но и мое присутствие уже не было для них секретом. Та, что закурила сигарету с марихуаной, поглядела на меня и продолжала заниматься своим делом как ни в чем не бывало.

Сначала их было пятеро, но вскоре показали еще три, отделились от оставшихся посреди двора и спокойно подошли к этим. Одна из них была моя. Им было лет по четырнадцать — пятнадцать, и в них еще перемешивались женские и девчоночьи черты, но она выделялась из всех. Она была самая высокая, самая привлекательная, единственная без прыщей на лице и самая соблазнительная. Как только она подошла, та, что распорядилась сигаретой, налетела на нее:

— Ну а сегодня, Росана, будешь? Или брезгуешь взять в рот окуроч, который мы сосали?

— Ты, Исаскун, всеядная, — беззлобно засмеялась Росана.

— А меня тошнит от тебя, принцесса говенная.

— Я не брезгую, просто у меня — свои, — ответила Росана, доставая из-за пояса юбки пачку «Мальборо» и розовую зажигалку. Зажгла сигарету и стала курить, скрестив руки на груди, чуть откинувшись назад и покачивая своими полудетскими, еще не сформировавшимися бедрами.

— Много теряешь. Никакого сравнения, — сказала Исаскун. — А может, не куришь травку — боишься, что не будешь первая в классе и эта курица донья Лурдес перестанет говорить, что из тебя выйдет врач или министр.

— Оставь ее, Исаскун, вечно ты к ней цепляешься, — вступилась одна из девочек.

— Я не стану ни тем, ни другим. Но и не скачусь до тебя, чтобы потом не искать через газеты клиентов, лишь бы достать деньги на порошок.

— А ты пробовала кокаин, Исаскун? — спросила на вид самая глупенькая из них.

— Один раз, — похвасталась Исаскун, сверля Росану злобным взглядом. — Двоюродный брат дал попробовать, когда мы с ним занимались этим делом.

— Просто ты описалась в постели, когда тебе это приснилось, — насмешливо сказала Росана, и кто-то из ее компании засмеялся.

— А ты? — опять вступила глупенькая, горя желанием узнать хоть что-то о трясине порока, в которой погрязли другие.

— Так я тебе и сказала.

— Ну конечно, Нуриа, — насмешливо проговорила Исаскун. — Она занималась этим с Кеном, кавалером Барби. Засунула себе туда его голову. Краник-то у него слишком маленький, даже для нее.

На этот раз громовым хохотом разразились те, что пришли с Исаскун. Росана молчала, только выдохнула дым, чуть изогнув нижнюю губу как бы в улыбку. Потом повернулась и ушла вместе с двумя своими спутницами.

Когда девочки удалились, я пошел искать телефонную кабинку. Набрал номер Сонсолес, и мне ответил грубый голос Лусии, служанки:

— Да.

— Добрый день, я — из колледжа Росаны, вы — ее мать?

— Нет.

— А с кем я говорю?

— Я — служанка.

— Ах так. А сеньора дома?

— Да. Одну минутку.

Не прошло и минуты, как в трубке послышался уже знакомый мне голос матери Сонсолес:

— Слушаю.

— Добрый день, сеньора, я из колледжа вашей дочери. Нам бы хотелось, чтобы вы встретились с классной наставницей.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, наоборот. Мы сейчас проводим такие встречи с родителями всех учениц. В рамках программы профессиональной ориентации. Они в том возрасте, когда пора подумать об их будущем. Росана — очень хорошая ученица.

— Ну, конечно, хорошая.

— И очень воспитанная девочка.

— Она никогда не доставляла нам никаких огорчений. — Во второй раз в голосе матери Росаны и Сонсолес прозвучала гордость.

— Когда вам было бы удобно?

— Как скажете.

Но я уже получил нужную информацию (Сонсолес — не мать девочки) и поспешил отделаться от собеседницы, назначив ей встречу на следующий понедельник; разумеется, встреча не состоится, и, полагаю, мамаша порядком разгневется на школу, за которую дон Амандо так дорого платит. Судьба иногда складывается из дурацких неожиданностей.

Девочки вышли из школы в половине первого; Росана и еще несколько учениц сели в автобус. Я поехал следом и доехал за автобусом до дома Сонсо-

лес. Росана вышла из автобуса вместе с другой девочкой, тоже блондинкой, но немного бесцветной. Я слышал, как они договорились встретиться через пятнадцать минут, и припарковался неподалеку.

Через пятнадцать минут девочки появились и направились в сторону парка. В парке они отыскали киоск с мороженым и купили по рожку. Потом поднялись к пруду, обошли его с северной стороны. Сели на скамейку около статуи Рамона-и-Кахаля и доели мороженое. Когда они сидели на скамейке, подруга смотрела на Росану, а Росана — перед собой. Росана была серьезна и что-то говорила; другая молчала, только иногда у нее вырывался смешок. Я находился на противоположной стороне аллеи и за людским говором не мог их слышать. Через несколько минут к ним присоединилась еще одна девочка. Она выходила из школьного автобуса остановкой раньше.

Спустя полчаса та, что пришла с Росаной, показала на часы, что-то сказала, и Росана кивнула. Та, посидев еще немного, встала и ушла. Минут десять Росана курила и о чем-то тихо разговаривала с оставшейся девочкой. Потом они попрощались, и каждая пошла своей дорогой. Росана медленно двинулась по аллее, разглядывая деревья и прохожих. Если бы я был в ее возрасте или если бы все было не так, как оно было, я бы скромненько дошел за ней до ее дома, а потом отправился бы к себе домой писать стихи. Но все было так, как было, мне было тридцать три, стихи уже не писались, и потому я подумал: зачем медлить? Момент был как нельзя более подходящий. Я пошел за ней и, не дойдя трех или четырех метров, окликнул:

— Росана!

Она остановилась и медленно обернулась. Ее лицо не выразило удивления, только осторожность.

— Откуда ты знаешь мое имя?

— Не бойся, — сказал я, поднимая руки вверх.

— Я не боюсь. Ты кто?

— Меня зовут Хавьер, я — друг.

— Чей? — Зрачок в синих глазах стал совсем маленьким, почти исчез.

— Ладно. Я — полицейский. Но только никому не говори.

— Я не сделала ничего плохого, — сказала она убежденно и опять было пошла, но не спеша, как будто заранее знала, что я пойду следом.

Я догнал ее.

— Я знаю. Я хочу поговорить с тобой о твоей подруге Исаскун.

— У меня нет подруги с таким именем. Ты ошибся.

— Не так много Росан, чтобы ошибиться.

— Все равно. Ни одну из моих подруг не зовут Исаскун.

Я улыбнулся и попробовал поймать ее взгляд, но не сумел, взглядом с ней можно было встретиться только тогда, когда она сама этого хотела.

— Нехорошо, ты пытаешься обмануть меня. Я знаю, что она в одном классе с тобой, я видел вас в школе. Сегодня вы были вместе на школьном дворе.

— Это не значит, что мы подруги, — наставительно сказала она и, произнося это, откинула волосы назад правой рукой, той, что была ближе ко мне. То, что девочка не превратилась еще в женщину, лучше всего видно по рукам: они обычно скованы в движениях, а ногти обгрызены. Ногти у Росаны были короткие, хотя она их и не грызла, но руки чувствовали себя уверенно. Ее пальцы двигались и сгибались как у взрослой, обнаруживая мудрость, до которой многие женщины вообще никогда не доходят, а именно, что каждый палец имеет свое особое назначение.

— Росана, ты — хорошая девочка, — сказал я, — и знаешь, что Исаскун влипла в историю. Разве тебе не хочется ей помочь?

— Помочь Исаскун? Если ты запрядешь ее за решетку, я буду только рада. Она — полная дура, того заслуживает.

— Мы не собираемся сажать в тюрьму девочек. За девочками мы не охотимся.

— А я что могу?

— Сказать мне, кто дает ей наркотики. Только и всего.

— Борха. Он дает.

— Какой Борха?

— Не знаю. Он из соседнего колледжа. Монастырского.

Чтобы удобнее было доносить, Росана сошла с дорожки на обочину аллеи и остановилась около дерева. Я встал перед ней.

— Ты действительно не знаешь его фамилии? Может, в этом колледже пятьсот парней по имени Борха.

Росана подняла глаза и посмотрела на меня. Потом сказала:

— Этого Борху ни с кем не спутаешь, он уже три или четыре года сидит в восьмом, его все никак не выгонят. А может, уже выгнали, хотя его папаша и президент выпускников этого колледжа.

— А что-нибудь еще о нем знаешь?

— Да. Он вокруг меня увивается, — похвасталась она, накручивая на указательный палец длинную прядь, — но я его в упор не вижу, вот он и связался с Исаскун. Исаскун не брезгливая.

— Это — все, что ты знаешь?

— Это — все, что я знаю, поли, — выплюнула она.

— Ну, ты же видела фильмы...

— Видела. И тебя тоже видела на школьном заборе. Я думала, ты из этих, что ходят смотреть, как на переменках девочки прыгают через веревочку, — надеются трусики увидеть.

— Ясно. Наверное, немало таких типов.

— Хватает. Вот только у них нет таких галстуков, как у тебя. Я тебя сразу приметила, из-за галстука. Не думала, что поли много зарабатывают.

— Я подрабатываю сверхурочно. Тебе нравится в парке?

Росана нахмурила брови:

— Какое отношение это имеет к дознанию?

— Никакого. Дознание закончено. Теперь я хочу, чтобы ты рассказала о себе. Ты мне понравилась.

Росана отошла от дерева.

— Ты мне тоже вроде бы не противен. Но вот уже пять минут, как дома у Лусии готов обед. И мама сердится, когда я опаздываю. Говорит, если я буду опаздывать, Лусиа тоже будет относиться ко всему спустя рукава. А знаешь, как трудно теперь найти толковую прислугу? — заключила она с ехидством.

— Ну, разумеется, ты права. Не стану тебя задерживать. Большое спасибо за все.

— Не за что. Я довольна, что Борху арестуют.

— Только никому не рассказывай. Ни матери, ни лучшей подруге.

— Матери-то вообще ничего нельзя рассказывать. Несчастливая женщина.

Прощай.

— До свиданья, — простился я потрясенный.

Росана шла прочь по аллее, и в толпе ее изумительные белокурые волосы развевались на ветру. Вдруг она чуть подалась в сторону и, словно обходя кого-то, полуобернулась, желая убедиться, что я смотрю ей вслед. Даже на таком расстоянии я заметил: ей приятно. Было десять минут третьего, и в костюме становилось слишком жарко, но здесь, в тени деревьев, было вполне терпимо. Я походил еще среди гуляющих — стариков, детишек и красивых фигуристок на роликовых коньках, в обтягивающих ляжки блестящих цветных рейтузах. Лето имеет свое неудобство: можно так размечтаться и потерять бдительность, что покажется, будто на свете нет некрасивых женщин. Гуляя, я вспомнил Льюиса Кэрролла и Ж.-М. Барри, вероятно, самых блистательных апостолов гетеросексуальной педерастии (некоторые утверждают, что Барри был всеяден, но меня больше убеждает то отвращение, какое испытывает Питер Пен, когда обнаруживает, что Венди стала матерью: сравните с полным безразличием, проявляемым в отношении мужчин). Вспомнился мне и Оскар

Уайльд, другой великолепный апостол гомосексуализма. Следовало бы придумать над тем, что некоторые лучшие представители общества имеют пристрастия, которые общество полагает омерзительными. Греки, от которых европейский человек получил славное наследие — сомнение, отличающее нас от народов отсталых и диких (североамериканцев, японцев и проч.), почти поголовно были содомитами и растлителями малолетних. Разумеется, проще всего сжечь на костре всех, кто осмеливается на поступки, причиняющие беспокойство согражданам. Возможно, именно так и должны вести себя все стремящиеся к порядку правители. Но что предпочтительнее для безответственного подданного?

Давно, когда мне еще нравилось смотреть на мир, я взял летний отпуск и рванул в Париж. Там есть кладбище, которое называется Пер-Лашез, и на этом кладбище похоронен Оскар Уайльд. Надгробие, воздвигнутое какой-то его поклонницей, невыносимо пошлое, но сзади у него имеется ступенька, на которой попадают довольно любопытные предметы. Это сувениры, оставленные посетителями: камешки, сухие цветы, билеты метро, пряди волос, письма. Среди этих писем я нашел одно, которое началось так: «Дорогой Оскар, с тех пор как ты ушел, мало что изменилось в Англии...» Далее следовала трогательная тайная исповедь голубого, впечатляющая филигрань самых изысканных чувств. Когда я прочитал это, мне пришла в голову интересная мысль: какой говна кусок взволновало бы письмо, оставленное совершенно правильным человеком на могиле, скажем, почетного члена того трибунала, который осудил Оскара?

Тот день — я понял это только, когда после обеда вернулся к школьным воротам и оттуда никто не вышел, — был пятницей. В обычных школах в июне не бывает занятий после обеда, но в тех, за которые платят богатенькие родители (куда они сплавляют своих отпрысков, чтобы держать подальше от влияния вульгарной прислуги, пока сами проворачивают свои дела), в этих колледжах укороченный день на протяжении всего учебного года бывает только в пятницу. Может, потому, что теперь все больше входит в обычай для водителя-горожанина начинать свою еженедельную передышку в пятницу после обеда.

Пятницы всегда выбивают меня из колеи. Иногда я даже на ночь убегаю туда, где встречаются разведенные, изголодавшиеся по ласке люди. Женщины там, знакомясь, сразу же дают тебе телефон, а в сумочке у них всегда с собою презервативы. Обычно это довольно скучно и малопривно, но случилось мне познакомиться там и с людьми очень тонкими, которые просто-напросто потерялись от неожиданно свалившейся на них беды. Общество не проявляет особой жалости к тем, кто имеет несчастье сойти с круга. Особенно если ему уже за сорок и он не умеет щурить глаза, как Роберт Митчем, а у нее зад чуть-чуть не такой поджатый, как у Джейн Фонды.

Когда же я настроен менее глубокомысленно, то, случается, закатываюсь в какой-нибудь храм, где грохочет эта помойка, заменяющая тамтамы нашим недорослям, которые оглушают себя таблетками, а потом выскакивают на шоссе и сбивают своим мотоциклом какого-нибудь отца семейства, возвращающегося с ночной смены. Там я быстро напиваюсь и некоторое время смотрю, как танцуют акселератки: широко известен закон физики, в силу которого плотность серого вещества головного мозга обратно пропорциональна длине ног и упругости грудей.

Поражает, как много людей отрастило себе длинные ноги в стране, испокон веку считавшейся страной коротконожек. Не менее поражает количество блондинок и лицензиатов в области предпринимательских наук. Должно быть, что-то нам подмешали в еду, и пошла волна генетических мутаций. Потому что раньше мы такими не были. Одна из семейных реликвий, которую я храню, — фотография: горстка солдат и младших офицерских чинов сняты вместе с четырьмя мулами во время африканской кампании, по-видимому, в

1924 году. Один из них — мой дед, которому выпало находиться там на военной службе, или, другими словами, на войне, шедшей в то время, поскольку никто тогда не мог избежать военной службы, сославшись на убеждения и свободу совести (совесть не является предметом первой необходимости, но лишь прихотью сытого желудка). Если бы те почерневшие под солнцем, оборванные люди увидели своих правнуков, беснующихся в танце под лазерными прожекторами, они бы решили, что настал конец света. И наоборот: не раз бывало, что какая-нибудь «жвачка», оказавшаяся в моей квартире только ради того единственного, на что они годятся, останавливалась перед фотографией и спрашивала, зачем я повесил у себя карточку с этими жуткими турками.

Итак, была та самая пятница, когда я первый раз говорил с Росаной, и к вечеру того же дня я стоял перед воротами пустой школы и рассматривал несколько малопривлекательных вариантов, чем занять оставшиеся часы. А поскольку до ночи было еще далеко, я решил поехать к дому Лопес-Диасов и пару часов посидеть там в машине. Глядишь, и выйдет Росана. А может выйти и Сонсолес и застучат меня, уставшего от ожидания.

Думаю, я проторчал у их дома часа два с половиной. Когда открылась дверь и появилась Росана, свет уже не был таким ослепительным, как днем, а я начинал очумевать. Она сменила школьную форму на джинсы, смело подчеркивавшие фигуру, и облегающий жилетик, не закрывавший живота. Как и утром, она не спеша пошла по улице в сторону Ретиро. Когда она скрылась из виду, я засомневался, стоит ли мне идти за нею. Может, хватит на сегодня. Но не смог удержаться и пошел следом. Если бы поступило такое предложение, я бы продал душу за хорошую фотографию ее обнаженных плеч.

Росана поднялась к пруду. Побродила меж музыкантов и прочей публики, что-то продававшей, раскидывавшей карты, дергавшей за ниточки марионеток. Потом минут десять постояла, облокотясь на перила и глядя на лодки. Парень ее возраста попытался заговорить с ней, она слушала, не отвечая ни слова, пока он не отказался от своего намерения и не ушел. Тогда и она отошла от перил, огораживающих пруд, и направилась вниз по аллее к маленькой площади Падшего Ангела, на которого даже не взглянула. Дошла до розария, выбрала скамейку, спокойно села и стала смотреть на закат.

Пока я наблюдал за нею, мною овладели два сильных чувства. Во-первых, нездоровая зависть к этому счастливому существу, которое может позволить себе созерцать закаты, а не растрачивать впустую время в обмен на засаленную пачку купюр. До чего же прав был этот бездельник Жозеф де Местр, утверждая, что лишь у тех, кто имеет ренту и свободен от убогого труда, есть время для духовных забот и возможность взвешенно судить о делах республики. Мы же, все остальные, — злобное дерьмо, лучшие представители которого способны стать опасными преступниками (примеры, когда ничтожества дорывались до власти: Наполеон, Дуррути, Гиммлер).

Вторым чувством, испытанным мною в тот вечер, я, сколь это ни парадоксально, отчасти обязан Достоевскому. Я — один из немногих живых, кто может сказать, что прочитал от корки до корки «Братьев Карамазовых», а огромное самопожертвование это совершил с единственной целью: иметь право с полным знанием дела заявить, что старик Федор Михайлович — зануда, от которого надо держаться подальше. Но Достоевский еще и автор скромной истории под названием «Белые ночи», которая мне не просто понравилась, но подействовала необычайно. В этой повести есть женщина, которая гуляет в одиночестве, и герой влюбляется в нее без памяти. С тех пор, как я прочитал эту повесть, а прочитал я ее, когда был еще очень впечатлительным, женщины, гуляющие в одиночестве, сражают меня наповал. Росана, сидевшая на скамейке и глядевшая, как закат очерчивает границы угасающего дня, разбудила во мне совершенно не поддающееся рассудку чувство очарования. Будь я генералом или министром и владей государственными секретами, все эти секреты до последнего можно было бы у меня выведать, подсунув шпионку, которая уме- ла бы сидеть на скамейке в парке и думать. Ей даже не обязательно быть кра-

сивой, просто не уродиной. Я кому-то рассказал это, и меня заподозрили во влюбчивости. Огромное заблуждение. Дело в том, что почти невозможно сегодня встретить женщину (или мужчину), которые бы просто о чем-то думали. Ни на парковой скамейке, ни под дулом пистолета.

Росана не спешила. Дождалась, когда небо стало фиолетовым, и я подумал: как ее семья позволяет ей так рисковать — гулять в Ретиро чуть ли не до ночи. Правда, в парке было еще много народу, но розарий уже почти опустел. Когда она поднялась со скамейки и пошла, я прикинул и, прежде чем она вышла из розария, отбежал к аллее, по которой она неминуемо должна была пройти, направляясь к дому. Выбрал скамейку и сел.

Я смотрел, как она приближалась не спеша, о чем-то думая. Я рассчитывал, что она меня заметит, но, когда она чуть было не прошла мимо, мне пришлось кликнуть ее:

— Росана.

Она остановилась и обернулась. Не сразу узнала.

— Что ты тут делаешь?

— Я тут каждый вечер гуляю, — ответил я. — А ты что делаешь?

— Ничего.

— Может, присядешь? — предложил я безо всяких. — Здесь хорошо.

— Моя мать говорит, что не следует слушать незнакомых. Я думаю, это относится и к безработным, которые продают носовые платки у светофоров, и к полицейским, которые носят красивые галстуки.

— А ты всегда слушаешь мать?

Росана подошла поближе, всего на несколько шагов, но вполне достаточно, чтобы меня охватило невыносимое желание накинуться на нее и искушать ей плечи. И словно того было мало, — а было вполне достаточно, чтобы превратиться в пускающее слюни животное, — я понял, что на ней нет лифчика. У нее были две прелестные штучки, легкие, как птицы.

— Нет, — сказала она.

— Ну так?

Росана отвела глаза.

— Тебя правда зовут Хавьер?

— Да.

— Мне нравится это имя. И ты правда полицейский?

— Да.

Девочка снова посмотрела на меня. Ее зрачки блестели.

— Ты уже арестовал Борху? — спросила она.

— Нет еще. Сначала надо проверить.

— Я думала, ты мне соврешь. Борха звонил мне сегодня. Сидит себе преспокойненько дома.

— Ты очень сообразительная девочка. Но если будешь и дальше стоять, то вырастешь еще больше и уже не будешь девочкой, а может, не будешь и сообразительной.

Она отступила на шаг. Небо темнело.

— Очень поздно. Я не могу задерживаться.

— У Лусии готов ужин.

— Запоминаешь имена.

— Такая работа.

— У Лусии сегодня свободный вечер. Сегодня ужин готовит мать.

Я откинулся назад и попытался устоять перед ее чарами. Никогда не надо начинать того, чему потом не можешь положить конец.

— В таком случае ты должна идти. Мне бы не хотелось, чтобы у тебя по моей вине были неприятности с матерью.

— Ты подумаешь, что я сбежала, — проговорила она нараспев, и я не понял, шутит она или говорит серьезно.

— Нет. Вот что я сделаю. Завтра в одиннадцать я сяду на эту скамейку. Если ты придешь сюда до четверти двенадцатого, мы с тобой будем разговари-

вать и тебе никуда не надо будет спешить. А если не придешь, я пойму, уйду, и мы никогда больше не будем разговаривать. Как тебе это?

Росана засмеялась:

— Не обещаю. По субботам я встаю поздно. Если бы ты досидел до двенадцати, тогда — может быть, но тоже не обещаю.

— До четверти двенадцатого, ни минутой больше. Если в четверть двенадцатого ты не придешь, значит, тебя это не интересует. Спокойной ночи, приятных сновидений с ангелочками.

— Мне ангелочки не снятся. У меня уже три года как менструации.

— Ух ты.

— И я знаю, чего тебе надо, а то, может, думаешь, я не догадываюсь, — похвалилась она.

— Думаю, что не догадываешься. И если придешь завтра позже четверти двенадцатого, то никогда не догадаешься.

— Да я уже догадалась. Ходишь смотришь на девочек, как они прыгают через веревочку на переманке, подглядываешь трусики. И нечего выдумывать, будто полицейский.

— Я не выдумывал. Можешь думать что хочешь, Росана. Ты слишком красивая, чтобы потом раскаиваться.

— Прощай.

— До свиданья.

Она ушла, ночь опустилась на парк, а я все сидел на скамейке и все вспоминал ее плечи и терялся в мечтаниях, в которых и признаться-то нельзя.

В ту пятницу дома я не разгадывал обычных кроссвордов, а взялся за бутылку «Блэк Баша», купленную раньше в каком-то аэропорту. Организм принял только половину, другую я торжественно опрокинул в унитаз под звуки компакт-диска, ревавшего во всю мочу, дабы наконец-то определились мои отношения с соседями под строгие аккорды роскошной музыки, которой мир обязан Эллисону Мойету, нашедшему для нее самое что ни на есть удачное название: *Winter Kills*.

Нынче, оглушенные средствами массовой информации, которые то проедают плешь, чтобы срочно бежали смотреть киношку про пошлого и напыщенного Бетховена, то возводят в ранг святого помершего от передозировки англосаксонского подонка, который и гитару-то в руках держать не умел, люди не отваживаются сказать, что они думают о музыке. Опасно высказать мысль, что Мик Джаггер, по сути, делает то же самое, что делал Малер, но ежу понятно: ничего нельзя сказать ни против одного, ни против другого, и потому большинство начинает сомневаться в собственном вкусе и предпочитает сидеть помалкивать или повторять то, что говорят по телику и в газетах.

Признаюсь, я тоже, как всякий другой, испытал на своей шкуре это давление, и когда однажды попытался взбунтоваться, мой собеседник вывалил на меня тонну готовых болванок, так что у меня не осталось почти никаких доводов. Говорю почти, потому что один всегда остается, и тут я могу его привести: единственная стоящая музыка — та, которая меня волнует, а вот почему она меня волнует, хрен ее знает; волнует, и все.

В ту пору, когда я еще не понимал, что к чему, музыки, волновавшей меня, было слишком много; отчасти я не очень понимал, что такое музыка, а отчасти не понимал, что такое волноваться. Когда-то я считал, что меня волнует Гайдн, но то была ошибка. По зрелом размышлении я понял: по жизни надо идти налегке, и оставил в багаже только самое необходимое. В список, к которому я свел всю историю музыки и который с лихвою удовлетворяет все мои потребности, входит следующее: *Upstairs at Eric's* группы «Язоу»; *The Number of the Beast* группы «Айрон Мейден»; и Шуберт.

Список короткий, но это не значит, что я не слушаю других вещей. Если помните, эта злополучная история началась с передряги, приключившейся из-

за Джюдаса Приста. Просто помимо того, что я перечислил, все остальное я слушаю, но *не слышу*.

Но Шуберт! Как ему удалось не написать ничего лишнего? Может, фокус заключается в том, чтобы жить в нищете, одиноко, как пес, и умереть в тридцать лет. Противоположный пример — Бах: прожил длинную жизнь, обзавелся кучей детишек и двойным подбородком (взгляните на этот бурдюк). Что же касается достоинств самой музыки, я говорю сейчас о Шуберте, пусть другие приводят доводы достаточно убедительные, чтобы какому-нибудь говенному умнику не удалось заткнуть им пасть. Здесь речь не об этом. Я оставляю Шуберта и противопоставляю его всему остальному потому, что первый и последний раз, когда я влюбился, как я считаю, в высоком смысле этого слова, фоном звучало его Трио, опус 100. И еще потому, что первый раз, когда я хотел броситься с виадука более-менее по-настоящему (в ту пору я был еще идиотом и не клал в штаны при мысли о смерти, как сейчас), со мной был кассетник с записью его *Winterreise* и я стоял и слушал до конца, пока не забыл, из-за чего собирался покончить с собой. Но, видно, главное, за что я люблю Шуберта: даже сейчас, когда начинает звучать первая часть его Пятой симфонии, у меня появляется удивительно четкое ощущение, что я все-таки был когда-то по-настоящему счастлив.

Причины, по которым я выбрал *The Number of the Beast*, не столь ностальгичны. Ограничиваясь этим названием, я признаю, что в двух первых вещах «Айрон Мейден» (*Iron Maiden* и *Killers*) уже содержится все то, что могло бы увенчать их успехом и в самом начале. На мой взгляд, все, что они сделали после этого как музыканты, они вполне могли бы не делать (я, конечно, понимаю, что им надо кормить семьи). Все подготавливает последнюю вещь диска *Hallowed Be Thy Name*, плач приговоренного к смерти. Несомненно, никакая другая вещь не может сравниться с этой, последней, по совершенству: здесь всего за несколько минут *heavy metal* достигает — и такого не будет уже никогда и нигде — абсолютного господства в самом своем высоком таинстве. Но я лично всегда питал слабость к *22 Acacia Avenue* (*The Continuing story of Charlotte the Harlot*), самой лучшей романтической истории, которая когда-либо была рассказана на фоне ударных и бесконечного баса. Как-то раз я даже пошел на мадридский проспект Акаций, думая о Шарлотте, которую всегда можно пойти и увидеть, если верить «Айрон Мейден», надо только сесть и погрузиться в мысли, совсем одному, а это как раз наиболее распространенное и наименее нестабильное состояние современного человека.

И, наконец, остается «Язоу». Насколько мне известно, за то короткое время, что Уинс Кларк и Эллисон Мойет могли вынести друг друга, они родили два долгоиграющих диска под этим именем. Второй — продолжительная агония с целью наварить немного денег, и никому от нее ни холодно ни жарко. Первый же, *Upstairs at Eric's*, поистине огромная вещь. На протяжении многих лет я слушал ее ежедневно, пока в каждой вещи диска не остался значительный кусок моей души.

Душа — это сумма всего, что человек пережил до того, как превратился в разувверившегося во всем негодяя. Так, в *Don't Go*, первой песне, — эйфория наивных отроческих выпивок, во время которых я всегда становился оптимистом и чувствовал себя сильным. В *Tow Peaces* — весенние ночи, когда я созерцал освещенные луной облака (хотя потом такого больше не случалось — может, не повезло, а может, терпения не хватило, но, клянусь, однажды ночью я видел кого-то там, наверху). В *Bad Connection* заключены все мои неизбежные расставания. В *Midnight* — в бархатном надломленном голосе Эллисона — спокойствие чувственных летних ночей, когда они были и когда были чувственными. *In my Room* вызывает в моей памяти долгие часы, которые я провел в одиночестве у себя в комнате, где познал почти все, что знаю о себе подобных. На долю *Only You* выпало завершить то, что начиналось когда-то с Трио Шуберта. А слушая *Tuesday*, я в первый раз ощутил предчувствие краха,

каким заканчивается вообще все в жизни. Но я не испугался, потому что *Winter Kills* увлек меня в спокойный мрак поражения.

Тексты Кларка довольно бессвязны, а Мойета — порою герметичны. Но в данном случае, я думаю, они помогут понять, почему после того, как днем, в пятницу, я обменялся первыми словами с Росаной, ночью я слушал именно *Winter Kills*:

Ты дала ослепить себя солнцу,
А потом упрекала
За то, что напомнил,
Как убивает зима.

Когда я первый раз услышал эти слова, мне, как Росане, было пятнадцать лет. Тогда мне тоже принадлежали парки и долгие закатные часы. Я не мечтаю о прощении, но надеюсь: кто-нибудь сможет понять, почему я позволил солнцу ослепить себя, забыв, что зима убьет все, что я, как мне кажется, полюбил. Но если вдуматься, не так уж плохо, что все, что любишь, исчезает. Жил когда-то в Лиссабоне один изысканного таланта перевертыш; он играл — менял имена и однажды написал коротко и емко, быть может, на оборотной стороне какого-нибудь стихотворения-перевертыша: ты обладаешь лишь тем, что уже потерял.

Перевела с испанского Л. Сиянская.

(Окончание следует.)



ИЗ НАСЛЕДИЯ

В. В. РОЗАНОВ



АПОКАЛИПТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Розанов рано начал готовиться к старости: еще в начале века пытался создать хоть какое-то материальное благополучие — для больной жены, для детей, незаконно прижитых с нею (незаконный брак) и записанных на имена восприемников — Николаевых, Викторových, — и не думал о том, что именно в старости придется переживать войну и две революции. Впрочем, последнюю революцию он и не смог пережить, потеряв всякие упования на жизнь и историю и умер, истощенный «от голода и холода». Уже 20 апреля (старого стиля) 1916 года Василий Васильевич, отмечая свое шестидесятилетие (конечно, только в домашнем кругу, нигде в печати нет известий), сделал несколько своих фотопортретов, а также и двойных фотопортретов — с каждым ребенком. Это было подведение определенной черты под прожитой жизнью — и «детям на память».

Но менее чем через год в России наступил «апокалипсис» — революция 1917 года. Это событие Розанов и «воспредчувствовал». Уже после тяжелого похмелья первой русской революции у Розанова появляется тревога за «исторический строй» России. Он стал бороться против революции, бороться против легкомысленности общества, кокетничавшего с революцией, бороться с государственными ведомствами, провоцировавшими революцию. Розанов стал реакционером: выступал против всего «передового», стал правым, патриотом, обособился от литераторов, интеллигенции. Однако и для него наступившая революция была неожиданностью. «Поразительно, как „легко все случилось“: забрали этих старцев в мешок и свезли всех в одну кутузку, какой-то „министерский павильон в Таврическом дворце” — „прежнего нет” и „все новое”. Так легко совершаются „апокалипсические времена”» (Архив священника Павла Флоренского). Так писал Розанов сразу же после начала «февральской революции» — 3 марта 1917 года — своему другу Павлу Флоренскому в тихий Сергиев Посад из «центра событий».

Дальше события розановской биографии развивались стремительно: в конце августа 1917 года Розанов с семьей переезжает в Сергиев Посад под Москвой и поселяется в доме № 1 по Полевой улице в живописнейшем уголке — Красюковке, что находится напротив Свято-Троицкой Сергиевой лавры, за железной дорогой. В этом деревянном доме, построенном перед войной ректором местной духовной семинарии священником о. Афанасием Беляевым, никто еще не жил, и Розанов был первым его насельником. Дом был большим и тяжелым. Он стоял на кирпичном полуэтаже, крайним на Полевой улице. Однако веселые березы и живописный прудик среди них скрадывали его мрачный вид. Подыскать ему этот дом отец Павел Флоренский. Через месяц, в октябре, ударили ранние морозы, и Розанов, не подготовившийся к зиме закупкою дров, без средств к существованию, буквально взвыл от наступающей угрозы голодной и холодной смерти семьи. Уже в эти первые дни он предвидел свою скорую гибель.

Однако около стен русской крепости (духовной) — Свято-Троицкой Сергиевой лавры — он стал, в дни лихолетья, строить и осуществлять гражданские и литературные планы: издавать журнал «Троицкие березки» в жанре, подобном «Дневнику писателя» Достоевского. Эти планы вынашивались в течение первых двух осенних месяцев по приезде и стали приобретать конкретные очертания. В

архиве писателя мы находим эскизы титулов периодического журнала, обращения к читателям, заголовки первых, уже написанных или предполагаемых к написанию, очерков: «Кроткая», «Что-то такое случилось», «Мировая зима», «О нашей литературе» и др. «Я решил делать выпуски ПО ЧЕТВЕРГАМ и ВОСКРЕСЕНЬ-ЯМ на любимые свои темы. Пусть „Березки” так же понравятся, как „Уединенное” и „Опавшие листья”... Ах, эти березки хороши...» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 233, л. 15), — обращался писатель к новым читателям. Это должен был быть авторский единомерный журнальчик небольшого формата.

Времена были грозные... Розанов это вполне осознавал, но он не мог прервать «опавшие листья», которые, надо сказать, не прекращали «падать с души» у него ни на один день после того, как были изданы и «Уединенное», и «Опавшие листья» («Уединенное» составлено из записей — «опавших листьев» — 1909 — 1911 годов, собственно «Опавшие листья» — из записей 1912 года). Такие же «листья» собирались им и в последующие годы («Сахарна», «Мимолетное»). «Троицкие березки», по замыслу Розанова, должны были продолжить традиционное настроение прежних «опавших листьев», которые всегда были начинены полемикой и борьбой. Однако замысел внезапно приобрел совершенно другой тон и новую тему: появился «Апокалипсис нашего времени».

«Апокалипсичность» событий Розанов осознал сразу же после февральского переворота. Об этом он писал не только Флоренскому, об этом он писал 9 марта 1917 года и Н. П. Лихачеву: «Апокалипсис, начавшийся с 19 июля 1914 г., вдруг переменял все цвета, сделавшись из оранжево-красного — черным» (частное собрание). Термин «апокалипсис» прочно входит в лексикон Розанова военного и революционного времени.

Настроение Розанова в первые две недели февральской революции было совершенно подавленным. Главным фактором «апокалипсического настроения» «традиционалиста» Розанова был крах исторической России. «Как же она „прекратилась”? Даже и событий никаких не было. „Стало трудно доставать булок в Петрограде”: больше решительно ничего не было. Преспокойно народ умирал с голода в Казанской губернии в 1892 году. И как это было далеко, то никто этим не беспокоился. Вдруг петербуржцы остались без булочек: и русской истории „быть поставлена точка”. Оказалось, никаких „властей” и нет. Как не нашлось „власти”, чтобы устроить подвоз муки в столицу, не нашлось „власти”, чтобы справиться с внутренним „немцем”, так не нашлось же власти, чтобы хотя забархатать ногами, когда их свозили в кутузку. „Революция совершилась”, п<отому> ч<то> и до революции был какой-то мираж, призрак якобы „властительства” без всякого властительства на деле. Всю ночь сегодня думал о русской истории. И везде — слабость, слабость, слабость. <...> „Где Россия”. „Ах, где христианство”. Было 2 форменно апокалипсические сна...» (письмо к Флоренскому от 3 марта 1917 года).

Вторая тема «апокалипсических» мыслей-чувств Розанова — христианство. С конца века он повел полемику (внешнюю) с церковью о главных вопросах бытия (с вопрошаниями — внутри): о семье, о мире, о судьбе твари Божией в мире. «В недавнем совершившемся перевороте посыпались звезды с неба, — и само небо свилось, будто свиток ветхой хартии, — все точь-в-точь как по Апокалипсису, — то я невольно подумал, что одною из подспудных причин и переворота было это преображение духовенством Христа из тонкого в толстого и из неимущего в богатого и везде председательствующего. Люди не захотели молиться председателю, и пошло все далее, как пошло» (Розанов В. В. Поганая власть или добрый совет? — В кн.: Розанов В. В. Черный огонь. Paris, 1991, стр. 106 — 107). Историческое христианство не оправдалось.

Третий фактор розановского «апокалипсиса» — его исторический пессимизм, остро почувствованный им с началом войны и в революцию обострившийся до трагического переживания.

Вот эти три фактора слились в душе Розанова, приобрели космологический характер и воплотились в духе «Апокалипсиса нашего времени». Если учесть изве-

стный субъективизм, глубочайшую интимность Розанова к миру, то указанные темы представляли не предмет литературы или гражданственности, но именно трагедии, как она может развиваться только на уровне личности. Здесь пропадают вопросы: прав он или не прав? верно ли он оценивает или неверно? Трагедия вошла в душу человека. И, как известно, эту трагедию Розанов не пережил. Ввернутыми в эту трагедию оказались и его самые близжайшие — вся семья. Восемнадцатилетний сын скоропостижно скончался от «испанки» за два месяца до кончины отца, двадцатитрехлетняя дочь наложила на себя руки через шесть месяцев после смерти Розанова, а жена пережила мужа лишь на два года. Драма фатально закружилась в мрачном доме на Полевой улице и увлекла в воронку всех вслед за главным ее героем. Уже тогда, когда Розанов сказал, что «история не туда пошла», что начинать ее надо «сначала, с Кия, Трувора, с семьи Розанова», его пессимизм начинал приобретать такой необратимый характер, что он не мог миновать трагедии¹. События в России только спровоцировали ее. Но был ли какой-нибудь выход из этой безысходной ситуации? Да, был. Это — вечный Израиль.

«Я решил еще раз пересмотреть двутысячелетнюю тяжбу между юдаизмом и европейским „Мессией“, европейским, отнюдь не еврейским. Европейцы его приняли, евреи его отвергли. Между тем самая идея „Мессии“, — обещанного некогда „прийти и спасти род человеческий“, — есть идея еврейская, а не европейская, — и без сближения с евреями и их религиозною письменностью — никогда бы не могущая даже прийти на ум самим европейцам. В тайне вещей, в судьбах истории, это есть ожидание их заветного „гетто“. И вот что мне пришлось узнать. В еврейских „гетто“ шепчутся, будто „Мешеах“ (Мессия) придет, когда планета состарится, когда настанет для нее родовое истощение, обветшают силы человеческие до „неспособности производить далее“. „Придет“ Мешеах, — когда вообще исчезнут зародыши человеческие, сморщатся, затянутся; не станет более семени; последнее зернышко в организме пропадет. Тогда „пришедший Мешеах“ обновит, освежит, восстановит утробу человеческую; как бы соделается вторым Творцом человека, — в глубокой гармонии с Первым Творцом неба и земли. Это до того сообразуется со всем Ветхим Заветом, с тем вместе это так просто и естественно, так действительно, и нужно этого ожидать: ибо что же в мире стареет?! — что разительно, каким образом этого никому не пришло на ум? Каким образом не пришло на ум библейским толкователям, что вот в чем „заключается живая причина“ необходимого, неизбежного „избавителя мира“. Так это и сказано, и „обещано“ уже при изгнании и первом „грехе человека“. Тогда все становится ясно: Ветхий Завет прямо переходит в Апокалипсис, как таковое „воссоздание“ сил человека, с усилением еще, с обилем большим, чем даже было в Ветхом Завете: но совершенно вытесняется Евангелие, сморщивается, его не нужно более, — оно совершенно не нужно, — как морализирующая книжка, лишняя какого-либо космогонического значения, творческого, созидательного, зиждущего, „спасительного“. Именно „спасения“-то в нем и нет» (Розанов В. В. Обращение к евреям. 3 октября 1918 года. — РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 233, л. 31).

Розанов всегда использовал контрастные характеристики: мир и аскетический идеал — тема, которая заняла почти полностью заседания Религиозно-философских собраний; сравнительные характеристики православия и католицизма в его путевых очерках по Италии и проч. Подобный контраст наблюдается и здесь: «Израильская история — действительно, а христианская — мнимость. Одни библиотеки, кашель и анисовые капли. А реальное ее обошло стороной, т. е. „история народа Божия“, сохранившего от Синая „ноумен“, и — реализуется, а

¹ Остальные дети: Татьяна прожила жизнь в лишениях, почти скрывая от «общественности», что она — дочь «известного» Розанова, умерла в одиночестве в 1975 году. Варвара закончила жизнь в лагерной больнице в Рыбинске от дистрофии в 1941 году. Надежда умерла в 1956 году. Но вот ирония судьбы: никто из его семьи так и не имел продолжения. Родовую линию Розанова ведут потомки его старшего брата Николая. Но многие из них сразу же ушли в революцию, не разделяя взглядов своего родного дяди.

наша — тень и небытие. В сущности — реализуется Египет, все греческое и римское, общее — все языческое. А начиная с Константина мы произносим одни слова и занимаемся миропомазанием. Т. е.? Да, Иерусалим „цел“, хотя и „в развалинах“, а Европа, хотя и кажется — цела, но есть на самом деле — мнимость, пар и невесомость» (там же, л. 131).

Десять выпусков «Апокалипсиса нашего времени» были изданы в Сергеевом Посаде в течение года (с ноября 1917 по ноябрь 1918 года), но в архиве остались неизданные страницы «Апокалипсиса», малую толику которых мы здесь и печатаем. В неизданных выпусках (которых, по Розанову, от шестидесяти до ста) катастрофа культуры, катастрофа истории, катастрофа религиозного сознания выступает особенно остро. Думается, что нападки друзей, не разделявших розановскую акцию, с одной стороны, близость Свято-Троицкой Сергиевой лавры — с другой, заставляли Розанова отодвинуть некоторые острые страницы в сторону и уступить место менее спорным. Розанов выступает именно как религиозный человек, переживающий глубочайший внутренний кризис и партийными интересами менее всего интересующийся. Всякое грубое истолкование закроет от читателя величайшую драму человека, драму, которая все менее и менее находит место в современном мире. В русской жизни (да и не только русской) с начала и до конца XX века, когда по непонятным разуму и сердцу причинам в центре Европы то и дело сбрасывают на головы детей и женщин бомбы, ужас Розанова особенно пророческий. Безбожность культуры, опрочение души, оскудение души человека дошло до такой отметки, что Откровение апостола Иоанна, возможно, уже и сбывается, но апокалипсис Розанова существует в самом деле на пространстве века неизбывным криком.

[I]

Я встал. И вот весь в огне. И пишу. Это ужасное замерзание 3000 (трех тысяч) раненых солдат в Купеческой больнице, что на Солянке, в Москве...¹ С воем, стоном, бормоча что-то, четыре или пять баб втащили огромного солдата в наш полутемный вагон, II-го класса, и когда я расспросил, «что и как», они сказали, что пришли к этому «сродственнику», но «зуб на зуб» у самих их не попадал ночью, так как (в декабре!!) колоссальная больница на три тысячи человек вовсе не отапливается, вовсе, вовсе... и больные и раненые вовсе никем не посещаются, никакого призора там нет, и больница просто забыта и брошена... «И, видя, что и наш сердешный гибнет, мы его вынесли на руках, и вот везем его в деревеньку, близ Александра, есть полустанок», и они заботливо стали выспрашивать публику, «есть ли там носилки, потому что он очень мучился животом». «Как у него болят почки»... Сейчас поднялся шум по вагону: «Как же и чего же смотрят солдаты, у которых теперь вся власть, — и они только недавно, почти сейчас, победили, расстреляли юнкеров в Москве², и вся Москва — в их руках...» «И везде установлен у них порядок и дежурства ночью». «Дежурства» действительно установлены, и М. В. Нестеров, у которого я ночевал ночь, попросившись со мною рано вечером, поспешно лег спать, так как обязан был от 3-х часов ночи до 6-ти, выйдя на мороз, дежурить на дворе, Новинский бульвар, дом 101 князя Щербатова³. Привожу адрес, чтобы не показаться неточным.

И вот я лежу, думаю, скорблю... Дочь с испуганным личиком подала полухолодный чай и кусочек черствого черного хлеба. «Мне, папочка, стало жалко, что ты не уснул. Выпей чаю»⁴. Я зажег огарок: но керосину — нет, огарок — последний; «с ним только напиться вечером чаю всем», и, потушив бережно огарок, я погрузился в темь декабрьских «6-ти часов» и стал думать... о Метерлинке и пьесе его, «как мертвые воскресают», которую видел лет 6-ть назад в Суворинском театре⁵, и тогда генер<ал> Маслов и Плющик-Плющевский⁶ так издевались над «бессмысленным жанром» всех этих «декадентских тоскливых замираний» Метерлинка...

Это «как в той больнице», подумал я. «Замерзающие на Солянке», это — умирающие у Метерлинка. Очень похоже.

Да, я забыл сказать: у солдата больны были почки, при какой-то болезни «нужен абсолютный покой». А его так шевелили при переноске, и в деревню он ехал только умереть. «Но все-таки не на морозе в стенах неотапленного дома». Пронесся в мысли плакат огненно-красного цвета, предшествовавший первому выступлению большевиков в Петрограде: «Вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов». В сущности — вся «власть» одним социалистам. Что же такое «солдаты»: их учат и они учатся.

Так быстро все распространилось. 11 000 000 штывков, и на них повисла Россия. Она «повисла», как та забытая больница. М. В. Нестеров должен сторожить улицу. Ему 50 лет, и он умеет водить только кистью. Все рисовал «Св. Русь» и «Отрока Варфоломея»...⁷

...потом литература. Как же «шла» она и как «пришла». Потому что уже Венгеров⁸ сказал, при встрече с возвратившимися эмигрантами, что «не литература должна приветствовать торжество революции, а революция должна, наоборот, сказать спасибо литературе, которая все время, целых полвека и более, призывала — революцию».

Так все и думали, и эмигранты, и Венгеров, что «революцией все и кончится». «Все устроится к лучшему». Забыв, что «мы — Русь» и что у русских дела «затягиваются» и бывают «с переимочками»⁹.

Тень несозданных созданий
В громкозвучной тишине...¹⁰

И высунулось — для меня, его друга, — такое всегда удивлявшее бледностью лицо Д. С. Мережковского и еще более бледное и какое-то страшное лицо З. Н. Гиппиус.

«Вот кто пришел и кто победил...» О, не революция, не «народники». Даже не социалисты, лишь «воображавшие о себе», что они все ведут и всех ведут. Все это — пустяки и разбилось вдребезги. Победил «в русском народе» тот, чьего имени он не знает, и победил — вещь, громадно, колоссально человек маленького, почти крошечного роста, в черном «циммервальденском» фраке, почти иностранец... Который все пел странные песни, что ему «все зябнется», что он «никого не любит»... И вот настало это всемирное, пламенное: «никого не люблю» и «везде зябко».

Потухает солнце... О, Мережковский: это — ты в нем. Когда-нибудь вся «русская литература», — если она продолжится и сохранится, что очень сомнительно, — будет названа в заключительном своем периоде «Эпохой Мережковского». И его *мыслей*, — что тоже важно: но главным образом его действительно вещей и трагических ожиданий, предчувствий, намеков, а самое, самое главное — его «натурки», расхлябанной, сухой, ледящей, узенькой... Его — ломанья искреннего, его фальши непритворной и всего, всего его...

Tout le Meregkowsky'.

Будут сделаны бесчисленные портреты его, описаны мельчайшие привычки, подобраны все о нем наблюденьца... Потому что это так поразительно. «Что вы, больны чем-нибудь?» — «Нет, я не болен: но мною больна эпоха». В самом деле, «не будь в ней Мережковского», — эпоха явно «была бы здоровее».

И все кинулись к нему. Таинственно. Влад. Соловьев, именно во внешнем абрисе, уже имел что-то общее с ним. Тот же черный «иностранный» вид, сухость в кости и зябкость, и «все бы за границу», и — Брюсов, и — Андрей Белый. Апокалиптики, воистину апокалиптики. Со странными предчувствованиями

* Весь Мережковский (франц.).

ями «конца века» и «конца мира». Кто о нем говорил? «В конце роскошного XIX века», с его естествознанием, социализмом и могучею техникою. И вдруг пришли худощавые люди и запели свои «ненужные песни». Ведь декадентству настоящее имя: «Не нужное». Просто: «этого не нужно», и так озаглавится «decadence». Пока не выгнется громадная дуга, во все пространство неба и все пространство истории: «Что теперь *не надо* — это и есть единственное, что теперь нужно, требуется, ожидается; что есть поистине всемирно, апокалиптически».

Господи: свето-преставление.

Оно — и настало.

Так вот что значит: «ласточки не прилетевшие» и «мы поем так запоздавшую весну»¹¹. У Мережковского это как-то лучше и звончее. Все говорили: «что вы кувыркаетесь, декаденты», и — поете «гиль». Не понимая, не постигая, никто и нисколько не постигая, что в «кувыркатье» и «гили» и заключалось «цимес», «зерно и ядро» того, что всемирно наступает, близится, настает.

Апокалипсис. Если «ничего не нужно» — то неужели же не апокалипсис? Но ведь серьезное-то, серьезнейшее из самого серьезного, заключается в том, что действительно наступила таинственная и странная эпоха, как-то незаметно приблизившаяся, «тихими шагами» и даже «без шороха», — когда... царю перестало быть нужно его царство и священнику его священство. *Nota bene*: и ростом и всем, и какою-то безвыразительностью лица, «почти иностранного», явно — не русского, Николай II явно похож на Мережковского. И что это есть «царь-декадент» — в этом никто не сомневается, или не усомнится, если мы только намекнем. Все — кстати. Все события — сливаются. Царь так же «не умел править», как «декаденты», будучи «писателями», — таинственным и страшным образом «разучились писать», «писали *бляку*». Эти «показатели времен» воистину апокалипсичны и зловещи. «Что-то показалось в воздухе, и вдруг стало темно». — «Что, не затмение ли?» — «Затмения нет, календарь не показывает: но воздух вдруг из светлого сделался серым». Это и есть Апокалипсис.

«Цимес» и «ядро дела» заключается в наступлении в конце «роскошного века» того, что вдруг все люди, лица, сословия, кланы, профессии как-то «охладели к делу своему», рабочие — к работе, солдаты — к войне, родители — к детям («Отцы и дети» — характерное в заглавии и содержании произведение), дети — к родителям, наконец, царь — к управлению, священник — к церковной службе, мужья — к женам и обратно; и, наконец, что совершенно поразительно и «с начала времен не слыхано»: знатные вдруг стали безразличны к знатности и богатые к богатству (богачи-социалисты). Таким образом, как-то странно ослабились все связи планеты, и «продолжение всемирной истории» сделалось невозможно и «как-то незачем». «Куда ты идешь, всемирная история?» — «Я — не иду, а как-то бреду. Я — заблудилась». Это — апокалипсис. Конечно — это апокалипсис.

«Ничего не нужно». Не грызет ли это в сердце каждого из нас? Увы, так. Так не конец ли это времен? Кто усомнится. История, конечно, кончается. Истории, конечно, не нужно.

Но разительно, но страшно, что это никогда не наступившее настроение овладело человечеством «в конце христианских времен», в конце — этого не нужно скрывать. Да этого и нельзя скрыть от себя — в конце христианства. Это до того ужасно и «как-то фальшиво» — что «религия любви» вдруг оказалась совершенно без любви. Утратились естественнейшие связи, всегдашние, всемирные. «Царь не хочет управлять», «богатый не хочет быть богатым» и «знатный хотел бы быть незнатным». Но разве... не Он сказал?

— Блаженные нищие...¹²

Так что же Он сказал?

Разрушение мира.

А мы думали: «воскресение», «спасение»...

А вот «мир разрушается».

Апокалипсическое «Назад»...

Рев Апокалипсиса: «Назад!! К Древу Жизни». «К во-дам жизни»...

Недоговорил, недосказал, что Христос, не отменяя вещей мира, состояния их и бытия, снял таинственным образом и через магию обаятельных слов — прекрасные покровы с них. Брака он не отменял, как «данного Богом еще в раю» и по совершенно точному заповеданию Божию, коему противиться значило бы возмутиться и отложиться, восстать на Бога: но он его лишь дозволил, пассивно, а не активно, и исключив из него влюбление, любование, нежность и грацию. «Любит или не любит муж жену» и «любит или не любит жена мужа» — «живите». Это «состояние», а не радость; поставленные или, вернее, оставленные столпы мира, которые «сами собою расшатываются и сгниют, как ничем не связанные». И «домы» повалил: «кто любит дом свой более, нежели Меня, — несть Меня достоин». Все «Меня» и обо «Мне»... Страшно, странно. «И кто любит жену, или отца, или мать более Меня»¹³ — тоже и оттого отречение Себя... Все «Себя»... Странно, страшно... «Не любите *мира*, ни того, что в мире»... все это «похоть житейская»... Та милая похоть, человеческая и земная, ради которой и живет человек, и *радуется*. Я люблю нумизматику¹⁴, конечно, ради того, что *любуюсь монетами*. Если не любоваться — и не занимался: как же иначе? Но я — любуюсь, поистине любуюсь, восторженно любуюсь. Христос, не вынимая бытия вещей, «как их Бог создал», и жену, и «дом», и нумизматику, таинственным образом и на самом деле... страшно сказать... осквернил вещи, вложил в них всех скверну «долготерпения», воистину долготерпения Иисусова, — на место былой их прелести, уж скажем грубо и прямо — на место языческой прелести. «Прекрасны солнце и луна и все». Вот об этом-то всем и прошептал Христос: «а мое Слово — еще прекраснее». Да оно и прекрасно, даже именно прекраснее «вещей мира сего». Слов — нельзя забыть. Они — незабываемы. И прекрасна мысль о браке: «не выгонять из дома жену, даже если и не *любишь ее*». Защита женщин, защита сироты; защита могущей *только быть обиженной*. Люди не заметили, что это «новое правило о жене» на самом деле разрушает каждый дом, всякую семью. Т. е. что, в общем-то, в мировом смысле — это есть потрясение и изничтожение быта и бытия народов. «Так сострадательно к Марии»¹⁵, но так безжалостно к «женскому полу», который с сих самых пор *перестанут брать в жены*, потому что как же и для чего жить с прокислой женой, ворчуньей, несносной и сплетницей, которая вдобавок даже колотит мужа. Таким образом, Христос насадил отвратительный брак и отвратительный тип брака. «Но слово сострадания к Марии или Лукерье, этой страдалнице, — так прекрасно». Замечательно, что, уже предвидя «после такой своей заповеди», что люди перестанут заводить «свои дома», Христос сейчас же построет и идею монастыря, давая заповедание «о скопчестве Царства ради Небесного»...¹⁶ И — так незаметно, под видом только «бывает». «Бывают скопцы» от того и от того: но высшие из них есть — «Царства ради Небесного». Семья — разрушена, монастырь — готов. Так — в богатстве, в войне, в славе, в чести он вынул *мотивы всего этого*, «героическое» и «славное», как бы оставив «на месте Цезаря» — только «Наполеона III»... Это и есть таинственное декадентство мира, которое совершилось и... к XX веку и завершилось. Получилось уродство всех вещей, при котором их нельзя любить. Нельзя «по-язычески любить», вот «как следует», а «Бог дал сердце»... Нельзя их уважать серьезно, и стало так, что даже стыдно, неловко уважать. «Ну, как же уважать такого отца?» («Отцы и дети»). Дочь свою отец старается только «спихнуть с рук» («никто вообще в стране не женится»): как же она станет такого отца любить? Она холодна к нему, оскорблена, даже жестока — и «пошла на курсы». Естественная дорога. Страшным образом везде, во всех направлениях, проложились отвратительные, *безлюбивые дороги*; и путаница таких гнусных дорог образовала «в конце времен» «современную цивилизацию». Что же случилось с миром? Благородная душа человеческая... о, какая она благородная, воистину лучше христианской... Возгнушалась миром по *Его же ожиданию* («не любите мира», «все — это похоть житейская») и *возненави-*

дела его сплошным ненавидением... Вот характерное выражение типично декадентской революции, именно — нашей, именно — пьяной, именно как отвращение и *odium** к миру. Смотрите фазы: Гоголь, хохот над всею жизнью. Чёрт, ведьма, Вий. Как все связано, какой все же — в Гоголе «Апокалипсис». «Надо исправить все разумно и научно»: позитивизм, матерьялизм. Тут врывается политическая экономия — не в положительном направлении увеличить «гобзовитое богатство» (Посошков)¹⁷, накопить, разбогатеть: а напротив — разорить, растащить, поднять класс на класс, сословие на сословие, *отнять*. Это — социализм. Социализм есть декадентство политической экономии, — тоже «не уменье считать и сосчитать», не уменье «накопить» и даже «полюбить богатство», как там у поэтов и прозаиков совершилось извращение в их стихии слова. Отчего социализм таинственно и слился с декадентством, социалисты и декаденты так явно дружелюбны и — «вместе». «Не люби богатства» (Христос), — «не любите богатства» (социалист), — ибо «легче верблюду пройти в игольные уши, чем богатому в Царство Небесное»¹⁸ (Христос), — «потому что богатый есть буржуй». Это — ответы и вопросы, так гармонирующие, что усомниться в связи — нельзя. И то, что социализм так безбожен... Но я не хочу договаривать. Рай же — истинный наш Бог усадил богатством, и золотом, и всяким цветеньем каменье, — как золотом и каменьями — *против христианства* — усаждает Апокалипсис и «Новый Иерусалим», куда всех призывает. Богатство — прекрасно, о — прекрасно! Эта радость человечеству — мила, как и жены — так же милы. «Все — другое!» «Назад!» Рев, зов первого Эдема, и — второго (Апокалипсис). «Новые звезды, новое небо»...¹⁹ «Новое Солнце», не Христово. Увы, уже не Христово и христианское...

Прекрасная душа человеческая, я говорю, возненавидела эту «блудницу-цивилизацию», усаженную отвратительностями. Но что же она сделать могла, эта бедная и несчастная душа, со словами ей: «*Не люби*». Древние сравнили душу с мотыльком через «не люби» и «все есть похоть житейская» Христос таинственно как бы перетер самые крылышки этой душе, — перетер взлет к вещам, *милым вещам*... Нет «милого», куда же «полетишь»?.. К «немилой жене», «немилому дому с грубыми родителями»... и к этому «немилому богатству». Бедная душа — уже не мотылек, а тельце ее без *крылышек*, одно *туловище*. Туловище и головка... Но — с рогом: и вот эта несчастная, изуродованная душа — она пронзает «блудницу» и разрывает ее «роскошное платье» (XIX век) — тою самою «безлюбовностью» и ненавистью, какую Христос ее наделил к миру. «Рог»²⁰ — «не любите»... Жесткое, суровое. То самое, что, внушив «не любите», как бы Христос отошел от истории, «в конце времен» так явно это самое «не любите» — раздирает полотно христианской истории... И в словах — «будут войны, и голод, и мор...» так предсказано это Христом. «И мор, и болезни, и потопления»... И — «кусания языков»... Предсказано в беседе с учениками... И *то же, это же* повторяет Апокалипсис... но с *каким разъяснением мотивов и образа*. Как бы говоря, громя, вопия:

— Ты же сказал: «Не любите!» И кто же *Винovníк*, если они «не любя» — поднимают войны, мятежи, кидаются один на другого... И жалят, как скорпионы друг друга... И наполняют воды кровью...

— Ты высказал мотив: «похоть очей»: и они раздирают все, что «соблазнило глаз их», — по Твоему другому слову. Разоряют золото, ткани, богатства, красоту, храмы, дворцы...

— И «убивают друг друга»: но не Ты ли, не Ты ли сказал «не любите даже отца и матери, и сестер и братьев, ни даже самих жилищ своих, где выросли и воспитались»...

— Не нужно родины и отечества... да как-то и странно любить, где нет «Престолов» и «Царей», Соломонов и величия, Давидов и игры на арфе, а какие-то эполеты да погоны да «Ваше благородие».

* Ужас (*лат.*).

И несчастная душа, бес<к>рылая, — раздирает все именно *бескрылым* отвратительным раздирающим. Где нет ни полета, ни воображения, — где видно одно отвращение, отталкивание от всего. И неужели опять это не Русь? — и неужели опять это не Апокалипсис?

[III]

Какая разница судеб в наши дни — Толстого и Достоевского... Оба шли долго параллельно при своей жизни, оба являясь одинаково возродителями «религиозных настроений» в нашем обществе, в эпоху, казалось, совершенно атеистическую, совершенно позитивистическую, окрашенную социалистическими цветами, отливами и переливами. Оба заговорили в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века, — в укор обществу, в упор обществу, — о *вечных* тревогах духа, о таких его потребностях, заботах и нуждах, которые никак не могли уложиться в том, что зовется «позитивизмом» и что можно «измерить, свесить и вычислить». И это сходство, этот параллелизм продолжались довольно долго, — почти до конца жизни Достоевского. В самом конце жизни Достоевского, в пору писания Толстым «Анны Карениной», Толстой оказался не только «великим писателем земли русской», но и прескучным «толстовцем», маленьким нравоучителем «в чертковском духе» на темы евангельского морализма²¹. Достоевский стал резко расходиться с ним. Но отчего? Достоевский так быстро и неожиданно скончался в 1882 году²² — от болезни совершенно случайной, отнюдь не достигнув полноты старости, — что этот вопрос о мотивах их расхождения, назревавший, но не созревший, не выразился с ясностью ни в их полемике, ни в толках общества, хотя все-таки он выразился, наметился несколько. Он заглох, затоптался в обществе глубоко взволнованном начавшимся быстро вслед за смертью Достоевского натиском революционной бури и, вместе, в сиянии толстовской славы. И вот умер Толстой, а буря разразилась. Теперь только можно спросить: да отчего два эти писателя, «равно окрашенные в религиозную окраску», — разошлись? на чем они разошлись? Теперь это ясно: один был евангелик, «в чертковском духе», — скучный, томительный сектант с узеньким кругозором, ничего решительно из предстоящих и вот разразившихся в 1914 — 1918 годах событий не предвидевший. Другой был апокалиптик, с страшным, с пугающим горизонтом зрения, который все эти события, и с внешней их стороны, и с внутренней, предсказал или, точнее, воспредчувствовал с поразительной ясностью, тревогою, страхом, но — и с надеждами.

Апокалиптик... Кто это сказал: «Проходит Лик мира сего»²³. А кто сказал это, кто в дивной формуле выразил и осветил начало всемирных потрясений, начало колебаний самой почвы под Европою, — тот предвидел не только точь-в-точь переход от этой жалкой буржуазной революции 1917 года в социальное потрясение конца 1917 года и 1918 года, но и кое-что гораздо дальше, гораздо глубже. О «стучащемся в двери истории четвертом сословии» он же сказал в своем «Дневнике писателя»²⁴; и говорил уже давно, начиная с «Зимних заметок о летних впечатлениях»... «Молох», «Хрустальный дворец» Лондонской Всемирной выставки... Тоска народов, отчаяние пролетариата в кольцах удава буржуазии — все это в громадных словах, в дивных чеканных формулах есть у Достоевского. Мы забыли, мы забыли, мы забыли родную литературу. Не «поворот Маркса», а «поворот Достоевского» — вот формула 1918 года. И в заголовках газет, в эпиграфах к газетам следовало бы писать не «Пролетарии всех стран — соединяйтесь», а вот этот великий клич-тоску каторжника Николаевских времен: «Проходит Лик мира сего». Это — общее, это — многообещающее, это вообще неизмеримо культурнее, строже, мистичнее, правильнее, вернее.

«Проходит Лик мира сего»... О да! Вот, вот — именно это! Проходит вообще Европа, и Достоевский говорит ей: «Уходи!» «Не надо тебя», «не надо, — мучительница человечества»... Вопреки «религии бедных», в ней обделены

именно «бедные»; а Христос, сказавший: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Аз [у]спокою вас»²⁵, — на самом деле, когда они «пошли», — не подал им ничего, кроме камня.

Кроме своих «притчей», вот видите ли...

И кроме позументов, золота, нашивок, митр пап, патриархов, митрополитов, архиереев, иереев...

Обман народов, обман самой цивилизации тем, кто ее же, эту новую европейскую цивилизацию, и основал, так явен, так очевиден стал во всем XIX веке, что у Достоевского же вылилась другая содрогающая формула:

«Неудавшееся христианство»...²⁶

Формулы этой нет у Маркса. И — оттого, что Маркс — узок, а Достоевский — бесконечен. Маркс дал только формулу борьбы, а не формулу победы. Он дал «сегодня» революции, а не «завтра» уже победной революции, которая овладела городом, царствами, землей. Он дал формулу «приступа», — «пролетарии всех стран — соединяйтесь», — «Штурмующие колонны буржуазии — единитесь всемирно». Но что же дальше? за штурмом? —

победно знамена шумят...

Но что же, что же делать завтра? Этого-то и не предвидел Маркс: право же, «усесться в кресла буржуазии», занять ее квартиру, ее дом и...

Никакого «и» нет в теориях Маркса. Он не только узок, он — бесконечно узок. Завтра должна начаться «жизнь». Но Маркс молчит, нем. Он вовек не умен, этот Маркс, потому что он даже не задался вопросом о том, как же будут жить «победившие пролетарии»; из чего, какими душевными сторонами они начнут построять очевидно новую цивилизацию...

А «построить» ее очевидно нужно. Формула Маркса: «Пролетарии всех стран» и прочее — стара и устарела уже теперь, и она устарела с победных криков октября 1917 года.

Культура...

Достоевский был бесконечно культурный человек, потому что он был бесконечно психологический человек. Наоборот, Маркс был исключительно экономический человек и в культуре просто ничего не понимал. Он был гением экономически, но культурно туп: и потому, что он был несколько не психологичен.

За «вчерашним днем Маркса» уже сегодня наступил «день Достоевского». «В груди стеснило» у нашей революции, и «стеснило» потому, что всякая история дышит «в завтра».

Без «завтрашнего дня» нет истории. Революция вдруг внутренне остановилась, затопталась на одном месте; она психологически затопталась, и от этого всячески затопталась. Пока старый буржуй, старикашка буржуй, не сгребет ее в охапку и не скажет: «Вы видите, весь свет видит, что без меня — ничего не поделаешь».

Нужно открыть «завтрашний день» революции; или, точнее, «завтрашний день после революции».

Между тем в содрогающей формуле апокалиптики Достоевского и содержится это «завтра» после «революции». Что такое «неудавшееся христианство»? «Неудавшееся христианство» только и значит, что оно «было» и что теперь его «нет».

Нужно — расти. А христианство — против роста. Вся «история христианства» или «так называемая история христианства» произошла извращенно, искаженно, — по той простой причине, что иначе, нежели в искажениях и извращениях, ей и невозможно было совершиться, быть. Все христианство деминуентно²⁷, — если можно так выразиться; а нужно же это выразить, эту главную его мысль, самую главную. Оно построено на принципах начала «минимум», а не начала «максимум»... «Меньше, меньше, меньше» — и тогда ты «христианин». Как только «больше» — и ты вышел из христианства.

Поразительно, что этого никто не заметил, но это — так. Все «реформы» христианства, все его «идеалы», все «возвраты к первоначальному», «истинному» христианству — состояли в попытках деминуентности. Реформа Франциска Ассизского? Это был «Апостол нищеты». Но «нищета», — что же такое нищета? Это nihil имущества. «Раздай свое имущество и будь нищим»²⁸. Кто же помнит беседы Христа с «богатым юношей». Реформа папы Григория VII Гильдебрандта? Это — католический целибат²⁹. «Семьи вовсе не нужно иметь священнику». «Богатый и Лазарь»³⁰ — кто не помнит этой притчи Спасителя? Но что такое «Лазарь»? Это — окончательно деминуентный человек, со всеми покончивший, все отбросивший. «Сижу и тончусь». Вот именно на тоньше усадил Христос человека и усадил самую историю человеческую, указав неоспоримо и твердо идеалом «Лазарево житие».

«И кто любит отца или мать больше Меня — несть Меня достоин»³¹, «и кто любит жену и детей — несть Меня достоин». «И кто любит дома свои — тоже». А нам говорят о «любви Христовой»... о «любви Христовой к человеку». Странно, что, столько читая Евангелие, — никто не догадался о его смысле. Он отнял, наоборот, все, что радует человека; и не что-либо «дурное» в радиовавшем отнял: именно «хорошее»-то и отнял. Не сказал Он: «если дурной дом», «если дурной отец», «дурная мать», «худые дети». Он сказал вообще, — как родовое понятие. Да что же такое слова о скопчестве³², и опять же этот Лазарь, и опять же нравоучение богатому юноше? Родовое отрицание, отрицание, отрицание самих вещей бытия человеческого до того выразительно у Христа, что спорить об этом не приходится.

И, наконец, Голгофою Он все утвердил, все завершил. «Поступите и вы — так». Потянулась серия христианских мучеников, христианского мученичества... Лезли к китайцам, к людоедам, — в сущности, чтобы их «изжарили и съели». Да. Да. Да. Твердо это говорю, ибо мученичество человечества и составило самую тайную мысль Спасителя или «так называемого Спасителя».

Деминуентно.

И с этой точки зрения все понятно. Без этой же точки зрения в Евангелии ничего нельзя понять. Совершенно и ничего.

Но как же расти истории? «Расцвет христианства» и бывал всегда во вспышках... но только едино во «вспышках» то «нищенства», то «мученичества», то, наконец, инквизиции. Христиане наконец сами себя начинали жечь, — жечь «еретиков», жечь философов, мудрецов... Джордано Бруно. Кальвин сжег своего друга Сервета, — единственно за то, что он был «libertin»³³, — человек свободного (вообще образа жизни и не стесненной жизни. А он был друг его).

Да и ясно: «Ныне Я победил мир»³⁴, — сказал Христос в прощальной беседе со своими учениками, перед распятием. Именно — распятием-то, примером его, Он и надеялся уже окончательно «победить мир». Но «мир» выскочил в историю, постоянно калеча и искажая христианство. Вся «история» есть «перекаленное христианство», как христианство есть попытка убить историю. Суть истории есть nihil, отрицание христианства. Всякий смысл, всякая поэзия, всякая философия была «отрицанием Христа». «Кто философствует — несть Меня достоин»: это — как и о браке, и о детях. «Не худые дети — худы», но «нужно, чтобы было скопчество».

И, в сущности, — это началось с Вифлеема. В сущности, Вифлеем виден из Голгофы, как Голгофа родилась из Вифлеема. Оба конца соединены и гармоничны. Смерть — бессеменность, проколевавшись чем-то прозрачно «33 года» — должна была как-то испариться, рассеяться.

Вот о каких ужасах проговорила обмолвка Достоевского. Вдруг — странно всем запомнившаяся, — запомнившаяся на десятилетия... Да и понятно. Этою обмолвкой, имеющею смысл: «конец христианства», «христианству приходит конец», Достоевский незримо-неведомо и для себя начал третью эру, «апокалиптическую». Социализм или тупо кончится ничем, или он действительно окончится «белыми одеждами» великих радостей, несказанных востор-

гов, — несением «пальм» к источникам Древа жизни и схождением на землю «Нового Иерусалима», «Небесного Иерусалима». Дело в том, что самый-то «социализм» и «марксизм» подготовительны и предварительны.

Шел в комнату, вошел — в другую³⁵.

Разрушение церкви, разрушение вообще Европы, пугающе, да и страшное на самом деле, — окончится в пугающих чертах своих, как только с «завтра» и «послезавтра» революции, этих рушащих тронов и вообще этого лома благосостояний, имущественностей и всего сплетения ткани так называемой «неудавшейся христианской цивилизации», — начнутся зори, первые зори третьей эры, последней эры Всемирной истории.

6 июля <1918 г.>

Автографы двух одинаково озаглавленных очерков находятся в РГАЛИ (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 233). Первый очерк, без обозначения даты, написан в декабре 1917 года, второй — 6 июня 1918 года. Таким образом, эти очерки должны были бы войти в выпуск изданного «Апокалипсиса нашего времени», который, как говорилось в предисловии, издавался в это время. Розанов сознательно отложил в сторону эти и подобные по остроте записи. Тексты подготовлены по авторским рукописям и печатаются впервые.

¹ Вероятно, Розанов имел в виду Александровскую больницу Московского купеческого общества, которая располагалась на ул. Щипок, д. 8.

² Расстрел юнкеров в Москве произошел сразу же после октябрьского переворота в Петрограде, 27 — 30 октября 1917 года.

³ Сейчас — Новинский бульвар, д. 17 (сообщил А. В. Соболев).

⁴ Розанов в доме на Полевой улице в Сергиевом Посаде жил с женой Варварой Дмитриевной и двумя дочерьми: двадцатидвухлетней Татьяной и девятнадцатилетней Надеждой.

⁵ В Суворинском (или Малом) театре, как в обиходе называли Театр Литературно-художественного общества (1895 — 1917), в указанный Розановым период была поставлена только одна пьеса бельгийского драматурга и писателя Мориса Метерлинка (1862 — 1949) — «Монна Ванна» в 1913 году. Какую пьесу имел в виду Розанов, установить не удалось. (Возможно, Розанов вспоминает пьесу Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», шедшую в МХТ.)

⁶ Сотрудники «Нового времени» генерал А. Н. Маслов, печатавшийся под псевдонимом Бежецкий, и А. Я. Плосшевский-Плющик с сентября 1911 года вместе В. П. Бурениным стали заведовать репертуаром Суворинского театра.

⁷ Точное название картин М. В. Нестерова, о которых пишет Розанов, — «На Руси» и «Видение отроку Варфоломею».

⁸ Венгеров Семен Афанасьевич (1855 — 1920) — историк литературы, библиограф.

⁹ Ср.: «Римляне имели „орлиные носы“, с горбом и большие: русский носик небольшой, картошкой, с переимочкой около носа: но что-то милое образуется в мягких чертах около этой переимочки, около глаз и верхней части щек. Волынский все и хвалит вот эту „переимочку“; „лучше Афродиты Милосской, неслыханное, невиданное“. Но, взглянув на его лицо, мы замечаем, что у него тоже нет „переимочки“ и нос римский» (рецензия Розанова на книгу А. Волынского «Ф. М. Достоевский. Критические статьи» (СПб., 1909, 2-е изд.) в журн. «Критическое обозрение», 1909, № 5).

¹⁰ Розанов неточно цитирует одно из первых стихотворений В. Я. Брюсова «Творчество» (1895). Ср.:

Тень несозданных созданий
.....
В звонкозвучной тишине.

Стихотворение получило широкую известность благодаря пародии В. С. Соловьева и служило образцом «декадентской лирики».

¹¹ Возможно, вольная (или пародийная) цитата из стихотворения Д. С. Мережковского «Дети ночи»: «Непонятны наши речи, / И на смерть осуждены / Слишком ранние предтечи / Слишком медленной весны...»

¹² Ср.: Лк. 6: 20.

¹³ Ср.: Мф. 19: 29.

¹⁴ Розанов был собирателем античных монет. Он писал А. М. Горькому: «У меня римских 1300. Греческих 4500. Больше, чем есть в Московском университете» («Вопросы литературы», 1989, № 10).

¹⁵ Лк. 10: 38 — 42.

¹⁶ Ср.: Мф. 19: 12.

¹⁷ «Гобзовитое богатство» — И. Т. Посошков (1670 — 1726) употребляет выражение, образованное от имени английского философа Т. Гоббса в своей книге «О скудости и богатстве».

¹⁸ Ср.: Мф. 19: 24.

¹⁹ Ср.: 2 Пет. 3: 13.

²⁰ Розанов употребляет библейское значение понятия «рог» как выражение силы, крепости, моши.

²¹ Розанов имеет в виду В. Г. Черткова (1854 — 1936), последователя нравственно-этического учения Л. Н. Толстого. Розанов считал воздействие его на писателя отрицательным. См. статью Розанова «Друг великого человека» («Новое время», 1911, 19 июня).

²² Описка: Достоевский скончался в 1881 году.

²³ Ср. выражение Ф. М. Достоевского, относящееся к третьему сословию, которое, не появившись Наполеон на исторической арене, не стало бы «изменять весь лик всей Европы». И дальше: «Дело в том, что мне кажется, что нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным <...> и тоже с изменением лика мира сего» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти томах, т. 25. Л., 1983, стр. 148). Эти источники не совсем соответствуют тому акценту, который придает Розанов Достоевскому. Акцент Розанова соотносится с общим тоном темы «заката Европы» в «Дневниках писателя». Любопытно провести параллель со словами К. Н. Леонтьева об упадке гражданственности в России в редакционной статье «Варшавского Дневника» от 28 февраля 1880 года: «Не оттого ли, наконец, что все эти наши понятия — понятия европейские; а в самой Европе <...> *проходит образ мира сего*» (Леонтьев К. Н. Собр. соч. В 9-ти томах, т. 7. СПб., 1913, стр. 117). Последние слова, (курсив Леонтьева) являются точной цитатой из ап. Павла (1 Кор. 7: 31).

²⁴ См.: «Вот теперь французская буржуазия единится именно с этой целью „спасения животишек“ от четвертого ломящегося в ее дверь сословия» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти томах, т. 26, 1984, стр. 167).

²⁵ См.: Мф. 11: 28.

²⁶ Такой фразы у Достоевского обнаружить не удалось. Вероятно, Розанов косвенно вывел эту тему из полемики Ф. М. Достоевского с А. Д. Градовским (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти томах, т. 26, стр. 161 — 165).

²⁷ Калька от слова *de-minuo* (лат.) — уменьшать, умалить. Розанов составил оригинальный термин, указующий на направленность христианства, стремящегося к минимальной привязанности к материальному миру.

²⁸ См.: Мф. 19: 16 — 22; Лк. 18: 18 — 23.

²⁹ Цели бат — обязательное безбрачие католического духовенства.

³⁰ См.: Лк. 16: 19 — 31.

³¹ Ср.: Мф. 10: 37 — 38.

³² См.: Мф. 19: 12.

³³ *Libertin* — либертины, приверженцы свободного религиозного направления в эпоху Реформации, в частности, противники Жана Кальвина в Женеве; Сервет М. (1509 или 1511 — 1553) — испанский мыслитель и врач. Из-за критики христианских догматов был обвинен в ереси и сожжен.

³⁴ Ср.: Ин. 16: 33.

³⁵ Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЛЕВ АЙЗЕРМАН



РУССКИЕ КЛАССИКИ В СТРАНЕ «НОВЫХ РУССКИХ»

В июне 1997 года закончился мой сорок пятый школьный учебный год. Если же учесть, что в первый класс я пошел в 1937 году, а после окончания школы поступил в педагогический институт, где с первого курса была педагогическая практика, то свои мемуары я вполне мог бы назвать «Шестьдесят лет в школе». Понятна потребность остановиться и поразмыслить.

Вещи, которые для меня элементарны, для моих учеников с каждым годом становятся все более непонятными (справедливости ради надо сказать и о том, что у меня самого в их возрасте представления, скажем, о Гражданской войне и коллективизации были дикими и нелепыми). Прочитали «Собачье сердце» Булгакова. На перемене подходит десятиклассник: «Вы говорили, что эту повесть не печатали шестьдесят лет, а я прочел и ничего там такого не нашел». И другой: «А вы представляете, что было бы, если бы в нашей стране Шариковы пришли к власти!»

В тот же день в другом десятом классе речь шла о стихах Наума Коржавина, и я рассказывал, как его буквально выперли в Америку. Удивляются: «Так какое же это наказание: там же лучше!»

Все мы оказались выбиты из прежней жизни; все мы перед лицом новой реальности, и все мы во многом уже не те, что были вчера. Убежден, что в этом осмыслении новой жизни нам могут помочь и старые наши писатели.

Много лет назад одна моя ученица свое сочинение о романе «Война и мир» закончила так: «Может быть, все это неправильно. Но я так думаю и пишу не как ученица, а как человек». Ученик и человек — вот она, центральная проблема преподавания литературы.

Вот уже более двадцати лет, заканчивая изучение русской классической литературы в десятом (раньше — девятом) классе, предлагаю домашнее сочинение на тему: «Что меня волнует в русской классической литературе и что оставляет равнодушным».

Обратимся к работам последних пяти лет. Как и все предыдущие годы, мнения, оценки, предпочтения и антипатии различны, часто полярны.

«Пока ни один писатель не смог заинтересовать меня больше, чем Достоевский». «Психологизм Достоевского позволяет углубить представление о человеке, о самом себе, увидеть в людях богатейшие духовные возможности, открыть пути для нравственного самоусовершенствования». «Часто гений Достоевского называют мрачным, пессимистическим. Я глубоко не согласна с этим. Пессимист не стал бы, не смог бы изучать человека так тщательно и самозабвенно. Зачем ему это? И разве мог бы пессимист призывать людей ко всеобщему человеколюбию. Не было бы у пессимиста „Преступления и наказания”». «Описание кошмара Родиона Раскольников, когда Раскольников

Айзерман Лев Соломонович родился в Москве в 1929 году. Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации. Свыше сорока пяти лет преподает литературу и русский язык в московских школах.

бьет топором старуху-процентщицу, а она жива и смеется над ним, заставляет содрогнуться и на мгновение оказаться в этой ужасной комнате». «Правильно сказал Мармеладов: за нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой. В наше время эти социальные различия очень ярко выражены».

И в тех же классах: «Достоевский — это боль о человеке. А эта тема мне неинтересна, так как меня больше привлекают романы о нормальной жизни. А не произведения, где кровь, насилия, унижение, страдание, сочувствие». «Становится не по себе от безысходности, одиночества оскорбленных людей, от их отчаянной, беспросветной бедности. После чтения романа возникает тяжелое, грустное чувство, целый день потом преследует грязная комнатуха Раскольникова и тяжелые, нерадостные мысли. Становится особенно невыносимо, когда понимаешь, что это не просто страшные картины какого-то романа, а наша действительность тоже. Ведь и сейчас есть такие же бедные, несчастные люди, голодные студенты, праздные семьи, мерзавцы и подлецы. Я считаю, что всего этого много в нашей повседневной жизни, и поэтому мне гораздо ближе тема любви у разных авторов. Ведь настоящей любви очень мало в нашей сегодняшней жизни». «Моя неприязнь к Раскольникову заключается в том, что он настоящий бездельник, совершенно не работает, и мне гораздо ближе и приятнее Лужин и Алена Ивановна, так как они чем-то занимаются и зарабатывают неплохие деньги». «После „Преступления и наказания“ я вряд ли возьму в руки хотя бы еще один роман этого писателя». «Классическая литература пропитана душевными страданиями». «Как страдания Раскольникова могут быть похожи на страдания современного человека, если наше общество привыкло к обыденности убийства?»

(В 1997 году в трех классах о Достоевском и вышеупомянутом сочинении написали 34 человека, это больше половины всех писавших и больше, чем о ком-нибудь другом. Из них 22 человека — за Достоевского, 12 — против. В том же году Толстой в этих трех классах выиграл со счетом 20 : 4, Чехов победил всухую — 19 : 0, а вот Некрасов также всухую проиграл со счетом 0 : 7, несмотря на все мои старания при изучении Некрасова уйти от школьного кано́на.)

Обратимся к «Грозе» Островского. «„Гроза“ не может не волновать современного зрителя и читателя. Ведь в пьесе отражена и наша сегодняшняя жизнь, и, может быть, жизнь героев пьесы поможет кому-то разобраться в своих проблемах, выжить в это суровое и безжалостное время, сохранить свою душевную чистоту, обрести свое „я“». «Чем больше Дикой богатеет, тем бесцеремонней становится: захочу — помилую, захочу — раздавлю. А кто же Кулигин? Это ученый, знания которого никому не нужны, у которого нет денег на осуществление своих научных открытий. Вот и ходят современные Кулигины по свету и просят денег».

Для других (их значительно больше) «тема „Грозы“ и проблема Катерины неактуальны и несовременны». Ведь «читатель нашего времени не может полностью оценить мир автора. Современный читатель оценивает время „Грозы“ по своим меркам». А мерки эти, по мнению многих старшеклассников, иные: «Моральная сторона в наше время не так строга, как во времена Катерины». «Взгляды людей на многое очень изменились: женщины получили равные права с мужчинами, измена стала делом обыденным, разрешен развод, очень трудно женить или выдать замуж кого-либо против его (ее) воли. Теперь у женщины в ситуации Катерины есть больше вариантов. Можно вернуться в прежнюю семью, развестись, в конце концов просто собрать вещи и уйти». «Но зачем она бросилась в Волгу? Ведь и ее муж, Тихон, тоже не без греха. Кулигин говорит Тихону: „Сами-то, чай, тоже не без греха!“ На что Тихон отвечает: „Уж что говорить!“ Ну и жили бы так дальше».

Приведу еще одну цитату из сочинения десятиклассницы: «Сегодня все это звучит по-другому. Ну, сложилось у женщины в жизни, что не смогла устоять перед другим мужчиной и изменила мужу в его отсутствие, но ведь со-

всем не обязательно кидаться после этого мужу в ноги, позорить себя перед всеми людьми. Такие люди, как Катерина, вообще редкость, а тем более в двадцатом веке, когда вполне естественной считается ситуация, если у женщины есть муж, а в его отсутствие — любовник, а уж муж подавно не хранит ангельскую верность жене. Сегодня многие вообще свободно относятся к супружеской верности».

Позиции школьников нередко просто полярны. «Больше всего я равнодушен к тем произведениям, где автор размышляет о смысле жизни, о цели существования человека». И в том же классе: «Я с интересом следила за размышлениями Базарова о смысле жизни, так как я тоже задумываюсь о том, зачем я живу на свете, каково мое предназначение в жизни».

Интересны в этом отношении мысли одного из десятиклассников: «Честно говоря, мне тяжело читать русских авторов. Они очень сильно развивают в своих творениях идею смысла жизни, стараются навязать свою теорию бытия, как бы хотят быть в роли учителя, по моему глубокому убеждению, каждый до всего должен доходить сам. По ходу чтения создается впечатление, что тебя учат жить, представляя ситуацию в книге так, что остается только одна правда — с их точки зрения. Ну и потому мне ближе всех Чехов. Он в своих рассказах передает реальность, передает без своих симпатий и антипатий, предоставляя принимать или не принимать героя, соглашаться или не соглашаться с ним, не ставя своего авторитетного авторского мнения, или по крайней мере я не чувствую его». (Вне зависимости от правоты или неправоты этих мыслей для меня как учителя литературы они — еще одно напоминание о том, как опасен на уроке литературы дидактизм, навязывание какой-то одной-единственной точки зрения, как опасен тот «перст указующий», в котором видят иногда смысл урока литературы.)

Еще дальше пошел другой старшеклассник: «Мы учимся понимать чужие мысли, а свои не понимаем. Ничего не понимаем: ни себя, ни окружающих, никого. И наоборот. Человек, ничего не понимающий в литературе, может оказаться более живым, чувствующим суть жизни, более человеческим. Литература, по-моему, убивает наши собственные мысли: чем больше ищешь смысл чужой мысли, тем больше забываешь свою. По-моему, роль литературы сейчас уменьшается. Это хорошо: значит, люди больше стали думать сами, а не искать ответа в книгах».

Естественно, что разошлись старшеклассники и в ответе на исходный вопрос. Одни считают, что «наше поколение слишком другое, чем сто лет назад», а потому классика не может затронуть сердце и ум современного человека. «Вероятно, романы русских классиков в свое время читали взахлеб. Но я-то живу не в девятнадцатом веке, у меня совершенно другие взгляды на жизнь, и, наверное, поэтому эти романы кажутся мне неинтересными». «Меня мало интересует, что происходило в прошлом веке. Меня больше интересует моя собственная жизнь здесь и сейчас. Я живу не прошлым, а настоящим».

Для других — и их, слава богу, пока большинство — «многое, что было написано сто, пятьдесят лет назад, настолько актуально, что кажется, что читаешь написанное сегодня. Классика необходима именно сейчас, когда подорваны здоровые силы общества». «Многие классики, не зная того, отображали нашу с вами жизнь». «Как любили сто лет назад, так любят и сейчас». «Мне очень интересны рассказы о любви Тургенева, Куприна, Бунина, Чехова. Читаю их — и мне становится жалко тех, кто увлекается сейчас макулатурными рассказами о любви». «Больше всего меня волнует порой поразительное сходство тех жизней, которые описаны в романах, повестях, с нашей сегодняшней жизнью, иногда просто не верится, что то или иное произведение написано много лет назад». «Не знаю, когда и как это произошло, но в последнее время, читая классические программные произведения, я забывал, что готовлюсь к уроку литературы. На страницах этих толстых книг я встретил вопросы, которые волнуют и меня, и если даже не находил на них ответов непосредственно от литературных героев, то чувствовал, что у меня есть единомышленники».

Особенно хочу отметить одно, на мой взгляд, очень важное обстоятельство. Начну с конкретного примера: «Больше всего меня восхищает Соня Мармеладова. Своей любовью она спасла Раскольникову и разделила его тяготы на далекой и ужасной каторге. Эта любовь и преданность поразили меня. Потому что сейчас, в наше время, время тяжелого рока, крутой музыки и родной „порнухи“ из видеозалов, встретить такую любовь очень трудно».

Это высказывание очень характерно. В литературе, которую мы в школе аттестовали как литературу критического реализма, сегодняшнего школьника (и не только сегодняшнего: я эту тенденцию отмечал все два десятилетия, что проводил сочинения на эту тему) притягивает ее человекоутверждающее, душеукрепляющее, позитивное начало.

«Читая рассказ Чехова „О любви“, я восхищалась благородством Алехина. Ради сохранения семьи отказаться от любви — я считаю, что это равносильно подвигу». Вы можете сказать, что у Чехова в рассказе нечто иное. Верно, но в данном случае я хочу обратить внимание на саму эту тягу к духовным опорам, подлинным ценностям. Сегодня, когда рушатся фундаменты и опоры, понятна эта тяга к фундаментальному и основополагающему. И вместе с тем для части старшеклассников наша классическая литература, о чем мы уже говорили, — это что-то вроде факультета ненужных вещей.

«Мы больше читаем произведения легкого жанра, уводящие нас от житейских проблем. Для меня, например, знакомство и изучение русской классической литературы происходит только в школе». «Многие молодые люди считают, что классика — это школьная повинность». «Но чаще всего мы, подростки конца XX века, читаем книги из-за того, что нужно получить нормальные оценки в школе, поступить в институт». «Я читаю русскую классику только из-за того, что мне нужна пятерка по литературе».

«...Меня оставляют равнодушной чужие человеческие неудачи, описанные писателями в рассказах и повестях, как, например, судьба молодого человека в повести Куприна „Поединок“. Во мне почему-то подобные человеческие злоключения и мытарства вызывают скуку и несокрушимую уверенность, что во всех своих неудачах виноваты сами люди, и если они такие непутевые, что не смогли устроить свою жизнь, то нечего даже про них романы писать». (В том же классе: «Что я действительно понимаю, чувствую всем, что у меня есть, — это боль. Какая бы она ни была, в каких ситуациях я сталкиваюсь с ней, я всегда ее чувствую, внутри себя».)

«В фантастике и детективе есть захватывающий сюжет. Такие книги ничему не учат, читаешь их с удовольствием, и после них остается что-то приятное для тебя. Ты хоть на время забываешь о той грязи, которая вокруг. А читаешь всякие рассказы типа „Крыжовник“, „Палата № 6“ — и начинаешь задумываться, зачем мы живем, как ужасен мир и т. п. После такого рассказа хочется пойти и повеситься. Ведь эти рассказы не дают ответа, а только задают вопросы».

«У нас такие проблемы, как у героев Толстого, Чехова, Чернышевского. Порой мы так устаем от всего этого, что хочется просто закрыть глаза и ни о чем не думать».

Понять этих старшеклассников (эта точка зрения пока не преобладает, но кто знает, может быть, лишь *пока*), естественно, можно. Но куда деться от проблем и вопросов, которые окружают нас? И не приведет ли желание «закрыть глаза и ни о чем не думать» к тому, что жизнь станет еще горше?

Конечно, сказанное вовсе не отрицает права на жизнь так называемой массовой, легкой литературы. Здесь, как говорится, каждому свое. И все же горько, если человек пройдет в своей жизни мимо Достоевского, Толстого, Чехова, мимо Тютчева и Блока. Между тем, по моим наблюдениям, очень часто, если человек не пришел, скажем, к Достоевскому в школе, он вообще не придет к нему никогда.

Безусловно, понимание классики и неприятие ее может со временем измениться. В этом итоговом сочинении одна моя ученица написала, что ей далек

роман Толстого «Война и мир». Недели через три после окончания занятий я встретил ее во дворе школы. «У меня вчера умер дедушка. Я очень много думала обо всем и впервые поняла Андрея Болконского».

Литература опирается на личный и художественный опыт человека. Но она и расширяет его. Учит видеть, думать, чувствовать, понимать, сомневаться. «Глаголом жги сердца людей» — это пророку. «И виждь, и внемли» — и пророку, и слушающим его. Помочь ученикам услышать в книгах, написанных вчера, вечное, живое, современное — важнейшее назначение урока литературы. Но все чаще слышишь, что это вечное давно исчерпано и что живого и современного в русской классике сегодня уже нет.

...Как раз в середине того сорок пятого моего учебного года «Независимая газета» напечатала новогоднее обращение своего главного редактора Виталия Третьякова. Оно стоит того, чтобы его процитировать: в нем откровенно сказано то, о чем думают многие.

«Все свыклись с тем, что помощи никому и ни от кого ждать не приходится: каждый за себя, каждый против всех. Классический социал-дарвинизм стал законом жизни, и, несмотря на красивые дискуссии о необходимости новой российской идеологии, незаметно (вне дискуссий и до них) она уже родилась... Эгоизм как движущая сила прогресса — Россия наконец встала на этот путь, не наказанный никому, но не слишком перспективный для тех, кто ступил на него позже других... Выживай, Россия, и обогащайся! Иного, как говорили прорабы перестройки плохого в идеально хорошее, не дано. А коли выживешь, да если еще и обогатишься, то образуется досуг. Дабы поразмышлять о принципах, о морали, о духовности. Выживай, Россия! Обогащайся!»

Так-то оно так, но что же делать мне, учителю литературы, русской словесности, которая вся — о принципах, о морали, о духовности? Может, плюнуть на всю эту никому не нужную духовность (тем более и слово это затрепали донельзя) и делать то, чего от меня ждут и постоянно требуют: готовить к тестированию по литературе, учить делать из Пушкина экзаменационную отбивную, превратить всю жизнь, судьбу, страсть, муку, веру, надежду русских писателей в учебный материал, который нужен для того, чтобы сдать — и кончить школу, сдать — и поступить в институт? Тем более, что, как говорил поэт, «доходней оно и прелестней».

Или все-таки, несмотря ни на что, вновь пытаться учить слышать слово писателя, учить видеть мир его образов, пытаться пробиться к умам, сердцам, душам, чтобы передать хоть какие-то азы духовного наследия нашей литературы, без которых у нас не только жизни человеческой никогда не будет, но без которых мы просто не выстоим, не выживем.

Да, лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. И, естественно, ничего зазорного в самом богатстве нет. Вряд ли нужно говорить о том, как много сделали в России богатые и имущие для страны и ее культуры. Не думаю, что бедный Толстой написал бы «Войну и мир», хотя сомневаюсь, что богатый Достоевский смог бы написать «Преступление и наказание».

Да, частная инициатива, стремление к прибыли могут стать тем экономическим рычагом, который способен поднять жизненный уровень всего общества.

Да, идеалы и ценности, ориентиры и устремления сегодня изменяются. Социологические исследования, проведенные под руководством Татьяны Кутковец и Игоря Клямкина, показали, что здесь происходят коренные, если хотите, эпохальные изменения. Вспомните старую поговорку: «Бедность — не порок», которая выражает еще одну особенность традиционного российского сознания. Сегодня абсолютное большинство населения полагает, что бедность все-таки порок. По мнению двух третей опрошенных, именно она унижает людей больше всего. На другие обстоятельства, способные подорвать престиж России, реакция несравненно спокойнее.

Да и вообще «на наших глазах происходит, быть может, существенный сдвиг в сознании: в тяжкую годину люди, как и прежде, готовы слиться со своей страной, но в мирное время на первый план в их жизни выходят личные интересы, индивидуальная способность и благополучие».

На мой взгляд, в принципе, эти изменения благие. Но на пути к благополучию, достатку и тем более счастьем ныне возникают новые проблемы, тяжкие и горькие. И это не только наши проблемы. Миру они известны давно.

Весной 1996 года в Словакии встретились Папа Римский Иоанн Павел II и Александр Солженицын. И вот что сказал глава Римско-католической Церкви русскому писателю: «Мы пережили два тоталитаризма, нацистский и коммунистический, но сейчас нам грозит третий тоталитаризм — неистовая жажда наживы, капитал ради капитала, бессердечный и жестокий».

Не нужно, конечно, думать, что европейцы и американцы думают только о прибыли и что для них не существует иных ценностей. Достаточно посмотреть те фильмы, которые в последние годы имели оглушительный успех в США: «Человек дождя», с его сумасшедшими кассовыми сборами, и «Форест Гамп», получивший чуть ли не все «Оскары». Они ведь не о богатстве, а о милосердии, сострадании к униженным, обойденным судьбой, увечным.

Мы любим ссылаться на то, что «там», «у них», «в цивилизованных странах». Так вот там, у них, скажем, в Италии за последние десять лет с 5 до 6 миллионов выросло число добровольцев, людей, работающих бесплатно и решающих массу социальных проблем. А в США по одним данным 40 — 45 процентов взрослого населения, по другим — каждый третий участвует в добровольческой, волонтерской деятельности, в частности, помогает безработным, сиротам, инвалидам, эмигрантам. Специалисты оценивают этот труд добровольцев для своего города и страны в 120 миллиардов долларов в год.

А у нас уже давно школьники не помогают ветеранам и инвалидам, не собирают макулатуру и металлолом (и кто только не пинает сегодня Тимура и его команду). Зато все чаще отлично успевающие по математике, физике, химии пишут контрольные работы под копирку и продают копии своим не очень смысленным одноклассникам. И стоит это дорого. Правда, списывание обычной домашней работы обходится дешевле. Я как-то попросил тех десятиклассников, у которых дома есть видеоманитофон, пригласить к себе несколько своих однокашников и вместе посмотреть «Калину красную». Сказал при этом, что кассета с фильмом есть у такого-то, о чем тот мне сам сообщил. Но владелец магнитофона каждого, кто подходил к нему, потом спрашивал, что будет с этого иметь.

Достоевский в последних снах Раскольникова предупредил, к чему неминуемо придет человечество, если каждый будет только за себя и для себя, если каждый будет считать, что «в нем одном и заключена истина». Писатель не морализирует, не взывает к совести, он просто предупреждает.

Как предупреждает и чеховский герой: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».

Я уже как-то упоминал о том, что с этими словами Чехова часть десятиклассников, когда мы говорили о «Крыжовнике», не согласилась. «Невозможно заставить кого-то думать о несчастьи других, если он сам не думает об этом без „молоточка“». «Человек с молоточком не должен стоять около счастливых людей, любой человек имеет право на счастье, и не нужно напоминать о черной болезни, нормальный человек сам будет помнить и переживать». «Что же теперь, чтобы не считать себя плохим человеком, он должен оставить все, к чему стремился всю жизнь, загнать себя в ряды обездоленных? От этого никому лучше не станет, а горе на земле только увеличится». «Если человек

счастлив, не надо омрачать его счастье. Да, кругом много нищих, обездоленных людей. Но почему они такие? Потому что слабые». «Если человек зарабатывает достаток своим трудом, выкарабкался, значит, так надо, значит, он сильный человек. Если другой человек беден, значит, это его судьба».

Естественно, все это проецируется на отношение к литературе. «Мне не в радость читать о жизни бедных, угнетенных и оскорбленных. Я понимаю, что это горькая правда, но такой жизни и сейчас достаточно. Я читаю книги для того, чтобы отвлечься от повседневной жизни, окунуться в другой мир. А когда открываешь книгу вековой давности и видишь то же самое, от чего хочется уйти, то возникают мысли о безысходности, а мне так не хочется в это верить!» И вместе с тем: «Для меня, в общем-то счастливого человека, русская литература стала своеобразным человеческим „молоточком“. Она не дает мне забыть, что есть на свете несчастные».

Но вчитаемся еще раз в эти чеховские слова. Здесь нет апелляции к высшим материям, будь то христианские идеалы, гуманистические устремления или голос совести. Здесь другое: это нужно тебе самому, для тебя самого, это в твоих интересах. Чехов взывает к благоразумию.

Что ж, если нам все же не удастся достучаться до сердца и совести, будем хотя бы взывать к благоразумию.

Закончив в одиннадцатом классе уроки, посвященные пьесе Горького «На дне», рассказываю своим ученикам о статье Г. Гачева «Человек против Правды в пьесе „На дне“». Написанная в 1960 году, она впервые была полностью опубликована в 1994 году в сборнике «Неизвестный Горький», вышедшем полторатысячным тиражом.

Гачев не принимает традиционное истолкование основного конфликта пьесы как конфликта правды и лжи и самой пьесы как апофеоза правды. То, что мы называем «ложью», «может явиться стократ более правдоносным», чем «та абстрактная правда, на устойчивость к которой Сатин и Бубнов предлагают сразу выверять человека», если она помогает людям встать на ноги, пробудить веру в себя, то есть «совершить величайшей важности переворот в их бытии», чему и способствует Лука. С точки зрения Гачева, «в противовес абстрактному требованию правды, новый принцип больше дорожит жизнью человека».

«И зачем истина, если она расходится с интересом людей? Праведна ли бесчеловечная правда? И вообще, является ли она тогда правдой?» Эти слова я и предложил как тему классного сочинения, которое будет через неделю (почти всегда темы классных сочинений называю заблаговременно: в то, что за два урока можно написать серьезную самостоятельную работу такого типа, не верю). При этом я обратил внимание одиннадцатиклассников на то, что они должны будут ответить на два вопроса: вытекает ли подобная трактовка из самой пьесы Горького и как лично они сами к этим размышлениям относятся.

Впервые провожу это сочинение в октябре 1997 года в трех одиннадцатых классах. Пишут 64 человека.

43 из них (67 процентов) считают, что пьеса Горького спорит с утешительной ложью Луки и утверждает правду. Но лишь 21 человек (33 процента) принимает такое отношение к жизни и человеку.

«Когда люди лгут, они могут причинить гораздо больше вреда своей ласковой ложью, чем беспощадная правда. Не всегда легко ее услышать. „Правда глаза колет“». «Пусть правда жестока, бесчеловечна (каждая истина, правда в чем-то бесчеловечна), далека от идеала, но она нужна. Когда ложь заменяет правду в жизни человека, то потом это может привести к более тяжелым последствиям, чем правда, какой бы она ни была». «Ложь, как ни крути, всегда ложь. Человек должен знать правду о самом себе, какая бы она ни была. Лично для меня ложь — это всегда ложь, а правда — это правда, хоть в жизни, хоть в пьесе. Хотя в жизни все намного сложнее, чем в тетрадке». «Правду можно сравнить со скальпелем хирурга. Она бывает очень неприятной, горь-

кой, даже смертельной, но в целом больное общество может исцелиться правдой, как больного через страдания спасает скальпель хирурга». «Да, истина часто не совпадает с желанием человека, но это не значит, что ложь предпочтительнее. Правда бесчеловечна? Но не бесчеловечна ли ложь? Она всегда бьет сильнее, чем правда. Иначе ложь не стала бы подделываться. Правда есть правда, она спокойна и непоколебима. Человек, в конце концов, имеет право осознать правду, какой бы она ни была. И не прав и преступен тот, кто отнимает у него правду, заменяя ее сладким ядом». «И зачем истина, если она расходится с интересами людей?» С моими интересами она не расходится. «Праведна ли бесчеловечная правда?» А правда всегда человечнее лжи, ибо ложь всегда бесчеловечна. «Является ли она тогда правдой?» «Когда умирал мой дедушка, ему никто не лгал, никто не утешал, он знал, что он скоро умрет. Он спокойно принял свою смерть и не тешил себя надеждой. Он был сильным человеком, и ему не нужна была ложь или жалость». «Я лично считаю, что надо говорить исключительно правду. Потому хотя бы, что мы живем в мире лжи и лицемерия, и мы должны стараться, чтобы наш мир стал лучше и реалистичней, а потому стараться жить как можно правдивей, более честно и открыто. Ложь как вредная привычка. Стоит раз солгать, как потом она начинает развиваться в геометрической прогрессии. Самое интересное то, что ложь — постоянный спутник нашей жизни. Она начинается в микромасштабе с того, что мы придумываем уважительную причину своего опоздания, и кончается макромасштабами — например, количеством людей, погибших в Великой Отечественной войне, которое вслед за вскрытием новых архивов постоянно растет».

Но есть и принципиально иное. 10 человек (16 процентов) убеждены, что «Лука является как бы носителем философии Горького». Согласны с Лукой в полтора раза больше — 15 человек, то есть 23 процента. «Для некоторых ложь является какой-то своеобразной опорой, которая держит его всю жизнь, и если ни с того ни с сего взять и убить эту ложь, опору, человек падает в бездну. Зачем нужна такая правда, которая убивает душу человека? Почему люди смотрят фильмы по сто серий? Ведь это же ложь, значит, люди нуждаются в этой лжи. Правда — это вообще лекарство. Его (лекарство) нужно выдавать по определенным дням и дозам, а если будет передозировка? Кому нужна правда, которая убивает веру во что-то святое в его душе? Кому нужна такая обесчеловеченная правда? Никому».

11 человек писали о том, что в пьесе отношение Горького к Луке и Сатину, правде и лжи неоднозначно, о том, что есть своя правда в правде и своя — во лжи. Но в два раза больше было тех, кто и сам думает именно так.

«Я считаю, что нельзя жить только ложью или только правдой. Те, кто идут по жизни в розовых очках, очень страдают от ударов судьбы. О себе надо знать правду, не недооценивая и не переоценивая себя. Однако мои взгляды нельзя выразить только словом „правда“. Иногда она может разрушить жизнь, разбить семью. Поэтому я считаю, что жизни без лжи и без правды не бывает, только все надо использовать в лучших целях. Если здесь помогает правда, то нужна правда, если же нет, то согласимся с Лукой из пьесы „На дне“». «Для меня более приемлема в жизни правда, поскольку за последние годы мы все больше и больше увязали во лжи. Но это совсем не означает, что я отрицаю ложь, бывают случаи, когда просто невозможно сказать правду: она может убить человека». «Что же касается меня, то я считаю, что не всегда надо говорить правду. А в некоторых случаях даже лучше не знать ее совсем. Ведь не всегда правдой душу вылечишь. «Она, правда-то, может, обух для тебя». Иногда люди просто вынуждены скрывать правду и лгать во имя спасения человека или для его же блага. Например, моя бабушка тяжело болела раком. Все в семье знали, что она скоро умрет, и было очень тяжело скрывать эту правду от нее. Все буквально в один голос говорили, что все будет нормально и она скоро поправится. Мы делали так в надежде, что ей будет лучше умереть, не зная этого».

В целом около шестидесяти процентов моих учеников в той или иной форме считают, что ложь подчас бывает необходима и нравственно оправдана.

..В самом начале 70-х годов, когда я работал в Московском городском институте усовершенствования учителей, мы в ряде школ Москвы провели работу такого же типа.

Мы познакомили десятиклассников с высказываниями двух актеров, игравших тогда Луку. «Я, — писал К. Скоробогатов, — играл человечность, доброту мудрого человека, который находит способ утешить умирающего. Все действующие лица пьесы тянутся к Луке в поисках опоры, утешения, облегчения. Он пробуждает у отчаявшихся людей надежду... Он единственный в пьесе деятельный герой, единственный, кто занят не собой, а другими». «Я считаю Луку, — говорил другой исполнитель роли, Н. Левкоев, — прежде всего человеколюбом. У него органическая потребность делать добро, он любит человека, страдает, видя его задавленным социальной несправедливостью, и стремится ему помочь чем только может».

Десятиклассникам был задан вопрос: согласны ли они с такой трактовкой образа Луки? Большинство, в соответствии с тогдашним каноном толкования пьесы в школе, писали, что Лука, конечно, отзывчив к чужой боли, сочувствует обитателям ночлежки, хочет им добра, но «только борющееся, деятельное человеколюбие можно назвать настоящим гуманизмом. Лука же... не борец. Он призывает к смирению, к примирению с ужасной действительностью, которая калечит людей, тянет их на дно».

Что же стоит за итогами сочинения, проведенного через четверть века, осенью 1997 года?

Мне представляется, что действительно мысль учащихся идет здесь не просто в системе координат правда — ложь.

На мой взгляд, неприятие «правды» в этих сочинениях — это прежде всего неприятие безнадежности, бесперспективности, безотрадности, бескрылости. То же, что стоит за словом «ложь», как мне кажется, — это стремление к опорам, к тому, что помогает выстоять. Это свет надежды, тоска по идеалу.

Вернемся еще раз к сочинениям одиннадцатиклассников. «Правда должна быть рядом с надеждой на лучшее. Нужна правда, которая не задавила бы человеческих достоинств. Главное — не терять надежду и силы и стараться добиваться лучшего, какой бы правда ни была». «В жизни всегда найдется что-нибудь плохое, но вот попытаться отыскать в ней что-то хорошее обязательно нужно». «Умные люди и так могут посмотреть на себя со стороны, а если в литературе постоянно будут колоть действительностью в глаза, то все время читать такие книги будет тоскливо. Людей надо периодически отрывать от действительности, надо, чтобы они тянулись к высшему, героическому, лучшему. Человеку нельзя все время ходить опустив взор к земле, надо когда-нибудь взглянуть на небо. И когда люди посмотрят на свою жизнь после этого самого неба, тогда они, может быть, и смогут изменить себя».

При всем моем сегодняшнем реалистическом и даже во многом скептическом мироощущении я хорошо понимаю эти устремления. И мне близка мысль, высказанная Ириной Роднянской на страницах «Нового мира» (1997, № 4): «Ужас и горечь жизни были всегда. Но не всегда их встречали настолько разоружившись. Уместно будет диагностировать *не рост Зла, а дефицит мужества, питаемого знанием Добра*». Этот дефицит постоянен и в самой жизни, в искусстве, и на экранах телевидения, и в печати, и, увы, в школе.

Правда, существует и иной взгляд на вещи. Его достаточно определенно выразил в своем эссе «Русские цветы зла» Виктор Ерофеев. Общее мировоззренческое кредо русской литературы, которое Ерофеев определяет как *философию надежды*, он отвергает полностью. Если «зло имеет не социальный смысл, а широко и привольно разлито в человеческой душе», то «философии надежды здесь нечего делать». На что способен человек, особенно ясно стало при советской власти. «Продемонстрировав чудеса подлости, предательства, приспособленчества, низости, садизма, распада и вырождения, он, выясни-

лось, способен на все». Сомнения в человеке принесла новая русская литература 70-х годов XX века. «Новая русская литература засомневалась во всем без исключения: в любви, детях, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости... В литературе, некогда пахнувшей полевыми цветами и сеном, возникают новые запахи — это вонь. Все смердит: секс, старость, плохая пища, быт... На место психологической прозы приходит психопатологическая. Уже не ГУЛАГ, а сама распадающаяся Россия становится метафорой жизни».

Насколько силы зла страшны и разрушительны и в жизни вообще, и в самом человеке особенно, я знаю. Но пусть сочтут меня, несмотря на мой возраст, наивным и несмышленным или же старомодным, в силе добра и человечности я не разуверился. Я вообще убежден, что человеку, который не верит в добро, в школе делать нечего.

...Закончены уроки, посвященные поэзии Блока. Впереди — поэзия Есенина. На первом же занятии, еще ничего не говоря о Есенине, кладу перед каждым листок и прошу тут же, в течение одного урока, ответить на поставленные вопросы. (Сюжет, о котором пойдет речь, по-разному освещен в различных книгах, я выбрал один из вариантов. О том, что он разными литературоведами по-разному трактуется, сейчас говорить не будем, у меня другая задача.) Итак, вот текст, который был предложен в начале зимы 1997 года трем одиннадцатым классам:

«Однажды, 3 июля 1916 года, Есенин экспромтом написал в альбом одного из своих знакомых такие стихи:

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

Альбом этот попался на глаза Блоку. „Сергей Александрович, вы это серьезно написали?“ — спросил он у Есенина. „Серьезно“, — ответил Есенин. „Тогда я вам отвечу“, — сказал Блок. И в этом же альбоме написал свой ответ Есенину — отрывок из поэмы „Возмездие“, над которым он в то время работал.

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминуемый,
Иль ясность Божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрашной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Почему Блок счел необходимым ответить Есенину? В чем смысл его спора с ним? Кто, на ваш взгляд, прав в этом споре?»

В тот день в школе было 52 человека. Некоторые из них поняли строки Блока упрощенно: «Мне кажется, в каком-то смысле Блок пытается закрыть

глаза на плохое». «Блок говорит: „Сотри случайные черты...” А значит, он предлагает забыть прошлые неудачи и беды, и тогда будет мир прекрасен».

Несколько человек писали о том, что «случайные черты» — это сиюминутность душевного состояния Есенина в тот момент. 11 человек сказали, что Блока испугало то, что, судя по этим строкам, Есенин был близок к самоубийству. «С таким мироощущением остается только всадить себе „в ребра холодную сталь” и остановить свое „поганое сердце”». Все же остальные говорили о различном мироощущении и мирочувствовании: «Жизнь — это не только страдания, бесконечная суета, серость и гниль, но и какие-то светлые стороны», и необходимо уметь видеть мир «не только с повседневной, серой и безнадёжной стороны».

«По мнению Блока, в жизни есть и эта бездна, и пустота, и сгнившая даль, и какие-то светлые начала, „ясность Божьего лица”». «Жизнь не слишком хороша, ведь „над нами сумрак неминуемый”». Но если не смотреть на мир сквозь призму житейских неприятностей и разочарований, а взгляд твой „тверд и ясен”, то легко понять и увидеть, что „мир прекрасен”». «В мире, помимо сумрака неминуемого, есть „ясность Божьего лица”».

Но только 21 человек — это сорок процентов — увидели, что главное слово в стихотворении Блока — *художник*, хотя саму строку эту процитировали почти все. (Отметим, что именно это слово — *художник* — выберет и Пастернак в своем известном стихотворении: «Не спи, художник, / Не предавайся сну. / Ты — вечности заложник, / У времени в плену».

«Весь спор в конце концов сводится к пониманию назначения поэта как творческой личности».

«На мой взгляд, в этом споре прав А. Блок. Я думаю, что, если бы Есенин видел на свете одну пустоту, он никогда бы не стал поэтом. Наверное, когда он написал это стихотворение, он видел лишь „случайные черты”. Мне кажется, настоящая поэзия не рождается от разочарования, скуки и обреченности. Сердце поет только тогда, когда видишь, что мир прекрасен».

Естественно, я сказал, что и от разочарования, скуки и обреченности тоже рождается настоящая поэзия. И конечно же потом мы скажем о том, как при всей своей трагедийности прекрасен мир в поэзии Есенина. С блоковским «Все равно: принимаю тебя!» переключается есенинское «Все как есть, без конца принимаю».

Что касается своего личного отношения, то 4 человека заметили, что по своему правы и Блок, и Есенин. А еще 4 школьника написали, что «не прав ни Есенин, ни Блок». «Есенина можно понять, потому что иногда бывают такие моменты в жизни, когда перестаешь на что-либо надеяться и во что-то верить. Накапливается столько плохого в душе, что просто опускаются руки и уже нет сил верить, надеяться, ждать лучшего». «Я не могу дать однозначного ответа, кто прав в этом споре. Лично у меня, да и у каждого человека, наверное, бывают такие минуты, когда не знаешь, зачем живешь, когда впереди видишь лишь темноту и чувствуешь, что у тебя в душе и во всем мире лишь пустота. И бывают дни, когда веришь, что жизнь прекрасна, что все мечты сбудутся и будущее видится светлым и радостным».

...Много десятилетий то, что мы говорили своим ученикам о нашей жизни, напоминало рассказ горьковского Луки о «праведной земле»: «...в той, дескать, земле — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают... и все у них славно-хорошо!» Хотели мы того или не хотели, но мы, школьные учителя литературы, оказались среди тех, «В чьем сердце страх увидеть бездну / Сильней, чем страх в нее шагнуть» (Коржавин).

Сегодня же слишком часто литература, искусство, средства массовой информации словно соревнуются в живописании бездн.

Ощущение того, что мы «бездны мрачной на краю», на мой взгляд, должно быть у современного человека.

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами...

Это сказано Тютчевым и про нас тоже. Но именно понимание страхов бездны и того, что «нет преград меж ей и нами», убеждает в том, сколь важны для нас, в юности в особенности, точки опоры. Тем более сегодня, когда кризис духа поразил и многих юных. Помочь выстоять, обрести смысл, найти опору — вот в чем ныне важнейшая цель преподавания литературы в школе. И здесь с нами и русская классика.

Достоевский как никто изобразил бездны духовного падения, в которые может быть низвергнут человек. Но именно Достоевский, определяя свое нравственно-эстетическое кредо, записал: «При полном реализме найти в человеке человека».

Слова эти могут стать ориентиром и для изучения литературы, и для ее преподавания. Ведь ложное прекраснотушение, неумение смотреть правде в глаза и бескрылая ранняя охлажденность, тупиковое неверие в человека одинаково опасны для юности. Вот почему «при полном реализме найти в человеке человека» — ориентир для уроков словесности и, если хотите, для всей работы школы.



ПОЛЕМИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА



КАК МЫ ЧИТАЕМ РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ: О СЛАДОСТРАСТИИ

— Как порок? — сказал я. — Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он. — Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно.

Л. Н. Толстой, «Крейцера соната».

Одна моя собеседница поделилась со мной наблюдением: мы все в той или иной мере причастны к греху Лизы Хохлаковой, представляющемуся самой героине Достоевского кошмарным извращением. Если вспомните, речь идет об ананасном компоте. Девочка-подросток с несколько расстроенным затяжной болезнью воображением представила, что она распяла мальчика четырех лет, как в недавно прочитанном отчете об одном судебном деле, а сама села напротив и стала ананасный компот есть. Некоторым образом, как заметила моя собеседница, мы это проделываем каждый вечер, усаживаясь перед телевизором для того, чтобы наскоро или неторопливо поужинать и посмотреть новости. Вряд ли требуются еще какие-то пояснения: если бы впечатлительная Лиза увидела те новости, которые нам показывают, она не одну бы ночь «тряслась в слезах».

Алеша Карамазов под сильнейшим эмоциональным давлением брата Ивана, рассказавшего ему (после долгой предварительной психической обработки) про десятилетнего мальчика, которого барин затравил насмерть псами за то, что он нечаянно зашиб ногу барской любимой гончей, произносит: «Расстрелять!» И немедленно спохватывается: «Я, конечно, сказал сейчас глупость». Мы готовы расстрелять человека за то, что он много и безнаказанно своровал, и думаем, что предлагаем в своем праведном гневе очень неглупую и вполне нравственную вещь.

Настасья Филипповна мечется в отчаянии, доходящем до безумия, и идет в конце концов под рогожинский нож из-за того, что с шестнадцати до двадцати лет прожила в симпатичном, изящном и комфортном сельском домике, куда периодически наезжал его владелец — утонченнейший джентльмен Афанасий Иванович Тоцкий, кстати, неоднократно предлагавший ей обеспечить дальнейшую ее судьбу приличным брачным союзом с кем-нибудь еще, снабдив ее при этом весьма приличным приданым. Без комментариев.

В результате всего сказанного можно сделать по крайней мере один вывод: наши представления о нравственности, а главное, наша нравственная восприимчивость достаточно неадекватны представлениям и степени чувствительности героев Достоевского и, надо думать, самого Достоевского.

Касаткина Татьяна Александровна (род. в 1963) — литературовед, критик. Окончила Московский педагогический институт им. Ленина. В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию по теории литературы. Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книги «Характерология Достоевского» (1996). С 1991 года выступает со статьями в периодической печати. Постоянный автор «Нового мира»: см. ее статью «После литературоведения» (1999, № 3).

Редакция собирается вернуться к спору, возникшему между Виталием Свинцовым и Татьяной Касаткиной.

Если бы это требовало дополнительных доказательств, то убедительным доказательством могла бы послужить статья Виталия Свинцова, недавно опубликованная в «Новом мире» и называющаяся «Достоевский и „отношения между полами“».

Проблемным центром статьи, положением, проясняющим, кроме того, как мне кажется, и довольно существенный вопрос: почему автору статьи так нужно, чтобы «ставрогинский грех» — растление малолетней — был совершен Достоевским (уж если не наяву, то хотя бы в мыслях), является попытка «реабилитации» сладострастия.

Скрепя сердце, чтобы не начать немедленно комментировать каждое слово, выписываю длинную цитату, превращающую дальнейшее написание статьи в дело крайне затруднительное, поскольку все, что дальше надо расположить в какой-то последовательности, хочется сказать непременно сразу.

«Так что же, — пишет Свинцов, — слышу я голос, в котором угадываются грозные нотки, уж не хотите ли вы сказать, что Достоевский, подобно Карамазовым, был сладострастником?»

Очень трудно сразу однозначно ответить на этот вопрос — хоть отрицательно, хоть наоборот. Нынче само слово „сладострастие“ почти автоматически вызывает негативную реакцию. Возможно, этому способствовал и сам Достоевский, создав так много образов „плохих“ сладострастников. Но, может быть, есть и „хорошие“? Вот ведь и любимец писателя Алеша...

Что есть сладострастие? По Далю это „наклонность к чувственным наслаждениям, плотоугодие, плотская страсть“. Найдите в этом словарном определении что-нибудь дурное *само по себе* (выделено автором! — Т. К.). Кто не был наклонен, кто не угождал плоти, не переживал в иные моменты плотскую страсть? Без этой-то самой плотской страсти прекратился бы род человеческий. За ней стоят Эрос, либидо. Не только первое у греков, но и второе в современном психоанализе есть нечто большее, чем просто половое влечение, это витальная сила, сила продолжения жизни.

Что же касается вышеприведенной „дефиниции“ сладострастия (о ней чуть позже. — Т. К.), которую Достоевский вкладывает в уста Ракитина (и которая, подчеркну еще раз, заставила праведника Алешу дрожать всем телом!), то в ней и вовсе наличествуют два элемента из иного, из высокого слоя лексики: „любить“ и „красота“. (Последнее слово, как известно, было особенно значимо для Достоевского.) В самом деле, Ракитин говорит: „влюбится человек в какую-нибудь красоту“. Получается, что сладострастие по крайней мере не чуждо любви, не чуждо преклонению перед красотой.

Посредством таких лексикологических размышлений мы не обнаружим ничего определенного, сладострастие — типичное размытое понятие, не обладающее ясным содержанием и резким объемом».

В процитированном фрагменте наличествует такая всеобъемлющая путаница понятий, предельно отчетливых у Достоевского, что хоть брось. Но бросить нельзя, потому что, как было показано в начале статьи, цитируемый автор в его отношениях с Достоевским скорее правило и уж никак не исключение.

Что ж, раз непонятно, с чего начинать, начну с самого начала — с заглавия.

Во-первых, как сказала моя сестра, выслушав краткое проблемное изложение статьи Свинцова: «Да, наш потолок таков, что не позволяет нам говорить о поле у Достоевского...»

Во-вторых, сам Достоевский никогда не писал собственно о проблемах пола в нашем понимании. Он даже, когда пишет романы (а роман, какие бы определения ни давали ученые литературоведы и не менее иногда ученые писатели, всегда — о чем помнят и читатели, и писатели, когда не пытаются быть литературоведами, — о том, что «у них „роман“»), — так вот, Достоевский свои романы строит таким образом, что они оказываются о «романе» человека с Богом.

Надо сказать, что проблема пола имеет к этому некоторое отношение. Дьявол, как известно, — обезьяна Бога. Так вот, в «проблеме пола» (в той ее части, к которой сводит проблему Свинцов, то есть в сладострастии) дьявол посягает на самое святое, самое сущее, самое существо Бога и отношения Его к миру. Он посягает на любовь. Он превращает ее из самоотдания, самопожертвования (Бога — миру) в посягательство, присвоение и пожирание. Он превращает обещание Жизни Вечной (сказать кому-нибудь: «Я тебя люблю», — говорит Габриель Марсель, все равно, что сказать «ты никогда не умрешь...»¹) в растление — то есть в тление, в смерть плоти, он превращает причастность самому Божественному существу (ибо Бог есть Любовь) в убийство Бога.

Это понимает безграмотная Матреша — и этого не понимает очень даже грамотный Виталий Свинцов, перед которым у Матрешы по отношению к рассматриваемой проблеме есть лишь одно, но существенное преимущество: она — героиня Достоевского.

В этом своем расхождении с Матрешей Свинцов, кажется, пользуется абсолютной поддержкой абсолютного большинства наших современников. Мне недавно пришлось говорить с подругой, находящейся именно в связи с «проблемой пола» в очень тяжелой ситуации и, казалось бы, самими своими переживаниями предрасположенной к пониманию хотя бы наличия проблемы. Ничуть не бывало. Когда я попыталась заикнуться о том, что именно в «естественных» отношениях полов нет на самом деле ничего естественного, то услышала: «Из всех, кого я знаю, ты одна так говоришь». Вот так вот. А тоже человек вовсе не безграмотный и не в пустыне живущий. Между прочим, преподает литературу в школе.

Это я объясняю, почему мне придется говорить о вещах, которые должны быть известны каждому. Но сейчас и о Достоевском и о поле говорит и пишет поколение, первыми книгами которого не были ни «Сто четыре истории Ветхого и Нового Завета» (по которой учились читать дети в семье Достоевских), ни Закон Божий. Оно же составляет программы по литературе для средней школы, и дети читают Оскара Уайльда и Голдинга раньше, чем прочтут — не Евангелие, но хотя бы Пушкина, Достоевского и Толстого, из чтения которых все же можно получить некоторое представление о том, в чем разочаровывались и отчаивались Голдинг и Уайльд. Как заметил Г. К. Честертон, мы всегда поспеваем лишь к концу истории. И тут нашим детям предлагают разочарование и отчаяние, но ничего не говорят о том, на что же раньше надеялись и уповали.

Мы постоянно теперь сталкиваемся с рекламой «безопасного секса». Насколько то, что мы так называем, опасно само по себе, без всякого отношения к СПИДу и сифлису, хорошо понимали древние евреи, принявшие по этому поводу закон, требовавший побить камнями до смерти и мужчину и девушку (если она обручена другому) в случае, если они блудили в городе, и только мужчину, если вне городских стен, так как вне города девица могла кричать о помощи, но не получить ее. Если же девица не была обручена другому, то на мужчину накладывался штраф и он обязан был взять девицу в жены без права развода, в других случаях довольно легко предоставлявшегося (см.: Втор. 22: 23 — 29). Под сенью таких законов древние евреи чувствовали себя в относительной безопасности.

Интересно задуматься о причинах, заставивших еврейских законодателей, получавших свои законы от Бога, настаивать на нерасторжимости брака, заключенного вследствие блудодеяния. Причина тут, впрочем, очевидна, если перестать принимать буквальное название вещей за метафору. Девушку в та-

¹ Цит. по кн.: Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь. Болезнь. Смерть. М., 1995, стр. 95.

ком положении называли «порченной», то есть ущербной, больной, с изъяном. Так что мужчина фактически должен был принять на себя заботу о человеке, которого сделал инвалидом, и такой брак, конечно, и должен был отличаться от брака, заключенного должным образом, невозможностью отказа от своего обязательства.

То, что сходные представления были свойственны русскому христианскому народу и что пословица: «Венцом все прикрывается», — очевидно, очень недавнего происхождения, было блистательно доказано в статье О. Я. Поволоцкой, тонко и убедительно проанализировавшей пушкинского «Жениха». Суть происходящего в этом произведении, согласно Поволоцкой, — в столкновении двух миров: мира народного и того общества, которое образовалось в России после петровских реформ, где мировосприятие и язык, его выражающий (при том, что слова используются вроде одни и те же), настолько различны, что это столкновение может иметь своим следствием лишь катастрофу, которая остается непонятна для читателя, «ибо, — говорит автор, — европейски образованный „просвещенный” светский читатель не в состоянии восстановить народную логику „обличения” злодея»².

Жених, согласно выстроенному в статье сюжету, обесчестил Наташу, но при этом, согласно «светским» нормам, вовсе не так виноват, ибо действительно любит ее и сватается к ней. Но совсем иначе все выглядит в том мире, где существует сама героиня.

Позволю себе длинную цитату, ибо она может несколько прояснить недомыслие Виталия Свинцова по поводу того, а был ли, собственно, так тяжок «проступок» Ставрогина в том случае, если Матреше уже исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет. Еще раз подчеркну, что здесь этот проступок совершает не сладострастник (а Ставрогин хуже сладострастника), но действительно влюбленный — и все равно он значит то, что значит, и карается так, как карается.

«То, что произошло в те три дня отсутствия Наташи в родительском доме, — пишет Поволоцкая, — может рассказать только она сама, но, чтобы осознать этот явно „ужасный”, жестокий опыт своей встречи со злом, ей необходимо отыскать соответственные слова и образы. Из всего арсенала простонародной русской „девичьей” культуры — то есть культуры, способной передать представление о зле, при этом не развращая воображение дитяти, культуры, стоящей на страже целомудрия, — Наташа отыскивает страшную и загадочную сказку о женихе-разбойнике, в которой две девичьи роли: одна девица стоит, спрятавшись за печку, другая — жертва страшного и кровавого злодея. Вот формула, которой обозначено в рассказе Наташи совершенное злодеяние:

Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит.

„Злодей девицу губит” — формула, которую можно прочесть и как „убивает девицу”, и как „лишает невинности”; вторая формула в своем прямом значении имеет смысл бесцельного кровавого злодеяния, однако если ее прочесть как перифразу „лишает невинности”, то обнаруживается ее глубокий сакральный смысл, а именно: девица погублена для брака, то есть она не может обручиться, отдать свою руку мужу, и именно поэтому точно указывается, что злодей отрубает правую руку.

Раздвоенность Наташи на „погубленную девицу” — „безымянную голубицу” — и на Наташу, спрятавшуюся „за печку”, не видимую разбойниками, — это вовсе не прием рассказа, умышленно придуманный хитроумный повество-

² Поволоцкая О. Я. «Жених»: сюжет, композиция, смысл. «Московский пушкинист». V. Ежегодный сборник. М., 1998, стр. 9.

вательный ход, но ее действительное мировосприятие в те „три дня”. Мир зла, „погубив девицу”, ни на одну минуту не владел Наташиной душой: душа была защищена от зла невинностью, была от зла спрятана, отсюда ее беспамятство, и восприятие тех событий как кошмарного сна, и невозможность „реалистичного” о них рассказа. Выросшую в обстановке любви и добра, воспитанную в послушании и вере, кроткую и, естественно, невинную Наташу „обидел” лихой молодец; чтобы рассказать об этом злодействе и о собственном полном неучастии в нем, ей приходит на помощь сказка, в которой девицьи роли разделены. В этом удивительном феномене раздвоения, в невозможности никак иначе рассказать об этих событиях содержится действительный залог Наташиной невинности и подлинное свидетельство истинной ее целомудренности, настоящей белоснежной, „голубиной” ее чистоты. Истина глаголет устами младенца, устами Наташи.

Развязка фабулы „Жениха” наступает в тот момент, когда Наташа опознает в своем женихе перед всем народом „старшего брата” из своего сна. Если обещанная девушка принародно указывает на своего обидчика, никакие вещественные доказательства не нужны: за истинность обвинения ручается сама смелость признания в утрате девственности. В ситуации пушкинской сказки Наташа отказывается от житейской логики здравого смысла, которая велит рассматривать брак с виновником утраты девственности как благо и строго-настроено предписывает сохранение тайны позора. В простонародной культуре такая ситуация именуется „покрытием греха”, и житейская мудрость считает подобный исход самым благоприятным, тем более, что жених сам сватается, что он богат, родовит и независим. Прославилась Наташа именно потому, что заплатила за выяснение истины, обличившей жениха-„злодея”, самую дорогую цену: цена ее признания равна отказу от обычного мирного житейского счастья „свое гнездо устроить, чтоб детушек покоить”. Приговор народного суда выносится не на юридической основе, а кольцо — это не вещественное доказательство. Главное для суда народного — это плата за истину, и Наташа платит по самому большому счету³.

Мне, в отличие от автора статьи, представляется, что главным для Наташи было все же не обличение «жениха», но собственное всенародное покаяние, ибо, ощущая свою поврежденность, целомудренная и чистая душа чувствует и то, что есть только один способ ее излечения и что брак с обидчиком именно «покроет», но не исцелит грех. Кстати, и уже упомянутая героиня Достоевского, Настасья Филипповна, отказывается «прикрыть венцом» грех, причем отказывается и от брака с самим обидчиком — Тоцким, и с князем Мышкиным, желавшим «реабилитировать» «загубленную душу».

В связи с этим я бы высказала иное предположение, чем предложенное в статье, и о «тайне кольца» (помните кульминационный момент «обличения»: «Она глядит ему в лицо: „А это с чьей руки кольцо?»»). Поволоцкая предполагает, что это кольцо самой Наташи, которым она должна была бы обручиться с женихом, если бы не была «погублена». Я думаю, что все обстоит еще трагичнее, и ужас происходящего — с точки зрения жениха — может быть понят во всей его мере, только если предположить, что это его кольцо, которым он и «обручился» с Наташей после своего «проступка». То есть, в своей системе мировосприятия, он был предельно честен, но в мире Наташи он был сказочным злодеем — и не мог уже быть никем иным, что бы он ни делал.

Так чем же столь опасен «безопасный секс»? Именно утратой невинности, утратой целомудрия. А целомудрие — условие нашего общения с Господом. Утраченное, оно восстанавливается лишь покаянием и исповедью, излечивается причащением Телу и Крови Христовым. Но в его отсутствие Богообщение прерывается. Добровольное растление плоти и духа в первую очередь перекрывает «канал», по которому жизнь и любовь идут к нам от Бога, эта пупови-

³ Поволоцкая О. Я. «Жених»: сюжет, композиция, смысл, стр. 9 — 11.

на перерывается сразу при распаде и разложении того, что раньше было в целости. Недаром Матреша понимает свой грех как посягновение на Бога.

Лишенный целостности человек предается раз-врату, растлившаяся плоть расплзается в рас-путстве. Это дальнейшее разложение прежде бывшей целостности связано с необходимостью как-то поддерживать жизнь, которую не поддерживает больше Источник всякой жизни. И, не вкушая больше Крови и Плоти Божественной, человек начинает есть плоть и пить кровь человеческую (когда близкие кричат друг другу в отчаянии: «Ты из меня всю кровь выпил(а)», — это не больше метафора, чем Таинство Причащения — символ).

Я не знаю, существуют ли те вампиры, о которых нам показали столько кинокартин и сериалов за последнее время (подчас, кстати, очень сочувственно настроенных по отношению к главным героям, что симптоматично), но распутники — вампиры, которые существуют безусловно. Я никого не отличаю и никого ни к чему не призываю — представляю себе, как забавно звучал бы любой призыв к воздержанию на фоне общего настроения. Кроме того, призывать к воздержанию неверующего человека — все равно что призывать волка щипать траву: волк бы, может, и хотел, но только он так с голоду умрет. Я просто хочу обозначить факт: мы живем в обществе людей, питающихся друг другом, и об этом надо хотя бы знать.

Наверно, эту точку зрения можно попытаться оспорить. Но вряд ли можно спорить с тем, что это точка зрения Ф. М. Достоевского, а ведь именно его взгляд на вещи должен нас интересовать, если мы собираемся говорить о том, о чем пытается говорить Свинцов. Для доказательства того, что Достоевский именно так понимал «проблему пола» в том ее аспекте, который только и затрагивается Свинцовым, достаточно привести несколько цитат из его разбора «Египетских ночей» А. С. Пушкина, предпринятого им с тем, чтобы защитить честь и достоинство женщины, взявшей на себя смелость читать эти стихи Пушкина на публике.

Из статьи Достоевского ясно видно, что в «проблеме пола» его не интересуют психология и психопатология (я уж о сексологии не говорю), с позиций которых только и подходит к вопросу (за несколькими внезапными исключениями) Виталий Свинцов. Достоевского занимает онтология пола и сладострастия.

Итак, в статье «Ответ „Русскому вестнику“» Достоевский разъясняет центральный образ пушкинского текста — образ Клеопатры. Характерно, что в споре с «Русским вестником» он ополчается именно на психологическое истолкование этого образа, сведенного почтенным журналом к «последнему выражению страсти». «Напротив, — утверждает писатель, — по-нашему тут впечатление страшного ужаса, а не впечатление „последнего выражения“. Мы положительно уверены теперь, под этим „последним выражением“ вы увидите что-то маркиз-де-садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это, значит, самому потерять настоящий, чистый взгляд на дело. Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление» (19, 135)⁴.

На взгляд Достоевского, точка зрения Пушкина лежит в плоскости онтологических оснований образа. Клеопатра, разъясняет он пушкинский «фрагмент», — «это представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем

⁴ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Л., 1972 — 1990. (Том и страница указываются в тексте после цитаты.)

нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения... становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра — представительница этого общества. Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже извела все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв. Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь» (19, 135 — 136).

И дальше — пассаж, отразивший буквальное понимание Достоевским плотоядности сладострастия: «Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки» (19, 136).

Достоевский истолковывает образ Клеопатры как выражение крайнего удаления человека от Истины, как выражение последней бездны, на краю которой оказывается языческий мир перед приходом Искупителя. Это апофеоз самообожествления человека — и апофеоз того, к чему это самообожествление приводит, — торжества плотского самоуслаждения, паучьего сладострастия, превращения другого лишь в объект, вещь; рабского угождения другому — но лишь с целью доставить себе изощренное чувственное удовольствие, безмерно возрастающее от сознания того, что «калиф на час» будет уничтожен и знает об этом. Это попытка уловить предсмертные содрогания плоти в плотских содроганиях — и заглянуть с холодным любопытством за завесу, не скрывающую ничего, кроме непроглядной тьмы. Это то извращение человеческой природы, в которое она неизбежно впадает, будучи предоставлена лишь себе самой, — извращение природы, из которой постепенно исчезает все человеческое. Это, как скажет в романе «Братья Карамазовы» Митя, идеал содомский, противостоящий в человеке идеалу Мадонны. «От выражения этого адского восторга царицы, — завершает свой анализ Достоевский, — холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш Божественный Искупитель. Вам становится понятно и слово: Искупитель...» (19, 137).

Изображая в своих романах сладострастников, Достоевский думал о пути человека к Богу или — как альтернативе этому — его возможности остаться «самому по себе». Вообще, само отпадение человека от Бога вовсе не по недоразумению связывают с плотской любовью, плотским грехом. Только это не причина, а немедленное следствие грехопадения. Во-первых, для продолжения человеческого рода, ставшего смертным; во-вторых, для поддержания временной жизни, не поддерживаемой более Божественной любовью. Сладострастие — это способ существования срезанного цветка. Не секрет, что язычество разрабатывало и использовало сексуальные техники именно как энергодобывающие. Те немислимо для любой другой культуры жесткие границы, в которые ввело пол христианство, возможны (в истинно, а не по названию лишь или происхождению христианской культуре) именно потому, что в нем восстановлена связь с истинным Источником Жизни, с Тем, Кто и есть Любовь. И, значит, можно отказаться от пожирания себе подобных.

После сказанного пора, пожалуй, разобраться с тем, что Свинцов называет раkitинской «дефиницией сладострастия». Цитирую по Свинцову: «По-

следнее характеризуется как состояние, когда „влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского”. Так определяет Ракитин феномен сладострастия и продолжает: „...певец женских ножек Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки”».

Вот это-то состояние Свинцов и описывает как «не чуждое любви», «не чуждое преклонению перед красотой». Надо бы только добавить — перед красотой плоти или части плоти. Я готова буду признать, что Свинцов хотя бы последователен, если он считает, что высказывание: «Я люблю куриные ножки», — имеет отношение к любви, а восхищение барашком под соусом не чуждо преклонению перед красотой.

Что же касается сетования автора по поводу почти автоматической негативной реакции на слово «сладострастие», так она ныне именно что — автоматическая. По старой памяти. Только память все же постарше, чем «образы „плохих” сладострастников» у Достоевского. Это память о том, что сладострастие есть смертный грех. К стати, как и чревоугодие. Как и вообще плотоугодие, в котором автор не находит ничего «дурного самого по себе».

Грех неопределим из попытки найти в действии что-либо «дурное само по себе». Да и в самом словосочетании этом есть некоторое лукавство. «Дурное само по себе» находится за пределами возможности нашего познания. Под этим выражением автор разумеет «очевидно дурное», то есть «очевидно приносящее вред», по умолчанию — «приносящее вред окружающим», «социально опасное».

Здесь грех путают с нравственными нормами атеистического (или языческого) общества, которые устанавливаются с целью взаимной безопасности его членов. Поэтому и звучит сейчас с экрана телевизора, в поддержку мнения Виталия Свинцова, что «если двое людей по взаимному согласию решили доставить друг другу удовольствие — кому какое дело?». И ничего нельзя объяснить, потому что действительно — никому никакого.

Но грех — это то, чем человек вредит в первую очередь себе (а во вторую — соучастнику в грехе), а не кому-то еще. Чревоугодие — смертный грех не потому, что в мире есть голодные. Даже если все будут сыты, оно все равно останется грехом. Грех — все, что становится на пути человека к жизни, что повреждает в нем источники жизни. Смертный грех смертный не потому, что человека кто-то (Кто-то) наказывает за него смертью, а потому, что посредством его человек сам себя убивает. Понятие греха — не правила, за невыполнение которых карают, а перила, поставленные на узком мосту, ведущем к жизни, по обе стороны которого — пропасть и геенна. Никто вас не покарает, если вы перелезете через перила и упадете в огонь и мрак. И какая кара еще будет нужна?

Я, объясняя понятие греха детям в школе, люблю прибегать к следующей метафоре. Представьте: маленький ребенок, лет двух-трех, безудержно любопытный возраст, а на столе кипит самовар — огромный, сияющий, золотой, солнечный мячик, так и хочется обхватить его руками, прижаться к нему щекой. А мама не пускает. Вопрос: если, несмотря на объяснения и запрещения, дитя все же вырвется и дотронется до самовара — можно ли говорить о том, что его наказали?

Господь не дает непонятных установлений, за нарушение которых карает смертью. Он только просит человека: «Ну не умирай, пожалуйста...» И у Достоевского речь идет именно об этом — о том, как лишает себя человек Жизни Вечной, или о том, как, часто вопреки всему, вопреки временной жизни, все же достигает ее.

«Кто не угождал плоти», — восклицает Свинцов, пытаюсь доказать, что тут нет ничего «самого по себе» дурного. Плоти, конечно, угождал всякий, но именно с этим угождением и борется христианство. И не из мракобесия или еще какой-нибудь подобной милой штучки, о которых любят говорить просвещенные гуманисты, а по одной простой причине: угождение плоти есть

подчинение, порабощение высшего низшему — основа всякого греха (об этом напомнила и И. Роднянская в своей «реплике» на статью Свинцова). Христианство борется с угождением плоти, желая освободить человека из рабства. Ежедневная утренняя молитва Ангелу-хранителю содержит моление: «Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертного сего телесе». Рабство плоти и есть рабство смерти и тлению. Этого, очевидно, не знает Свинцов, но это очень хорошо знал Достоевский. И, надо заметить, тому, кто берется за тему вроде «Достоевский и пол», следовало бы знать подобные вещи — просто для того, чтобы не быть абсолютно нерелевантным проблеме.

А теперь о том, что Свинцов изящно называет «нимфофилией», — о страсти к растлению малолетних. «По словам Л. Гроссмана, — цитирует Свинцов, — Достоевский „с какой-то поражающей настойчивостью обращался к безобразной теме о влечении пресыщенных сладострастников к детскому телу“». Цитата из Гроссмана, кстати, звучит вполне в терминах людоедства и вампиризма. Как правильно чувствует Свинцов, Достоевский и здесь оказался пророком. Наша культура все более и более настраивается именно на масштабное совращение малолетних. И совсем не случайно педантичное высчитывание Свинцовым Матрешиных лет — оно сродни рассуждениям телепередач и «подростковых» журналов на тему: «А когда уже можно?» Нашим детям никто не рассказывает о том, какие последствия влечет за собой утрата целомудрия. Им внушают, что «чувство ответственности за того, кого ты любишь», сводится к использованию презерватива. А чтобы презерватив наверняка понадобился — соответствующие советы в «подростковых» журналах и порнографические вкладыши в любимых детских жвачках. И не удивителен на этом фоне «встречный иск» Свинцова по поводу «ставрогинского греха»: изнасилования не было, а следовательно, какие претензии, особенно если девочка была «достаточно» взрослая.

Но для Достоевского-то весь ужас происшедшего в том, что изнасилования не было...

Впервые, как отмечает «Летопись жизни и творчества Достоевского», тема «обиженной девочки» появляется в романе «Преступление и наказание». (И это, конечно, требует объяснения, потому что раньше такой именно мотив не появляется даже при изображении князя Валковского, прародителя распутников-идеологов у Достоевского, притом что порознь в его творчестве всегда, с «Бедных людей», присутствуют несчастные дети и «обиженные» женщины. Но об этом потом.) И появление темы в «Преступлении и наказании» сразу устанавливает градацию тяжести, чудовищности явления. Свидригайлов в ночь перед самоубийством в грезах видит сначала девочку-самоубийцу в гробу, обложенную цветами, но без креста, без молитв; она покончила с собой от отчаяния после изнасилования, она отторгнута от Бога в результате своего самоубийства, и это вызывает в нем сочувствие и раскаяние, но в целом герой воспринимает эпизод скорее эстетически.

Следующее видение Свидригайлова — видение малолетней распутницы, пятiletней проститутки — заставляет его испытывать ужас, отвращение и гадливость, но главное — ужас. Изнасилование, утверждает Достоевский, не так чудовищно, как совращение, именно потому, что насилие — внешнее воздействие на душу и тело человека, оскорбление и поругание, но не искажение и растление. Насилие делает человека потерпевшим. Растление делает его соучастником в грехе. «Не бойтесь губящих тело, души же не могущих погубить».

В «Преступлении и наказании» соблюдается и еще одно соотношение, как мне представляется, дающее ключ к пониманию истинной роли (и истинного происхождения) сюжета о растленном ребенке в творчестве Достоевского. В реальности романного мира Свидригайлов посягает на Дуню, вполне взрослую, готовую к замужеству девушку. Но осознание сделанного им приходит к нему (в предельно отчетливой экзистенциальной ситуации — накануне запланированного самоубийства) в образе посягательства на ребенка и в образе ребенка растленного.

Здесь не могу не вспомнить наблюдения, сделанного в замечательном романе Дж.-М. Кутзее «Осень в Петербурге»⁵, главным героем которого является Достоевский. Несмотря на то что внешняя сюжетная канва не имеет к событиям жизни Достоевского никакого отношения, что-то в самом существе «образа автора» созданных Достоевским произведений уловлено Кутзеем с поразительной тонкостью. «Достоевский» Кутзее, вступая в связь со своей квартирной хозяйкой, вызывает у нее подозрение-прозрение, что через нее он пытается «дотянуться» до ее дочери Матрены. Но «дотянуться» не на манер героя Набокова, а как бы в ней самой добраться до хрупкой девочки, лишь персонифицированной ее дочерью.

Нельзя не обратить внимания на, опять-таки, тонкость понимания своего героя автором-иностранцем в связи с сюжетом, затронутым Свинцовым. «Достоевский» и Матрена вместе горюют о смерти Павла, пасынка «Достоевского»: «Девочка побеждена. У нее нет больше вопросов. Он заключает ее в объятия, ощущая ее дрожь. Он гладит ее волосы, виски. В конце концов она дает волю слезам и, припав к нему, прижав кулачки к подбородку, разражается плачем... Ему не составляет труда вообразить эту девочку доведенной до иступления. Воображение его, похоже, не имеет пределов... Дальше этого осквернение не заходит: обнятая девочка, пять его пальцев, белых, онемевших, стискивают ей плечо. Впрочем, она могла бы лежать перед ним нагой, это мало что изменило бы».

И сразу вслед за этим — еще одно наблюдение Кутзее над сознанием его героя, могущее, на мой взгляд, служить ключом к пониманию сюжета о растлении ребенка. «Он думает о девочках, отдающихся в естественном порыве доброты, из стремления к подчиненности. О девочках-проститутках, которых знал здесь и в Германии, о мужчинах, выискивающих этих девочек потому, что под накрашенными личиками их, под вызывающими нарядами сквозит неоскверненность, подобие девственности, отчего-то этих мужчин оскорбляющее. „Она проститует Деву“, — говорит такой мужчина, узнавая душок невинности в жесте, с которым девочка прикрывает ладонями груди, в движении, которым она раздвигает бедра. В крохотной, пропитанной затхлыми запахами комнатке от нее веет еле слышным, безнадежным дуновением весны и цветения, которого он вынести не может. Скрежеща зубами, он намеренно причиняет ей боль, потом еще и еще, не отрывая взгляда от лица ее в ожидании, когда в нем проступит нечто, отличное от гримасы страдания, — изумленный испуг живой твари, начинающей сознавать, что жизни ее угрожает опасность»⁶.

Становится ясно, что то, до чего пытается дотянуться сладострастник, удовлетворяя свою страсть, — это именно ребенок в человеке, удовлетворение сладострастия — это всегда растление ребенка, не важно, сколько лет реальной жертве. Да сладострастника, как питающегося растлеваемой им плотью, и не может привлекать та «взрослая» кожа, которая выросла на живой, все еще не затронутой гниением плоти, он должен добраться до сердцевины, до места, где еще хранится летучий запах целомудрия.

Осознание того, что он на самом деле совершал, пытаюсь растлить целомудренную Дуню, — а Свидригайлов знает, что она целомудренна, но не видит ценности целомудрия, как и современные пропагандисты «безопасного секса»; он и Раскольникову говорит: «Авдотья Романовна целомудренна ужасно, неслышанно и невиданно. (Заметьте себе, я вам сообщаю это о вашей сестре как факт. Она целомудренна, может быть, до болезни, несмотря на весь свой широкий ум, и это ей повредит)» (6, 365), — так вот, осознание этого приходит к Свидригайлову в видении малютки-соблазнительницы, девочки-развратницы, только в таком виде способен он еще постичь ужас растления, понять и почувствовать ценность целомудрия.

⁵ «Иностранная литература», 1999, № 1.

⁶ Там же, стр. 108 — 109.

Полагаю, что между поступком и признанием Достоевского было примерно то же соотношение.

Чтобы дальнейшее не показалось нашим современникам, для которых всякое целомудрие «может быть до болезни», чересчур неожиданным, хочу напомнить, что одно из самых популярных биографических исследований, посвященных затрагиваемой здесь стороне жизни писателя, называется «Три любви Достоевского». В двух случаях речь идет о его женах. Мы будем говорить о третьем.

Развязка романа с Аполлинарией Суловой приходится на 1865 — 1866 годы, время создания «Преступления и наказания». Еще раз подчеркну — очевидно, до этого времени Достоевским не был пережит опыт «растления ребенка», хотя умозрительно он знал или хотя бы предчувствовал, что всякое растление именно таково. Последняя часть «Преступления и наказания» пишется вскоре после создания «Игрока», романа, по общему признанию имеющего в своей сюжетной и эмоциональной основе отношения Достоевского и Суловой. В «Игроке» дело кончается для Полины, взрослой, самостоятельной и независимой девушки, долгой болезнью — следствием оскорбительности для нее ее отношений с главным героем, которого, возможно, она любит, даже расставшись с ним навсегда. Сюжетная канва не нова — почти так же можно пересказать центральную сюжетную линию, например, «Униженных и оскорбленных» (1861). С одной разницей: там нет такого напряженного ощущения оскорбления собственно растлением. В наполненном всяческими оскорблениями романе собственно эта сфера остается все еще почти райски чиста — несмотря на многочисленные измены и любовные треугольники. У Достоевского отсутствует опыт себя как растлителя. При этом в романе есть влюбленная девочка, Нелли, которая тоже оскорблена в своей любви, но именно тем, что Ваня, герой-рассказчик, сосредоточен на Наташе и относится к Нелли исключительно по-братски, как к любимому ребенку. Девочка даже приносит в жертву, но в жертву любви и примирению, и сама становится центром и идолом воссоединенной семьи.

В «Преступлении и наказании» Достоевский находит адекватное выражение для нового опыта — опыта ужаса растлителя перед содеянным. Ему, как и пушкинской Наташе, необходимы особые сюжетные средства для его передачи. Кстати, В. В. Розанов, по свидетельству Долинина, считал Сулову прототипом Дуни Раскольниковой.

Как расценивала в 1865 году свой роман с Достоевским сама Аполлинария, видно, например, из письма Достоевского к ее сестре, Н. П. Суловой, от 19 апреля 1865 года. Видно из письма, и на какие вопросы приходилось отвечать Достоевскому, — вопросы, способствовавшие осознанию им содеянного: «Вы ясно увидите разъяснение всех вопросов, которые Вы мне задаете в Вашем письме, то есть „люблю ли я лакомиться чужими страданиями и слезами” и проч. А также разъяснение насчет цинизма и грязи» (28, ч. 2, 121).

Долинин, опубликовавший «Дневник» Суловой и вообще пристально вникавший в историю ее отношений с Достоевским, пишет по поводу многих мест «Дневника», где вдруг, «беспричинно», с его точки зрения, вспыхивает в ней ненависть к Достоевскому, подозревая воздействие некой особой, ему присущей «темной силы»: «Или сам не удержался на высоте? И зажглись слепые, жестокие страсти и в ее душе; открывалась бездна, в которую, быть может, сила темная, исходившая от него, первая ее и толкнула. И если это так и был он причастен ко греху, к вовлечению в темную сферу греховности, то как он относился к самому себе в минуты просветления, когда затихали кипевшие в нем страсти? — К себе, пусть даже и косвенно соблаздившему „одну из малых сих”?»

Чувствуем и сознаем всю тревожность и ответственность этого вопроса, когда ищем зависимости или хотя бы соответствия и в сфере эмоциональной, между личным опытом писателя и его претворением в художественном творчестве. Нам кажется, что именно здесь и находится один из узлов каких-то

очень глубоких трагических переживаний Достоевского, нахлынувших на него, вместе с ощущением этого непоправимого греха, совершенного им по отношению к Сусловой. Так открылась бы нам первопричина столь огромной эмоциональной насыщенности, в плоскости подобных переживаний, „Записок из подполья”, позднее „Идиота” (Настасья Филипповна), быть может, даже „Исповеди Ставрогина” (в „Бесах”)⁷.

Долинину, ослепленному представлениями об идеале «свободной любви» 1860-х годов, самого растления — связи женатого человека с девушкой цельной и целомудренной — недостаточно, чтобы констатировать соблазнение «одной из малых сих». Вот как комментирует он диалог, приводимый В. В. Розановым в письме к А. С. Волжскому: «Диалог Розанова и Сусловой совершенно не соответствует действительности. Может быть, такой диалог и был, может быть, Сулова и подавала ему эти реплики, но тогда она сама, сознательно или бессознательно, искадила фактическую правду. Требование развода совершенно не согласуется с ее тогдашним идеалом свободной женщины и свободной любви в духе Жорж Занд; тем более, что Мария Дмитриевна уже весной 1863 г., до поездки Сусловой за границу, была перевезена во Владимир»⁸.

Но этот диалог удостоверен Достоевским, ибо он фактически лег в основание «сцены соперниц» в «Идиоте».

«— Почему же вы разошлись, А. П., — (разумеется, с Достоевским)?

— Потому что он не хотел развестись с женой, чахоточной, „так как она умирает”.

— Так ведь она умирала?

— Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

— Почему разлюбили?

— Потому что он не хотел развестись.

Молчу.

— Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...»⁹

Как мы помним, Аглая, прототипом которой Розанов также называет Сулову, бежит из дома, где проходила встреча с Настасьей Филипповной, потому что князь на минуту поколебался и не смог бросить «несчастную» и следовать за ней. Это ее потрясло и оскорбило до нервной горячки. Наверное, Достоевский более адекватно оценивал взгляды и характер своей возлюбленной. Вот, кстати, еще одно свидетельство Достоевского из того же письма к Н. П. Сусловой: «Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня непрерывно...» (28, ч. 2, 121).

Аполлиария глубоко страдала от лжи и того неизбежно потребительского отношения к «своему предмету», которым мечено сладострастие. Вот ее знаменитое письмо к Достоевскому: «Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу...»

Что ты никогда не мог этого понять, мне теперь ясно: они для тебя были приличны. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, по-своему понимал свои обязанности и не забывал и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться, на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц»¹⁰.

⁷ Сулова Аполлиария. Годы близости с Достоевским. Репринт. М., 1991, стр. 15 — 16.

⁸ Там же, стр. 175.

⁹ Там же, стр. 14.

¹⁰ Там же, стр. 170. (Цит. по черновику с грамматическими исправлениями.)

Как мы знаем из «Дневника» Аполлинарии, Достоевский, которому она отказала в ответ на его предложение «руки и сердца», сказал ей: «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это; это женская черта»¹¹. Потом он понял, за что «мстила» она, когда описывал отношения Настасьи Филипповны и Тоцкого, который был очень удивлен, обнаружив, что «Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение» (8, 38).

Достоевский, всегда ранее «приносивший себя любовью в жертву», впервые в отношениях с Аполлинарией ощутил себя «сладострастным насекомым», но осознание этого пришло не сразу, лишь когда он понял, что она чего-то не может ему простить, что что-то в ней сломано непоправимо, понял — и чистосердечно смог обвинить в этом себя и свой грех — сладострастие.

Думаю, что, когда Достоевский рассказывал о том, что совратил девочку, он говорил не о том, что фактически произошло, и даже не о том, что виделось ему «в воспаленных мечтах», — он говорил о том, что пережил именно как опыт совращения ребенка, хотя ни по каким законам ему ничто в вину быть вменено не могло. Пережив этот опыт, он все больше и больше склонен был смотреть на всех людей как на детей, пока не сказал устами Митеньки Карамазова: «За „дите“ и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех „дите“, потому что есть малые дети и большие дети. Все — „дите“. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» (15, 31).

Почему-то мне кажется, что он и «пошел» за всех «дите», взвалив на свои плечи «ставрогинский грех», — ибо наши современники не первые, кто не находит в растлении «взрослых» ничего ужасного, а он хотел вновь поразить ужасом сердца.

И как же нелепо выглядит в таком свете любая попытка реабилитации «ставрогинского греха», любая попытка реабилитации сладострастия.

¹¹ Суслова Аполлинария. Годы близости с Достоевским, стр. 130.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

ФАДДЕЙ (ТАДЕУШ): СУПЕРАГЕНТ

И название писем и записок Ф. В. Булгарина в Третье отделение — *Видок Фиглярин*¹, и оформление обложки: лицо *фигляра*, стиснутое и обрезанное текстами агентурных донесений, — сразу же настраивают читателя на традиционно пушкинское, презрительно-брезгливое отношение к сей одиозной фигуре. Посему и инициатива издательства, решившегося на разорительное предприятие, воспринимается как крупная культурная акция, задача которой — в преддверии великого юбилея разрешить окончательно *спор славян между собою*, естественно, в пользу истца, то бишь юбиляра, и тем самым раз и навсегда пресечь попытки реабилитации его литературного недруга и антипода.

На тот же проторенный путь направляет (вроде бы?) наше любознание и составитель тома А. И. Рейтблат, не позволивший себе ни единого отступления от *«бесконечного беспристрастия»* — и во вступительной статье («Булгарин и III Отделение»), и в комментариях, составляющих добрую треть тома. Убедительно доказав, например, что Ф. В. Булгарин никогда не был штатным сотрудником Третьего отделения, а был личным агентом, в переводе на нынешний язык — консультантом господина фон Фока, «немецкого мечтателя, который свободомыслие почитал делом естественным», а смысл своего служения в жандармерии видел в том, чтобы «просвещенный образ мыслей... не совсем погиб в России», он тем не менее не утверждает, что это обстоятельство снимает или хотя бы редуцирует проблему доносите́льства. Обращаясь к потенциальным читателям подготовленной им книги, Рейтблат выражает надежду, что она «имеет не только историко-литературное, но и более общее значение, поскольку для людей, значительная часть жизни которых прошла в условиях тоталитарного полицейского государства, имеющего развитую сеть осведомителей, проблема доноса имеет отнюдь не академический характер». И это действительно так: читать письма и агентурные записки Булгарина и не сравнивать их с соответствующими материалами из новейшей российской истории: скажем, с новомирскими публикациями Виталия Шенталинского, особенно в 12-м за 1998 год номере журнала («Охота в ревзаповеднике»), — психологически невозможно. Однако тут-то и обнаруживается не только поразительное сходство, но и *дьявольская разница!* Взять хотя бы такой эпизод.

1826 год. Друзья Булгарина арестованы. Под подозрением и самый близкий — Грибоедов. Авдей Фаддеевич (один из псевдонимов Фаддея Венедиктовича) делает первые шаги в своей новой, «шпионской», профессии. Началось с разработок по общим вопросам — «О цензуре в России и о книгопечатании вообще» (май 1826 года). Впрочем, господам из Третьего отделения не до проблем книгопечатания. Дело о заговоре 14 декабря близится к финалу, и от нового осведомителя ждут уточняющих фактов. И он эти факты предоставляет.

20 июля 1826

«По сведениям, полученным из Кронштадта, между морскими офицерами возникло большое недовольство по следующему случаю... Лейтенант Лутков-

¹ «Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение». Публикация, составление, предисловие и комментарии А. И. Рейтבלата. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 704 стр.

ский переведен в Черноморский флот, за связи с Завалишиным. Какие связи? — Завалишин, после исполненной над ним сентенции, послал клоч своих волос в память Лутковскому».

23 августа 1826

«В прошлую среду, 21, госпожа Рылеева дала поминальный обед по случаю церковной службы в этот день за упокой души ее мужа, так как исполнилось 40 дней его смерти. На этом обеде присутствовали коллежский советник Мюллер с дочерьми, Жандр со своей дамой, Сомов, которого пришлось упрашивать, чтобы он пришел, и семейство госпожи Бестужевой. Журналист Булгарин был в тот же день после обеда у госпожи Рылеевой. Он сообщает, что все у нее было очень печально, но вполне пристойно, что о правительстве говорили уважительно, и особенно в речах госпожи Бестужевой высказывалось полное смирение, она говорила, что является самой несчастной из матерей, поскольку четверо ее сыновей были вовлечены Рылеевым в заговор; спасение и утешение она видит в религии».

Логика, как видим, знакомая (по известному письму Пушкина к Вяземскому от 14 августа того же года): *повешенные повешены*, а надежда на коронационную амнистию остается: а ну как смирение матери четырех сыновей тронет сердце нового монарха?

Да, конечно, и об этом темпераментно и с нажимом писал И. Золотусский («Неистовый Фиглярин» — «Новый мир», 1996, № 2): за Фаддеем Венедиктовичем и по данному пункту вроде бы грешок числится, поскольку он по требованию «силовых структур» столь точно описал внешность находящегося в бегах Кюхельбекера, что жандармские ищейки легко и скоро взяли след. Но загляните в следственные дела декабристов! Они друг на друга и не такое доносили...² Вот, наугад, в первом же снятом с дальней полки томе — из показательных подполковника барона Штейнгеля:

«До 12 числа... не приметно было никакого особенного движения в навещавших его (Рылеева. — А. М. Далее в цитате курсив мой.) членах общества, ибо он был болен. Но тут открылось решительно, что цесаревич отказывается и что ныне царствующий государь воспринимает престол. Уверенность, что государь нелюбим в гвардии и что она неохотно присягает, приметно возбудила умы и сердца. Начались частые приезды к г. Рылееву и рассуждения. Я заметил, что Александр Бестужев и Каховский... были *пламенными террористами*. Помнится мне, что именно 12 числа, пришед к Рылееву, я застал Каховского с Николаем Бестужевым говорящих у окошка, и первый сказал: „С этими филантропами ничего не сделаешь; *тут просто надобно резать, да и только...*”³

Пушкина, на его и наше счастье, чаша сия миновала, для описания особых примет *Кюхли* жандармы *Сверчка* не вызывали... А вот Лермонтова не обошла:

«Милый мой друг Раевский... Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виною твоего несчастья... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что ежели я запрюсь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать...»

А ведь Лермонтова выдержкой Бог не обидел. Однако же и он, как видим, несмотря на свою *«замечательную выдержку»*, дрогнул, как стали *допрашивать от государя!*

Иначе, чем до издания полного свода болгаринских агентурных донесений, особенно документов 1826 года, выглядит и главный пункт традиционно предьявляемого их автору общественного обвинения: добровольное сотрудни-

² Не можем не заметить, что декабристы давали показания под следствием. (*Примеч. ред.*)

³ «Восстание декабристов». Документы. Т. 14. М., «Наука», 1976, стр. 159.

чество с репрессивным режимом. Хотим мы того или не хотим, но и в этом отношении позиция Булгарина, стремящегося доказать: хотя, мол, и был коротко знаком с заговорщиками и даже публиковал сочинения их, ни бунту, ни революции не сочувствовал, — в принципе, мало чем отличается от пушкинской. Что же касается возведенной в ранг нравственной аксиомы *разности* наших эмоций (нерассуждающей симпатии к главному положительному Герою русской литературной истории и неистребимой антипатии к одному из самых замаранных антигероев ее), то разность сию, на мой взгляд, делает то, что мы, если воспользоваться образной формулировкой самого «Фиглярина», на пушкинские проступки смотрим в *уменьшительное*, а на булгаринские — в *увеличительное* стекло! Перечитайте под данным углом зрения статью Виктора Есипова «К убийце гнусному явись...» (первопубликация в первом за 1998 год выпуске «Вопросов литературы»; перепечатка в сборнике «Царственное слово», М., Ред.-изд. центр «САМПО», 1998). О том, что желает *«вполне и искренне помириться с правительством»*, ибо *«никогда... не проповедовал ни возмущений, ни революции»*, Пушкин сообщил Дельвигу уже в феврале 1826-го, то есть более чем за полгода до Кремлевской аудиенции и личного знакомства с молодым и бодрым царем, когда о реформаторских то ли намерениях, то ли настроениях Николая Павловича и слуху не было. Более того, срочный вызов опального поэта в Москву, вопреки распространенному мнению, был всего лишь ответом императора на *«всеподданнейшую просьбу»*: дозволить страждущему «аневризмой» поэту пользоваться услугами столичных докторов, то бишь заурядной коронационной царской милостью. На роль изобретателя велосипеда В. Есипов, само собой, не претендует, он лишь восстанавливает — в пакете соответствующих документов — сделанные советским пушкиноведением идеологические купюры и тем самым возвращает нас к первоисточнику, замутненному создателями «культу декабристов», — к версии П. В. Анненкова («Материалы для биографии А. С. Пушкина»): «3 сентября получено было во Пскове всемилостивейшее разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов. Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву, возвратила городской жизни».

Короче, нравится нам это или не нравится, но в опасные месяцы затянувшегося расследования гениальный михайловский сиделец ничуть не менее, чем Видок Фиглярин, обеспокоен своей участью: хватит ли у следственной комиссии материалов, удостоверяющих, что чиновник 10-го класса г. Пушкин, хотя и находился *«в короткой связи»* с *«пламенными террористами»*, к заговору *«не принадлежал»* и *«политических связей с возмутителями 14 декабря не имел»*? И чем сильнее беспокоится, тем отчетливее — дабы у перлюстраторов и тени сомнений не было — артикулирует и свою лояльность, и готовность сотрудничать с высшей властью, причем не на своих, а на продиктованных условиях: *«я готов условливаться (буде условия необходимы)»*.

Почти одновременно, в 1826-м, вступили будущие супротивники и на путь сотрудничества с новым правительством; даже темы их конкурсных сочинений почти совпали, равно как и генеральные идеи.

Булгарин, «О цензуре в России и о книгопечатании вообще» (май 1826 года): «Россия не столь просвещена, как другие государства Европы, но по своему положению она более других государств имеет нужду в нравственном и политическом воспитании взрослых людей и направлении их к цели, предназначенной правительством... Я бы вменил себе в преступление, если б умолчал о тех обстоятельствах, которые мне казались вредными правительству и доводили не только до неудовольствия, но даже до исступления пылкие умы, лишенные всякой деятельности».

Пушкин, «О народном воспитании» (октябрь — ноябрь 1826 года): «Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою

обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий».

Очевидно, что и Александр Сергеевич, и Фаддей Венедиктович перелагают своими словами императорское мнение о причинах заговора 14 декабря: не сила обстоятельств, а недостаток просвещения, — оно выражено в высочайшем Манифесте.

Известно, что болгаринские соображения произвели на Николая самое благоприятное впечатление доскональным знанием предмета, пушкинские — не понравились; о причинах можно гадать, однако не исключено, что император попросту счел их недостаточно информативными; впрочем, поэт и сам признавал, что государев заказ застал его врасплох. В составленной им записке и впрямь наличествуют соображения, словно не пушкинской рукой писанные, а со слов Алексея Вульфа⁴ наспех записанные, например такое: «Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна *полиция*, составленная из лучших воспитанников; *доносы* других должны быть оставлены без исследования... Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную *похабную рукопись* положить *тягчайшее наказание*; за *возмутительную* — *исключение из училища*».

Словом, в тайном конкурсе на роль тайного советника государя императора в первом туре и с первой попытки выиграл не Пушкин, а Булгарин, что и следовало ожидать. Расправившись с декабристами, Николай фактически начал тридцатилетнюю войну с главным внутренним врагом — госаппаратом. А это уже не *сто прапорщиков*, вздумавших изменить общественный строй России, а тысячеглавая гидра, тихой сапой изготовившаяся к «звериному сопротивлению». Закавыченные слова — из работы Н. Эйдельмана «„Революция сверху” в России»; там же описаны стратегия и тактика этого сопротивления: «Умело, мастерски они топили все сколько-нибудь важные антикрепостнические проекты, для чего имелось несколько надежных способов. Затянуть, отложить в долгий ящик, передать бюрократическим комиссиям и подкомиссиям». А ежели царь упорствовал, изобретались и предлагались на высочайшее соизволение «проекты заведомо неосуществимые» («Наука и жизнь», 1989, № 1). Для ведения затяжной гражданской войны на два фронта: по предупреждению «политического терроризма», с одной стороны, и для подавления саботажа госаппарата — с другой, Николай и создал (в 1826 — 1827 годах) — по примеру великого пращура — альтернативную управленческую систему, то есть Третье отделение, причем с самого начала главным направлением деятельности новосозданного управления стала борьба с злоупотреблениями в средних и низших эшелонах административной власти. В этой специфической ситуации Фаддей Венедиктович Булгарин не мог не оказаться «мобилизованным и призванным»: во всей России не было человека, который знал бы, как к о н, все хитрости и тонкости делопроизводства в чиновничьем государстве в государстве, все тайные пружины несокрушимого механизма, включая и действующий персонал. И знал не из вторых рук и не по слухам. В течение десяти лет, будучи поверенным своего родственника, у которого чиновники незаконно «увели» огромное имение, он в одиночку сражался с российским административным голиафом — и не только выиграл безнадежную тяжбу и получил обещанный процент за услуги, но и приобрел уникальный опыт.

⁴ Сравните процитированный ниже фрагмент со следующей записью в «Дневниках» А. Н. Вульфа (приписка от 8 июля 1828 года): «Надобно побывать самому в таком корпусе, чтобы иметь понятие о нем. Несколько сот молодых людей всех возрастов, от семи до двадцати лет, заперты в одно строение... в нем какой-то особенный мир: полуказарма-полумонастырь, где соединены пороки обоих. Нет разврата чувственности, изобретенного сластолюбием Котона и утонченного греками... которого не случалось бы там, и нет казармы, где бы более встречалось грубости, невежества и буйства, как в таком училище русского дворянства!»

И сам Николай, и его альтернативный голубой генералитет (в лице Бенкендорфа и Дубельта) могли сколько угодно презирать и заведующего Особенной канцелярией императорского идеалиста, остзейского педанта фон Фока, и его личного суперагента Фаддея Булгарина, но обойтись без информационных услуг последнего не получалось. Отсюда и преимущественный характер даваемых Булгарину особых поручений; львиная доля собранных, атрибутированных и откомментированных А. И. Рейтблатом доносных булгаринских документов — аналитические досье на чиновников николаевской администрации, которые его патрон М. Я. фон Фок собственноручно переписывал каллиграфическим почерком для «Секретной газеты» (ввиду государственной важности собираемой информации в Третьем отделении услугами профессиональных переписчиков пользоваться не дозволялось).

На заре перестройки Натан Эйдельман, в порядке интеллектуального допущения, предложил к размышлению парадоксальный вариант развития заговора 14 декабря: дескать, если бы заговорщики, вместо того чтоб осаждать Зимний и «обнажать цареубийственный кинжал», взяли штурмом «присутственные места», «захваченный мятежными полками госаппарат... тут же приказал бы всей Руси разные свободы: конституцию и отмену крепостного права. И что бы после этого ни случилось, смута, монархическая контрреволюция, народное непонимание, борьба партий и группировок — многое было бы уже абсолютно необратимо».

Если бы нечто подобное произошло, господина Максимилиана фон Фок, учредитель и редактор «Секретной газеты», и постоянный ее корреспондент Фаддей Булгарин наверняка вышли бы в лидеры новой журналистики. Во всяком случае, читая здесь и сейчас этот уникум, этот созданный сотрудниками Жандармского корпуса «колокол» до «Колокола», то и дело ловишь себя на мысли, что лица и положения булгаринских репортажей и аналитических работ поразительно современны. Коррупцированные чиновники, хитроумные способы присвоения казенных средств, некомпетентность администрации, плутни таможенников, поголовное взяточничество и воровство, воровство без конца и без края... И все это несмотря на всеобщий и неподдельный трепет перед августейшим ревизором! Даже у генералов нынешних РВС, пользующихся бесплатной рабвоенсилой на своих дачных участках, и у тех, как явствует из «Секретной газеты», имеются предшественники. Не верите? Цитирую: «...инженерные офицеры производят работы своими лошадьми, берут себе первые деньги за мнимых подрядчиков и из хорошего леса строят дома солдатами и возделывают ими же свои сады и дачи».

А сколько печально памятных ассоциаций вызывает горестное упорство, с каким Булгарин, редактор и владелец единственной на всю империю частной общественно-политической газеты «Северная пчела», добивался либерализации цензурного Устава 1826 года! Устав не устраивал всех: читателей, издателей, сочинителей, равно правых и левых стеснял, до немоты и бессильной ярости. Но пока другие насмешничали, ёрничали, злились в узком своем кругу, Фаддей Венедиктович, рискуя раздражить-разгневать и высших сановников, и самого государя, инициатора основных положений цензурного Установления, добился-таки его перемены. И кто знает, состоялся бы золотой век нашей словесности, кабы не отчаянная настырность Булгарина: не жди, пока капля камень проточит, при напролом, плюнут в глаза — Божья роса, утрись, отряхнись да и гни свое: Карфаген должен быть разрушен...

Кто-то из классиков марксизма-ленинизма не без ехидства заметил, что роль поляков в истории — смелые глупости. В этом смысле Фаддей Булгарин был истинным поляком: он не уставал убеждать российское правительство, что управлять западными провинциями, не учитывая особенностей «духа и характера польского народа», — значит своими руками подготавливать *возмущение*. Вот что писал он в аналитической разработке для «Секретной газеты» еще в 1828-м, за три с лишним года до роковой революции: «Несчастия перероди-

ли нацию... Последние происшествия в Польше пред последним разделом сего края обнаружили великие таланты, древние рыцарские характеры и пробудили воинственный дух поляков... Костюшкина революция или, лучше сказать, вооружение доказало, что поляки любили свое отечество более, нежели другие народы, поглощенные впоследствии Франциею... Не стало Польши — но остались славные воспоминания, осталась история, богатая великими подвигами, и литература, первая между всеми славянскими народами. Когда у народа есть история и литература, он никогда не забудет своего существования. Любовь к отечеству сделалась страстью наследственной, поддерживаема будучи весьма сильными причинами. Богатые и знатные фамилии лишились всякого уважения и влияния на дела публичные... Крестьян обременили казенными податями, которых они прежде не знали, и заставили заниматься публичными работами и давать рекрут. Русские чиновники без просвещения терзали все состояния. Даже просвещенные были ненавистны своею гордостью, наслаждаясь уничижением прежних польских магнатов... Отечество, народность как обольстительные фантомы утешали воображение будущими надеждами. ...Врожденная любовь в поляках к отечеству и народности столь велика, что ни узы привязанности к доброму Царю, ни самая благодарность не удержали их от присоединения к французской армии, когда думали, что это последний шаг к восстановлению отечества».

Не уверена, что фон Фок, заноса безрассудства Булгарина в особую папку с грифом «Совершенно секретно», доводил их, все до единого, до сведения Николая; может, по инстинкту архивариуса прибирал и сохранял «крамолу» в надежде на «читателя в потомстве»? В расчете на суд Истории?

В том, что булгаринские соображения по самому острому в николаевской империи нацвопросу — польскому — были не ко двору императору, и сомнений нет. Но Пушкин? Спор славян между собой?

«Чтобы вообразить картину ужаса штурма по окончании оною, надобно было быть очевидным свидетелем. До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, жидов, монахов, женщин и ребят. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятя таковым позорищем... Поляки потеряли на валах 13 тыс. человек, из которых третья часть была цвет юношества варшавского; более 2 тыс. утонуло в Висле... умерщвленных жителей было несчетно».

Впечатляет? Еще бы! Особенно эффектно рифмуется со штурмом Грозного — сто лет спустя! А ведь свидетельствует не поляк и не закоренелый либерал, а рядовой армейский офицер русской службы Л. Н. Энгельгардт, хладнокровный участник многих сражений... А теперь попробуйте втиснуть поразившую Энгельгардта картину варшавского разора в изобретенную Пушкиным схему русско-польской распри: «Кичливый лях иль верный росс»⁵. Лично у меня не получается...

Не знаю, надеялся ли Булгарин на то, что столпы Великой Империи вникнут в суть его доводов: политика России в отношении Польши — неумна, бездарна и ничего, кроме ненависти к русским, произвести не в состоянии. Наверное, не надеялся, но и унять не мог — и понимал, что не молчит во вред себе, а не мог. Даже в 1831-м, когда Варшава вновь возмутилась и сочувствие — не к мятежникам, всего лишь к лицам возмутительной национальности — квалифицировалось как государственное преступление, продолжал говорить... Естественно, не публично, а все в той же «Секретной газете». Был, однако, и в его жизни день, когда он смалодушничал. Получив подметное пись-

⁵ О позиции Пушкина в этих обстоятельствах см. статью Ольги Муравьевой «„Вражды бессмысленной позор...“. Ода „Клеветникам России“ в оценках современников» («Новый мир», 1994, № 6). (Примеч. ред.)

мо — обращение Польского Национального комитета к русским вольнодумцам за помощью и содействием, — тут же переправил опасный документ в сыскное место: отмежевался от экстремистов!

Впрочем, не только естественный страх за возлюбленное семейство и за себя немало любимого вынуждал Булгарина забывать об интересах многострадальной отчизны. При всем своем врожденном патриотизме он (не часто, но иногда) жертвовал и этой печальной любовью, если страсть к отчизне вступала в конкуренцию с другой его страстью, еще более могучей — неистовым рвением к своему газетно-журнальному делу и прежде всего к «Северной пчеле». Булгарин вообще был человеком газеты или, как тогда говорили, «олицетворенная газета». Дабы трудолюбивая «Пчелка» могла беспрепятственно, не страшась конкурентов, собирать мед информации в садах и полях российской существенности, пчеловод шел на все. Подхалимничал перед сильными мира сего, клеветал на конкурентов — глупо, облыжно и — что самое чудное — неизобретательно: всех до единого — от П. Вяземского до Н. Полевого — обвинял в либерализме. Словом, учуяв один лишь запах потенциального конкурента, терял весь свой ум и в пароксизме ревности не замечал, что кусает самого себя, истребляя те самые ростки свободомыслия и предприимчивости, какие с таким трудом пытался укоренять на российских подзолах... Казалось бы, кому, как не ему, зачинщику противоцензурной кампании 1826 — 1828 годов, поддержать А. Краевского, редактора «Отечественных записок», придумавшего остроумный способ способствовать продвижению журнальных статей через рогатки цензуры. Так нет вам! Ополоумев от зависти к удачливому сопернику (4000 подписчиков!), катит телегу на самый верх, доводя до сведения властей, что проходимец Краевский печатает *приписанных* к «Запискам» цензоров и тем усыпляет их бдительность.

Однако и партия супротивников Видока и Фигляра не очень-то шепетильничала. От одних лишь намеков Пушкина на женитьбу Булгарина (Фаддей Венедиктович был женат на племяннице содержательницы публичного дома) не по себе становится.

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Кто ж он в семье своей почтенной?
Он?.. он в Мещанской⁶ дворянин.

(«Моя родословная»)

После столь странной, неприличной в порядочном обществе выходки, что бы ни сделал Булгарин, мое сочувствие, увы, на его стороне. Кстати, именно так рассудил и Николай; на сообщенном ему списке «Моей родословной» царь оставил следующую замету: «Всякая брань бесчестит того, кто произносит ее, а не того, на кого направлена она. Оружие против нее — презрение. В сатирах П. можно найти ум, но еще более желчи. Для чести его пера, а особенно для чести его рассудка лучше было бы, если бы остались они в неизвестности» (оригинал по-французски; перевод П. Анненкова).

⁶ Свообразием старого Петербурга было то, что «непотребные заведения» располагались здесь не на окраине, а в непосредственной близости от аристократических кварталов и Невского проспекта. На Мещанской улице, например, большинство квартир первых этажей занимали пресловутые «меблированные комнаты», весьма популярные у столичных любителей «клубнички». Когда один из завсегдатаев веселых домов, Федор Павлович Вронченко, был назначен Николаем I на пост министра финансов, Мещанская возликовала: все окна первых этажей были иллюминированы, а особы соответствующего поведения, нарядившись как в праздник, высыпали за ворота и охотно объясняли прохожим: «Мы радуемся повышению Федора Павловича». Не исключено, что сюда же, к камелиям с Мещанской, «звал однажды» Рылеева и барон Дельвиг («Д. звал однажды Рылеева к девкам. „Я женат“, — отвечал Рылеев. — „Так что же, — сказал Д., — разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?»». — А. С. Пушкин, «Table talk»).

Пушкин царственного цензора как бы и не ослушался, в печать «Родословную» не отдал (опубликована полностью только в 1846 году, в «Отечественных записках»), однако в списках сатира на Фиглярина была известна всему Петербургу, что, естественно, примирению не способствовало, а лишь раздувало *затаившийся пожар*... Разительный пример — знаменитое письмо Пушкина к Михаилу Погодину от 7 апреля 1834 года — бешеное, раскаленное яростью добела, хотя повод для распадения пустяковый. Погодин, только что избранный секретарем Общества любителей словесности при Московском университете, попросил Пушкина принять в нем участие — прислать для обсуждения новые стихи. А тот, узнав из газет, что любители избрали в почетные члены не только его, но и Фаддея Венедиктовича, рассвирепел и отчитал почтенного профессора: «Общество любителей поступило со мною так, что никаким образом я не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в члены вместе с Булгариным, в то самое время, как он единогласно был забаллотирован в Английском клубе (Петербургском) как шпион, переметчик и клеветник, в то самое время, как я в ответ на его ругательства принужден был напечатать статью о Видоке... Воля Ваша: эта пощечина...» Впрочем, излив всю свою желчь, по обыкновению смягчился и закончил сердитое письмо почти элегически: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег; охота являться перед публикою, которая Вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали Вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не по-матерну. Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок».

Увы нам: *«если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь»*. А ежели ее поискать...

Во-первых, Общество любителей, как и университет, — объединение внесловное, и мнение аристократического Английского столичного клуба ему не указ.

Во-вторых, в глазах ревнителей отечественной словесности появление «Ивана Выжигина» — первого русского оригинального романа, крайне занимательного для простой публики, которая читает много, но только по-русски, — и впрямь было событием первостепенной важности, кстати, именно так оценит его в недалеком будущем В. Г. Белинский.

В-третьих, хотя Пушкин и назвал «Выжигина» «скучным» («беда, что скучен твой роман»), это не помешало ему найти в нем и начало для «Дубровского» (описание уклада троекуровской усадьбы сильно смахивает на вольный перевод с полупольских причуд пана Гологордовского, в поместье которого начинается история русского Оливера Твиста, то бишь сиротки Выжигина-старшего), и сюжет со стационарным зрителем⁷, и даже праинтригу «Метели» (бегство возлюбленной пары, красавицы панночки и русского офицера, тайное венчание сначала в маленькой деревенской церкви по православному обряду, а затем в доме ксендза — по католическому).

⁷ Булгарин: «Объявив ответ» (на гневное требование проезжего офицера, который едет не один, а с похищенной и спрятанной в повозке панной), что нет лошадей, стационарный смотритель продолжает: «Не угодно ли отдохнуть немного и откусать моего кофе, а между тем лошади придут домой».

Пушкин: «...проезжий... в военной шинели... вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать?»

Впрочем, не исключено, что Пушкин осерчал на «Выжигина» еще и потому, что на первых же страницах обнаружил две пренеприятные шпильки в свой адрес. Представляя нам своего героя, ясновельможного пана Гологордовского, Булгарин не без иронии замечает, что сей господин «гордость свою... основывал на древности своего рода, которую доказывал не историческими доводами о знаменитых подвигах, но судебными протоколами, в которых записаны были, в течение четырехсот лет, жалобы на разбой его предков и решения, осуждающие их на виселицу», а посему оказывал «особое презрение и ненависть... к тем, которые сами составили себе имя честным образом, а не получили его от предков».

В-четвертых, как и выяняется в последних строках разгневанного письма, дело не только в Булгарине как таковом. Прочный успех рыночных романов, помноженный на не менее успешные газетно-издательские предприятия торговой партии, наводил Пушкина на весьма печальные размышления о том, что литература элитарная на массовые тиражи рассчитывать не может, а значит, будущее литературной промышленности — в руках успешливых, оборотистых, хорошо знающих законы «вшивого рынка» королей Гостиного двора. А все вместе взятое невольно возвращало поэта к началу его разлада и с веком, и с публикой, и с критикой: к истории «Бориса Годунова», к которой волею случая оказался прицеплен злополучный Фаддей.

...«Комедию о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» Пушкин начал читать сразу же по возвращении в Москву — в сентябре 1826-го. По рукописи, в узких дружеских кругах. Николаю, который только что (8 сентября) пообещал поэту, что отныне будет его единственным цензором, об этом, естественно, доложили, и он, само собой, счел сие непозволительным, о чем Бенкендорф и сообщил автору комедии (22 ноября). Александр Сергеевич не мешкая переправил рукопись Александру Христофоровичу, приложив к ней сопроводительное письмо. Николай, ознакомившись якобы только с письмом, отписал шефу жандармов следующее: «Я очарован слогом письма Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы дело не распространилось».

Тут что ни положение, то загадка, к тому же писанная симпатическими чернилами... Почему Бенкендорф сразу же не переслал царю рукопись, ограничившись приложенным письмом? И как царь мог прийти к выводу, что дело не должно распространяться, если ничего про «Комедию о Царе Борисе...», кроме сопроводительной записки, не знает? Осмелюсь предложить гипотетическую расшифровку шарады.

А что, если император прочел не только письмо, но и пушкинскую рукопись? Или хотя бы пролистал. Ведь фразу: «Мне очень любопытно прочесть его сочинение», которую по традиции читают как: «Мне было бы любопытно прочесть его сочинение», можно, на мой взгляд, истолковать и иначе: дескать, прочел, но... подписывать комедию о смуте в печать в ситуации смутной осени 1826 года ему не хотелось бы. Следовательно, необходимо было сделать такие замечания по тексту, чтобы, не ссорясь с автором, заморозить «Бориса» до более спокойных времен... Сам государь на такую тонкую работу был, разумеется, не способен, ведь он не только ничего не понимал в поэзии, стихотворная речь вызывала у него аллергию настолько сильную, что его домашние вынуждены были утаивать от Николая даже стихи, сочиненные наследником!⁸ Дабы выпутаться из затруднительного положения, царь и просит самого верного из своих пашей сыскать кого-нибудь, умеющего держать язык за зубами, дабы дело не распространялось, для составления выдержки, то есть соответственно подготовленных замечаний. Бенкендорф пораскинул мозгами — выбрал Булгарина, и тот мигом исполнил щекотливое поручение. Во-первых, реабилитировал Пушкина в политическом отношении («дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе»). Во-вторых, разъяснил царственному заказчику внутренней рецензии цель рецензируемой «пьесы»: «исторические события... в нравах своего века». В-третьих, дипломатично не отказав сочинителю в таланте («некоторые места истинно занимательны и народны»), нашел крайне убедительный предлог для отказа в цензурном раз-

⁸ Булгарин свидетельствует: «Говорят в городе, что Государь прислал Наследнику турецкое оружие и бунчуги, взятые атаманским полком, и что Наследник сочинил на этот случай четверостишие... Говорят, что Императрица Мария Федоровна была сим тронута до слез, но по совету с придворными запрещено о сем доносить Государю, будто для того, чтоб не огорчить Государя, который якобы смертельно не любит стихов» (выделено Булгаринным).

решении на немедленную публикацию. Дескать, в настоящем виде набросанные господином Пушкиным драматические сцены похожи на «вырванные листы из романов Вальтера Скотта» — пусть, мол, Александр Сергеевич попотеет-потрудится: соберет разодранное-разбросанное...

За Вальтера Скотта Николай и зацепился, написав на основании составленной Булгариным «выдержки» известную резолюцию: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта».

Не думаю, что, составляя «Замечания на „Комедию о Царе Борисе...“», Фаддей Булгарин был озабочен одним лишь стремлением потрафить заказчиком. Утверждая, что в пьесе Пушкина *нет ничего целого* и что *связь между сценами отсутствует*, он наверняка искренне выражал свое мнение. Мнение профессионала, целиком принадлежащего вкусам своего времени, о произведении, свое время обогнавшем. Кстати: замечания Булгарина поразительно похожи на замечания А. С. Суворина о чеховской «Чайке»: «...в пьесе... мало действия, мало развиты интересные по своему драматизму сцены и много дано места мелочам жизни, рисовке характеров неважных, неинтересных». В Суворине вообще много общего с Булгариным, его коммерчески успешливая газета «Новое время» — законная наследница и продолжательница «Северной пчелы», и он, видимо, это вполне осознавал; во всяком случае, Алексей Сергеевич Суворин — единственный из крупных литераторов конца века, кто осмелился опротестовать общий приговор суперагенту Третьего отделения, и притом с самой неожиданной стороны. Я имею в виду следующую запись в суворинском «Дневнике»: «В „России“ сегодня прегнусная статья обо мне с намеками самыми облыжными...» Или вот эти строки из той же статьи (№ 182): «„Дубельт и Бенкендорф презирали Булгариных“ и Гречей, которые по их приказу душили всякую живую мысль на Руси, но не могли презирать, хотя, может быть, и ненавидели врагов своих, носителей этой мысли, — Пушкиных, Лермонтовых, Белинских». Если такая сволочь, как Дубельт и Бенкендорф, презирают кого-нибудь, то это совсем не беда. Я думаю, что Греч и Булгарин и ненавидели их, и презирали». Не правда ли, прелюбопытный разворот: Булгарин, в глубине души, тайно, молчком презирающий своего высокого покровителя — А. Х. Бенкендорфа? Хотя и такое не исключено... Как не исключено, что знаменитая фраза Антона Чехова — никогда-де не писал ни стихов, ни доносов — целит в подтексте в Суворина, точнее, в его слишком уж особое мнение о Булгарине.

Но вернемся в год 1826-й. Догадывался ли Пушкин, кто был литературным консультантом царственного цензора? Скорее всего тогда, в 1826-м, не догадывался, уж очень трудно было допустить, что царь остановит выбор на столь ничтожной, с его, Пушкина, точки зрения, фигуре. Сообразил позднее. В 1829-м, когда один из умных сановников, получив от Бенкендорфа, на экспертизу, булгаринский донос на литераторов либеральной ориентации, вычислил-узнал по ушам — Фаддея.

...Подводя итоги и многолетней работе, и долгим размышлениям о судьбе Фаддея Булгарина, о его тягательстве с «пушкинской партией», А. И. Рейтблат пишет: «Проиграв (Булгарину. — А. М.) при жизни, „литературные аристократы“ победили после смерти».

А вот на мой взгляд, в этой драматической междоусобице, в этой вечной войне литературы массовой с ее элитарной врагиней, в этой расправе коммерсантов и просветителей, в этом соперничестве Онегиных и Выжигиных за власть над сердцем и кошельком государыни Публики победы, может быть, и были, а вот окончательных победителей нет, ибо каждый из временно победивших в конце концов убеждался, что его торжество куда больше похоже на поражение.

В. Э. ВАЦУРО



«ВИДОК ФИГЛЯРИН»

Заметки на полях. «Писем и записок»

Выход в свет сборника «Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение», объемом в 700 страниц, снабженного вступительной статьей, обширным научным аппаратом, — событие, значение которого будет осознаваться все яснее, по мере того как он будет входить в культурный обиход.

Появлению этой книги предшествовала более чем десятилетняя работа ее составителя А. И. Рейтблата с архивными и печатными источниками биографии Булгарина, — труд огромный и кропотливый, о котором, может быть, и не подозревает читатель, видящий только его результат. Результат же этот еще рано оценивать в деталях — с точки зрения убедительности атрибуций, тех или иных трактовок и т. д. и т. п.: его предстоит еще изучать и анализировать коллективными усилиями историков, социологов, литературоведов. Сейчас же они должны принести дань благодарности тому, кто открыл им возможность для такой работы. Впервые материалы секретных записок Булгарина в III Отделение (часть которых была уже известна) предстают в едином комплексе, рисуя впечатляющую панораму социальной, экономической, культурной жизни николаевской России на протяжении четверти столетия. Творец этой панорамы, которому принадлежит отбор фактов, их понимание и освещение, который наложил свою субъективную печать на все без исключения публикуемые в книге документы, — Фаддей Булгарин, «Видок Фиглярин» пушкинских памфлетов и эпиграмм, фигура одиозная в русской культурной истории, без которой, однако, нельзя представить себе самую эту историю, по крайней мере во второй четверти XIX века, в пушкинскую эпоху.

В предисловии А. И. Рейтблат выражает надежду, что изданная им книга «будет способствовать более глубокому пониманию мотивов и характера деятельности людей Николаевской эпохи и переходу от моральных оценок (типа порядочно/непорядочно) к историко-социологической интерпретации их намерений и поступков».

Это суждение очень точно обозначает принципиальное методологическое значение его труда. Оно полемично: до сего времени доминантой в наших представлениях о Булгарине остается его моральная репутация «доносчика», «агента III Отделения», «продажного журналиста». Имя «Фаддей Булгарин» («Видок Фиглярин») после памфлетов и эпиграмм Пушкина и Вяземского стало нарицательным обозначением всех этих качеств и постоянно использовалось в литературно-общественной полемике. Литературная историография унаследовала эту традицию, которая подсказывала и отбор тем для изучения, и угол зрения. К Булгарину подходили с «презумпцией виновности»; лучшие, наиболее документированные работы о нем, отчасти раскрывающие его собственную позицию, были посвящены полемике с ним Пушкина или его борьбе против Пушкина в 1830 — 1831 годах. Его собственная литературно-общественная и журнальная деятельность привлекала к себе внимание социологического литературоведения в конце 20-х — начале 30-х годов (П. Н. Сакулин, В. Ф. Переверзев, В. А. Покровский, М. Гельфанд); но первые ростки социологического изучения увяли довольно быстро, и на авансцену вновь вышли критики и публицисты, пользовавшиеся именем Булгарина как метафорой для решения своих собственных литературных, общественных и полемических задач. Материалы, обнародованные А. И. Рейтблатом, важны уже одним тем,

что они показывают абсолютную безнадежность поверхностной актуализации истории («смотрите, все как у нас!»), применения к ней шаблонов современного массового сознания, «тоталитарного» или «демократического» (они почти не отличаются друг от друга) и неизбежность перехода к углубленному изучению ушедшей эпохи, исторической мотивации поведения людей, ей принадлежавших. Для решения вопроса о том, хорошо или плохо доносить, не нужно тревожить тени — великие они или малые, — и в этом смысле название книги неудачно, ибо оно провоцирует подобный подход, против которого возражает сам А. И. Рейтблат. Секретная записка в III Отделение — не всегда донос, а что она такое — зависит от ее содержания и мотивации. Нелепо считать доносом записки, поданные Бенкендорфу сидевшими в крепости «государственными преступниками» Г. С. Батеньковым, А. А. Бестужевым или А. О. Корниловичем с обзорами недостатков в структуре государственных учреждений и состоянии общества в последние годы александровского царствования, породившего возмущение 14 декабря. Прямо переключается с ними письмо Пушкина Бенкендорфу от 19 июля — 10 августа 1830 года (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 252 — 255). За этими документами стоит типичная для времени просветительская программа воздействия на правительство — программа не политическая, а социальная, предметом которой является не форма правления, а общественная жизнь. Николаевское правительство было заинтересовано в таких анализах: оно стремилось уяснить себе истоки и причины возмущения и принять превентивные меры.

Правительству нового царя нужны были не осведомители — их у него было вполне достаточно, — ему нужны были эксперты, и в их числе эксперты из рядов прежней оппозиции, которых оно стремилось нейтрализовать и привлечь к себе. Николай вернул Пушкина и дал Денису Давыдову службу, которой тот безуспешно домогался многие годы. И он устранил Аракчеева и Магницкого. Это была политика. Некогда ее упрощали, объясняя «обманом», «лицемерием»; потом стали доказывать, что Николай освободил Пушкина по медицинским соображениям, — версия, конечно, не заслуживающая серьезного обсуждения.

Пушкинская записка «О народном воспитании» была прямо заказана Николаем — и чтобы выслушать мнение Пушкина, и чтобы оценить самое мнение.

Несколько ранее — в апреле 1826 года — пишется записка А. А. Перовского (Погорельского), известного писателя, тогда попечителя Харьковского учебного округа, также посвященная «воспитанию юношества»; в середине мая Булгарин подает в III Отделение записку «О цензуре в России и о книгопечатании вообще».

Все это не случайные совпадения.

Проблема заключается в существовании предлагаемых правительству программ; сравнительный анализ записок Пушкина и Перовского был произведен Н. Эйдельманом («Пушкин. Из биографии и творчества. 1826 — 1837». М., 1987, стр. 96 и след.). Разность их предопределяла отношение к ним новой власти.

Программа Пушкина оказалась для нее неприемлемой; программа Булгарина в большей степени (хотя и не во всем) соответствовала ее видам. В ней обрисовывались контуры концепции «консервативного демократизма», близкого будущей «официальной народности» Уварова. Именно эта концепция станет идеологической основой «нравственно-сатирического романа» Булгарина, его критики и публицистики в «Северной пчеле». Во многом на ее основе вырастала и самая эстетика, провозглашаемая Булгариным с печатных страниц.

Книга «Видок Фиглярин» дает бесценный материал для исследования этой позиции: ее возникновения, эволюции, конкретного воплощения, ее исторической продуктивности или непродуктивности, наконец, ее соотношения с официальной политикой власти.

Да не покажется странным утверждение, что, не поняв и не изучив социальную концепцию Булгарина, мы не увидим и принципиального смысла его борьбы с Пушкиным и пушкинским кругом, которая вовсе не сводилась к обмену памфлетами и оскорблениями, ни даже к выявлению тайных связей «Видока Фиглярина».

Это было противостояние двух органически враждебных мировоззрений и эстетических систем, модусов литературного и социального поведения, принявшее в 1830 — 1831 годах формы открытого столкновения. Оно не могло не произойти. Под пером Булгарина рождалось то, что позднее стали называть «массовой культурой», — литература для неискушенного читателя с социальной дидактикой, обнаженной прямолинейностью характеров и конфликтов.

«Что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? — иронизировал Пушкин. — Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под. Г. Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак Глаздуриным и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова Хлопоухиным, Дмитрия Самозванца Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною Шлюхиной; зато и лица сии представлены несколько бледно».

Архаическая эстетика сатирической словесности XVIII столетия громко и агрессивно заявляла о себе со страниц монополюбно властвовавшей в журналистике булгаринской «Северной пчелы», — она направляла литературно-критические суждения издателя, она воспитывала читательский вкус, она претендовала на первенствующее положение в литературе. В этом эстетическом пространстве художественным исканиям Пушкина и его соратников просто не было места. Это был конфликт «массовой», «коммерческой» литературы и литературы «элитарной», «аристократической» (термин неточен; в него вкладывается полемический смысл); проблема взаимоотношений «словесности и коммерции», которой также — и весьма успешно — начинала заниматься наша литературная социология еще в конце 20-х годов. Она чрезвычайно сложна и многоаспектна; с ней тесно связана проблема профессионализации литературного труда, возникновения и дифференциации читательской аудитории, истории книгоиздания и книжной торговли.

Булгарин находился в самом центре этих процессов демократизации и коммерциализации литературного дела, и вклад его в то и другое был значителен, — но он же и открывал пути к вторжению рынка в область эстетики. Предметом продажи становилась не только «рукопись», но и «вдохновение», говоря словами Пушкина. Антагонизм Булгарина и «литературных аристократов» выросал на этой почве.

Книга А. И. Рейтблата не дает достаточного материала для изучения этих процессов. Он, однако, посвящает им несколько страниц во вступительной статье. Признаемся, они производят на нас досадное впечатление. Автор стремится реабилитировать Булгарина-романиста и снимает при этом вопрос о художественных качествах «Ивана Выжигина»; для него это — «вопрос вкуса»: «Тысячи читателей оценивали их достаточно высоко»; негативная реакция на роман (Пушкина, Баратынского, Вяземского и других) объясняется ни много ни мало соперничеством и завистью к коммерческому успеху.

Более упрощенную картину трудно себе представить. История литературы — это именно борьба и смена «вкусов» и ценностных ориентаций, вне этих категорий она есть история письменности, где любой графоман не отличается от Шекспира. Апелляция к «вкусу» многих читателей расшифровывается примерно так: вам, г.г. Пушкин и Баратынский, не нравится, а вот г.г. Скотинины и Простаковы читают с удовольствием, и семействами; стало быть, против ваших двух ихних десять голосов. Роман Булгарина потому и был популярен, что не содержал художественных открытий и представлял собою занимательное чтение для читателей, воспитанных на сатирической журналистике полувековой давности, к тому же снабженное прямыми дидактичес-

кими комментариями автора. Об этом и говорит Пушкин в процитированном пассаже из фельетона «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», и смысл фельетона именно в уравнивании Булгарина с автором «низовых» полулубочных романов по признаку читательской популярности. Эта ассоциация Булгарина очень задевала: он претендовал на место в «большой литературе».

Вопрос о том, «кто победил» в этом споре, имеет основание, но ставиться и решаться он должен совершенно иначе.

«Золотой век» русской литературы после смерти Пушкина стал быстро уходить в прошлое. Наступала новая эпоха, в которой профессионалам журналистам и коммерческим литераторам принадлежала более важная роль. Эта эпоха отвергла многое из абсолютных эстетических ценностей, созданных пушкинским временем, и востребовала кое-что из литературного арсенала Булгарина. Что именно она взяла — мы знаем лишь в общих чертах. И здесь мы вновь должны вернуться к книге А. И. Рейтблата.

Она является очень важным шагом к полной — литературной и личной — биографии Булгарина. Без такого исследования вся история русской литературы первой половины XIX века предстает в обедненном виде.

Биография Булгарина — это биография «Северной пчелы», «Сына отечества», «Литературных листков», «Северного архива» и даже отчасти «Библиотеки для чтения».

Это — заполненные лакуны в биографиях Грибоедова, Рылеева, Бестужева, Пушкина, Баратынского, Дельвига, Некрасова и Адама Мицкевича.

Это практически неизвестный читателю комплекс романов, повестей (часто очень удачных), очерков нравов, темпераментных и иногда блестящих критических статей, фельетонов и мемуаров.

И это впечатляющая, глубоко поучительная и актуальная для последующих эпох история постепенной эволюции личности — от либерализма к конформизму, от конформизма к добровольному сотрудничеству с властью, от сотрудничества к официозу, от официоза к доносу. Не будем забывать, однако, что любая общественная личность шире своей репутации и что мотивы ее индивидуального и социального поведения требуют внимательного и осторожного подхода, — только тогда они становятся достоверным историко-психологическим материалом, позволяющим потомкам заглянуть за кулисы прошлого и извлечь уроки для настоящего и будущего.

С.-Петербург.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ — РАССКАЗЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТ

Из «Литературной коллекции»

Я разбираю здесь два сборника рассказов. Один — «Заколдованные деревни», 1927, когда ещё удавалось порой напечатать смелости о советском быте. (Этот сборник впервые попал мне в руки в лубянской камере, в 1945, и дал мне сильный толчок чувств. Другой раз, освежить впечатление, я взял его в Штатах, в 1991.) И второй — сборник Худлита 1988, первоначально после полувекового проклятия и запрета автора.

И как ещё робок, оглядыв этот сборник времён оглушающей Гласности: лучшего из 20-х годов он так и не смеет печатать. Зато в эти «Избранные произведения» — в виде какого-то ли политического оправдания, включён слабый дореволюционный рассказ-этиюд «Русская душа» (1916). И название агитационное (под ним и печатался в журнале Короленки), и никакого отсвета, что уже два года идёт великая война; священник — без молитв, без служб, одно обжорство; и прямое разъяснение автора: «здесь жили безо всякого напряжения воли, без всяких усилий для борьбы» — да и по роману «Русь» такой нетворческой, ненапряжённой, недеятельной Романову и виделась Россия своих последних лет. (Этот этиюд — заготовка к «Руси».) Однако, поставленный рядом с уплотнённым комом острых рассказов советского времени, этот этиюд невыгодно представляет то традиционное, истощённое до бесплодности разоблачение дореволюционного русского быта — в бурном потоке нелепостей новонаступивших. Кто из «освобожденчества», кто из художественного модернизма — сколько авторов начала XX века не углядели здоровых и важных изменений, происходивших тогда в России.

По тому ли, что жизнь П. Романова обошли стороной и германская война, и гражданская, и все крупные события революционных лет, а скорей по тому, что на крупных сюжетах он предвидчиво избегал столкнуться с советской цензурой, ещё же верней — по природной склонности своего писательского дара, богатого юмором, — П. Романов сразу стал зорким, вернейшим бытописателем советского времени в его самых частных, мелких, житейских бытовых осколках. У него — открыты, вбирчиво открыты глаза и уши, — и он даёт нам бесценные снимки и звуковые записи, которых нигде бы нам не собрать, не найти. И тем достовернее их свидетельство, что они писались и печатались по самому горячему следу протекающей живой жизни. (И пусть нам другие писатели и интеллектуалы того времени не лгут, с 30-летним опозданием, после XX съезда, что, дескать, в то время «нельзя было ещё понять», «не сразу было видно», — а вот ещё как видно, в 20-е годы, всё на ладони!)

Это его описание раннесоветских годов — сейчас, в отдалении, становится тем более неотразимым свидетельством той эпохи. Запечатлённая жизнь! — так старательно потом и замазанная, и забытая. Живейшие люди того време-

ни! Не случайна была и острая популярность у читателей — рассказы его шли нарасхват, имя его стояло сенсационно, вопреки недремлющей зубодробительной советской критике. (А повесть «Товарищ Кисляков» была тут же, в 1930, изъята Главлитом из обращения, хотя попорхала в заграничные переводы, под названием «Три пары шелковых чулок»; мы не рассматриваем её в обзоре рассказов. Отброшенные названия её были: «Попутчик» и «Вырождение». Сам Романов о ней в дневнике: «Чувствую, что написал страшную вещь, „последнюю главу из истории русской интеллигенции“».)

Среди рассказов о советской нескладной жизни многие отметны лишь густотой юмора, как бы желанием от души посмеяться. — «Заколдованные деревни», «Дым» (неискренняя и тщетная борьба сельских властей с варкой самогона). — «Стихийное бедствие». (Непомерный урожай яблок, при коллективном владении как с ним управиться? «Бывало, хоть червяк на неё нападёт, градом бьёт», а тут, «как на грех, и свиней мало»; где бы «человека найти?» — то есть предпринимателя. Это 1925 год — а как уже провижена вся советская система на столетие вперёд.) — «О коровах» (свобода развода, при том — хаос и корысть). — «Кулаки» (1924, а уже — вся бессмыслица советской жизни, уже *тогда* отбита всякая возможность энергичной работы: бояться хорошего урожая, не чинят крыш, не водят пчёл, чтоб не сочили за богатея, не обжигают кирпича, отказались от веялок. «Прежде сидели, ничего не делали, потому что кругом всё чужое было; теперь всё кругом наше, а делать опять ничего нельзя.») — «Зайка» (железнодорожная беспорядица в гражданскую войну). — «Скверный товар». (Это — сахар, везомый в мешочке, подвешенном между ног, — от лихости бушующих прод-заград-отрядов.) — «Тяжёлые вещи» (красная облава на базаре). — «В темноте». (Густейший военно-коммунистический быт в пятиэтажном здании; выкрутили все лампочки и обморозили ступеньки льдом, чтобы к ним не вселялись и лихие люди не приходили бы по ночам.) — «Итальянская бухгалтерия» (раздумье над очередной *анкетой*, как безопасней соврать). — «Спекулянты» (бабы берут детей в аренду, чтобы с ними без очереди в ж.-д. кассу). — «Значок» (насильственный уличный субботник, но люди и тут гонятся за жалким отличием нагрудного значка). — «Инструкция» (весь багаж должен быть взвешен, вот — и клетка с птичкой, хотя весы — пудовые). — «Слабое сердце» (эпидемия учрежденческих непрерывных переездов). — «Синяя куртка» (крестьяне «единогласно» выбирают в комитет против своей воли). — «Опись» (начальство переписывает малых детей для необъявленной цели, матери прячут — мол, отбирать будут; а опись — для детского снабжения). — «Дом № 3» (живейшая сцена, как внезапно приехали, выгнали всех жителей и сломали добротный дом; к концу выяснилось, что надо было ломать не этот, а соседний — 3-а). — «За этим дело не станет» (железный комсомолец попал под трамвай; но ещё более железосердая мать и слезинки не проронила — крайности советского огрубения нравов). — «Пустые головы» (как под Пасху, отплёвываясь, даже старухи покидают церковную службу и набиваются в бесплатный клуб, сила советского соблазна!).

А в иных рассказах (с датировкой 1917, 18, 20...) зияют и самые истоки советской *народной* власти. (И эти, самые беспощадные, рассказы *не включены* в сборник 1988, хотя все были в 1927: горбачёвская Гласность «перестроечных» лет таковой правды ещё не выдерживала...) Назовём тут несколько. — «Зелёная армия и умные командиры», 1918. (Как силой и обманом загоняли в Красную армию. Угрозы: а не то все *свободы* потеряете! — плохо действовали, крестьяне уверенно: «Шкура дороже свободы». Однако мобилизаторы взяли крестьян тем, что стали отнимать поросят, — из истории знаем, что и просто расстреливали за уклонение. Загнали, заперли призывников в вагонах, но обещали взамен разрешить им грабёж на фронте. Где во всей советской литературе встретишь такую откровенность? И ведь сработало: таково потянулось затмение умов, что и через сорок лет, в начале 60-х, Василий Гроссман напишет во «Всё течёт»: «на гражданскую войну *пошли* они» — и, как следствие, побе-

доносно разгромили белых генералов...). — «Трудное дело». (Сельский сход — о делёжке помещичьей земли. Содержательнейший рассказ, крестьянское обмысление 1917 года. По живой нитке написано: уже обманывают, земля даётся — временно. Приведена подлинность крестьянских аргументов, пыхает пламень обмана — и догадки крестьян. И — как написано! — во всём рассказе ни слова лишнего, ни малого перебива.) — И только утешает «Крепкий народ», 1920. (Годами и сверх возможностей переносит народ всё немыслимое. «Год назад говорили, что пяти месяцев не выдержим, всему крышка будет... нет, всё ещё ползём».)

Романов отчётливо черпает из своего жизненного опыта, из того, что нельзя не увидеть простыми глазами. Однако завлекающий ветер эпохи и на нём не остался без влияния. В его дневнике встречаем запись: «Одно время я загораюсь перспективами революции, в другое — я вижу её в самом чёрном свете, в третье — ещё как-нибудь».

Интересно сравнить. Жизненный материал у Пантелеймона Романова во многом общий с Андреем Платоновым. Но П. Романов (1884), на 15 лет старше, как воспитанный же в прежнем мире, отначала и насквозь отчётливо видит вздорность, нелепость советской жизни, хотя и заглотил её, мираж коммунизма, кубических сантиметрами. А Платонов заражён социалистической верой и пробивается через советское бытие как частица самодышущей материи, — зато ж и проходит через такие трагические глубины советского Бытия, которые Романов миновал ближе к поверхности.

Не меньшая по важности полоса рассказов П. Романова — о русской народной (крестьянской) психологии. Ярко, лепко, живо это написано. Здесь развивает он лишь намеченное, начатое в эпопее «Русь». К чертам вековым теперь много у него что добавить от наблюденного в разнуданные годы революции. Мрачно смотрит он на духовную суть народа отчасти, может быть, оттого, что — глазами горожанина? (Но при всей добросовестности в передаче крестьянской жизни — того глубоко-внутреннего взгляда, какой был у Глеба Успенского, понимания живой связи крестьянина с трудом и творческим импульсом — начисто нет. Да ведь это не далось и Бунину, уж тем более — пристрастному Горькому.)

И здесь — есть очень веские рассказы. — «Наследство», «Государственная собственность». (Как бессмысленно разрушают и разворовывают всё помещичье. Приставленный сторож: «Они всем народом воруют, где же уследишь»; «Мне и не платили ничего, только что сам утащишь», «вот кабы мы сами воровали, а другим не давали».) — «Хороший комитет» (1917: хороший, если всё имущество воинской части делят между солдатами, и те везут домой; где и пулемёты делили по винтикам, а где — продавали, а деньги делили). — «Несмелый малый». (Разговоры в очереди у промтоварного магазина, характерное качество народного взгляда: «Это какую совесть надо иметь, чтобы в такое время воровать». — «Теперь только и воровать. Ты не возмёшь — другие утащат».) — «Дар Божий». (Драка баб за мешочек с мукой на буферах товарняка, одна падает под поезд. Жуткое впечатление — но это уже и не собственно народное, это уже из области шаламовского за-человеческого за-пределья.) — «Звери» (влезши в вагон, не пускают других: пусть мёрзнут, лишь бы нам не тесно). — «Тринадцать брёвен» (из-за счёта очерёдности не достраивают выгодного, всем нужного моста). — «Яблоневый цвет». (Старушка тронута добротой художника-постояльца, но шептуны отравляют её тревогой, жадностью и корыстью — увь, верный рассказ, тут — очень глубокая мысль: ведь и добром хорош не будешь, будут одни люди хороши — так другие ещё хуже. Рассказ оборван с большим чувством меры.) — «Порядок» (приезжать домой с заработков непременно пьяным и всех поить, пропивать заработанное). — «Голубое платье». (Случайно тяжело ранил жену; горе, переплетенное с крестьянскими расчётами: пусть умирает, куда теперь калека? и не дать ей в гроб луч-

шого платья. Очень жестокий рассказ.) — «Богатство». (Ошалели крестьяне от избытка бумажных денег, и стали скупы, и не одеваются, не строятся, отказывают побирушкам: «Когда денег мало было, тогда их меньше жалели».) Особняком — «Блаженные». (Немцы, у которых так легко воровать: «Вот какие окаянные, честные, ну просто...», на станциях «даже не проверяют, сколько ты съел, вроде как совестятся, бывало, съешь целковых на три, а скажешь на полтинник... вот обувать-то кого»; и тут же — как у нас: за стакан тридцать рублей залогом, и следят, чтобы тарелку с ложкой не упёр.)

Очень раздумчива и «Кучка разбойников». Такое название — о советском начальстве на селе. Что они разбойники — ясно всем крестьянам. Но — два типа крестьянского поведения, в разных деревнях: одни — сразу бросаются грабить, что можно, по первому большевицкому призыву; другие как бы сопротивляются в том начальству, и грабят поневоле.

К этому ряду, о народной психологии, можно отнести и более легковесные: «Достойный человек». (Совещание крестьян в чайной перед выборами священника, перебор кандидатов — увы, примитивное народное понимание церковнослужения.) — «Вредная штука» (арендаторы бывшего помещичьего сада, осуждая прежнюю жадность помещика, сами так же жадно дрожат за яблоки). — «Неподходящий человек» (в председатели волости выбирают заведомого вора, зато не нудягу).

Однако в потоке народных рассказов П. Романова особняком стоят несколько удивительных шедевров.

«Смерть Тихона». (Отдельно опубликованный фрагмент из «Руси».) Под таким рассказом, право, и поздний Толстой взялся бы подписаться. Строгость, лаконичность, целомудренность простой души перед смертью. Ничего лишнего, и нигде не продрогнет сентимент.

«Обетованная земля» — первый посев на помещичьей земле. Священное, молитвенное настроение старого поколения, всё под Богом и обожествление матушки-Земли, — и развязно-деловое, сухое у молодого поколения. Рассказ ещё сильней на отстоянии почти столетия, когда мы знаем, чем эти все надежды кончились. — Два дымка к небу: от кадильницы с ладаном, и от папирос молодёжи. Великолепный, неподдельный диалог.

«У парома». А в этом рассказе есть чеховское — но не простой переим, а перенятие духа — и в новое советское время, и с новой темой: в традиционные ночь, перевоз, разговор о чертях у костра — врезаются советская новизна: парень не хочет идти с любимой девушкой в церковь, а она — ни за что без церкви. Написано с глубоким чувством от обоих и от автора, и с классическим чувством меры.

Здесь, и в других местах, сам автор — никак не религиозен, веру он потерял (и сильно тем обеднелся), но и справедлив его укор христианам не раз: как они живут!..

«Чёрные лепёшки» (деревенская жена, а муж в городе — «председатель», с другою). Советская реальность не с разоблачительством, а — как она неотклонимо ложится на сердца. Очень отзвучно, жизненно. Акварельные краски.

Интересно, что думал о П. Романове Твардовский? Не мог не знать, не читать. Не спросил я его.

Можно выделить и группу рассказов вокруг темы: интеллигент и советская действительность, интеллигент и советский режим.

«Звёзды» (1927). Студент-идеалист и его товарищ по гражданской войне, деревенский коммунист, преуспевший в советском быту. Извечный сюжет, но на советской ткани звучит по-новому. Однако затянут и выполнен топорновато, без обычной для П. Р. живости диалога.

«Огоньки» (1926). Нарочито спародирован обещательный образ от Короленко: неведомые огоньки, так зовущие нас в будущее. Крупный артист —

впрочем, крупности не ощущаешь, скорей фигура для рассуждений, ткань искусства опущена, это холостит, — в гастрольной поездке в глушь. Автор и для себя пробивается понять эту тему: интеллигент в новом «Великом движении». Оппозиция интеллигента режиму даётся автором без симпатии — искренно? или из осторожности? Аргументы артиста против режима отклоняются автором как бы в угодство: приспособить доводы к постепенному оправданию режима. Как будто уже и не режим, и не новый строй виноваты в падении артистической души. Читаешь, всё-таки, с ожиданием значительности, а её нет: рассуждения есть — а истинного напряжения мысли нет. При отходе ли от простонародной жизни что-то мешает П. Р. набрать полную силу пера; какой-то «средний» повествовательный стиль.

«**Право на жизнь**» (или «**Проблема беспартийности**», двойное название, 1927). Не сразу, с большим трудом рассказ прошёл в журнальную публикацию, был яростно разгромлен критикой и с 1929 вовсе запрещён. Всего лишь год спустя ту же самую проблему артист — режим автор описывает во всей её беспощадности, и с такими лобовыми ударами по режиму, что диву даёшься. Со всей душевной и политической страстью П. Романов уже видит всё будущее советской литературы. Но и: сухо-делово пишет, безо всякой отделки и в перепрыгивающей манере. Жизненная обстановка (угроза потерять квартиру) схвачена жестоко, верно, почти и без преувеличений. — Душевное распрямление через смерть, и смерть-то почти нечаянную, — хорошо. Любящая женщина гладит лицо умершего, не понимая, что не живой: он — ещё тёплый.

Но сам писатель Останкин — сильно не дояснён, он только глашатай идеи рассказа, обобщённый тип загнанного. (Например: как это он пережил военный коммунизм на развешивании продуктов? ведь там нельзя было удержаться, не воровать, сразу бы и выгнали.)

«**Блестящая победа**» (1931, не напечатан). — Уже до отчаяния и шаржа доведена та же тема: как художнику встроиться в режим? — тему индустриализации и советизации раздув до чудовищности, до крайней халтуры.

Особняком стоит более ранний

«**Видение**» (1925) — несомненная удача. Затронута ещё не отвердившаяся тогда проблема: мы — и заграница? возврат оттуда? Сюжет развивается очень верно психологически, интересно, с неожиданными поворотами, развязки никак не угадываешь вперёд. (Только зря автор ещё от себя разъясняет психологию персонажа.) И — искренно написано относительно эмигрантов, это — не грубая агитка против них, а — обида на них. — Здесь автор тоже прямо касается политики и — ругает власть большевиков, ничем не рискуя: это как бы оправдано ходом эмигрантского сюжета.

Ещё особняком

«**Печаль**» (1927). Единственный такой у Романова рассказ: весь от первого лица, лирический, с тягой к философскому глубокомыслию. Но — затянут. Да и вся-то мысль рассказа: имея, не ценим, потерявши, плачем. И вновь лишние, от автора, истолкования. «Душу забыли» — по советскому времени полезно об этом напомнить.

В дневнике П. Романова есть и такая запись (1926): «Когда я пишу, у меня всегда есть соображение о том, что может не пройти по цензурным условиям... И это уменьшает мои возможности и правду того, что пишешь, на 50%. Вообще всё время чувствуешь над собой потолок, дальше которого нельзя расти. Правомерный марксизм, начётчики марксизма связывают по рукам и ногам».

И советская критика постоянно давала-таки П. Романову по зубам и костям. От Киршона, напостовско-рапповской банды, от забытых теперь рецензий Катаняна, Бека, Селивановского, Прозорова и ещё, и ещё, и ещё, под заголовками «Право на пошлость» (М. Левидов), ещё хорошо когда «Талант равнодушия» (С. Пакентрейгер) — то есть «объективизм», «без нужного обострённого оформления»; рвались вывить в этом «равнодушном бытописателе» — «лицо классового врага». Пантелеймон Романов был разможжён этой на-

правленной неутихающей атакой. (Теперь видно, что она и размозжила, перекорёжила 2-й том «Руси» — а уход в «Русь», может быть, и был для него попыткой спастись от современности.)

Впрочем, по истинно советским масштабам — травля Михаила Булгакова была во много яростней и длительней, и незабываемый, нестираемый список затравщиков-загонщиков куда-куда длинней, на многие десятки честно-коммунистических перьев.

В случае с Романовым грохотала ещё и другая дискуссия, совсем не опасная политически, но многоскандалная и разлившаяся куда шире этой кучки критиков — на само общество и особенно на студенчество. «Любовь без черёмухи» — надолго, и перешагивая смерть писателя, вошла в советский речевой обиход, в поговорку, на десятилетия, более всего и прославила Романова.

«Без черёмухи» (1926). А в рассказе том, собственно, и не было заметной художественной удачи, а только — пронзительная зоркость авторского взгляда. Рассказ портит слишком рациональная, сухим рассудочным языком исповедь девушки. Отчего у нас так отброшены заботы о красоте быта и поведения? «пренебрежение ко всему красивому»? Парни (университетские студенты) девушек-сокурсниц «приучают к родному языку» — мату, и тон этот «нравится и девушкам», так проще себя вести. Вот, хочется, «чтобы первая любовь была праздником», но «все сверстники смотрят иначе». «Любовь презрительно относится к области психологии», «канитель разводит». И подавленная в гордости и уязвлённая мимолётной ревностью, девушка покорно идёт к сокурснику, где тот живёт вдвоём с товарищем, в ободранную комнату ужасного вида, с наброшенной яичной скорлупой, грязной неубранной посудой, не подметенными с пола окурками и двумя смятыми, непокрытыми, нечистыми постелями. Сокурсник торопит: «Что разговаривать, только время идёт», скоро придёт товарищ. И в поспешности укладывает её в кровать, как потом оказалось, и не в свою. И девушка исповедуется подруге: испытала отвращение к себе и к нему.

Общественная буря, вызванная рассказом, и была: *такие* мы? — или не такие? так и *надо* — или иначе как? И, характерно, для 20-х годов: голоса спорящих сильно и сильно разделились.

Меньшую, но тоже значительную бурю вызвал и написанный в отзыв на «Черёмуху» рассказ

«Суд над пионером» (1927). Пионерский отряд взбудоражен, что один из пионеров производит «систематическое развращение» пионерки (старше пятнадцати): ходит провожать её от клуба и до её деревни, хотя сам живёт в другом месте. Немедленно постановили: негласный надзор за ними, слежку. Началось с того, что он поднял ей уроненный платочек. А вот — пошёл-таки провожать и при переходе по жёрдочкам через ручей — подал ей руку, и она оперлась! Потом и мешочек её понёс! Выслежчикам не удалось подслушать самого разговора, но слышали, что читал какие-то стихи, неизвестно чьи. — И отряд перетревожен до крайности: «поведение, позорящее весь отряд!» С величайшей серьёзностью назначили суд над обоими. «Ежели ты свои стихи писал и читал их не коллективу, а своей даме, то это, брат, не личное дело». А «если она тебе нужна была для физического сношения, ты мог честно, по-товарищески заявить ей об этом, а не развращать». «Мы не пойдём к проституткам, потому что у нас есть товарищи». «Один — ты с ней мог быть для сношения, это твоё личное дело, потому что ты её не отрываешь от коллектива, а так — ты в ней воспитываешь целое направление». — «Такая любовь есть то же, что религия, то есть дурман, расслабляющий революционную волю».

Пионера — исключили, отобрали заветный красный галстук. А ей — строгое внушение («видели в ней несознательную жертву», «на неё смотрели с любопытством и состраданием»).

Фарс? Нет. *Истинная картина, живые Двадцатые* годы! — и не будем притворяться, забывать их. (Тем обиднее, что оба эти рассказа не проработаны художественно, покинуты в торопливости.)

Да, конечно, в описаниях советской жизни допускал себя П. Романов до рассказов, сниженных уже и к фельетону: «Крепкие нервы», «Народные деньги», «Стена», «Иродово племя», «Хороший начальник», «Картошка», «Белая свинья», «Художники», «Московские скачки» (прямо и написано для «Крокодила»), «Машинка», та же и «Блестящая победа». Да, может, уже по отчаянию, что его не понимают и уж только бы печатали? (Отчасти по этой причине иногда срывается к фельетону и молодой Булгаков.) Но и из этих частных, полунатурных зарисовок — выступает уничтожительная картина советской жизни.

Современник многих «авангардистских» течений, Пантелеймон Романов всегда устойчиво был привержен традиционной реалистической манере и ни в чём не отклонялся от неё. Уже в этом он «не поспевал за веком», за модой (однако преходящей). Никакие «новые приёмы» ему и не нужны: его сила — живость диалога, особенно бытового, обилие сочного юмора (иногда с переключением к сатире) и острое видение проблем — при неисчерпаемой новизне советской жизни.

Диалог у него (обычно — говор толпы) — мастерский, устойчиво хорош, добротен, часто очень смешон. И достигается неподдельность диалога — без отметных, характерных слов и даже без индивидуальности речи говорящих — а очень жив. Но в ремарках к диалогу — бывает у него избыточность. Частенько, при подсокращении ремарок, его диалог ещё бы усилился.

Не удивительно, что при частой массовости персонажей у П. Романова нет места давать портреты. Он и не пытается, для различения говорящих часто отделяются деталями одежды. Портрет у него почти отсутствует, даже в беглых чертах: П. Романов *слышит* больше, чем *видит*. Отдельного человека вьяе чаще не видно. Если и приводит чуток портретных черт — то какие-то малоиндивидуальные, не прикрепчивые.

Большей частью — рассказы совсем коротки, а некоторые просятся: ещё бы короче! Это — от избыточно поясняющих фраз, когда и без них ясно.

Никаких сложных изобретательных сюжетов: вся конструкция рассказов обычно — нараспашку. Названия рассказов бывают и неудачные: никак не вспомнишь, о чём там речь, не свяжешь с сюжетом. Да есть рассказы — и просто зарисовки. Всё-таки слабых рассказов тоже заметная доля.

Совсем нет у него метафор — да и не к месту, не к наряду они б тут и выглядели. Сравнений — немало, но все они у него — не подхватисты, *не открывающие* нам нового во взгляде. Обычно они — тавтологические, это как бы изложение более пространными словами того, что по обстоятельствам уже и так видно. «Как смотрят, когда решается вопрос жизни, и как бы решив прямо поставить какой-то мучительный для неё вопрос». (А в наличии — и то, и другое, тут и сравнения нет.) — «Держались в тени, как держатся люди, потерявшие влияние». (Именно такова и ситуация.)

При своей социальной плотности и остроте рассказы П. Романова 20-х — 30-х годов почти не оставляют места пейзажу (так щедро данному в «Руси»). Но когда пейзажи есть, то очень хороши: в «Яблоневом цвете», «Охотнике», «У паромы».

Язык Романова не назовёшь лексически богатым. Но необходимый рабочий минимум всегда есть.

Просверкнёт: «чего выглялись?», «что ткаешься?», обу́жа, навзволóк (наречие). Ещё «наотделку» (наречие) — но именно это слово он повторяет много раз (запугали наотделку, избегалась наотделку, задушила наотделку...).

В мужичьих устах («Кулаки») вдруг: «инкогнито» — промах. Хорошо: «лошадиное сословие», «собака родства не знает».

Упомянутую несколько раз эпопею «Русь» я здесь оставлю в стороне. (Ей посвящён очерк в серии «Приёмы эпопей».) Пантелеймон Романов писал её с 1922 года, особенно широко дореволюционный 1-й том, душой отдаваясь воспоминаниям об утраченной навсегда жизни (и тщательно прикрывая своё чувство от советской цензуры). Там мы встретим и просторные пейзажные описания, на мой взгляд, не уступающие тургеневским, а в веренице типов, дворянских и крестьянских, вполне достойные и гоголевского пера. Так 1-й том «Руси» стал последним по времени придорожным памятным знаком или надгробьем долгой русской дворянской литературы. Том 2-й, о Мировой войне, уже сильно искажён внедрением советской идеологии, да и сам по себе поспешен, скомкан. Он окончен в 1936, за два года до смерти автора, вестью о Февральской революции в Петрограде, и на том эпопея оборвалась, надо думать: более всего по цензурным же обстоятельствам.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

СУЩЕСТВОВАНИЕ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Андрей Битов. *Неизбежность ненаписанного. Годовые кольца 1956 — 1998 — 1937. М., «Вагриус», 1998, 590 стр.*

Проза и стихопроза Андрея Битова таковы, что в них почти не остается почвы для критика. Кажется, автор сам сказал о себе все, что только, в принципе, имелось сказать. Перед критиком простирается выжженная земля: ни травинки, разве что общий рельеф, местность в профиль, ничего существенного, кроме условной линии горизонта. Вот идеальная защита текста от дурака: критик, чтобы говорить о Битове, вынужден становиться эпигоном Битова. Что не всякому по-сильно, а если и по-сильно, то все равно выглядит беспомощно. Собственно, перед нами защита писателя от читателя: кажется, книга (мемуарная?) «Неизбежность ненаписанного» сделала окончательно невозможными так называемые «творческие встречи», записочки с вопросами из зала, содержательные ответы на эти вопросы. Теперь писателю Битову и его преданному поклоннику остается при встрече только пожать друг другу руки и молча разойтись.

Тем не менее стоит понять, что такое эта книга, изданная немалым по нынешнему времени пятитысячным тиражом. Это — своеобразный автореферат всего творчества Битова, содержащий внутри по меньшей мере два автореферата самого себя. Для того, кто никогда не читал ни прозы, ни стихов маэстро (представим себе, что такой человек, не лишенный притом читательской квалификации, реально существует), эта книга могла бы стать открытием, прямым свидетельством «возможности невозможного», праздником стиля. Для того, кто следит за творчеством Битова преданно и давно (не пропустив и недавних публикаций в «Новом мире» и «Звезде», где автор как бы репетировал данное издание), «Неизбежность ненаписанного», будучи прочитана и обозначена в своих не очень четких контурах, тут же погружается обратно в породившую ее текстовую среду и пропадает из глаз. Фрагменты «Пушкинского дома», «Человека в пейзаже» и прочих известных произведений отходят по принадлежности, небольшие вещи плывут самостоятельно в неостывающем вареве, вступают в реакции с другими текстами, обмениваются структурными частями, образуют новые соединения — самопроизвольные зародыши написанных-ненаписанных книг.

Видимо, для Андрея Битова во всем корпусе собственных текстов нет ничего принципиально завершеного. Это не «штуки», приятно и плотно упакованные в книжные обложки, но магма, вещество. «Проза». Мне представляется (я могу ошибаться), что для шестидесятников была исторически уготована опасная ловушка, в которую по-настоящему угодил именно Битов. Шестидесятникам выпало — после торжества соцреализма, обладавшего какой-то странной нечувствительностью плоти текста, — реабилитировать сам материал своего искусства. Заново учиться производить качественное вещество, которое казалось едва ли не важнее собственно вещи. «Пусть секретари пишут свои трилогии, а мы будем писать прозу. А кто у нас пишет прозу? Один лишь Юрий Казаков. Вот ты и пиши свои рассказы и не рыпайся», — так откомментировал сам автор доставшуюся ему культурную ситуацию. Инга Кузнецова в статье «Андрей Битов: серебряная ложка в птичьем гнезде» назвала маэстро «блестящим теоретиком и практиком необязательного высказывания». Мне представляется, что качество прозы как прозы всегда было для Битова тем критерием, который определял, обязателен или необязателен в тексте данный мыслеобраз. А поскольку связь между частями текста редко когда задавалась у Битова жесткой логикой внутреннего, сюжетного скелета и носила скорее мягкий, пластилиновый характер, то мыслеобраз, встав в некий контекст, видимо, частенько казался мастеру недоиспользованным, недопроявленным, имеющим нерастраченный энергетический потенциал.

Не вещи, а вещество, книги как стройматериал для новых книг, — вот что наблюдаем мы сегодня в творчестве Битова. Книга «Неизбежность ненаписанного»

на сей день — вершина метода: даже внутри ее наблюдается самопоедание текста, за счет чего «прирастают» — в плоти и в значении — новые куски. С одной стороны, метод самоцитирования не может не раздражать: есть в нем неприкрытая нежность к себе, любимому, есть неплодотворное понимание себя как большого классика. Тут вспоминаются сборники «классических» текстов типа «Ленин и КПСС о печати», «К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе», «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» (двухтомник). И возникает мысль о возможности, например, такой книги, как «Андрей Битов о слонах». Почему бы нет? Пролетарские классики были так же периферийно озабочены вопросами изящной словесности, как Битов — «слоновым» вопросом, а кирпич получился-таки изрядный... С другой же стороны, для современной литературы, видимо, актуальна потребность выйти за пределы линейного времени текста, однозначно читаемого по бумаге, от начала к концу. И тут можно вспомнить уже не «Ленин и КПСС...», а «Игру в классики» Кортасара, где писатель сознательно заложил две книги в одной и даже снабдил читателя специальной таблицей глав для «нелинейного» чтения. А что такое скобки у того же Набокова? Разве это не есть постоянно подавляемые импульсы «разветвить» строку — импульсы столь настоятельные, что Набокову, уникальному стилисту, едва удается продолжить после скобок внешнюю фразу, уже почти задохнувшуюся? Мне представляется, что метод, к которому пришел, условно говоря, поздний Битов, порожден не столько нуждами амбиций или чисто личной потребностью автора печататься, когда основное уже написано, сколько неким новым состоянием современного ума. Как известно, в сетях Internet часто попадают тексты с так называемыми активными строчками: шелкни по такой строчке мышью — и можешь сам продолжить повествование с прерванного места или обнаружить, как кто-то до тебя потрудился и увел сюжет весьма далеко от оригинала первого порядка. Видимо, Битов чувствует в своем «написанном» биение активных строчек; видимо, это качественная характеристика Битова как писателя. Очень может быть, что масса битовского текстового вещества нуждается уже в какой-то новой — а не в плоскостной, двумерно-бумажной — форме существования. В конце концов, та мутноватая слоистость, которая нередко встречается не только у Битова, а вообще в современной прозе — и справедливо третируется как псевдосложность, — есть на самом деле проекция простого и сравнительно стройного на плоскость бумажного листа. Лично я считаю, что классическая форма текста — если угодно, более условная, чем любой эксперимент, — остается по-прежнему самой емкой и перспективной. Но нельзя не видеть, что в литературе существует и другое, и третье.

Вернемся, собственно, к книге. Неужели от нее, растворившейся в изначальном веществе, так-таки ничего не осталось? Осталось, конечно! То, чем всегда был силен писатель Битов, а именно — замысел. Тут лучше всего предоставить слово самому автору: «Это была некая совершенно новая „Автобиография“, как бы единственно честная и искренняя, единственно подлинная, вовсе не о том, что считается обществом свершениями и событиями жизни; не отчет об исполнении некоего, каждому выданного на жизнь социального наряда-заказа; не воспоминания о детстве, школе, университете, женитьбе и тех исторических событиях, которым был свидетелем; не о том, что ты жил с людьми, и не о людях, — истинно о себе». «Поставив перед собой столь психоаналитическую задачу: выбрать из всего мною написанного текста именно то, что написано мною именно о себе, и составить таким образом некую дневниково-мемуарно-автобиографическую канву, — я долго решал, какой хронологии придерживаться: хронологии жизни или хронологии текстов? И решил держаться хронологии текстов». И далее — нечто вроде кортасаровской таблицы: «Наверху страницы будет последовательно выплывать дата написания, на полях, время от времени, дата события». То есть читатель может при желании выбрать порядок чтения согласно собственным представлениям о хронологии книги. Таким образом, задан принцип построения текста, заданы координаты (два качественно различных прошедших времени), в которых будет вычерчиваться судьба главного героя. Теперь автору остается только этого главного героя — то есть себя — обнаружить. Что, оказывается, не так-то легко. Любое, даже простейшее словесное описание есть отклонение от реальности, которую ни одному лапутянину не унести ни в каком мешке, — а в битовском случае отклонение тем более ра-

зительно, что стиль его, завладевая предметом (вещью либо персоной), тут же этот предмет собою обволакивает. И хотелось бы не выдумывать того, кто пишет, да вот — не получается. Бумага хуже зеркала: она не возвращает личного изображения. Даже если нарочно задаться целью сделать героя именно с себя, герой будет отличаться от автора хотя бы тем, что вот этой цели он не ставил и вот этого романа (повести, рассказа, эссе) не писал. Вспомним, как персона, пишущая (именно пишущая, а не писавшая) роман «Пушкинский дом», пытается слиться с главным героем — и до того доходит, что сама как действующее лицо попадает в роман. Если (на уровне писания, а не позднейшей рефлексии) поставить задачу абсолютного тождества себя и героя — это будет напоминать попытку передразнить зеркального двойника. Более того: друг против друга окажутся уже два зеркала, два тавтологических провала. Персона пишущего как таковая исчезнет из виду, — и не страх ли перед этим метафизическим фокусом, перед цирковым падающим ящиком, каковым является писательство, и подвиг маэстро на замысел «Неизбежности ненаписанного»?

В этой своей попытке — разбирая матрешку выдуманного «я», добраться до подлинной сердцевины — Андрей Битов, надо полагать, уже «устар.» (может быть, и в том благородном смысле, который сам автор обнаружил в «Словаре эпитетов русского литературного языка», см. главу «Тургенев — 1979» рецензируемой книги). Современная тенденция просматривается в том, чтобы поступать ровно наоборот: замещать себя подлинного выдуманным «я» и уступать этому фантому место в собственной, самой что ни на есть повседневной реальности. Суть проста: поскольку «я» является художником, творцом, то и все житейские действия, совершаемые «мной», являются искусством. Та или иная форма фиксации акта творчества (в виде текста, выставки и т. п.) — дело весьма вторичное и по большому счету необязательное. Вот замечательный, достойный подражания пример: екатеринбургский художник и писатель Александр Шабуров получил от Фонда Сороса грант в сумме 700 долларов США на художественный проект — лечение и протезирование зубов Александра Шабурова. Стоматологическое событие нашло отражение в ряде телесюжетов, в книге самого Шабурова «Берёзовский концептуалист», готовится, кажется, еще какая-то выставка из медицинских документов, чеков, счетов, фотографий (не лишенных выразительности, поскольку Саша щедро демонстрирует первоначальное зубье, причудливое, как изъеденный солнцем мартовский снег). При этом смешная претензия, лежащая на поверхности явления, не совпадает с сутью явления. Очень может быть, что суть — это именно страх исчезнуть, не-жить (у писателя очень мало жизни, о чем ниже). А самое драматичное — художник (который, несмотря на претензию, нередко и вправду наличествует) не переходит в выдуманное «я», но остается в «я» подлинным и вместе с ним вытесняется из процесса. Путаница, когда с водой выплескивают ребенка, порождает иной, чем у Битова, вариант «неизбежности ненаписанного». В сущности, перед нами движение параллельное, но в разные стороны. При этом за мастером остается та чисто человеческая победа, которая выражена словами «честная автобиография». Битов не пытается представить легким то, что действительно трудно; не потому ли тексты его, начиная с «Пушкинского дома», так необычно располагаются на стыке «устар.» с самой что ни на есть актуальной, почти не проявленной (на момент написания) литературной тенденцией?

Книга «Неизбежность ненаписанного» со всей очевидностью состоит из замысла, способного к отдельному, без книги, существованию, и собственно текста, именно существующего без и до обозначенного замысла. Замысел — не внутренний, но внешний скелет произведения, как это бывает у насекомых; при этом панцирь эластичен, более того — он съёмный. Собственно, он не первый такой у Андрея Битова. Незаполненные емкости в творчестве порождаются тем простым фактом, что когда писатель что-то пишет, он одновременно (в данный день, неделю, год) не пишет нечто другое. В этом смысле ненаписанное — неизбежно; любую писательскую биографию можно представить как борьбу за правильное, не опасное для творческого «я» соотношение между написанным и ненаписанным. Двигаясь по жизни от начала к концу, писатель оставляет по одну сторону — созданные тексты, по другую — некую структурированную пустоту; если пустота существенно

превышает по объему написанное, писатель рискует в нее провалиться. Но разве с а м а незаполненная тара — это совсем ничего? Разве замысел не обладает собственной художественной ценностью, собственной вспышкой? Бывает так: задумаешь отлично, а пишешь — и не получается, замазывается, уходит в неточные слова. Но ведь изначально что-то было? Куда оно исчезло? И надо ли заполнять самоценную емкость замысла так уж до завинчивающейся крышки? Андрей Битов, отдадим ему должное, никогда не считал для себя обязательными ремесленные (как бы даже морально-трудовые) правила писательства. Наряду с отдельно висящими замыслами у него в изданных книгах присутствуют «незаконченный роман», «роман-пунктир» и прочие «дырявые» тексты. Может быть, это связано не только с проблемой «ненаписанного», но и с проблемой «прозы». Нет никакого смысла в некачественном наполнителе. С точки зрения создателя «прозы», главным содержанием булки является изюм, — и это не оценочное суждение, но констатация способа письма. Тому, что не является изюмом, гораздо лучше оставаться пустотой.

«Из своего изюма я набрал, быть может, на корочку хлеба», — пишет автор в предисловии к рецензируемой книге, которое так и называется: «В поисках утраченного Я». То есть в книге Битова заботит не столько «проза», сколько проблема собственного бытия. Ведь у писателя, по сути, нет биографии. Поэтому в частности о литераторах так трудно делать телесюжеты. «Он говорит — сидит и пишет — сидит», — прокомментировала ситуацию одна умная екатеринбургская тележурналистка, сама не чуждая литературного труда. Если у обычного человека из времени его жизни вычитается треть на физиологически необходимый сон, то у писателя вычитается еще и время «сидения». Даже не слишком плодовитый прозаик живет на свете лет тридцать, не больше. Поэтому его биография — это всегда биография молодого человека, которому бывает странно, что вот у него — и взрослые дети, а там, глядишь, и внуки... Всякий прозаик, даже маститый старец, умирает молодым. Почувяв опасность, творцы той группы, к которой принадлежит упомянутый Александр Шабуров (а также Кулик, Голиздрин, отчасти, собственно, и Курицын), уходят от «сидения» в жизнь. А вот Битов попался: он так долго «просидел», что немногие реальные части его «биографии-пунктира» стали ему необычайно (в степени, совершенно непонятной для непосвященного) дороги и важны. Не потому ли так часто в его прозе (и особенно в данной автобиографической книге) приводятся известные (если не сказать — в зубах навязшие) эпизоды, как Битов посмотрел в кинотеатре «Великан» «Дорогу» Феллини, как через общее потрясение сблизился с человеком, приведшим его в литературу, то есть в студенческое ЛИТО. Как Битов вступил в ЛИТО по ворованным стихам, как его отчислили из института, как он со своей подружкой гадал по Корану... Понятно, что из жизни романиста романа не сделать. Из чего же тогда сделана книга «Неизбежность ненаписанного»?

А вот из этого «сидения». Свобода писателя в том, что текст его создается не в Питере, не в Париже и не в Токсово, а в некоем особом внегеографическом месте. И в том же его, писателя, проблема. Врач, педагог, рабочий у конвейера, выполняя свои профессиональные функции, присутствуют в рамках реальной жизни. А писатель уходит. Его попросту нет за его письменным столом. В одном из текстов данной книги (а именно в «Исповеди графомана») сделана даже попытка прямого репортажа с места «сидения». И что? Есть чердак, есть окно и вид из окна, а пишущего нет. Хотя бы потому, что он в своем усилии запечатлеть все как есть (корову, стог сена, мужика, собачонку, муху на оконном стекле) пусть на несколько минут, но отстает от реальности. Подобно какому-нибудь герою Стивена Кинга, писатель смещается по времени туда, где, очень может быть, уже начинают свою работу невидимые лангольеры. Поэтому сиюминутная реальность для него — недостижима. Однако в его распоряжении собственно писательский процесс. Он, как показывает опыт битовских рефлексий, содержателен. В книге «Неизбежность ненаписанного» сказано немало существенного и образного о работе воображения, творческой памяти. Все это не столько профессиональное, сколько общечеловеческое. Не случайно один из «пишущих» битовских героев, античник Чизмаджев, только взявшись за прозу, вдруг обнаруживает, что на свете кроме него есть и другие люди: «Мы уже говорили, что он (прежде. — О. С.) допус к а л существова-

ние окружающих (они не были конкурентами для него ни в чем...), но вряд ли сознавал, что для себя остальные люди существуют в единственном числе, как и он сам для себя. Жену он очень любил, первую и единственную, других на свете не могло быть, и этого вычитания ему хватало на доказательство ее беспорного бытия, и он не знал, что в этом ее-то самой еще не было, что для себя она существовала куда более бесспорно...» Сделанное Чизмаджевым открытие — причем сделанное буквально в письменной форме, на письме, — породило то, что автор назвал «семейной драмой». Но есть и иной, более высокий, если угодно, экзистенциальный уровень «существования в единственном числе»: только осознав, что другие люди для себя тоже единственны, герой (второе плюс первое авторское «я») становится по-настоящему одинок.

Оказывается, что общечеловеческое одиночество, будучи законным предметом реалистической, сюжетной, да и всякой другой литературы, вполне может быть явлено на самом что ни на есть «кухонном» писательском материале. Более того: этот материал, как видно на опыте Битова, из самых подходящих. Книгу «Неизбежность ненаписанного» можно рассматривать как повествование-пунктир о писательском марафоне длиной в жизнь. При этом писатель, в отличие от спортсмена, не имеет тренера, в начале пути он вообще понятия не имеет о том, что перед ним очень скоро встанет проблема ненаписанного. Между тем никому и в голову не придет бежать десять, пятнадцать километров и тем более полных 42,195 километра классического марафона, не имея тактики оптимального прохождения дистанции. В спорте есть система тренировок, есть учет индивидуальных особенностей атлета — только благодаря этому участник забега имеет шанс выдать свой максимум. О максимуме писателя никто не заботится, кроме него самого, никто не учит и даже не предупреждает его в начале поприща, что надо разрабатывать какую-то тактику. Поэтому объем ненаписанного (того, что могло быть написано именно на данном отрезке дистанции и не реализуется полноценно уже ни на каком другом) растет — бестолково, стихийно — и, как видно из битовских признаний в «Азарте...», раздувается по дурному концентрическому принципу. Внутри одного нереализованного замысла вспухает другой, внутри другого — третий, так что скоро уже никакой самой бешеной работой за столом не «втянуть» все эти облочки в обратном порядке. Общеизвестно, что писательство — одинокая профессия. Книга «Неизбежность ненаписанного» как-то очень резко освежает эту истину. Прочитав знакомые тексты под вновь предложенным углом, каждый не-писатель вправе отождествить себя с Андреем Битовым — в гораздо большем праве, чем находил себя до сей поры.

И еще одно. Справедливо пренебрегая в автобиографии анкетными фактами и ролью очевидца любых, сколь угодно «исторических» внешних событий, Битов, как мне кажется, прописывает некие тонкие структуры, общие для создаваемых писателем текстов и для его персональной судьбы. Метаобраз одной из таких структур найден Битовым в эссе «Раздвоение вечности», что было опубликовано в юбилейном, посвященном собственному 75-летию, номере журнала «Звезда». «Эмфисбема. Мифологическая двуглавая змея. Когда-то я прочел в советской газете, в забавной рубрике „Их нравы“ (о западной жизни), что где-то в горах Испании была поймана живая эмфисбема». В судьбе Андрея Битова протяженная двуглавость проявилась как раздвоение жизни между Петербургом и Москвой, между соответственно Московским и Ленинградским вокзалами, близ которых, по стечению обстоятельств, располагаются родная и благоприобретенная жилплощади писателя. До недавнего времени симметрия структур подтверждалась еще и двумя одинаковыми головами Ильича, установленными на обоих вокзалах в память убийства и соответственно прибытия вождя из прежней столицы в новую. «Судьба или модель?» — спрашивает себя Андрей Битов.

Между тем та же самая модель-судьба — если угодно, «эмфисбемность» — обнаружены им же в структуре собственной продукции. Выше я уже говорила, что линейность текста от начала к концу — неприемлема для Битова. Он, похоже, всегда подзревал, что представление о прозе как об отрезке длиннейшей строки между первой заглавной буквой и последней точкой есть насильственная условность. «Трудность начала, по-видимому, и упирается в то, что жалко отсекают что-то на-

чалом, больно вырубать кусок. И то стоило бы еще сначала сказать, и это». То есть начало текста есть у Битова одновременно конец — конец чего-то изначально ненаписанного. Начало — это шок прозы, не менее болезненный, не менее значимый, нежели финал. «Эмфисбемность» и превратила Битова (вот тут он уже не скроется ни за Чизмаджевым, ни за Урбино Ваноски) — в «преподавателя симметрии». Он чувствует, сколь таинственна симметрия жизни и текста относительно неуловимой и подвижной точки настоящего — относительно существования в единственном числе. Возможно, те симптомы избранности, которые обычно и ищут в жизни писателя его биографы, проявляются не в вундеркиндстве, не в общении с другими великими, а вот в такой неявной «текстоподобности» жизненной фактуры, что проявилась у Битова в раздвоении между Москвой и Петербургом — а могла проявиться в чем-то другом. Тут, как представляется, принцип важнее материала.

Заметим, что номер «Звезды», содержащий эссе «Раздвоение вечности» (1999, № 1), вышел после книги «Неизбежность ненаписанного», — но угол зрения, заданный замыслом книги, оказался вполне применим и к новой продукции Битова. Более того — мне представляется, что замысел, обладающий очень-очень большой самостоятельностью, сделался теперь неуничтожим: благодаря ему части «Неизбежности ненаписанного» будут проявляться во всем том, что Андрею Битову еще только предстоит опубликовать.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.



«ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ»

Майя Кучерская. История одного знакомства. — «Волга», 1998, № 10

Душа проснулась. И оказалась дитей...

М. Кучерская.

Повесть я прочитал так поспешно, что сам удивился — обычно я читаю очень медленно. А тут вдруг — забывтая со студенческих лет горячность: читал и в электричке, и в автобусе, и дома, к вечеру дочитал. И ощутил смущение, стеснение сердца, будто дотронулись до чего-то заповедного во мне, что я и сам стараюсь не тревожить. Я что-то свое узнал в этой короткой повести.

И что же тут моего? Типичная женская проза с филфаковским глубокомыслием («Я писала о Гёльдерлине, когда-то пленившем тем, что, единственный из всех, он отдал в жертву своим убеждениям и жизнь, и разум. В дипломе я пыталась доказать...»), с аккуратной психологической оркестровкой и прихотливыми извивами туманной любовной истории. Правда, диалоги прекрасные, их не читаешь, а слышишь. И еще вот это слово, кольнувшее меня тем, что нездешнее — и откуда оно только забрело на эти городские страницы? Листаю, ищу, вот оно! — «Я б сама осталась тут *наподольше...*» Как хорошо это «наподольше»! Или из описания предгрозового вечера: «...По земле быстро катились обрывки бумаг, птицы *прометывались* косо, низко, задевая двор».

Но все остальное — такое чужое мне, далекое: и умственность (не горе ли тут от ума?), и эта исповедальность почти пограничная, и поколение, к которому принадлежит автор, и ее героиня. Здесь явная несовместимость. «Они» и «мы». Мы чуть старше и встретим новый век почти сорокалетними, они — почти тридцатилетними. Эта разница в годах кажется провалом, если вспомнить, сколько всего вместилось в последние десять лет. Мы помним освобождение Корвалана, высылку Солженицына, «Союз — Аполлон», похороны Высоцкого, мы помним несвободу как физическое явление, а они мимоходом пишут: «Мы уезжали в Канаду...» Или: «Вылазки в христианство свершались в глубочайшей тайне от родителей...» Вылазки! В христианство!.. У нас были побеги с лекций за пивом, с колхозного

поля — за пряниками в сельпо, самоволки с военных сборов, много чего было, а вот «вылазок в христианство» не было. Нам даже так не сказать, язык для таких словосочетаний не приспособлен.

И тут же с белой завистью думаю: а что было бы со мной, приди я в церковь не в двадцать девять, а в восемнадцать? Каким бы я был сейчас? Какую бы я жизнь прожил вот к этому моменту?.. В повести нет этих вопросов, там вообще нет ничего, что было бы обращено за пределы одной души. И эта литературная нерасчетливость, забвение читателя, кажется, более всего и подкупают. Слишком много стало появляться в литературе «хорошо сделанных вещей», «упакованных» по последней моде, и все-то в них на месте, да что-то мешает принимать их всерьез, перечитывать, переплетать, когда журнальная обложка обветшает. И все потому, что игра, виртуозная провокация не заменят читателю авторской искренности, переживания. А русский читатель может переживать лишь за то, что живое, что страдает и мучается, как он сам.

В повести Кучерской исповедь даже не жанр, а сюжетная составляющая. «...Эта вдохновенная утопическая жажда постоянного очищения, откровения помыслов...» Не история знакомства, как написано в подзаголовке, и не love story, а хроника искушения. Девушка Маша пошла на исповедь к священнику отцу Антонию и влюбилась в него. Не сюжет, а бритвенное лезвие. Даже выдающийся писатель мог бы не удержаться на этом лезвии, сорвался бы в моралистическую дидактику или, что более вероятно для нашего времени, — в бульварную пошлость. Кучерскую удержали подлинность и серьезность документа, дневника, толстой черной тетради.

Сама мысль о том, что все это могло быть просто придумано, что это всего лишь литература, кажется оскорбительной, когда читаешь «Историю одного знакомства». Оскорбительной не для автора, а для меня, читателя. Не хочу знать, случилась ли эта история на самом деле. Я просто верю, что так было. Я читаю, и мне хочется думать над своей жизнью. Тревожное напряжение есть в повести: не смей задремать, что-то важное с тобой происходит. Наверное, это и есть чувство *настоящего*, которое опережает все умственные построения. И оттого легко прощаешь автору и унылые реминисценции из немецкого романтизма, и скудость в изображении собственных родителей, которые так и именуются — «родители» и скользят картонными тенями по стеночке. О них, безымянных, лишь сказано: «наивные сердца».

Не раздражаешься даже финалом (я был готов к скорби, а тут мелодрама). Прощаешь и слабость к уличному сленгу, который добавляет женской прозе не энергетику, а корявость и досадную актуальность, вовсе не обязательную для «истории души». Простительно и то, что двадцатидвухлетняя интеллектуальная героиня, как подросток, хочет выглядеть амазонкой и во дворе торжествует победу над местным Квакиным. Автор без тени юмора пишет о поверженном на землю противнике: «Он молчал. „Как тебя зовут? Говори немедленно!“ — и я пошевелила его ногой».

За горячечным движением сюжета, за нарастающим гулом трагедии все это кажется мелочами. Но одно место в повести (в конце главы «Приключенья») все-таки неприятно поразило меня странной вспышкой авторской мстительности. Этот фрагмент из внутреннего монолога героини начинается словами: «Что ж — покликушествуем, посублимируем вместе, где вы, где вы, жены-мироносицы... скорее к нам...» Вырывать из контекста нельзя, но здесь дело не в контексте, а в том, что после этих слов идут имена и фамилии живых, непродуманных людей, которых тут хлестнули больно и несправедливо. Возможно, тут сказалась неустанная самоирония героини. Но зачем впутывать в сведение счетов с самой собой других людей? За что, к примеру, с грубой насмешкой упомянута замечательная православная писательница Анна Ильинская? Ни художественным замыслом, ни эмоциональной запальчивостью оправдать этот выпад нельзя.

Но вернусь к лучшим страницам повести, к тем, где говоришь себе: да-да, вот она, наша милая контуженая жизнь. Вот выстуженность наших отношений не только с миром, но и с Церковью. Наша неверность, лукавство и влечение ко всему запретному — будь то запретная книжка или запретный плод. Все табу непере-

носимы, все взламывается инстинктивным рывком. А потом, сидя на сквозняке среди обломков, мы ищем укрытия, твердых правил и защиты от судеб.

«Острая жажда гибели ударяла в голову!..» Эта жажда бьется в повести страшно, почти надрывно. Любовь к отцу Антонию изначально ощущается героиней как гибельный грех, помутненное рассудка, но чувство греховности только распалает костер страсти. Какое-то чудо удерживает героев от последнего банального шага, но освобождения не наступает. Все мутно, все пасмурно, все скомкано. Слово «любовь» по-прежнему на каждой странице, но смысл его дьявольски подменен. И читатель правильно ждет рифмы «кровь».

Не гибельная страсть, а уже сама гибель влечет героиню. Не одинокое самоубийство от муки безверия — на даче, как задумывалось в начале повести, а гибель всеобщая. «Ах, если б у меня был пистолет! — метко, звонко я стреляла б в сверкающие закатным солнцем окна... Как, как вытерпеть мне этот мир, это сверкающее солнце, пропахший жасмином вечер?.. — был бы у меня пистолет, я разрушила, я б стреляла в них всех, в деревья, в белые цветы, прохожих — чтоб они тоже быстро падали на землю и лежали без звука, без движенья — вместе со мной, чтобы, как и я, больше не могли жить». И дальше: «Чувство конца и так не оставляло меня, и так вечным теперь было фоном...» Не окружающий жестокий мир нам «гибелью грозит», а внутренний надлом души грозит гибелью всему, что еще цветет и радуется солнцу.

«...А знаешь ли, батюшка, знаешь, отец Антоний, что у меня сейчас внутри?

— Что же, Машенька?

— Каша.

— Какая такая каша?

— Кровавая-с».

Вот такая депеша Достоевскому из конца двадцатого века. Получите и распишитесь. А вы думали, что мы эту кашу давно расхлебали.

Где уж тут быть наивным — чистым — сердцам! Такие сердца даром не дают. Это несправедливые пути все нам известны и хожены-перехожены, а праведные пути, как и встарь, — неисповедимы.

Повесть Майи Кучерской — это еще даже не светотень, это острое *переживание темноты*, полумрака, лихорадочный поиск спичек, хоть какого-нибудь огонька. И утешения никакого нет, только надежда на утешение. «...Может быть, завтра, завтра...» Но и к этой малости — какой путь, какие искушения!

Дмитрий ШЕВАРОВ.

*

ИСЧЕЗАЮЩИЙ СЛЕД

Russkaya klassika. Литературный гид. — «Иностранная литература», 1999, № 1.

Обозначив тему очередного «гида» латинскими литерами, составители довольно удачно перевели на четкий язык графики некоторую значимую для них идею: отстраненно-непривычный вид родимых слов «русская классика» — зримое выражение той отстраненности, которая вроде бы свойственна западному взгляду на нашу литературу. Ибо Россия для европейцев — не культурный партнер, с которым привычно обмениваются опытом, но культурный миф, привлекательный именно своей чужеродностью. И огромное влияние, которым, как известно, пользовались в XX веке российские классики — в первую очередь Достоевский и Толстой, — все равно не привело к слиянию традиций. Русская культура «существует отдельно и автономно — как нечто внеположное привычному укладу западной жизни», — пишет Игорь Волгин в начале своей большой сопроводительной статьи. И возражать против этого, в принципе, не приходится.

Однако принципиально верные утверждения могут быть не вполне верны в частных случаях — или по крайней мере спорны. То есть один читатель согласится, что взгляд всех без изъятия авторов, представленных «гидом», есть именно взгляд извне, а другому (мне), напротив, покажется, что эти тексты свидетельству-

ют о размывании границ и даже о полном их отсутствии. Форма свидетельствования может различаться. Так, в рассказе «Сцена письма» литературный мотив возникает опосредованно — та Татьяна Ларина, которую Сьюзен Сонтаг выбрала как бы представительницей от классического эпистолярного жанра, пришла к международных оперных подмостков: «Акт 1, сцена 2. Вздыхая, трепеща, Татьяна продолжает писать... Хотя Татьяна совсем еще молоденькая девушка, ее партию часто исполняет какая-нибудь перезрелая прима... К счастью, это хороший спектакль. Голос парит»... «Монолог из норы» поляка Ежи Пильха отличается таким подробным знанием русской словесности (читаемой, разумеется, в оригинале), какое достигается не столько пристальным изучением, сколько длительным бытованием в поле культуры; собственно, это даже не знание, а совершенно свойское общение, кровная связь, при которой «Федор Михайлович» и иже с ним ощущаются почти как родственники... А биографический (вернее, псевдобиографический) роман «Осень в Петербурге» — самый объемный в номере — вообще можно было бы воспринять как непереводаемой, если б не мешала предварительно полученная информация: «Дж.-М. Кутзее. Перевод с английского». И пусть автор (кстати, южноафриканец) иногда ошибается в мелких деталях российской жизни XIX столетия — это дела не меняет: наши тоже ошибаются, и подчас более грубо... В общем, отстраняющий взгляд извне, по-моему, обнаруживается лишь во французской пародии начала века, презабавно описывающей, как некий Иван Прощельгович Гужкин «спасал» падших женщин; впрочем, ироническая отстраненность является одной из основ жанра, так что сию милую шуточку могли бы шутить и «сатирик-онцы» — да, сколько помнится, так и шутили.

Таким образом, данный Литературный гид создает у меня ощущение, будто мы живем уже в Шенгенском пространстве — что, пожалуй, приятно. Однако рядом располагается разочарование: мы-то надеялись, что «russkaya klassika» по-прежнему играет значимую роль в литературном процессе и «русский след» должен обнаружиться в более значительных произведениях, нежели те, которые опубликовала «Иностранка». Возможно, что недостаточная весомость этой подборки обусловлена самим принципом отбора, ориентированного на прямое обращение к классическим именам и/или текстам: ведь художественное влияние совершенно не обязательно подтверждается формальной отсылкой. А может быть, ожидания вообще необоснованны? В конце концов, много ли в последнем десятилетии наберется достойных отечественных сочинений, построенных на живом диалоге с классиками?

Как бы то ни было, «Russkaya klassika» интересна уже тем, что побуждает задуматься о реальном участии прошлого в литературной действительности. А вдобавок в номере есть как минимум одна вещь, способная доставить истинное удовольствие, — «Монолог из норы». Несмотря на то что заглавие явно отсылает к Достоевскому, да и в тексте он упоминается чаще прочих, источник повести не столько «Записки из подполья», сколько «Москва — Петушки»: если и «классика», то «современная». Ежи Пильх заимствует у Венедикта Ерофеева и насмешливую интонацию, и особый строй прихотливо-извилистой фразы (надо думать, присутствующий не только в переводе), и отдельные словесно-игровые фигуры (вроде постоянной апелляции к «моему народу»). Верней сказать, дело идет не о заимствовании, но о художественном сродстве, и герой «Монолога», филологически ориентированный алкоголик, сочинен не под влиянием Ерофеева — он просто младший брат Венички, такой же живой, оригинальный и занятый. Если б я писала рецензию именно на эту вещь, то с удовольствием привела бы массу великолепных цитат, демонстрирующих яркое обаяние текста и персонажа; в данном случае придется ограничиться... ну, пускай описанием обустройства «норы». Не столько вещественного, сколько экзистенциального, потому что «каждый из находящихся здесь предметов — память об одном из моих исключительно низких падений. Всякий раз, когда я поднимался после исключительно низкого падения, у меня возникало острое желание опереться на что-то материально устойчивое, и тогда я непременно оснащал свою нору каким-нибудь новым предметом. Речь идет вовсе не о банальной компенсации ущерба, не о лихорадочном возмещении потерь. Разумеется, я терпел ущерб и нес потери. Некогда принадлежавшие мне бесчисленные бумажники, сумки, зонты, очки, авторучки затерялись — увы, безвозвратно — среди темных извилов моих путей. Но дело отнюдь не в том, что воскресал я после своих

падений обедневшим, допустим, на один чемоданчик... отсутствие чемоданчика было ничто по сравнению со всеобъемлющей пустотой... И тогда любой — в особенности новый — предмет, формой своей выбивавшийся из привычного и оттого незамечаемого повседневного антуража, казался чистым источником среди песков пустыни».

Здесь, однако, надо отметить, что польский брат Венички сделал следующий шаг в сторону «тотализации» алкоголизма: если для старшего это был своего рода протестный социальный выбор, то младший пьет, просто чтобы «лечить похмелье, именуемое жизнью». Абсолютно равнодушный к социально-историческим обстоятельствам, он существует в мире, изначально лишенном идеологических знаков. Он не тратит времени на поиски «Кремля», не замечает тоталитарной системы (и узнает о ее «падении» из телевизора); а единственным признаком освобождения страны от «московского ига» становится для него появление... борделей, услугами которых он активно пользуется. В связи с чем и возникают литературные мотивы: обитатель «норы» неизменно заказывает русских проституток, чтобы сорок пять минут из оплаченных ста двадцати отдать чтению русских писателей. И тут нет никакой «достоевщины» — мстительного желания свести национальные счета, унижая русских женщин и русский язык, — как нету и «сексуально-литературных» извращений. «Никаких стриптизов с поэмой Пушкина в зубах. Никакой маскировки эрогенных зон томиком рассказов Ивана Бунина... Просто мне нравилось, когда девушки читали вслух». И вот этим, в сущности, ограничивается роль книг, столь любимых героем; вот истинное место «высоких идеалов человечества»: между бутылкой и койкой... Боюсь, что Ежи Пилых правильно показал положение классики в современном мире.

Впрочем, возможны и другие варианты — например, превращение классика в персонаж. Масскульта ли, эстетской ли «игры в бисер» — не суть важно; зато существенно, что сей литературный муляж имеет подчас достаточно отдаленное отношение к реальному человеку. Именно это происходит в романе Дж.-М. Кутзее «Осень в Петербурге». Его герой — некто по имени Федор Михайлович Достоевский — прихотливо соединяет в своей биографии подлинные и вымышленные обстоятельства; собственно, весь биографический «фон» взят из действительности, тогда как сам романный сюжет полностью сочинен автором: получив известие о смерти горячо любимого пасынка, «Достоевский» приезжает в Петербург из Дрездена, где жил с молодой женой и новорожденной дочкой, и в течение нескольких безумных, мучительных недель занимается тем, что выясняет причины этой неожиданной гибели. Покончил ли Павел с собой или был убит, а если убит, то кем — «нечаевцами» или полицией? Точного ответа писатель не дает, поскольку его цель состоит в другом: показать — то есть придумать, — как рождался замысел романа «Бесы»...

Признаться, я никогда не понимала, какой интерес содержат такого рода вымыслы, но спорить с реальностью, предоставившей литературе право свободно распоряжаться реальностью, — бессмысленно. Поэтому поведем спор с позиций художественной правды. На мой взгляд, Достоевский, принимающийся за «Бесов» лишь потому, что Нечаев и нечаевщина причинили боль ему лично, — беднее и элементарней подлинного, способного чувствовать страдания других как собственные и болеть за Россию независимо от личных причин... Впрочем, это общий недостаток биографической и псевдобиографической беллетристики, пытающейся воссоздать или пересоздать творческие переживания великих. «Только гений может понять гения», — утверждал Шуман. Положим, он несколько преувеличивал и понимание нам худо ли, бедно доступно — но для того, чтобы описать, как гений пишет, надо поистине обладать гениальным даром, каковым Джозеф Майкл Кутзее не наделен. Хотя талант у него, безусловно, имеется, и «Осень в Петербурге» это доказывает: сумрачная и тяжкая, «достоевская» атмосфера самого «умышленного» на свете города, лихорадочные метания героя, легкая тень безумия, постоянно витающая над действием, — все это впрямь близко Достоевскому и выразительно само по себе. И если б писатель не пускался в литературные игры, придумывая псевдо-Достоевского и портя собственный текст невыгодным для него сравнением, но построил бы чисто вымышленный сюжет на тех же художественных основани-

ях, — мы имели бы хороший роман, в котором действительно отпечатался «русский след»¹.

Рассказ Джулиана Барнса «Вспышка» такого отпечатка не несет, напротив — он решительно чужд как всей вообще русской классической традиции, так и стилистике писателя, которому посвящен. В биографическом плане он вполне корректен: авторский вымысел жестко ограничен реальными фактами, а когда их не хватает, в дело идут не противоречащие реальности догадки; однако ж о корректном отношении к герою речи нет. Ибо проблема, которую автор пытается разрешить, — был ли Иван Сергеевич Тургенев любовником артистки Савиной, а если нет, то почему: не потому ли, что не мог по старости?.. Помнится, в свое время Андрей Синявский язвительно писал, что за ханжеской стыдливостью пушкинистов скрывается жгучий интерес: а все-таки, «дала или не дала»? Нынче этот интерес не скрывают, и мы давно привыкли, что спальня любой знаменитости стала проходным двором. И шокировать читающую публику вопросами типа «хотел ли он... сказать, что у него была почти полноценная эрекция», уже не удастся — да, собственно, они и не рассчитаны на шок. А на что? Возможно, Барнс просто пародирует такого сорта «изыскания» — слишком уж он подчеркивает свою холодную откровенность и свою «исследовательскую добросовестность», приводящую в итоге к тому, что разрешить загадку так и не удастся: недостает данных... Но пародия ведь не становится художественно интереснее своего объекта лишь оттого, что окрашивает его иронией... Как бы то ни было, биографически достоверный Тургенев исполняет такую же роль, что и вымышленный Достоевский, — роль персонажа в литературной игре; стоит ли уточнять, что подобное использование классиков тоже является способом снижения классики?

...Сьюзен Сонтаг играми не занимается, но всерьез размышляет о некоторых эмоциональных утратах нашего столетия, разучившегося писать письма. «Многое можно сказать по этому поводу, даже не упоминая о телефоне. Просто люди не желают тратить на это время; как правило, это отнимает много времени, потому что им не хватает уверенности». А Татьяна здесь — всего лишь знак, ностальгический символ прошедшего, когда душа не таясь выплескивалась на лист бумаги... И пожалуй, этот символ может получить более широкий смысл, нежели подразумевала писательница: он может говорить нам о том, что сама классика тоже стала прошлым. Но, разумеется, такое прочтение исходит не из текста Сонтаг, а из всего контекста, который формирует «*Russkaya klassika*». Положим, он не слишком обширен; однако более знакомая ситуация в отечественной словесности побуждает признать неутешительную справедливость данного вывода.

Алена ЗЛОБИНА.



ЛАКУНЫ И «АНТИЛАКУНЫ»

Русские писатели, XX век. Биобиблиографический словарь. В 2-х частях. Редколлегия: Н. А. Грознова и др. Под редакцией Н. Н. Скатова. М., «Просвещение», 1998. Ч. 1. А — Л. 784 стр. Ч. 2. М — Я. 656 стр.

Тиражом 20 тысяч экземпляров выпущен биографический словарь «Русские писатели, XX век». Двухтомник под редакцией директора Пушкинского дома. Отмеченный премией на Московской книжной ярмарке «Учебная и развивающая литература».

В предисловии пояснено: «Словарь... знакомит учителей и старшеклассников с основными писательскими судьбами (курсив мой. — Н. Е.)».

Сами понимаете, какие тут начинаются сложности. Из огромной, ломаной-переломаной, кровоточащей истории литературы XX века выбраны *основные* писательские судьбы.

¹ Несколько иначе этот роман освещен в статье Т. Касаткиной «Как мы читаем русскую литературу: о сладострастии» на страницах настоящего номера.

Цитирую предисловие дальше: «Никогда еще вторжение политической жизни в ее (литературы. — Н. Е.) духовный, эстетический мир не приносило столько катастроф, сколько принес XX век... Но она каждый раз поднималась, залечивала раны, несла надежды читателю, не переставая добывать трудные истины о человеке и его бытии».

Слишком красиво, чтобы быть верным. В том и заключается трагедия русской литературы XX века, что определенная ее часть оказалась включена в идеологический аппарат тоталитарного государства неволей или волей; даже те литераторы, которые не хотели быть ни «инженерами человеческих душ», ни «винтиками в идеологической машине», вынуждены были считаться с данностью — тоталитаризма, несвободы, идеологичности...

Мне все-таки интересно: в ком воплощены, вочеловечены «залеченные раны русской литературы», кто те литераторы, что «несли надежду, не переставая добывать...». Заглядываю во второй том. Принято, знаете ли, помещать в конце тома «словник», именной указатель. Нету... Обидный недосмотр? А может, вовсе не недосмотр, а мудрая предусмотрительность? Легче легкого, окинув взглядом именной указатель, понять, кого составители словаря числят в «основных», а кого — в неосновных. Так себе, на обочине...

Приходится листать. Листать не без интереса. Например, обнаруживается писатель Николай Шпанов. Автор бестселлеров 30 — 40-х годов «Первый удар», «Заговорщики», «Поджигатели». Вот уж кто действительно «нес надежду» и «не переставая добывал истину» (трудную) «о человеке и его бытии», так это он.

Варлам Шаламов в одном из своих писем признавался, что любому из московских писателей он готов подать руку, но только не Шпанову.

Надо сказать, большинство авторов словаря склонны к патетике, к пафосу. Для старшеклассников же пишут: «Это лаконические исповеди 33-летнего автобиографического героя, выдержанные в духе и стиле нищевско-розановских (так! — Н. Е.) афоризмов. Явственна цитатность образа главного героя, человека „обнаженного сердца“, имеющего значимые черты Христа, Заратустры и русского революционера-максималиста». В одном флаконе. Эдуард Лимонов, разумеется.

Великолепная, надо признаться, характеристика, как раз для школьника, чтобы понял и запомнил: Христос + Заратустра + русский революционер-максималист = Эдуард Лимонов. Почти алгебраическая формула!

Я отлистываю назад: кто еще попал в «основные писатели»?

«Он доносит до нынешних читателей то, чего никто, кроме него, не может высказать и поведать в такой полноте и достоверности... Своим истовым трудом поэта и исследователя он свершил неоценимое, огромное и самое доброе деяние для всех, кому дорого понятие — Держава Россия». Боже мой! Кто сей? Кто этот Ключевский современности? И что же он высказал и поведал? Что он донес, чего никто, кроме него, донести не смог? Невпопяг было снести...

Это — Феликс Чуев. Это — его эпохальные труды «Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева» (1991) и «Так говорил Каганович. Исповедь сталинского апостола» (1992). (Между прочим! В названии последнего труда явственно слышна все та же алгебраическая формула: Христос + Заратустра + русский революционер-максималист...)

Впрочем, автор статьи о «поэте-исследователе» (П. В. Бекедин) как-то, видно, сам почуял, что хватанул лишку его герой с «Also sprach Kaganowitsch» и со «сталинским апостолом», поэтому спешит объяснить: «Чуевский „сталинизм“ весьма специфичен: в нем выражается важная для Ч. идея неразрывной связи времен и поколений, в нем аккумулируется желание поэта добраться до полной правды и восстановить историческую справедливость». Фух, прямо от сердца отлегло. Я-то думал, в чуевском «сталинизме» аккумулируется что-то другое, а раз «восстановление исторической справедливости» — тогда хорошо. Это же не просто сталинизм. Это — весьма специфический «сталинизм». С человеческим лицом.

Представляете, где-нибудь в Германии вышел бы биобиблиографический словарь для старшеклассников, характеризующий некоего писателя таким образом:

«Его „гитлеризм“ весьма специфичен: в нем выражается важная идея неразрывной связи времен и поколений, в нем аккумулируется желание поэта добраться до полной правды...» Непредставимо? А почему у нас представимо? Вот вопрос... Вопрос, правда, выходящий за рамки журнальной рецензии.

Я продолжаю «добраться до полной правды».

Пуришкевич Владимир Митрофанович. Поэт, публицист. Русский писатель XX века.

Про поэта Ахматову в словаре не больше написано, чем про поэта Пуришкевича.

Про поэта Цветаеву в словаре не намного больше написано, чем про поэта Пуришкевича.

Про поэта Слуцкого в словаре меньше написано, чем про поэта Пуришкевича.

А про поэта Шенгели в словаре вообще ничего не написано. Как и про поэта Павла Когана.

То есть поэт Пуришкевич — «основной», мейнстрим, а те — так... тупичок, обочинка...

Да-с...

Павел Коган, это имя
уложилось в две стопы хоря.
Больше ни во что не уложилось.

Можно быть активным противником его поэзии. Можно не принимать этого поэта (как я, например, не принимаю прозаика Ивана Родионова). Но исключить Павла Когана из русской литературы XX века невозможно, как невозможно исключить из русской прозы XX века мрачное и отчаянное «Наше преступление» Ивана Родионова. Строки П. Когана — от хрестоматийных: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал»¹, до менее известных: «Я говорю: „Да здравствует история!“ и головою падаю под трактор» — символ, знак поколения. И потом — это хорошие строчки. Рядом с этими строчками невозможны разухабистые хорейчики парламентского дебошира:

Будет странно, станет глупо,
если в эти времена
не посеет мы у трупа
пропаганды семена...

Да прочитайте после этой частушки любые стихи Павла Когана, хоть:

...мы еще дойдем до Ганга,
но мы еще умрем в боях,
чтоб от Японии до Англии
сияла Родина моя, —

и станет ясно, где настоящий поэт, а где «научившийся хилить в рифму» политик.

В самом деле, если Пуришкевич — русский писатель, то почему обойден вниманием Карл Бернгардович Радек? Статьи о литературе писал? Писал. Эпиграммами баловался? Баловался:

Эх, Клим, пустая голова,
навозом вся завалена,
ведь лучше быть хвостом у Льва,
чем задницею Сталина...

Чем это хуже виршей Пуришкевича — не понимаю.

¹ Любопытная параллель, никем, кажется, не замеченная: «Я страстно люблю теперь сады в английском вкусе, кривые линии, пологие скаты... и глубоко презираю прямые линии» (Екатерина II Вольтеру, письмо от 25 июня 1772 — «Сборник императорского Русского исторического общества», т. 13, 1874, стр. 256). И ведь как «вписалась», в отличие от рисовавшего угол Павла Когана, — аккуратно и ненавязчиво...

Владимир Митрофанович, честно говоря, окончательно выбил почву у меня из-под ног. (Да и не у меня одного. См. статью С. Лурье «Ковчег плывет» в «Общей газете» от 4 — 10 марта 1999 года.)

Нет, я убежден в том, что Пуришкевич заслуживает не статьи — монографического исследования (впрочем, какой человек этого не заслуживает?), но ведь не в качестве поэта! Поэт жизни, создатель нового типа политического поведения — сколько угодно, но русская литература здесь при чем? И потом все-таки — старшекласники. Старшекласники и учителя... Это писано для них. Вслушайтесь в эпическое повествование М. П. Лепехина о В. М. Пуришкевиче и представьте себе, что это писано для старшекласников: «П. был убежденным антисемитом, видевшим в так называемом освободительном движении начала XX века еврейскую интригу. Положение в высшей и средней школе в России пользовалось особым вниманием П., посвятившего ему специальные труды... Предметом особой заботы П. было также состояние противопожарного дела на селе...»

Лурье возмущен, а я — восхищен! Прямо скажу — я завидую М. П. Лепехину! Сразу видно, что он (как Екатерина II и Наум Коржавин) с детства любил овал... Никакой угловатости, ничего острорежущего... Так деликатно (через запятую) объяснить школьникам и учителям, что быть шовинистом, антисемитом — ничуть не предосудительно. Противопожарные мероприятия, высшая и средняя школа, антисемитизм, шовинизм — ряд нормальных явлений. Мы же цивилизованные люди. Плюралисты мы или не плюралисты?

К вопросу о плюрализме. Передо мной статья о Сергее Александровиче Нилусе. Ну что же: без опубликованной им рукописи Н. А. Мотовилова «Беседа Серафима Саровского о цели христианской жизни» культурный ландшафт серебряного века будет неполон. Но ведь кроме «Беседы...» С. А. Нилус еще кое-что опубликовал. И без этого «кое-чего» невозможно представить себе антикультурный ландшафт XX века. Я имею в виду печально знаменитые «Протоколы сионских мудрецов».

Наверное, стоило бы сообщить (ученикам и учителям) о фактах использования этого «документа» в нацистской пропаганде, о нескольких комиссиях, доказавших подложность «Протоколов...».

Автор статьи о Нилусе А. М. Любомудров не хочет разрушать светлый образ своего героя (ну для старшекласников же книжка, как не понять): «Проникновенно-доверительные интонации автора, делящегося своими сокровенными чувствами и переживаниями, чередуются с высоким слогом пророка и проповедника. Во втором издании книги „Великое в малом“ в 1905 году Н. опубликовал попавшую к нему рукопись под названием „Протоколы сионских мудрецов“ — документ, в котором речь шла о способах скорейшего достижения мирового господства. Хотя Н. не был первым публикатором „Протоколов...“, именно его издание оказалось наиболее известным благодаря развернутым комментариям писателя. Н. рассматривал этот документ в русле русской религиозной традиции».

Я допускаю, что А. М. Любомудров верит в существование «сионских мудрецов», вырабатывающих зломудрые планы покорения мира, — его право. Но его обязанность — сообщить: есть, знаете ли, и другие мнения на этот счет. Вспомнить хотя бы книгу Нормана Кона «Благословение на геноцид» — и, благословясь, двигаться дальше.

Если же самому автору сделать это мучительно трудно, то это могли бы сделать члены редколлегии — хотя бы в пристатейный библиографический указатель внести указание на книгу Н. Кона.

Нет, сделать это мешает шепетильность и деликатность. Как-то, знаете ли, неловко...

Неловко рассказывать про Арсения Несмелова, что он был членом Российской фашистской партии в Харбине и регулярно печатался в ее органе «Нация» под псевдонимом «Николай Дозоров». Такой хороший поэт — и вдруг...

Однако шепетильность и деликатность в отношении одних писателей соседствует с малопривытной размашистостью по отношению к другим.

Подробно рассказывается, как и почему был отпущен под честное слово из большевистской тюрьмы Пуришкевич, о подобном же эпизоде, происшедшем по

другую сторону баррикад, сообщено следующее: «Нарбут... сотрудничал с эсерами, большевиками, краткое время — с денкиинцами, впоследствии это послужило формальным основанием для исключения Н. из партии и последующего ареста».

В чем же заключалось «сотрудничество»?

В 1919 году большевик Нарбут был арестован денкиинской контрразведкой и приговорен к смертной казни. Его помиловали под честное слово — обязательство не сотрудничать с противником (как выпустили чекисты Пуришкевича). Нарбут перешел границу и в советской зоне занялся агитационно-пропагандистской, издательской деятельностью (работал в ЮгРОСТА, как Пуришкевич работал в ОСВАГе). Сказать о Нарбуте, что он «сотрудничал с денкиинцами», — все равно что сказать о Пуришкевиче, что он сотрудничал с большевиками.

Кстати, последнее утверждение имеет гораздо больше оснований. Нарбут нигде и никогда не говорил о возможности своего сотрудничества с белыми. Пуришкевич же в июле 1917 года высказался совершенно определенно: «Я — монархист, я убежденнейший монархист, ибо никогда не менял и не могу менять своих убеждений, но, будучи монархистом, я готов служить последнему умному социал-демократу, стоящему у власти... если буду знать, что этот социал-демократ поведет Россию к спасению и не даст нам возможности возвратиться в этом веке к царствованию Ивана Калиты» (цит. по журн.: «Век XX и мир», 1991, № 10).

ВВ! В этом высказывании, как в зерне все растение целиком, уже содержится все будущее «сменовеховство», вся его хитроумная софистика, прикинувшаяся диалектикой.

Засим некоторые мелочи.

Чрезвычайно странно расположены фотографии. Неясен принцип их расположения. Не алфавитный, не хронологический, а какой-то борхесовский...

Да Бог с ними, с фотографиями. Это негрубая ошибка. В конце концов, в немецком Брокгаузе 1976 года издания помещена фотография бюста Сенеки и подписана: Аристофан. Гораздо серьезнее лакуны и «антилакуны» литературы.

Не бывает словарей без лагун, как не бывает текстов без ошибок или опечаток. Но есть лакуны случайные или неизбежные — про всех же не скажешь? А есть лакуны знаковые, значимые. Не сказать о ком-то — уже означает продемонстрировать свое к этому «кому-то» отношение.

Виктору Шкловскому пришлось удалиться, чтобы очистить место для Николая Шпанова.

Каких только православных писателей и поэтов не обнаружишь на страницах двухтомного словаря, а отца Александра Меня — нет. Иеромонах Роман — поэт, автор и исполнитель песнопений — известен составителям словаря, а Александр Мень — нет. Малозначителен. Не «основной». Отнюдь не «основной»...

Конечно, рядом с философской лирикой Егора Исаева рубленые строчки Шкловского и популяризаторские книжки Меня как-то... не смотрятся.

Я не откажу себе в удовольствии процитировать статью о Егоре Исаеве. Это не статья, это — стихотворение в прозе! поэма! «Автор развертывает в глобальную метафору образ стрельбища как драматического чистилища перед трагическим переходом тренирующихся на стрельбище солдат в смертельный ад мировой войны». Какой звукоряд! «Стрельбища — чистилища — тренирующихся — стрельбище...» Вспоминаются школьные впечатления Манделштама от раннего символизма: «...густые заросли этих „щ“ ... Словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящих змей» (О. Манделштам, «Шум времени»).

В замечательной статье о замечательном поэте Егоре Исаеве почему-то не упомянуто его участие в «подписантском» движении 60-х годов. Обойден молчанием росчерк пера великого поэта под письмом одиннадцати литераторов в журнале «Огонек»...

Это вообще одна из значительных и — можно сказать — знаковых «лагун» словаря. Как и многое в этом словаре, лагуна поражает изяществом и деликатностью исполнения.

Лакуны этой как бы и нет. О разгроме журнала «Новый мир» сказано прямо, честно и нелицеприятно: «С середины 60-х годов недовольство высших партийных чиновников тенденциями, проводимыми „Новым миром“, усилилось. Постоянное вмешательство в работу редколлегии, цензурные придиры, кадровый разгром ред-

коллегии сделали невозможной работу в журнале, и Т. уходит (в начале 1970 г.) с поста главного редактора».

Сказано точно. Убавить нечего. Можно прибавить, что, помимо высших партийных чиновников, поспособствовали уходу Твардовского с поста главного редактора «братья писатели». Но как же это «прибавишь», когда в том же самом словаре в ряд выстроились все эти «братья писатели», великие романисты и поэты: Н. Шундик, Ан. Калинин, Е. Исаев, Мих. Алексеев, С. Викулов.

Уж коли писать историю русской литературы XX века, так писать ее без умолчаний, с ясным пониманием того, что эта литература часто начинала смахивать на бойню, на охоту, причем в охотниках мог оказаться и тот, кто еще недавно сам был дичью. Понятное дело, что возможны и обратные метаморфозы.

Меня устраивал бы словарь, в котором вместо расплывчатой формулировки: «Обвиненный послевоенной критикой и аполитичности и вневременности своей поэзии, Мартынов почти на десятилетие был лишен возможности печататься», — было бы четко написано: «После статьи В. Инбер „Уход от действительности“ („Литературная газета“, 1946, 7 декабря) Л. Мартынов почти десять лет не имел возможности печататься».

Меня устраивал бы словарь, в котором честно и четко говорилось бы об участии Мартынова и Слуцкого в антипастернаковском собрании и об участии Прокофьева и Викулова в «антиновомирском походе» конца 60-х.

Уверяю вас, мной движет вовсе не разоблачительный доносительский пафос. Скорее уж пафос, э-э... (как там сказано в статье о Феликсе Чуеве?) — «восстановления исторической справедливости и полной правды». Вот именно.

Почему в статье о писателе Окрейце сообщено, мол, очень уж обижал замечательного русского писателя и патриота Станислава Станиславовича Окрейца Антон Павлович Чехов, постоянно вышучивал и высмеивал. Наверное, поэтому патриот Окрейц оказался прочно забыт потомками? И почему в статье о поэте Твардовском и писателе Солженицыне не сказано, кто объяснял и объяснил-таки советским читателям «Против чего выступает „Новый мир“»? Несправедливо.

Вероятно, предполагается, что творчество писателя Окрейца посудьбоноснее будет — и потому читателю важнее узнать о том, кто же не позволил этому творчеству доплеснуться до наших дней. Во всем виноват Антон Павлович. Он, и никто другой.

Вообще восстановленные имена русской литературы поражают. Автор статьи о поэте Туроверове приводит полюбившиеся ему строчки замечательного казачьего патриота. Мне эти строчки тоже очень понравились. Особенно они хороши в сочетании с оценкой творчества Туроверова, данной в словарной статье: «В его стихах угадывается явное влияние Пушкина, Лермонтова, Бунина, А. К. Толстого и отчасти Баратынского...» А вот сами строчки:

Когда с прощальным поцелуем
Освободим ремни подпруг
И, злым предчувствием волнуем,
Заржет печально верный друг...

Да нет, Туроверов вовсе не плохой поэт. Но это надо ж было из всего его поэтического наследия со снайперской точностью выбрать именно эти наиболее (по всей видимости) репрезентативные строчки. В последней из них мне в особенности слышится «отчасти Баратынский».

Еще кое-какие мелочи.

Поражает полное отсутствие иностранной литературы в пристатейных библиографиях. Счастливые исключение — хорошая статья Вл. Корнилова о Лидии Чуковской. Прочие авторы статей знать не хотят «забугорье». Это их прекрасно характеризует, но в результате складывается впечатление, что о русских писателях XX века вообще не писали ни англичане, ни немцы, ни американцы.

В библиографии к статье о Набокове помянуты такие крупные сочинения, как книжка В. Линецкого «Анти-Бахтин...», но вот Фильд — биограф Набокова — не назван.

Е. Веауож написала замечательную книгу об Олеше «Невидимая страна» — но не удостоилась чести быть помянутой. Белинков Арк., «Сдача и гибель совет-

ского интеллигента. Юрий Олеша» в библиографии имеет место быть, а Beaujour отсутствует. Хотя талантливый и резкий, непомерно огромный, многостраничный белинковский памфлет все-таки не об Олеше, а против Олеша. Это все равно что назвать в библиографии к Маяковскому книгу Ю. Карабчиевского и не назвать исследование В. Катаняна.

Статьи, совершенно непонятно, почему в статье об Олеше не названы его сценарий «Болотные солдаты», почему автор статьи В. А. Лавров, говоря о сценарии «Строгий юноша», не сообщил читателю, что фильм, снятый по этому сценарию режиссером Абрамом Роомом, был запрещен. Непонятно, почему в числе пьес Олеша не названа пьеса «Смерть Занда», над которой писатель работал в конце 20-х — начале 30-х годов. Пьеса была неокончена, от нее остались одни фрагменты, но для творческой биографии Олеша эта неоконченная пьеса столь же важна, как и заверченный сценарий «Строгий юноша». Тем более, что фрагменты этой пьесы дважды, и оба раза очень талантливо, монтировались в напряженную, странную экспрессионистскую драму. Первый раз это сделал в 1985 году режиссер Михаил Левитин, второй раз — в 1993 году историк Вадим Роговин.

Сказанное вовсе не означает, что все статьи плохи — в словаре есть замечательные статьи (о Довлатове, Добычине, Пановой — правда, в этой последней статье не обошлось без обидной ошибки: режиссером фильма «Сережа» по повести Веры Пановой назван Сергей Бондарчук. Режиссерами экранизации были Данелия и Таланкин, Бондарчук снимался в этом фильме), я говорю не о статьях самих по себе, а об их соединении; я говорю о некоем идеологическом принципе, позволяющем соединять черносотенца Пуришкевича и сталиниста (специфического) Феликса Чуева. Понятно, что и тот и другой попали в словарь не за свои литературные достоинства. Главной причиной здесь была идеология.

Впрочем, одна ли идеология? Самуил Лурье в уже упомянутой мной статье так именно и считает. Идеология, помноженная на халтуру. Мне представляется — дело тоньше. Сложнее. Если угодно, страшнее. Если не угодно, интереснее. Рынок, господа, рынок. Есть спрос на черносотенцев и сталинистов. Растущий спрос, который надобно, господа, удовлетворять. И подпитывать. Этот спрос плавно и естественно совпадает с идеологией составителей словаря. Я затрудняюсь ее обозначить так же резко и четко, как это делает Самуил Лурье. Меня одолевают методологические трудности. Могу только сказать, что эта идеология столь же барочна, прихотлива, изогнута, как и время, ее породившее...

Как бы поэтичнее выразиться? Как бы хоть приблизительно, хоть в общих чертах обозначить контуры фантастического идеологического «кентавра»? «Слава великой революции, вопреки самой себе укрепившей великую державу; проклятие всем и всяческим революционерам, разрушавшим эту державу»? — да, что-то вроде...

К моему удивлению, нечто подобное я вычитал в словарной статье М. П. Лепехина о Борисе Владимировиче Никольском, расстрелянном в начале 1919 года в ЧК. М. П. Лепехин цитирует письмо Никольского от 28 октября 1918 года: «...С советским режимом я мирюсь откровенной, искренней и полнее, чем с каким бы то ни было другим... Враги у нас общие — эсеры, кадеты и до октябристов включительно... Делать то, что они (т. е. большевики. — *М. Л.*) делают, я по совести не могу и не стану... но я не иду и не пойду против них: они исполнители воли Божьей и правят Россией если не с Божьей милостью, то Божиим гневом и попущением».

Кажется, это тот самый принцип, который позволяет принять решение: Пуришкевич важнее для русской поэзии, чем Павел Коган; Шпанов важнее для советской беллетристики, чем Шкловский; Проханов важнее для постсоветской беллетристики, чем Сергей Каледин... Этот идеологический принцип наполняет мою душу страхом и неуверенностью в завтрашнем дне. А страх и неуверенность в завтрашнем дне — необходимые атрибуты плюралистического открытого общества.

Я — рад. Я — счастлив и доволен.

Люди, почитающие поэтические таланты Феликса Чуева, никак не могут быть поклонниками таланта Булата Окуджавы. То, что статья об Окуджаве есть в том же словаре, свидетельствует не об объективности составителей. Объективностью здесь

и не пахнет. Нет. Здесь дело в другом. Окуджава, Галич, Высоцкий и многие другие все-таки, несмотря ни на что попавшие под ярко-красный переплет словаря «Русские писатели XX века», — уже классика. С ними не поспоришь. Их уже не вычеркнешь из истории литературы.

Я прекрасно понимаю, как это опасно — одной обойме имен противопоставлять другую обойму. Когда кто-нибудь задает возмущенный вопрос: да неужели такой-то (имярек) оказал большее влияние на литературный процесс, чем такие-то, — он всегда рискует получить ответ: да, вот на этот литературный процесс такой-то оказал решающее влияние, а иного литературного процесса мы и знать не хотим. Подобная ситуация уже была как-то раз в России. В конце 50-х годов нынешнего столетия. Когда в газетах и журналах впервые после долгого перерыва стали появляться имена Цветаевой и Ахматовой, тотчас же загремели, загрохотали возмущенные голоса: как можно равнять и сравнивать! Эти поэтессы вовсе не «мейнстрим» литературного процесса, в лучшем случае — обочина, если не тупички. Разумеется, в конце 50-х годов невозможно было сформулировать здесь, по одну сторону границы, что литературные процессы — они разные. И мейнстрим в одном, обочина — в другом. Отчаянные попытки соединить несоединимое не прекращаются и поныне. И то сказать, никому не хочется вести свой род от Булгарина. Всем хочется быть продолжателями дела Пушкина. Я же, со своей стороны, согласен и на тупичок. Я был бы счастлив оказаться в тупичке имени Георгия Шенгели, а не на проспекте Егора Исаева...

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



НАШЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ НИЧТОЖЕСТВО?

Игорь Волгин. Колеблюсь над бездной. Достоевский и императорский дом. М.,
Центр гуманитарного образования, 1998, 656 стр.

Известно, что существует два типа исследователей литературы: одни выбирают себе тему по принципу душевного сродства, близости мировосприятия, личностного совпадения, другие действуют как беспристрастные ученые, которые отстраненно разглядывают предмет, имеющий для них лишь познавательную ценность. Оба метода имеют равные права на существование, обладая при этом разными достоинствами и недостатками. Если первый позволяет (с достаточной степенью приближения) разглядывать творческую личность писателя как бы изнутри, объективизируя недоступные в другом измерении нюансы уникального художественного мира, то второй понуждает исследователя работать с голой фактурой, описывая объект снаружи, восполняя пробелы «резонирующих вибраций» добросовестностью и объемом собранной информации.

Игорь Волгин относится, безусловно, к исследователям второго типа. Он собирает факты. Новая книга «Колеблюсь над бездной. Достоевский и императорский дом» — это еще одно собрание исторических материалов, частично объединенных личностью величайшего русского писателя.

Название книги не совсем точно. На первом месте в подзаголовке должен был бы стоять императорский дом, поскольку экскурс в историю начинается задолго до рождения Достоевского, с проблем вокруг престолонаследия после смерти Петра I. По признанию автора, его больше всего занимает «вопрос о власти» — а Достоевский, при всей широте философии и даже встречах с представителями правящей династии, в последние годы жизни все-таки к «вопросу о власти» имеет отношение скорее косвенное — это несоответствие, кстати, дает себя знать в конструкции книги: она кажется несколько искусственной, покорной скорее прихоти автора, чем безусловной логике компонованного материала.

В предисловии Волгин формулирует задачу: «Итак, рассмотрим метаморфозы российской исторической власти, ее природу, эволюцию и судьбу. Применительно

к XVIII веку нас прежде всего интересует „методология захвата”. Применительно к XIX веку — посягновение на власть со стороны враждебных ей социальных сил, моменты кризиса власти, симптомы ее грядущего краха. Все это имеет отнюдь не умозрительный интерес, но весьма актуально для той современности, которая совершается на наших глазах.

Таким образом, «Колеблясь над бездной...» оформляет заявку на определенное философское осмысление исторических фактов, то есть лежащий перед нами многостраничный труд следует оценивать прежде всего как историософский.

Первая часть (всего их шесть) — до восшествия на престол Александра I — могла бы с успехом заменить школьный учебник по соответствующему периоду: повествование движется легко, динамично, налицо захватывающий сюжет с дворцовыми интригами и устранением венценосных конкурентов, факты все общеизвестные, без лишних подробностей, но подробности школьникам как раз ни к чему, все равно забудут, спасибо, если хоть запомнят наконец, кто кого сменял в этой чехарде у трона. Волгин действует как популяризатор: ничего нового тут узнать, конечно, нельзя (при условии, что хоть что-нибудь вроде того же учебника было когда-то прочитано), но освежить в памяти можно.

Далее открывается волшебная дверца, и в окружении неудачливых заговорщиков в повествовании появляется Достоевский. Здесь автор попадает наконец в свою стихию: протоколы допросов, письма и дневниковые записи, фотографии, мемуары и прочие свидетельства — процесс над кружком Петрашевского освещен до мельчайших подробностей. Еще в «Последнем годе Достоевского» Волгин настаивал, что его герой — отнюдь не тот по молодости слегка оступившийся и потом раскаявшийся грешник, которым он виделся окружающим в послекаторжный период. Здесь автор еще решительнее доказывает, что Достоевский был заговорщиком первой руки и лишь конспиративные таланты малой группки внутри большой помешали следствию раскрыть крамольные планы с подпольной типографией.

Отсюда берет истоки генеральная идея автора касательно позднего Достоевского: по его убеждению, тот был и остался «революционером» в душе, только «революционером», взыскующим как бы еще большего, чем может дать социальный переворот (и потому от социальных переворотов отворотившимся). Алеша Карамазов, по этой версии, в ненаписанной части романа должен был стать цареубийцей и взойти на эшафот. Впрочем, следует отметить, что теперь эту идею Волгин высказывает несколько мягче, чем в «Последнем годе»: там Достоевский чуть ли не умирал из-за переживаний по поводу бомбистов-народовольцев, проживавших по роковому совпадению в соседней квартире, чуть ли не получал разрыв аорты, передвигая этажерку, чтобы спрятать нелегальную литературу, здесь же приводятся только факты без далеко идущих выводов: «иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз» (так Достоевскому виделось идеальное решение суда над Верой Засулич), «несчастный слепой самоубийца» (его характеристика Дмитрия Каракозова) — достаточно известные в литературе о Достоевском вещи. Что, в общем, понятно: время берет свое и то, что еще десять лет назад было более чем приемлемо, теперь может выглядеть несколько конфузно.

Значительная часть книги посвящена терактам «Народной воли», с обилием фотографий и впечатляющих «картинок с натуры»: взрывы бомб, шарахающие кони, тела убитых и раненых. Повешенные народовольцы, безмолвствующая толпа...

Много внимания царской семье и визитам к ней Достоевского. Снова снимки, письма, дневники. Приводятся неизвестные выдержки из дневника великого князя Константина Константиновича, большого поклонника творчества Достоевского, будущего поэта К. Р. Новые документы позволяют уточнить какие-то даты, прояснить отдельные факты. Много и о самой императорской фамилии — внутрисемейных сложностях, адюльтерах, морганатических браках. Впрочем, рассказано тактично, без «клубнички» — для семейного, что называется, чтения.

В частности все хорошо, гладко, без сучка и задоринки. Несколько утомляет, правда, навязчивое повторение одних и тех же приемов: не раз варьируется подпись под фотографией — такая-то (императрица, великая княжна, цесаревна) тог-

да еще не знала, что ее дети, внуки или племянники будут через столько-то лет расстреляны, сброшены в шахту, уничтожены... Та кой ход можно использовать только единожды (если это вообще необходимо).

Автора страшно занимают всяческие совпадения — дат, имен, событий. Не то чтобы он строил на них специальные теории, нет, он лишь (подстраховавшись авторитетом Пушкина, обронившего когда-то словцо про «странные сближения») эти совпадения отмечает и многозначительно указывает на них читателю, который волен интерпретировать их по-своему. Раз что-то такое роковым образом «сблизилось», то отыскивается некая подоплека даже в таких малозначащих мелочах, как частичное фонетическое созвучие в фамилиях второй жены Александра II светлейшей княгини Юрьевской и будущего расстрельщика императорской семьи Юровского. Или в имени все той же княгини (Екатерина) и названии канала (Екатерининский), где был убит при восьмом покушении ее венценосный супруг.

Из этих сведений не выудить ровно никакой полезной информации, кроме разве одного — что автор, видимо, увлекается мистикой имен и чисел. Его буквально завораживают такие вещи: в день гибели на императоре был мундир *Саперного* батальона, гвардейцы которого несли дежурство в Кремле в тот день, когда он появился на свет, во время восстания декабристов Николай I доверил именно им охранять наследника (то есть все того же будущего императора Александра II), в указанный роковой день перед ним прошел в строю все тот же батальон, а при этом подпольная типография его убийц находилась именно в *Саперном* переулке и «сама операция, поведшая к гибели монарха, носила в значительной степени *саперный* характер» (имеется в виду подкоп с минами на Малой Садовой, по которой император так и не поехал, предпочтя Екатерининский канал, где его и подстерегли бомбисты). Отдавая должное авторской эрудиции, можно лишь пожалеть, что она принесла столь проблематичные плоды.

И здесь, кажется, кроется самый серьезный недостаток нового историософского труда. Несмотря на весь собранный автором фактический материал, на введение в текст столь мощной и дейной личности, как Достоевский, в нем самом нет той большой идеи, которая организовала бы все-таки в значительной мере эклектичный материал в единое целое. В книге Волгина много отдельных *историй*, часто занимательных и уж во всяком случае небезынтересных, но нет ощущения Большой Истории, ради которой и стоит затевать исторический труд. История предполагает философию, которая не может быть привнесена извне — даже обильным цитированием Достоевского. У Достоевского была своя идея, и он ее так или иначе выразил. Волгин, к сожалению, не счел возможным обнародовать свою историческую идею и лишил читателя удовольствия узнать, что, собственно, скрывается за всем этим масштабным и занимательным собранием фактов.

То, что реформы в России проводились неловко, неудачно, не вовремя, что власть проявляла то чрезмерный испуг и дергала вожжи, то на удивление беспечно пускалась в политические авантюры и чем все это в конце концов кончилось — слишком известно. Что Достоевский и наследующий ему Владимир Соловьев желали бы видеть монархическую Россию, слившуюся с Православной Церковью в нерасторжимое целое, воплощением Царства Божьего на земле и пытались донести эту мысль до любого, в том числе и до тех, от кого это, как им казалось, напрямую зависело, следует из текстов самих вышеозначенных лиц. Век спустя хотелось бы получить некоторое развитие если не этой, то какой-то иной идеи...

Заканчивает свою книгу Волгин на пессимистичной ноте: «Сколько ни горестно это сознавать... нынешняя Россия, несмотря на все наши ритуальные заклинания, все больше удаляется от Достоевского (как и он удаляется от нее)... У нас сегодня есть немалые шансы сделаться греками третьего тысячелетия, которые за умеренную мзду будут бодро водить любознательных интуристов по руинам некогда цветущей культуры... Нашим великим писателям, в отличие от нас, не пережить нашего исторического ничтожества... они неизбежно превратятся в филологическую химеру...»

Господи, дай знак, что это пророчество еще не свершилось!

Мария РЕМИЗОВА.



МЕМУАРЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО СТАРОВОРА»

Михаил Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни. Подготовка текста и комментарии К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой, Т. Ф. Нешумовой. Вступительная статья К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 750 стр.

Можно с уверенностью сказать, что перед нами самое значительное из вышедших на сей день изданий серии «Россия в мемуарах» — и по объему публикуемого текста (около 500 страниц), и по скрупулезности комментария (220 страниц мелким шрифтом), и по количеству ценных для историка литературы и культуры XIX века сведений, которые сообщает автор. Еще и потому, что «Главы из воспоминаний моей жизни» ни разу не публиковались в полном объеме (ранее было опубликовано по две главы — соответственно в 1989 и 1995 годах).

Михаил Александрович Дмитриев, племянник известного поэта-баснописца Ивана Ивановича Дмитриева, был достаточно заметной фигурой в литературной жизни Москвы первой половины XIX века, участником литературных споров и добрым знакомым многих писателей «первого ряда», однако сам он широкой известности так и не добился. Уже в почтенном возрасте, выйдя в отставку, Михаил Дмитриев решил стяжать славу великого мемуариста. Он начал с публикации в 1853 — 1854 годах книги литературных преданий, которая называлась «Мелочи из запаса моей памяти». Книга представляла собой своего рода «мозаику» (это определение самого Дмитриева), истории в ней следовали одна за другой без отступлений и вставок. Чуть позже возник замысел более масштабного мемуарного полотна, и в 1864 — 1866 годах были созданы «Главы из воспоминаний моей жизни». В новой мемуарной книге Дмитриев сосредоточил внимание на рассказе о собственном жизненном пути, органично вплетая в свое повествование исторические отступления и посторонние характеристики родственников, друзей и знакомых. На страницах «Глав...» последовательно описываются значительные явления культурной жизни Москвы той эпохи: Московский университетский благородный пансион и сам университет, театр, литературные салоны. С другой стороны, в воспоминаниях немало места уделяется рассказу о суде и уголовных процессах того времени, поскольку служба в судебном ведомстве была важной частью жизни Дмитриева.

Авторы вступительной статьи резонно замечают, что особая ценность книги состоит в том, что Михаил Дмитриев не предназначал свой текст для прижизненной публикации и давал себе полную волю в оценках, выборе и комбинировании сюжетов, последовательности изложения. Но у этой «откровенности», «открытости» есть и обратная сторона.

Один из первооткрывателей дмитриевского наследия в отечественном литературоведении, О. А. Проскурин назвал в 1992 году свою статью о мемуаристике Дмитриева «Зоил» и не без основания сравнил «Главы...» с «Записками» Филиппа Филипповича Вигеля: эти сочинения роднит между собой и подход к материалу, и основной композиционный принцип (свободное комбинирование сюжетов и тем), и... беспощадность критических выпадов. Но, как считает Проскурин, если Вигелем двигали природная обидчивость и желчность, то Дмитриевым еще и зависть, и большинство негативных суждений, выведенных в «Главах...», имеют своим источником именно это чувство. Однако стихи, вынесенные в эпиграф к книге, говорят о значительном «внутреннем» цензе, которому подверг автор свой текст:

Начинаем эту повесть,
Вопрошая нашу совесть:
Юным детям в поучение,
Добрым людям в прославление,
Беззаконным в посрамление.

Думается, этот эпиграф не был простым риторическим ходом, и поэтому кажется маловероятным, что резкие характеристики и суждения в мемуарах — лишь

плод зависти. Можно взглянуть на биографию и книгу Дмитриева с иной точки зрения, выявить иную их основу.

Затруднительно определить, к какой литературной группировке или партии, к какому идеологическому течению можно отнести Дмитриева. Кажется, что «Главы из воспоминаний моей жизни» и сама жизнь их автора сотканы из противоречий.

После своих полемических выступлений против П. А. Вяземского, опубликовавшего в качестве предисловия к первому изданию «Бахчисарайского фонтана» статью «Разговор между Издателем и Классиком...», Михаил Дмитриев прославился как «литературный старовер», однако идеалы XVIII века были ему на самом деле чужды — своего дядю Ивана Ивановича он не принимал именно как человека минувшего столетия, не способного понять истинную сущность духовного мира: «Странны были эти люди XVIII века!.. Легко было им жить и незачем было углубляться! Иван Иванович... боялся даже и мысли о предметах духовных. У него был какой-то страх к духовному миру; и вдруг... там!.. страшно!»

Вдохновленный опытами арзамасцев, находясь под непосредственным влиянием друзей своего дяди — В. Л. Пушкина, П. А. Вяземского и В. А. Жуковского, во второй половине 1810-х годов Дмитриев попытался создать среди своих университетских однокашников «дочернее» по отношению к «Арзамасу» литературное сообщество. А в начале 1820-х вместе с С. Т. Аксаковым, М. Н. Загоскиным и Ф. Ф. Кокошкиным составляет литературно-театральный кружок, участники которого активно выступали против того же П. А. Вяземского.

Дмитриев по меньшей мере настороженно относится и к западникам, и к славянофилам. В начале 1840-х годов он прославился стихотворением «К безыменному критику», в котором современники увидели «донос в стихах» на В. Г. Белинского, хотя целью автора было не доношение, а выражение принципиального несогласия с позицией нового течения, порывавшего, по мнению Дмитриева, с корнями национальной культуры. Однако его отношение к славянофилам было не намного лучше: «В сущности, они были мыльные пузыри, от которых теперь не осталось и следа... Все это было одним праздншатательством ума, не имеющего никакой определенной цели; это была одна гимнастика умственной силы, растрчиваемой попусту». К. С. и С. Т. Аксаковых Дмитриев называет «горластым семейством», способствовавшим, кроме всего прочего, незаслуженной славе Гоголя, который «был талантливый мужичок, но совсем не образованный писатель». Из всех действующих лиц общественной сцены 1830 — 1840-х годов положительной оценки удостоился только П. Я. Чаадаев, личности которого Дмитриев дает весьма проницательную характеристику: «Этот ум, ясный и образованный по-европейски, уступая среде, в которую поставлен был русскою жизнью и толками московских умников, не находил опоры и центра и колебался между двух крайностей: отворачивая к застою старины и чувства явной несостоятельности нашего русского европейства».

Противоречия можно найти и в служебной деятельности мемуариста. Дмитриев — квалифицированный чиновник с огромным опытом работы в судебных учреждениях, карьерист (не в предосудительном смысле), трепетно относившийся к новым чинам и наградам, но при этом — человек до крайности самолюбивый и независимый, вызвал в конце концов недовольство тогдашнего министра юстиции В. Панина и был вынужден в 1847 году уйти в отставку.

Между тем существует система координат, в рамках которой все описанные выше сюжеты не противоречат друг другу; условно ее можно было бы назвать аристократическим мировоззрением. Прежде всего автор «Глав...» ощущает себя аристократом по крови: первая глава воспоминаний представляет собой подробнейшую родословную рода Дмитриевых, начатую «от Сотворения мира», то есть от Рюрика. Аристократизм диктует и чрезвычайно требовательное отношение к верховной власти, неприятие доноительства, взяточничества, неприязнь к жесткой цензуре. Поэтому, по мнению Дмитриева, николаевское царствование было гибельно для России. В последней главе воспоминаний он дает нелюбимую характеристику страны, уже вступившей на путь неотвратимых реформ 1860-х годов: «После 30-летнего царствования Государя, которого при жизни называли в глаза великим и мудрым, не остается ни одного государственного человека, ни одного

генерала... После Николая остались финансы, которые держатся поборами со всякой мелочи, с табаку, с сигар, с путешествующих в чужих краях. Осталось разоренное земледелие; народонаселение, уничтоженное рекрутскими наборами... ничтожность талантов от угнетения ума ценсурой и страхом правительства; разрушение всех связей от боязни доносов и шпионства; словом, убит дух, убиты доходы, убиты таланты». Той же системой координат обусловлены идеализация эпохи дворянской литературы 1810 — 1820-х годов и противопоставление ее демократической литературе 1850 — 1860-х: «...слава тогдашних первоклассных поэтов окружала их каким-то сиянием, ставившим их выше людей обыкновенных... Нынче не то! Будь поэт хоть небесный гений, но если он не разделяет пристрастий толпы, называемых ею убеждениями, он не только не заслужит славы, но его очернят, унижат, уничтожат! — „Будь равен с нами!“ — вот чего требуется ныне! Зато и считается великим поэтом какой-нибудь Некрасов; зато нет и славы!»; «Мнимая народность, часто грязная и всегда пошлая и низкая, изгнала из нашей поэзии высокие помыслы человека».

Мысль о сословном единстве, если даже не кровном родстве, с декабристами приводит Дмитриева, несмотря на его строгие монархические взгляды, к оправданию и нерешительного императора Александра, и дерзких бунтовщиков, вышедших 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь: «Виноват не Александр; виноваты и не они: виновато во всем исключительное и неисходное положение России, страны, которая шла не естественным ходом истории, а насильственно, и зашла в такую трущобу, которая ни Европа, ни Азия, из которой надо куда-нибудь выйти, а дороги не видать... Самый характер бунта 14 декабря несет с собою свое оправдание, не говоря уже о причинах. Что это за заговор, в котором не было двух человек, между собою согласных, не было определенной цели, не было единодушия в средствах, и вышли бунтовщики на площадь, сами не зная зачем и что делать. Это была ребячья вспышка людей взрослых, дерзкая шалость людей умных, но недозрелых!»

Весьма симптоматичен интерес Дмитриева — выпускника Московского университетского благородного пансиона к немецкой книжной культуре, серьезное увлечение философией Шеллинга и мистическими сочинениями, что привело его уже после официального запрета масонских лож в ряды вольных каменщиков. Именно духовные лидеры масонства (А. Ф. Лабзин, М. Я. Мудров) удостаиваются в «Главах...» самых лестных характеристик.

Неудивительно, что человек, так высоко поднявший планку требований к окружающему миру, расточает больше критики, чем похвал, ибо он хочет донести до потомства свою «высокую», аристократическую правду.

Мария МАЙОФИС.

*

УТОПИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., «Международные отношения», 1998, 255 стр.

В недавнюю советскую пору каждый диссидент видел в США своего естественного сторонника — союзника всех, кто считал коммунизм язвой на теле земного шара и выкидышем промыслительного исторического развития. Геополитические аппетиты советской власти, естественно, никак не отождествлялись нами с действительными нуждами России; в будущем — после освобождения — стратегическое, идеологическое и прочее сотрудничество новой России со свободным миром подразумевалось само собою. После 1991 года российское руководство и поддерживающая его либеральная интеллигенция думали точно так же.

Ведущий американский советолог и помощник по национальной безопасности президента США в ключевые 1977 — 1981 годы (когда благодаря разработке американцами космического оружия и концепции «звездных войн» СССР надорвался в ходе гонки вооружений) Збигнев Бжезинский так описывает это умонастроение

наших новых властей предержавших, сорвавших с себя коммунистические намордники («лицом к лицу лица не увидеть», и из штата Колумбия, конечно, виднее):

«Сознательно дружественная позиция, занятая... Соединенными Штатами в отношении нового российского руководства, ободрила постсоветских „прозападников” в российском истеблишменте... Новым лидерам льстило быть накоротке с высшими должностными лицами, формулирующими политику единственной в мире сверхдержавы, и они легко впали в заблуждение, что они тоже лидеры сверхдержавы». Тогда как Россия, «прежде одна из двух ведущих мировых сверхдержав, в настоящее время в политических кругах многими (и самим Бжезинским. — Ю. К.) оценивается просто как региональная держава „третьего мира”, хотя по-прежнему и обладающая значительным, но все более устаревающим ядерным арсеналом».

Далее: «Когда американцы запустили в оборот лозунг о „зрелом стратегическом партнерстве” между Вашингтоном и Москвой, русским показалось, что этим был благословлен новый демократический американо-российский кондоминиум, пришедший на смену бывшему соперничеству».

Однако такое маниловское прекраснодушие (смешанное с личной выгодой и конформизмом) зиждется, во-первых, на недопонимании жестких политических механизмов, одинаковых во все времена, а во-вторых, попросту на незнании жизни как таковой. Данный подход — по твердому и точному определению вашингтонского политолога — «лишен внешнеполитического и внутривнутриполитического реализма. Хотя концепция „зрелого стратегического партнерства” и ласкает взор и слух, она обманчива. Америка никогда не намеревалась делить власть на земном шаре с Россией, да и не могла делать этого, даже если бы и хотела. Новая Россия была просто слишком слабой, слишком разоренной 75 годами правления коммунистов и слишком отсталой социально, чтобы быть реальным партнером Америки в мире... Более того, по некоторым центральным геостратегическим вопросам, представляющим национальный интерес Америки, — в Европе, на Ближнем Востоке и на Дальнем Востоке — устремления Америки и России весьма далеки от совпадения».

Мир — по Бжезинскому (название политологической книги говорит само за себя) — «великая шахматная доска». Благодаря выигранному, длившемуся в течение многих десятилетий мировому «турниру» США сделались *чемпионом* мира. Но расслабляться не стоит — чтобы как-нибудь невзначай не потерять титул. Проигравшая же Россия — уже даже и не гроссмейстер. Правда, проиграл-то СССР, но Россия, непонятно зачем по многим пунктам объявившая себя его «правопреемницей», пожинает горькие плоды проигрыша.

Но и чемпиону над шахматной доской нелегко: «Распад самого крупного по территории государства в мире способствовал образованию „черной дыры” в самом центре Евразии. Это было похоже на то, как если бы центральную и важную в геополитическом смысле часть суши стерли с карты земли». И вот теперь на «карте земли», то бишь на «великой шахматной доске», приходится не только передвигать фигуры, но и на месте «стертого» пытаться рисовать новые клетки. Как пишет в предисловии к книге генерал-майор Ю. Г. Кобаладзе: «Слон в посудной лавке старается разбить как можно меньше тарелок»¹.

В чем же, однако, цель игры — после чудесного поражения главного претендента на титул? Цель — не слишком афишируемый, порой закулисный, но твердый и полный *контроль*, очевидно, последней мировой супердержавы, расположенной, как известно, в западном полушарии, над геополитическим пространством восточного, и в первую очередь над его ключевой и узловой частью — *Евразией*. При советской власти расклад был прост: «Северная Америка против Евразии в споре за весь мир. Победитель добивался бы подлинного господства на земном шаре. Как только победа была бы окончательно достигнута, никто не смог бы помешать этому». Теперь

¹ Сейчас не скажешь даже и этого: балканские аппетиты НАТО разворотили всю «посудную лавку». Новейшая травма в российско-американских отношениях — на десятилетия. Ведь тут совсем не то, что было при «холодной войне», когда «возмущение» советских людей носило обусловленный идеологией и пропагандой внешний характер, тут грубо затронуты самые глубинные мировоззренческие представления.

она и достигнута, но возникла задача новая и по-своему тоже сложная: максимально эффективно для США оприходовать плоды победы.

С какой целью? Очевидно, с целью утверждения глобального жизнеобеспечения и дальнейшего роста материального благосостояния США. Плюс — установления соотвествующего этой цели мирового *порядка*. Бжезинский — от лица США — говорит: «Я знаю, как надо», — и это *надо* проводит в жизнь. На такую задачу работает всё: от военной, экономической и технологической областей — до культуры, которая, «несмотря на ее некоторую примитивность... пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира». Притягательно и «главенство закона над политической беспринципностью, не важно, насколько преуменьшенное на практике».

Бжезинский четко формулирует «простое идеологическое откровение, применимое во многих случаях: стремление к личному успеху укрепляет свободу, создавая богатство. Конечная смесь идеализма и эгоизма является сильной комбинацией. Индивидуальное самовыражение, как говорят, это Богом данное право, которое одновременно может принести пользу остальным, подавая пример и создавая богатство. Это доктрина, которая притягивает энергетикой, амбициями и высокой конкурентоспособностью».

Эту сугубо личную, так сказать, экзистенциальную идеологию рядового американца Штаты, судя по книге Бжезинского, применяют к своему поведению теперь в мире в целом, считая гремящую смесь эгоизма и гуманизма панацеей от всех проблем, стоящих перед землянами в грядущем столетии. Под опекой США человечество постепенно унифицируется и делается подконтрольно единому мозговому центру, чьи главные жизнеобеспечительные извилины расположены в США — тут пик новейшей глобальной американской утопии.

Вот «два равноценных интереса Америки: в ближайшей перспективе — сохранение своей исключительной глобальной власти, а в далекой перспективе — ее трансформация во все более институционализирующееся глобальное сотрудничество. Употребляя терминологию более жестоких времен древних империй, три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности подчиненных и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров». Судя по фатально печальному концу «древних империй», ни одна из них с этими «тремя великими обязанностями» хорошенько не справилась. Неужели завтра справятся США?

И нигде ни разу не усомнился Бжезинский в наличии у его страны и его народа нравственного права быть единственным властным проводником — в единое будущее, нивелирующее самобытные уклады и выстраданные верования человечества. Иногда это доходит у него до абсурда. «Хотя Москва, — пишет Бжезинский, — и сумела сохранить политическое главенствующее положение в новой, получившей официальный статус независимости, но в высшей степени русифицированной Беларуси, однако еще далеко не ясно, не одержит ли в конечном счете и здесь верх националистическая инфекция». Вот тебе раз. Мы-то думали, что с ориентирующимся на интеграцию с Россией «режимом Лукашенко» в Беларуси борются демократы, следовательно, друзья Америки, а это, оказывается, «националистическая инфекция»! Но в таком случае не «националистическую ли инфекцию» поощряли США, к примеру, на Украине, когда президент Буш заявил о поддержке украинской суверенности еще до проведения там референдума об отделении, а Госдеп поспешил с признанием украинского статуса Севастополя?

...В одном из писем в Россию замечательный наш мыслитель Е. Н. Трубецкой рассказал о своем посещении в Берлине «театра-кинематографа» (1910 год): «...там неожиданно я получил такое сильное впечатление, что даже заболела грудь, напала тоска, и до сих пор я не могу отдышаться от кошмара. Среди плоских немецких витцев и добродетельных мелодрам вдруг одна правдивая и реальная сцена. Просто — внутренность аквариума — жизнь личинки хищного водяного жука, а потом самого жука — все это увеличенное во сто раз, так что личинка... имела вид огромного живого дракона, который с четверть часа пожирал всевозможные живые существа — рыб, саламандру и т. п., которые отчаянно бились в его железной че-

люсти... Ты не можешь себе представить, как сильно я в эту минуту ненавидел пантеизм и хотел убежать из этого мира».

Книга Бжезинского кажется именно такую «внутренностью аквариума». Хотя, в отличие от аквариума из письма Трубецкого, испугавшего мыслителя «наглядным и ужасным изображением бессмыслицы естественного существования», на «великой шахматной доске» политического стратега все строго расчислено. Но в подоплеке этой расчисленности тоже «пантеизм», только не биологический — *политический*, отличающийся не *сутью*, а просто интеллектуальной сущностью своего механизма. В подоплеке — убеждение не в промыслительном, но рукотворном и материальном характере мирового исторического процесса. Геополитику как глобальный чемпионат с несменяемым призером в конце не Бжезинский придумал. Советская экспансия шла под знаменем марксистской утопии, коммунистическая идеология прикрывала мировые аппетиты номенклатуры. Американская гегемония, утешает, подстилающая соломку, в «Заключении» своей книги Бжезинский, суть «гегемония нового типа, которая отражает многие из черт, присущих американской демократической системе: она плюралистична, проницаема и гибка».

Но как подумаешь, сколько ежедневно пожирает новейшая цивилизация (высшим воплощением которой — по справедливому представлению Бжезинского — являются США) природных, энергетических и небесных ресурсов, сколько лихорадочным потребительским ажиотажем и коммерческой культурой опошляет неискушенных, миру открытых душ, — как в старину говорили, «мало не покажется»².

...Еще в глухую коммунистическую эпоху из недр самиздата раздалась у нас голоса, трезво убеждающие, что геополитика будущего, ежели человечеству суждено полноценное выживание, должна строиться на принципиально новой основе: морали и самоограничении народов — чтобы никому не было тесно и каждый сохранял свою яркую уникальность, процветал, но не хищнически и не в ущерб другим. Унификация человечества противоестественна, антиэстетична и добром не кончится³. Утопично? Но в таком подходе есть по крайней мере доверие к Божьему замыслу и уважение к настоящей самобытной свободе. Бжезинский же — от лица США — хочет в конце концов весь мир остричь под одну гребенку.

И, должно быть, даже хорошо, что новая Россия сегодня может сказать: «Нам бы ваши заботы». Мы уже поплатились за претензии на гегемонию в мире.

Но, разумеется, и России должна быть небезразлична геополитика. Работа Бжезинского «учит» как раз той геополитике, которая, понадеемся, ни нам, ни другим странам, включая и Штаты, в грядущем не пригодится.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

² О типологии и психологии «рукотворного» исторического строительства, его жалкой самонадеянности и на провал обреченной «деятельности, планирующей устройство всемирно-исторического целого», см. замечательно глубокие соображения Карла Ясперса в его книге «Ницше и христианство» (М., «Медиум», 1994, стр. 49 — 55).

«Абсолютная мировая история и управление Целым — будь то в мыслях или в кажущейся целесообразной деятельности — лишает человека его возможной сущности, заставляя вступить на зыбкую почву нереальности... — пишет, в частности, Ясперс. — Целое представляет экспериментальной мастерской, и человек, обманывая самого себя, принимается планировать это Целое, но в глубине души не может не сознавать обмана — и вот все выше, все мощнее подымается Нигилизм».

³ «Из-под глыб». Сборник статей. М., «Русская книга», 1992.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«ЭТОТ ЖУРНАЛ — МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ РАДОСТЬ И БОЛЬ...»

Уважаемая редакция!

Отвечаю на ваши вопросы («Новый мир», 1998, № 12). Журнал выписывала с 1958 по 1989 год. После почти десятилетнего перерыва — с 1998-го (льготная подписка для живущих в Доме ветеранов сцены).

В 1998 году самыми интересными были, на мой взгляд, публикации:

ПРОЗА. Антон Уткин, «Самоучки». Это — подлинное открытие таланта! А язык какой! Но об этом дальше,

Светлана Василенко, «Дурочка». По-своему написано о времени, отраженном во многих зеркалах. Автор продолжает, и успешно, традицию Андрея Платонова.

Виктор Астафьев, Фазиль Искандер — это классика.

СТИХИ. Инна Лиснянская, Максим Амелин, Евгений Рейн, Татьяна Бек, Юрий Кублановский, Александр Сорокин, Глеб Шульпяков. Но рядом много средних стихов, и есть — слабые, претенциозные.

ВСЕ публикации Никиты Елисеева — моя радость. С них начинаю читать журнал.

А. Солженицын, «Угодило зёрнышко...»; Вл. Новиков, «Ноблесс оближ»; В. Шенталинский, «Осколки серебряного века»; Мих. Ардов, «Возвращение на Ордынку». Много хороших рецензий и обзоров. И — великолепная библиография («Книжная полка» и «Периодика»).

Роман Антона Уткина «Самоучки» (1998, № 12) завораживает с первых слов. Каждая фраза насыщена информацией о нашем времени, точными и при этом свежими, не затасканными приметами сегодняшней жизни. И делает это автор по-путно, между прочим. Высказав основную мысль, он одновременно как бы нанизывает на тонкие ветки, отходящие от ствола, важные для него подробности, эти «земные приметы», создающие конкретность и полноту повествования. Поэтому каждая фраза в «Самоучка» — это целый абзац. И абзац этот ведет нас не только в русло сюжета, но и погружает в атмосферу места и времени (вспоминаются спектакли старого МХАТа накануне войны... Теперь слово «атмосфера» из театрального обихода исчезло).

А какой язык у Антона Уткина! Простой, естественный, с отблеском родниковой чистоты и звонкости настоящей, полузабытой теперь, русской речи; все видишь, все слышишь — и при этом испытываешь радость от авторского голоса, от интонации. Все же нас отучили в последние годы от чистоты и богатства нашего родного языка, поэтому так дорог затосковавшему было читателю язык «Самоучек» А. Уткина.

Роман читаешь с возрастающим удивлением: новизна — во всем! И в выборе героя повествования с биографией и характером, нигде прежде не встречавшимися. И в «воздухе» сегодняшней Москвы, по которой колесит машина героя; и в движении самого сюжета, «открывающего» нам двери то нелепой, но при этом узнаваемой выставки в полуподвале, то какой-то фантастической, но тоже достоверной конторы, то ночных значных мест и мелких забегаловок, и маленького театра, каких развелось немало, или дешевой замызанной столовой с коронным блюдом «свекольный салатик»; и профессорского скромного жилища в ближнем Подмоскowie.

Но все же главное в романе — открытие характера. На первый взгляд — это «новый русский», зарабатывающий большие деньги на торговле недозволенным «аптекарским» товаром. Но на самом деле — «просто Паша», чистый и добрый человек, мечтающий с помощью больших денег помогать людям, попавшим в беду, или тем, у кого есть неосуществленные мечты и творческие планы. Он доверчив,

добр, полон энергии, честен, но фантастически невежествен. И другой герой романа, его друг (вместе были в армии) студент-историк Петр, от лица которого ведется повествование, задает ему простой вопрос: читал ли Павел что-нибудь после прочитанной в детстве сказки о Маше и медведях? Оказывается — ничего, кроме каких-то двух справочников. И тут начинается «лицей на колесах»: друзья ездят по Москве и ведут литературные беседы, после того как студент-историк перескажет своему ученику очередное произведение русской или зарубежной классики...

Я бы не пересказывала просто так канву событий. Важно то, что и сам герой, и его судьба изображены с такой психологической и бытовой достоверностью, что самое вроде бы немислимое оказывается правдой. Не сомневаешься, что у Павла Разуваева и у других действующих лиц романа есть прототипы — это живые люди, а не выдуманные фигуры.

Новизна романа и в том, что он насыщен поэзией. Дымка поэзии — в явном неравнодушии героя-рассказчика Петра к окружающему пейзажу, к природе. Описание зимы, весны, осени, тревожного неба, туч, облаков настолько великолепно, что их хочется переписать «на память», как образец настоящей русской прозы-поэзии.

Тут и наблюдательность, и способность по-своему увидеть и описать необычные облака. Невольно вспоминается чеховский Тригорин, которому важно запомнить, да и записать, чтобы не забыть: «Плыло облако, похожее на рояль». Столь же прекрасны и строки о Москве, по улицам и переулкам которой проносятся на машине герои, не переставая листать альбомы с репродукциями и изучать классическую литературу. «Проехали надломленным бульваром», — читаем в романе, и моментально вспоминаешь Суворовский бульвар — и поражаешься: да, действительно — «надломленный», как это мне раньше не пришло в голову?

В романе есть трагическая сцена, которая помнится и помнится. Это сцена на кладбище со страшными, врезающимися в память подробностями: как «братки», страшные бизнесмены, убившие Павла, быстро, в лихорадочном темпе его хоронят и тут же (хотя по всем правилам надо подождать, пока осядет земля) велят пробуждающим спорить могильщикам положить плиту и поставить памятник — страшный, черный мраморный, издевательский: без надписи — только даты рождения и смерти; и — изображенный во весь рост «Павел», не похожий на Павла, с ключами от «мерседеса» в руке. Один из этих торопящихся «братков» на вопрос ошеломленного Петра, считающего всю эту «церемонию» издевательством над покойным, отзывается с усмешкой (обнаруживая, что сам он — бывший интеллигент): «Будем устраивать бой за тело Патрокла?»

Наверное, я не все рассказала о романе «Самоучки», который так хочется перечитать в ближайшем времени. Но теперь буду с нетерпением ждать появления в «Новом мире» нового произведения Антона Уткина, которого полюбила «с первого взгляда». И непременно прочту пропущенный мной «Хоровод».

Ольга ДЗЮБИНСКАЯ,

76 лет, пенсионер, журналист, театральный критик.

С удовольствием отвечаю на ваши вопросы. С какого года я читаю «Новый мир», затрудняюсь ответить. Просто он всегда был со мной. Беру журнал в библиотеке, как и другие журналы, особенно в последние годы. Лучшее из напечатанного в вашем журнале за 1998 год — это роман «Самоучки» А. Уткина. Многие произведения молодых писателей читаю «по диагонали». Ненавижу нецензурщину. Ее и так много в жизни. Зачем и кому нужна эта пакость в литературе — этого мне никогда не понять.

А язык Антона Уткина — это что-то особенное. Прочитала роман залпом, на одном дыхании. И... начала перечитывать снова, наслаждаясь языком, как музыкой.

Большое спасибо Вам, Антон, что Вы в своем романе ни одним словом не испоганили русский язык, опуская то, что, по Вашему мнению, оскорбило бы литературу.

От себя добавлю: не только литературу, но и читателей.

Для очень, очень многих россиян в настоящее время чтение стало единственным доступным удовольствием в духовной жизни.

А разве можно испытывать удовольствие, читая произведения, написанные шершавым языком, напичканным к тому же матерщиной? К великому сожалению, и писательницы не могут обойтись без этой, как им кажется, острой приправы.

Запомнился, конечно, роман Людмилы Улицкой «Веселые похороны» (1998, № 7). Но, на мой взгляд, он очень много потерял из-за «фольклорных непристойностей», этой ложки дегтя в бочке меда.

А наши тверитянки (святая наивность!) с телеэкрана вопрошают: что делать, какие меры принимать к молодчикам в общественных местах, особенно в общественном транспорте, оскверняющим человеческий слух?

Как я понимаю вас, милые тверитянки!

Вспоминается один случай. Ехала я как-то в час пик в автобусе восьмого маршрута в родном городе. Не знаю, что случилось, но мужская половина пассажиров уж очень громко выясняла свои отношения, изощряясь в крепких выражениях. По лицам женщин ясно было видно, как отражалась на их настроении эта перепалка.

И вдруг я увидела рядом с собой два счастливых лица: юноша и девушка смотрели друг на друга влюбленными глазами. Улыбка не сходила с их лиц. Они тоже что-то выясняли, жестикулировали и смеялись, смеялись. Я была поражена: уметь так отрешиться от окружающей обстановки! Не зависеть от нее! Я позавидовала им. И только выйдя вместе с ними из автобуса, я поняла, в чем их «преимущество»: они были глухонемые.

Конечно, избавиться себя от «фольклорных непристойностей», присутствующих в журналах, легче (не надо хотеть быть слепоглухонемыми!): просто не читать журналы, что и делают некоторые из моих знакомых. Не считают, что «на безрыбье — и рак рыба». Перечитывают Чехова, Тургенева, Голсуорси, Дюма... Да мало ли кого можно перечитывать! Только не современников! Но ведь не этого вы хотите, новомирцы?..

Но вернусь к роману «Самоучки»: ведь не тем только он хорош, что автор умеет обходиться без мата. Главное, что язык романа — это язык человека, отличающегося высоким уровнем развития интеллекта. (То же самое, кстати, хочется сказать и о «Хороводе».)

С первой страницы романа А. Уткин завоевал мою симпатию отношением к «Улиссе» Д. Джойса, выраженным очень тонко, вежливо и тактично.

Оригинальные сравнения: «...четырнадцать метров моего монплезира, где я помещался вместе со всеми моими сокровищами, как крестьянин в избе со своей скотиной...»; «...книжный шкаф, раздутый от разноформатных книг, как брюхо осла, больного тимпанитом».

Хороши описания природы. Здесь просто удивляешься наблюдательности автора. Все времена года нашли яркое отражение на страницах романа. Например: «Два последующих месяца, когда солнце было окончательно изгнано с нашего грязного небосклона, а тучи и мокрая земля не успевали обмениваться влагой...» — это московская осень.

О зиме: «Как будто ему, этому городу с нежным женским именем, бросили простыню или халат — первое, что попало под руку, — и сказали: на, прикройся».

О весне: «Из жирного и сверкающего под солнцем бурого суглинка выползали к свету желтые одуванчики и неровно становились на хилых мохнатых стебельках»... Господибожемой! (как говорила одна из героинь Булата Окуджавы и как уже и я теперь говорю). Каким же надо быть человеком, чтобы заметить эту красоту, полюбоваться ею и поделиться с людьми — читателями.

Впрочем, это так понятно. Наслаждаться в одиночку красотой скучно. Вот и я, прочитав роман дважды, а некоторые полюбившиеся места по нескольку раз, ведь и пишу для того, чтобы и другие прочитали его...

Из рубрики «Времена и нравы» запомнилась «Болельщица» Валентины Ивановой. Запомнилась — не то слово. Я — медицинский работник (фельдшер), и поэтому мне было особенно больно читать это.

Люблю публицистику в «Новом мире» и, откровенно говоря, начинаю читать журнал с конца.

Очень интересно пишет Виталий Шенталинский, Алла Марченко — «С ней уходил я в море».

С удовольствием прочитала «Прогулку по Москве с графом Толстым» Изабеллы Ф. Хэпгуд.

Из рецензий и обзоров мне нравятся материалы Павла Басинского — никогда их не пропускаю.

Обожаю Максимилиана Волошина и поэтому с интересом прочитала «К опознанию Макса» Александра Люсого.

Мой любимый поэт — Е. Баратынский.

И хоть знаю о нем как будто бы все, но, конечно, «И смерть, и жизнь, и правда без покрова» Елизаветы Рудневой не могла не прочитать. Люблю стихи. Но стихи нынешних поэтов читать тяжело. Какова жизнь — таковы и стихи. Сплошной пессимизм. (Боль, отчаяние...) Отличаются от других стихи Зинаиды Палвановой. Как когда-то наши поэты писали о красавице Москве, пишет Зинаида о Земле обетованной:

Все улицы здесь хороши —
И теснотой, и простором.
Сплошное благо для души —
Зеленый незнакомый город.

И очень хороши стихи Анджело Мария Рипеллино. Особенно «Плач старой скрипки»:

Я играю, потому что не хочу умирать.
...Без моей игры мир не стал бы ни лучше, ни хуже,
Но мне нельзя, нельзя не играть,
Не мешить себя, что жизнь продолжается...

...И я играю, пусть хрипло, играю, чтоб выжить.

Как я понимаю его! Вот и я пишу, хоть знаю то же, что знал он (подчеркнутое).

Ему в 1998 году исполнилось бы 75 лет (а он умер двадцать лет назад). А мне исполнится в 1999 году 75 лет. И я впервые пишу в журнал. (Раньше часто писала в районную газету).

Антонина МОРОЗОВА.

г. Вышний Волочек Тверской области.

Выписываю и читаю журнал с 1962 года. Сейчас мне 70 лет, живу на пенсию, и потому увеличение цены на «Новый мир» обернется для меня трагедией. Этот журнал — моя жизнь, моя радость и боль. Вы редко ошибаетесь, предоставляя тем или иным авторам свои страницы.

В 1998 году мне более всего понравились № 5 и 6. Во-первых, меня поразила повесть В. П. Астафьева «Веселый солдат». В ней и трагедия, и счастье начала послевоенной жизни, становление личности нашего великого современного писателя-классика и оптимизм, ОПТИМИЗМ! Огромное спасибо Вам, Виктор Петрович, и вам, новомирцы, за публикацию этого прекрасного произведения.

Анализировать, разбирать по полочкам я не умею. Но, прочитав «Веселого солдата», мне кажется, поняла слова А. С. Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...»

В № 5 опубликованы также такие разные интереснейшие материалы, как очерк Б. Екимова «Возле старых могил», дневники И. Дедкова «Обессоленное время», публикация В. Шенталинского (№ 5, 6,) «Осколки серебряного века».

Публикации Н. Елисеева в рубрике «По ходу текста» всегда интересны, точны и остроумны. Я их всегда читаю с удовольствием. А лучше В. Непомнящего о Пушкине не пишет никто (1998, № 6).

Особо хочу сказать о новомирском авторе, профессоре Вл. Новикове. Его статьи помещены в № 1 и 11 за 1998 год. Проблема нашего речевого поведения очень важна не только для читателей, но и для писателей. Давно пора поучить нас благородному отношению к языку. Вл. Новиков делает это гениально просто! Никакой зауми и занудства! Я читала статью своей внучке-пятикласснице. И она, чье речевое поведение благородством, увы, не отличается, слушала с интересом и... задумалась! Может быть, она преодолет модную нынче разрушительную тенденцию, которая заполонила и газеты, и экраны ТВ. Хорошо было бы, если бы «бездумные думцы» (это слова Вл. Новикова) почитали «Ноблесс оближ» и чему-то поучились...

Статья Вл. Новикова «Бедный эрос» (в № 11) тоже очень интересна, остроумна. Об этом нужно уметь говорить и писать. Вл. Новиков это умеет. Спасибо автору и редакции.

Думается, что актуальная публицистика, историко-литературные материалы, материалы на злобу дня — все это нужно. Иначе «Новый мир» потеряет свое лицо. Журнал за последние полгода не изменился. И это хорошо. Но, пожалуйста, вспоминайте о С. П. Залыгине не только в критических статьях.

Мне кажется, что и А. Т. Твардовский должен присутствовать в сегодняшнем «Новом мире».

А полиграфическое оформление журнала менять не нужно.

Спасибо вам всем за вашу работу, которую вы делаете со знанием и любовью.

В заключение еще раз прошу вас: сохраните прежнюю цену на журнал хотя бы для старейших ваших друзей-читателей.

О поэзии на страницах «Нового мира» не пишу. Мне очень нравятся стихи С. Липкина и О. Кучкиной. Они трогают душу.

КОРНИЛОВА Вилена Петровна,

70 лет, образование высшее,
в прошлом доцент вуза, кандидат философских наук.

Смоленск.

Уважаемая редакция, здравствуйте!

Время за полночь, наконец-то уснула моя годовалая дочурка, и наступило мое время: люблю читать перед сном, отвечать на письма подруг, заполнять дневник.

Я не знаю, в наше время много ли вам пишут читатели, все ли вы письма читаете, но я не удержалась и решила написать.

На днях я зашла в библиотеку школы, где учатся старшие мои две дочери — им не так уж много лет: 6,5 и 8,5 лет.

Так как в Сургуте стоят жуткие морозы: днем -40 градусов и ниже, ночью до -50 градусов, то дети, естественно, не учатся. Денег у нас на приобретение книг нет (у Севера осталось одно название — все страшно дорогое и повсеместная задержка небольшой и так зарплаты), и я решила, чтобы девочки не торчали все время перед ТВ, взять им книги из школьной библиотеки. Представьте мою радость, когда на стеллаже я увидела все двенадцать номеров «Нового мира» за 1998 год. Я сразу объяснила библиотекарю: сижу в декрете дома, читать нечего, пожалуйста, разрешите мне у вас брать. Спасибо доброй женщине, я взяла № 2 — 3 вашего журнала. Привлекла «Армия любовников» Г. Щербаковой.

Боже, как давно я не читала подобного. Я целый день за плитой — дети одно едят, другое — нет, муж — третье; стирка, уборка, и так — ежедневно. Вот эти два дня готовила наспех, кое-как, так как торопилась читать. Большое спасибо вам за умные произведения. Я так отдохнула от Г. Щербаковой, т. е. отдыхала с ее романом, а не от нее.

Большой привет этой умной писательнице и настоящей женщине, так она тонко чувствует женскую душу. Морозы спадут, побегу в библиотеку, и так как вы на обороте обещали напечатать ее повесть «Актриса и милиционер», возьму этот номер. А если честно: я прочту все номера.

Я вообще люблю воспоминания, письма, поэтому с большим интересом начала «Адаптацию» Ю. Глазова. Жаль, что такие люди уезжают из страны.

Отдельное слово о «Житейских историях» Б. Екимова. Это просто прелесть! Насколько просто, незатейливо, откровенно — и насколько интересно и быстро читается. Б. Екимову отдельный привет!

Дело в том, что житейских историй типа как у Екимова — у большинства людей: читающих, для себя пишущих и вообще внимательных и любознательных людей — весьма много. Я закончила в 1983 году алма-атинский факультет журналистики. Работала в райгазете, на радио.

Волею судьбы с 1994 года работаю следователем милиции. Первое время я часто записывала для себя: с кем приходилось работать, на кого заканчивала уголовные дела. Люди разные: и интересные, и негодяи, и случайно оступившиеся люди. Но работа следователя — это такая бумажная рутина: после дня руки уже ручку не могут держать. Но тем не менее я не переставала вести дневник, а когда его не было на руках, писала везде: в блокноте, на листочках и проч. Потому что встречала очень много людей по работе, очень часто чванливых, грубых, самоуверенных прокуроров и их замов, в тюрьмах — всевозможных инспекторов, как женщин, так и мужчин, которые, когда надевают форму, становятся частью этой формы и никого вокруг себя — кроме себя — не видят.

Только чтобы отдохнуть от грубых начальников и прокуроров, я ушла в 37 лет в декрет.

Но и сейчас немало интересных людей вокруг меня: это мои соседки, каждая со своей судьбой, со своей историей, житейской и очень интересной.

БУРУНДУКОВА Бибзара Амановна.

Тюменская обл., г. Сургут.

Пишу вам от имени нескольких читателей «Нового мира», работающих в посольстве России в ФРГ (Бонн). Посольская библиотека выписывает журнал, и мы его по очереди читаем. Решив откликнуться на обращение редколлегии и ответить на вопросы, опубликованные в № 12 за 1998 год, я, написав текст, дал прочитать его некоторым своим коллегам. Все они разделили мою точку зрения по существу поставленных вопросов. Для удобства пишу от первого лица.

Читаю «Новый мир» с 1969 года, когда отец порекомендовал мне «Три минуты молчания» Владимова. На протяжении многих лет наша семья была подписчиком журнала, и лишь в последние годы мы перестали выписывать толстые журналы.

В 1998 году запомнились «Армия любовников» Щербаковой, «Веселые похороны» Улицкой, «Клуб Вольных Долгожителей» Залыгина. С удовольствием прочитал недавно роман Уткина «Самоучки». Временами, правда, повествование неоправданно затянато и становится скучным, когда автор начинает философствовать. Однако нельзя не отдать должное приятному стилю и необычному сюжету. Из публицистики отложились в памяти «Гибель вод» Грешневикова и публикации М. Фейгина.

Соотношение между художественной литературой и прочим не считаю оптимальным. Возьмем для примера последнюю книжку журнала за прошлый год: из 269 страниц текста художественной литературе отведено лишь 104 страницы (роман Уткина). Журнал рискует попасть в категорию тех изданий, про которые говорят «нечего читать». На мой взгляд, не стоит делать из «Нового мира» «клуб литературоведов». Для этого есть специальные издания (например, «Вопросы литературы»).

Вспоминаю свой давний спор с моим старым другом, критиком Н. А. Анастасьевым, который работал тогда в «Вопросах литературы». Я только что с удовольствием прочитал «Немного солнца в холодной воде» Саган. Книжки «Иностранной литературы» с этим романом зачитывали до дыр, а Анастасьев считал, что его вообще не надо было публиковать. Это, мол, не литература, надо «поднимать» читателей до Фолкнера, а не потакать примитиву. Хотелось бы надеяться, что редакция «Нового мира» не разделяет эту точку зрения. Ничего страшного не произойдет, если «солидный» «Новый мир» опубликует, например, интересный детектив. На

мой взгляд, журнал от этого только выиграет и расширит круг читателей. Он ведь, я думаю, не стремится стать органом небольшой группы литературных эстетов.

Несколько слов о вашем постоянном авторе А. И. Солженицыне. Я с уважением отношусь к его гражданской позиции и разделяю ее. Однако писатель, на мой взгляд, Солженицын средний. Если его ранние произведения написаны неплохо, то, скажем, «Красное Колесо» читать вообще невозможно. Я, например, одолел лишь несколько десятков страниц.

Традиционное полиграфическое оформление «Нового мира» мне нравится. Считаю, что отходить от него не стоит.

Первый секретарь посольства России в ФРГ Д. **ЕЖОВ**,
46 лет, москвич в третьем поколении,
образование высшее, по профессии дипломат.

Бонн, 18 января 1999.

Здравствуйте!

Совершенно случайно мне в руки попал 7-й номер журнала «Новый мир» за 1995 год.

И я благодарю судьбу, что это произошло. Потому что нашла в журнале повесть, потрясшую мою душу. Читала «Рождение» Алексея Варламова с внутренней дрожью и слезами на глазах. Непостижимое, удивительное умение выразить переживания, чувства и мысли женщины!

У меня поздний ребенок, как мне все до боли знакомо и понятно.

Сейчас — время отчужденности, озлобленности. Даже близких не интересуют твои опасения, страхи, душевная боль. Не понимают или не хотят понимать, чтобы не добавлять себе лишних забот или волнения.

А эта повесть — единомышленница. Она дает силы и уверенность в том, что есть люди, способные разделить самые тонкие, самые сокровенные переживания.

Огромное спасибо писателю за повесть. Дай Бог ему удачи во всем. Признания, популярности, творческих взлетов, радости свершения.

Низкий поклон Вам, Алексей!

С уважением

С. ВИНОГРАДОВА.

Тверская обл., Нелидово.

ЗА КУЛИСАМИ ОДНОГО СОБЫТИЯ

В недавней публикации В. Шенталинского «Охота в ревзаповеднике. Избранные страницы и сцены советской литературы» (1998, № 12) особое внимание, на мой взгляд, привлекают страницы, посвященные «охоте» на талантливейших драматургов-сатириков, объявленной в начале 30-х годов. Она вполне вписывается в контекст той эпохи, когда зубодробительной критике стала подвергаться сатира как таковая, которая, по мнению многих деятелей рапповского толка, вообще не имела права на существование в советских условиях; по этой «линии», кстати, «проходил» и Михаил Булгаков. В эту «полемику» с помощью, естественно, своих специфических средств включились и истребительные инстанции.

Один из самых выразительных (и поразительных!) документов, обнародованных Шенталинским, — письмо «Сони Магарилл», как называет ее автор, посланное из Москвы в сентябре 1933 года драматургу-сатирику Владимиру Захаровичу Массу. В это время он, как и его друг и соавтор Николай Робертович Эрдман, находились в Гаграх, где снимался по их сценарию (вместе с режиссером Григорием Александровым) фильм «Веселые ребята». Прочитируем еще раз это письмо:

«Милый Владимир Захарович!.. Несколько дней тому назад запрещена... книга о Н. Н. Акимове, запрещена в тот момент, когда весь тираж был уже готов... Книга запрещена из-за того, что в ней имеются Ваш и Николая Робертовича портреты. По требованию московского Главлита из книги должны быть изъяты не только ваши портреты... но и даже страничка, где просто есть ваши фамилии.

Это настолько отвратительная история, что комментарии не требуются, а фельетон Михаила Кольцова был бы весьма уместен. Мне хотелось поставить Вас в известность об этом случае, так как, мне кажется, пройти мимо, не выяснив этого вонючего дела, не стоит...»

Письмо это послано известной киноактрисой, первой женой Григория Козинцева (автор несколько фамильярно, как мне показалось, называет ее Соней) Софьей Зиновьевной Магарилл (1900 — 1943), исполнившей, в частности, роли Татьяны Луговой в кинофильме «Враги», баронессы Штраль в «Маскараде» и ряд других. Есть в тексте письма и мелкая неточность: речь в нем идет не о «Н. Н.», а о Николае Павловиче Акимове (1901 — 1968), крупнейшем режиссере и художнике, в течение многих лет (с 1935 года) работавшем художественным руководителем Ленинградского театра комедии (в настоящее время театр носит его имя).

По словам Шенталинского, адресаты письма, занятые на съемках фильма, не обратили на него особого внимания: прочитали и «отмахнулись»: «потом разберемся». И напрасно: через несколько дней, 11 октября 1933 года, за Владимиром Массом, а затем и Николаем Эрдманом приехала машина местной госбезопасности. Далее путь известен. Как пишет Шенталинский, «Гагры сменились Лубянккой, съемочная площадка и ресторан — тюремной камерой и кабинетом следователя, сценарий „Веселых ребят” — серенькой папкой с надписью „Дело № 2685”». В это же время в Москве прошла облава на других известных сатириков: схвачены Михаил Вольпин и Эммануил Герман (Эмиль Кроткий). Имена Массы и Эрдмана были вычеркнуты из титров фильма, как позднее Эрдмана и Вольпина из титров другой классической комедийной ленты — «Волга-Волга». В 1930 году запрещена была пьеса Эрдмана «Самоубийца» в постановке Мейерхольда, вычеркнутая из театрального репертуара затем на полвека. Режим поступил с Эрдманом и Массом еще сравнительно «вегетариански» (через три-четыре года эта история могла закончиться более трагически): первый был сослан на три года в Енисейск, второй — в Тобольск, с дальнейшим запрещением жить в крупных городах; на полулегальных условиях они смогли вернуться в Москву лишь в послевоенные годы.

Но вернемся к письму С. З. Магарилл, оказавшемуся, конечно, в следственном деле. После прочтения его вспомнилось, что среди моих архивных выписок из недавно рассекреченного фонда Леноблгорлита есть и такие, которые могут пролить дополнительный свет и прояснить в какой-то мере закулисную цензурную историю с книгой о Н. П. Акимове, произошедшую как раз накануне драматических событий, примерно за месяц до ареста сатириков, в сентябре 1933 года. Вот они:

«Главлит РСФСР

Начальнику Ленгорлита

Главлит получил сведения, что содержание нашего письма о задержании и условиях выпуска в свет книги об *Акимове* в издании Лентеаклуба стало известно ряду беспартийных художников (Ходасевич, Соллертинскому), причем последний заявил приезжавшему в Ленинград председателю Реперткома г. Литовскому, что ему, Соллертинскому, это письмо *было показано одним из работников Горлита*.

Просим произвести тщательное расследование и сообщить о результатах.

Начальник Главлита Б. Волин».

(Этот и другие цитируемые документы хранятся в С.-Петербургском гос. архиве литературы и искусства: ф. 281, оп. 1, д. 43, лл. 429 — 431.)

Речь в этом письме главного цензора страны идет об известной художнице Валентине Ходасевич (племяннице В. Ф. Ходасевича), одном из крупнейших музыковедов, консерваторском профессоре и необычайно популярном лекторе Ленинградской филармонии Иване Ивановиче Соллертинском и многолетнем председа-

теле Главреперткома Осафе Литовском, выпустившем, кстати, в годы «оттепели» (1958 год) книгу воспоминаний под названием «Так и было», в которой он поведал немало интересного о цензурных судьбах многих театральных постановок в 30-е годы.

Ответ последовал незамедлительно:

«Леноблгорлит

Начальнику Главлита т. Волину

Уважаемый Борис Михайлович!

По моему поручению 1 сектор произвел расследование в связи с разговорами об Акимове. При этом выяснилось, что т. Литовский или что-то не понял в беседе с т. Соллертинским, или в своей информации Главлиту что-то добавил. В подтверждение этого положения посылаю подлинные показания Соллертинского. Весьма неприятно, что факт запрещения органами цензуры стал известен в соответствующих кругах. Но от этого положения до утверждения об ознакомлении с документами (секретными) Главлита от сотрудника Леноблгорлита (так. — А. Б.) дистанция огромного размера.

С коммунистическим приветом

Орлов».

К этому донесению приложены «показания» Соллертинского (в деле — автограф), которые были взяты у него Ленгорлитом, хотя он никакого касательства к нему не имел: лишнее доказательство того, что цензурное ведомство находилось в ближайшем родстве с еще более «славными органами» и обладало чуть ли не судебными полномочиями:

«Настоящим заверяю, что никаких разговоров по поводу книги об Акимове с сотрудниками Горлита у меня не было и что о задержании я узнал от самого Акимова. Впрочем, о запрещении этой книги вообще было известно довольно значительному кругу лиц. В разговоре с т. Литовским, ведшимся по поводу истории советского театра, было лишь вскользь упомянуто о книге Акимова. Никаких документов о задержании этой книги я не видел, и речь о них вообще не шла ни с какими сотрудниками Горлита.

И. Соллертинский».

13 сентября 1933 г.

Вся эта история возникла, конечно, в связи с «нежелательным просачиванием» сведений о действиях цензуры в общество, которое вообще не должно было знать о существовании такого института. В этой истории все же много загадочного. Во-первых, весьма странно, что приказ Главлита об изъятии портретов сатириков из книги об Акимове — художнике и театральном оформителе поступил до их ареста: обычно бывало наоборот — изымались книги (или даже просто упоминания имен) уже репрессированных авторов или персонажей, объявлявшихся, прямо по Оруэллу, «н е л и ц а м и». Возможно, по своим каналам Главлит уже знал о готовящейся акции и в качестве превентивной меры приказал изъять портреты Н. Эрдмана и В. Масса из уже подготовленной книги «Акимов».

История эта, судя по всему, вышла за пределы цензурного ведомства, обсуждалась в художественных кругах Москвы и Ленинграда и вызвала письмо-предупреждение С. З. Магарилл. Сейчас оно покажется немного наивным, но в то же время исполненным достоинства и «гражданского чувства», как принято говорить. Видимо, тогда еще действовала некая инерция свободы и независимости... Но было уже поздно: после «года великого перелома» («перешибя», как более справедливо стали его называть в последнее время) любые попытки протеста против цензурного произвола обречены были не только на полную неудачу, но и грозили автору неприятными последствиями.

С этой книгой об Акимове, вызвавшей такой переполох в цензурном ведомстве, далеко не все ясно. Она представляет собой скорее альбом, в который вошли книжные иллюстрации, рисунки, эскизы театральных декораций, а главное — на-

рисованные Акимовым портреты его друзей: драматургов, артистов и других деятелей искусства. С Эрдманом его связывали дружеские и творческие отношения: в 1925 году, спустя полгода после премьеры «Мандата» Эрдмана у Мейерхольтца, пьеса в оформлении 24-летнего Акимова (а самому Эрдману было тогда всего 23 года) шла в Ленинграде (Ленинградский академический театр драмы).

Но вот что странно: вопреки распоряжению Главлита об их изъятии, оба портрета — и Эрдмана, и Масса, нарисованные в 1930 году, — опубликованы (наряду с необычайно выразительными портретами А. Файко, Э. Гарина, Д. Шостаковича, И. Соллертинского и многих других). Возможно, приказ Главлита опоздал, и в уже набранной и напечатанной книге Ленгорлит не рискнул произвести требуемую операцию, тем более что вокруг книги возник «нежелательный шум»? Трудно сказать... Но сама книга, уже после ареста драматургов, все-таки попала в проскрипционные списки Главлита и подверглась уничтожению: лишь несколько экземпляров из трехтысячного тиража были на долгие годы погружены в библиотечные узилища — спецхраны крупнейших библиотек; остальные пошли под нож. Возвращены уцелевшие экземпляры в так называемые «общие фонды» лишь в 1956 году, о чем свидетельствует помета на карточке, обнаруженной в каталоге бывшего спецхрана Российской Национальной Библиотеки в Петербурге: *«Исключить. Приказ [Главлита СССР], л. 80. 11.XII.1956 г.»*. Кстати, книгам, посвященным Акимову, вообще не очень везло в цензуре. Первая книга о 26-летнем театральном художнике (режиссурой он стал заниматься позже) вышла в Ленинграде в 1927 году (издательство «Academia»): «Н. П. Акимов. Статьи Адр. Пиотровского, Ник. Петрова, Б. П. Брюлова». Десять лет спустя книгу изъяли из библиотек из-за того, что Адриан Иванович Пиотровский (1898 — 1938), известный писатель и переводчик, был арестован в 1937 году и вскоре расстрелян, а все его книги, переводы и статьи автоматически подлежали уничтожению. «Реабилитировали» первую книгу об Акимове значительно позже, под занавес эпохи «перестройки», когда рассыпался спецхран, о чем опять-таки говорит помета на каталожной карточке РНБ: *«Исключить. Отношение Леноблгорлита от 19.V.1989 г.»*.

«Красные карандаши Цензуры вычеркивают мою жизнь строчка за строчкой. Иногда мне кажется, что бумага может не выдержать и порвется», — такая запись Эрдмана обнаружена Шенталинским в так называемом «литературном приложении» к следственному делу драматурга. Эти фразы, так же как и приведенные выше документы, полностью подтверждают слова, сказанные некогда Генрихом Гейне, — там, где начинают с уничтожения книг, неизбежно заканчивают уничтожением людей.

А. В. БЛЮМ.

Санкт-Петербург.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Акутагава Рюноске. Сочинения в 4-х томах. М., «Полярис», 1998, 5000 экз.

Том 1. Начало пути. Новеллы 1914 — 1919 годов. Предисловие В. Гривнина. 687 стр.

Том 2. Зрелость. Новеллы 1920 — 1923 годов. 559 стр.

Том 3. Итоги. Новеллы 1924 — 1927 годов. 447 стр.

Том 4. Философия жизни. Эссе, миниатюры, статьи, письма. 575 стр.

Сэмюэль Беккет. Театр. Пьесы. Составление В. Лапицкой. Вступительная статья М. Кореновой. СПб., «Азбука», «Амфора», 1999, 347 стр., 10 000 экз.

В. Гандельсман. Цапля. Стихи. Москва — Париж — Нью-Йорк, «Третья волна», 1999, 45 стр., 3000 экз.

См. рецензию Л. Панн на книгу лирики В. Гандельсмана «Долгота дня» в № 3 «Нового мира» за 1999 год.

М. П. Грабовский. Второй Иван. Совершенно секретно. М., «Научная книга», 1998, 160 стр., 1000 экз.

Центральное произведение книги, повесть «Второй Иван», сочетающая жанры автобиографического и производственного романа, посвящена судьбам создателей первых реакторов отечественных АЭС.

А. Морозов. Чужие письма. М., «Грантъ», 1999, 128 стр.

Книжное издание произведения, получившего премию Букера 1998 года. Первоначальная публикация — в журнале «Знамя», 1997, № 11.

Лев Рубинштейн. Случай из языка. СПб., Издательство Ивана Лимбаха. 1998, 79 стр., 3000 экз.

Новая книга поэта, составленная из текстов, написанных им для журнала «Итоги» в течение последних двух лет; определяя их жанр, автор называет их прозой, «поскольку это явно не стихи».

Салман Рушди. Прощальный вздох Авра. Роман. Перевод с английского Л. Мотылева. СПб., «Лимбус Пресс», 1999, 544 стр., 5000 экз.

Солнечное подполье. Антология литературного рок-кабаре Алексея Дидурова. М., «Academia», 1999, 652 стр., 3000 экз.

«Солнечный вариант» культурного андерграунда 70 — 80-х годов — взгляд на московскую (современную русскую) литературу из «дидуровского» полуподпольного рок-кабаре, бывшего своеобразной «бродильней» для сегодняшней культуры. Произведения 172 авторов, в разное время побывавших участниками литературно-музыкальных, поэтических, театральных «тусовок» «у Дидурова», — Филатов, Стреляный, Шендерович, Эппель, Бек, Быков, Вишневский, Иртенев, Кибиров, Ряшенцев, Скородумова, Степанцов, Башлачев, Гребенщиков, Кабыш, Кортнев и т. д., и т. д.

Строфы века — 2. Антология мировой поэзии в русских переводах XX века. Составитель Е. В. Витковский. М., «Полифакт», «Итоги века», 1998, 1192 стр., 10 000 экз.



Диана Л. Бургин. София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо. Перевод с английского С. Сивак. СПб., «Инапресс», 1999, 513 стр., 1600 экз.

Биографическая книга, написанная профессором Бостонского университета.

Евангельский текст в русской литературе XVIII — XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов. Выпуск 2. Петрозаводск, Издательство Петрозаводского университета, 1998, 551 стр., 1500 экз.

Сборник представляет материалы II Международной конференции «Евангельский текст в русской литературе XVIII — XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр», проходившей в Петрозаводском университете в июне 1996 года.

С. Е. Ильин. Моя закавказская Россия. М., Координационно-методический центр «Народы и культуры», 1998, 238 стр.

Мемуарная книга, посвященная быту и жизни русских молоканских сел Азербайджана с 30-х до конца 80-х годов нашего века, написанная старожилом тех мест. В качестве предисловия его автор С. А. Иникова дает развернутую справку о молоканах в России.

Евграф Кончин. Зачем твой дивный карандаш... М., «Мусагет», 1998, 356 стр.

Книга представляет итог тридцатилетних исследований ее автором иконографии А. С. Пушкина, его друзей и близких.

Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни. М., «Русский путь», 1999, 288 стр., 2000 экз.

Воспоминания Нины Алексеевны Кривошеиной, дочери промышленника Мещерского, ставшей женой министра царского правительства Кривошеина, пережившей эмиграцию, аресты мужа (немцами в Париже за причастность к движению Сопротивления, а по возвращении на родину — чекистами), арест сына, воссоединение семьи и окончательную эмиграцию во Францию. Мемуары писались по просьбе А. И. Солженицына.

И. М. Кузнец. Адмиралтейская академия. М., Издательский дом «Руда и металлы», 1998, 640 стр., 500 экз.

Исторический очерк (по сути, монография) о Военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского, основанном императором Павлом в 1798 году. Общий объем издания — 80 печатных листов. Состоит из двух частей; первой частью книги, озаглавленной «Введение в историю. 1798 — 1898», стала перепечатка написанного А. И. Пароменским к столетнему юбилею «Исторического очерка Морского инженерного училища императора Николая I» (издание 1911 года). Вторая, оригинальная часть, занимающая основной объем книги, рассматривает историю училища за последние столетия и содержит богатейший фактический материал, в том числе списки выпускников, обширный иллюстративный материал, массу «попутных» исторических справок (скажем, об истории здания Главного Адмиралтейства в Петербурге, где более ста лет помещалось и Морское инженерное училище). Нечастый случай, когда издание, приуроченное к юбилейной дате и изданное с такой же полиграфической роскошью, как это, является не просто «подарочным изданием», но дельным историческим трудом.

Ю. М. Лотман. Собрание сочинений. Том 1. Русская литература и культура Просвещения. Предисловие Вяч. Вс. Иванова. М., ОГИ, 1998, 520 стр., 1000 экз.

С. Маковский. Силуэты русских художников. М., «Республика», 1999, 383 стр., 7000 экз.

Очерки о русских и зарубежных художниках XIX века и о современниках автора (Серов, Левитан, Грабарь, Богаевский, Бенуа, Головин, Сомов, Врубель, Малевич, Синьяк, Сезанн, Писсаро, Пикассо и другие), о русском и псевдорусском стиле начала века, об основных течениях русской живописи 10 — 30-х годов (постимпрессионизм, примитивизм, супрематизм и т. д.: группы «Золотое руно», «Мир искусства», «Голубая роза», «Треугольник», «Бубновый валет» и др.), написанные Сергеем Константиновичем Маковским (1877 — 1962), одним из ведущих художественных критиков начала века, редактором журнала «Аполлон», сыном известного художника. Издание составили его книги: «Страницы русской художественной критики» (впервые — СПб., 1909), «Силуэты русских художников» (Прага, 1922), «Последние итоги живописи» (Берлин, 1922) и другие работы.

Миры братьев Стругацких. Энциклопедия. В 2-х томах. Составитель В. Борисов. М., АСТ, «Тerra Fantastika», 1999, 5000 экз. Том 1. 544 стр. Том 2. 560 стр.

Владимир Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., «Искусство-СПб.», «Набоковский фонд», 1998, 928 стр., 5000 экз.

Первое издание в России знаменитого труда Набокова-литературоведа и Набокова-писателя, впервые вышедшего на английском языке в 1964 году. Перевод для русского издания осуществлен группой переводчиков, общая редакция перевода — Н. М. Жутовской. В «Приложение» вошли статьи Набокова «Абрам Ганнибал», «Заметки о просодии» и «Заметки переводчика», а также представлено факсимильное воспроизведение прижизненного пушкинского издания «Евгения Онегина» (СПб., 1837).

Владимир Набоков. Лекции по зарубежной литературе. Перевод с английского под редакцией В. А. Харитоновой. Предисловия А. Г. Битова и Джона Апдайка. М., Издательство «Независимая газета», 1998, 512 стр., 10 000 экз.

Первое русское издание. Содержит лекции о Джейн Остен, Чарльзе Диккенсе, Гюставе Флобере, Роберте Стивенсоне, Марселе Прусте, Франце Кафке, Джеймсе Джойсе, Сервантесе, а также эссе «Искусство литературы и здравый смысл».

Т. В. Розанова. «Будьте светлы духом». Предисловие и составление А. Богословского. М., «Blue Apple», 1999, 183 стр., 2000 экз.

Книга о В. В. Розанове, написанная дочерью писателя Татьяной Васильевной Розановой.

А. Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., «Эллис Лак», 1999, 815 стр. 5000 экз.

Р. Г. Скрынников. Дуэль Пушкина. СПб., Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999, 365 стр., 5000 экз.

Новая книга одного из ведущих современных историков, обратившегося на этот раз к истории литературы. «История дуэли Пушкина окутана плотной пеленой мифов и легенд»; «...книга написана с одной целью: уточнить некоторые факты и подробности биографии Пушкина, имеющие существенное значение для воссоздания его гибели». В своем исследовании Скрынников стремится охватить максимальное количество достоверно известных фактов, способных иметь отношение к истории дуэли.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. В 5-ти томах. 1927 — 1939. Том 1. Май 1927 — ноябрь 1929. М., РОССПЭН, 1999, 879 стр., 1000 экз.

Григорий Чхартишвили. Писатель и самоубийство. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 576 стр.

Книга состоит из двух частей: «Человек и самоубийство» (разделы: «История вопроса», «Религия», «Философия», «Теории», «География», «Как это делается») и «Писатель и самоубийство» (разделы: «Как у людей», «Не как у людей»). К тексту книги прилагается составленная автором «Энциклопедия литературицида» — краткие справки о писателях, покончивших самоубийством, охват — от писателей древности до Юрия Карабчиевского и Вячеслава Кондратьева. В предисловии автор оговаривается, что писал не литературоведческое исследование, что его «в первую очередь занимает именно самоубийство, «неизъяснимый феномен в нравственном мире» (Карамзин), и что внутренней причиной написания этой книги была потребность разобраться в вопросе: «Допустимо ли самоубийство, не нарушает ли оно правил „честной игры“, в которой участвует каждый из живущих?»

Умберто Эко. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Перевод с итальянского А. Г. Погоняйло, В. Г. Резника. ТОО ТК «Петрополис», 1998, 432 стр., 5000 экз.

«Общие проблемы семиотики, разграничение и определение взаимоотношений семиотики и феноменологии, семиотики и психоанализа и т. д. трактуются в предлагаемой книге на материале архитектуры, кино, современной живописи, музыки, рекламы и т. д.».

Л. Юзефович. Самые знаменитые самозванцы. М., «Олимп», «Современник», 1999, 400 стр., 3000 экз.

Популярно написанная книга историка (автора книги о бароне Унгерне «Самодержец пустыни». М., «Эллис Лак», 1993) и прозаика о самозванцах начиная со времен Вавилона, Древней Персии, Македонии, Рима до отечественных Лже-Дмитрия, детей Лже-Дмитрия, «сына Василия Шуйского» (вологодского подьячего Тимофея Акундинова, обладавшего редкой для его времени культурой, владевшего множеством языков, дружившего с европейскими монархами, побывавшего и в католичестве и в исламе), кончая лжецаревичем Алексеем, служившим впоследствии в Политотделе 5-й армии и разоблаченным во время партийной чистки.

Составитель **Сергей Костырко.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Владимир Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

ПЕРИОДИКА



*«Ветеран», «Вопросы литературы», «Время МН», «Вышгород»,
«Демократический выбор», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ»,
«Звезда», «Знамя», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение»,
«Коммерсант-Daily», «Кулиса НГ», «Литературная газета»,
«Литературное обозрение», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник»,
«НГ-Религии», «Нева», «Независимая газета», «Новая Россия», «Новая Юность»,
«Новое литературное обозрение», «Общая газета», «Октябрь»,
«Открытая политика», «Русская мысль», «Стратегия», «Сутолока», «Труд»*

Александр Агеев. Писатели газет. — «Знамя», 1999, № 3.

О ремесле литературного критика — в связи с выходом книг Андрея Немзера «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» (М., «Новое литературное обозрение», 1998) и Вячеслава Курицына «Журналистика 1993 — 1997» (СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998), то есть критиков, достигших, по мнению Агеева, наиболее возможной в данный момент «независимости» (кавычки Агеева).

О книге А. Немзера см. рецензию Вл. Новикова («Новый мир», 1999, № 2), о книге Вяч. Курицына — рецензию С. Костырко («Новый мир», 1998, № 10).

Анатолий Азольский. Кровь. Роман. — «Дружба народов», 1999, № 3.

Белоруссия, оккупация. Остро сюжетный роман Букеровского лауреата. См. о романе рецензию С. Костырко в следующем номере «Нового мира».

Американский фактор: Роберт Каган. Империя доброй воли; **Чарльз Уильям Мейнз.** Имперская Америка: внутренние и внешние опасности. Перевод с английского А. Максимова. — «Открытая политика». Журнал российской политической жизни. 1998, № 11-12.

Американские политологи о мировой гегемонии США: *за и против.*

Е. В. Анисимов. «Донести куда надлежит». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1, 2, 3.

Рубрика «Исторические чтения». О доносах в России XVIII века. См. также его статью «Народ у эшафота» («Звезда», 1998, № 11) о публичных казнях в России и Европе.

Александр Архангельский. Пушкин комментирует Набокова. — «Известия», 1999, № 44, 13 марта.

Критик уверен, что недавно выпущенный по-русски набоковский «Комментарий к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин“» (1964) есть один из первых полноценных постмодернистских романов. Мораль: «изучать русскую литературу по Набокову невозможно, изучать Набокова по его филологическим штудиям очень даже легко».

Иван Ахметьев. О неофициальной поэзии в «Самиздате века». Из первых рук. — «Новое литературное обозрение», № 34 (1998, № 6).

В подборку «Жизнь и судьба в самиздате» также входят материалы: Владимир Алейников, «Звезда самиздата»; Александра Истогина, «Вернулся я...»; Валентин Соколов, «Из неопубликованных стихов»; Мирослав Андреев, «Литературный альманах „Майя“». Краткая справка»; Евгений Шешолин, «Из стихов 80-х годов»; К. П., «Академическое подполье. Общая тетрадь № 2. СПб., 1996».

О сборнике «Самиздат века» (серия «Итоги века», Минск — Москва, 1997) см. полемические отклики Наума Ефремова «Итоги подмены» («Индекс/Досье на цензуру», 1998, № 2) и Виктора Топорова «Когда тайное становится... скучным» («Постскриптум», 1998, № 3).

Анатолий Бахтырев. Агараки. Рассказ. Публикация Гедды Шор. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 6, март.

Короткий рассказ *Кузьмы* — талантливо, но малоизвестного прозаика Анатолия Ивановича Бахтырева (1928 — 1968). Тут же напечатан мемуарный очерк Евгения Федорова «Слово о Кузьме». Кузьма является также одним из персонажей повести Евгения Федорова «Кухня» («Континент», № 95), в том же номере «Континента» были напечатаны пять коротких рассказов А. Бахтырева из сборника «Эпоха позднего реабилитанса», выпущенного крошечным тиражом в Израиле в 1973 году. О рассказах Анатолия Бахтырева см. рецензию Марии Ремизовой «Невыносимая хрупкость бытия» («Новый мир», 1998, № 11).

Павел Белицкий. Не привитая к советскому дичку. — «Независимая газета», 1999, № 41, 6 марта.

Литературная премия Александра Солженицына 1999 года присуждена Инне Лиснянской. «Архитектоника стиха, строгая размерность, точная рифма, на протяжении всего XX века расшатывавшаяся, мешавшая особенно тем, кто в поэзии стремился прежде всего (если не только) „самовыражаться“, для Лиснянской — не анахронизм и тем более не путы, мешающие естественному ходу речи, но, наоборот, как раз естественная органическая форма существования поэзии, высшая форма синтаксиса языка».

См. также поэтическую подборку Инны Лиснянской «В компьютерном окне» («Новый мир», 1999, № 2).

Владимир Березин. Парадокс Толстяков, или Десять мартовских тезисов о масе и весе. — «Ex libris НГ», 1999, № 8, март.

О *тучности* в литературе. К 100-летию Юрия Олеши.

Евгений Бич. «„Большой пуд“ я положил в чашу умственной жизни России...». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

80 лет со дня смерти В. В. Розанова.

Геннадий Бурбулис — Георгий Гачев. Диалог. — «Стратегия». Культура. Политика. Общество. Учредитель и издатель журнала Гуманитарный и политологический центр «Стратегия». Шеф-редактор Геннадий Бурбулис. 1998, № 1.

Тема разговора: «стратегия жизни Георгия Гачева в его собственном восприятии». Семейная жизнь, писательство. Гачев говорит о своей жене Светлане Семеновой: женился в свое время на молодой филологине, подспудно желая иметь секретаря, а получил Сократа.

Константин Ваншенкин. В мое время. Из записей. — «Знамя», 1999, № 3.

Литературные заметки. Воспоминания.

Владимир Васильев. Судьба деревни и культура. Футурологическая проза. — «Молодая гвардия», 1999, № 3-4.

У истоков новейшей русской прозы о судьбе *советской деревни* стоят, по мнению критика, роман Е. Замятина «Мы», повесть Ив. Кремнева (псевдоним А. В. Чаянова) «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» и тяготеющий к ним платоновский «Чевенгур». Востребованные в годы перестройки, они хотя и выказали свою жизненность и актуальность, но были прочитаны исторически неточно, применительно к другой злобе дня.

Марк Галлай. Я думал — это давно забыто. Публикация К. В. Галлай. — «Знамя», 1999, № 3.

Последняя рукопись летчика-испытателя и писателя Марка Лазаревича Галлая. Эпизоды, недорассказанные в книгах. В «Новом мире» печатались его мемуары «Из записок летчика-испытателя» (1960, № 6, 7; 1963, № 4, 5; 1965, № 2; 1966, № 9).

М. Л. Гаспаров. Записки и выписки. — «Новое литературное обозрение», № 34 (1998, № 6).

Продолжение растянутой на много номеров публикации (начиная с № 16, с перерывами).

«ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА. Маргарита Австрийская, плывя замуж в Испанию, в смертельную бурю сочинила себе эпитафию, хоть с погибшею эпитафия тоже утонула бы, а для спасшейся она была бы не нужна».

«КОРНИ, жить корнями, это чтобы Чехов никогда не уезжал из Таганрога».

«ЛОГИКА. „Как атеист смеет комментировать Достоевского?“ — мысль И. Золотусского в ЛГ 17.6.92. А как нам комментировать Эсхила?»

Виталий Гольданский. Если бы... Гитлера убили в 1944 году. — «Труд», 1999, № 45, 13 марта.

Историческая фантазия академика о том, что могло случиться, если бы Штауффенберг убил Гитлера 20 июля 1944 года. А именно: «В Европе союзниками (вассалами) СССР стали бы Словакия, Румыния, Югославия и Болгария. А Польша, Чехия и Венгрия (именно нынешние новые члены НАТО) оказались бы по ту сторону „железного занавеса“, ГДР вовсе не появилась бы на свет».

См. в «Новом мире» (1999, № 4) отклик Юрия Каграманова «А могло бы быть иначе?» на сборник «Виртуальная история: альтернативы и противофакты» (London, 1998).

Виктор Голявкин. Три рассказа. — «Октябрь», 1999, № 2.

«Ни на что не похоже, или Всегда что-то напоминает», «Третья пара», «Хохотушка» — короткие рассказы семидесятилетнего прозаика с предисловием Анатолия Наймана.

Олег Дарк. Андреевы игрушки. Повесть. — «Знамя», 1999, № 3.

Детство, 60-е. Жанр отечественной *повести* противопоставлен в авторском предисловии чужеземному, неорганичному для русского писательского сознания *роману*.

Дефектный ген коллекционирования. Интервью Андрея Сергеева, данное им А. Левину. — «Новое литературное обозрение», № 34 (1998, № 6).

Интересное интервью (весна 1998) Букеровского лауреата, поэта, прозаика и переводчика Андрея Яковлевича Сергеева (1933 — 1998) о *коллекционировании*, и только о нем (сокращенный вариант интервью опубликован в интернетовской версии журнала «Пушкин» http://www.russ.ru/journal/ist_sovr/98-06-16/levin.htm). Рядом напечатаны отклики Александра Пятигорского, Асара Эппеля и Георгия Балла на безвременную смерть Андрея Сергеева, сбитого машиной в ноябре 1998 года.

Игорь Ефимов. Хозяева знаний и хозяева вещей. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

«Высоковольтное» меньшинство в человеческом обществе делится на хозяев знаний и хозяев вещей, не понимающих друг друга. Статья в авторской рубрике «История неравенства», в основе которой лежит «антиуравнительная» книга Игоря Ефимова «Стыдная тайна неравенства», — она готовится к выходу в издательстве «Эрмитаж» (США) в 1999 году. Об историческом романе Игоря Ефимова «Не мир, но меч. (Хроника времен заката)» см. рецензию Алексея Козырева «Оправдан ли Пелагий?» («Новый мир», 1997, № 11).

Сергей Ждакаев. Зима. Что делать нам в деревне? Отдаленное тульское село Хомутовка становится признанным центром пушкинистики. — «Известия», 1999, № 41, 10 марта.

Районный нотариус Анатолий Александров, по совместительству возглавляющий местное Пушкинское общество (восемь действительных членов и примерно столько же ассоциированных), пришел к выводу, что *Татьяна Ларина не была дочерью Дмитрия Ларина*. Необычное исследование привлекло внимание профессиональных пушкинистов.

Александр Жолковский. О неясной ясности. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

«Логоцентрические» заметки профессора университета Южной Калифорнии на полях стихотворения Мандельштама «Не сравнивай: живущий несравним...».

Ольга Земляная. О «Капитанской дочке» и литературе как учебнике жизни. — «Литературное обозрение», 1999, № 1.

«Капитанская дочка» как первая русская *антиутопия*.

Игорь Золотусский. На пути ко «всей правде». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

О прозе Георгия Владимова. К выходу в свет четырехтомного собрания его сочинений (М., «NFQ/2Print», 1998).

Наталья Иванова. Русский проект вместо русской идеи. — «Знамя», 1999, № 3.

В поисках новой родины. Дорогие россияне. Старые главные песни. «Тэфаль, ты всегда думаешь о нас...». От «Русского проекта» — к «Русскому стандарту».

Б. Ильин. В грязных сапогах по литературной ниве. — «Ветеран», 1999, № 9, март.

Негодующий вопль по поводу свободных заметок Сергея Боровикова «В русском жанре» («Новый мир», 1998, № 7): «От зависти ли, от неприязни ли развенчал мимоходом старших своих собратьев (Федина, Леонова, Паустовского и других. — *А. В.*), которыми литература наша гордится, а он им в подметки не годится». Из реплики Б. Ильина можно также узнать, что «Новый мир» агонизирует.

Фазиль Искандер. «Что-то хорошее ожидает Россию». Беседу вела Софья Митрохина. — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1999, № 8, 4 — 10 марта.

К 70-летию писателя. О необходимости оздоровления «ствола государственности»: «...продолжение моей мысли может выглядеть как фантазия, но — всеобщее избирательное право только лишь продолжит существующий хаос, потому что при нынешней избирательной системе невозможно выбрать представителей, наиболее сильных по глубине своих мыслей и по гуманности этих мыслей... Это должны быть люди с огромными знаниями юридической стороны дела, а также с большим знанием человеческой души. Они должны или прямо входить в правительство, или составить какой-то духовно-мозговой центр, с которым непременно, при всех обстоятельствах (и это должно быть закреплено в законе), правительство будет считаться. Может быть (это было бы

идеально), они сами и будут правительством. А считать, что весь народ определяет, кто лучший политик, — это совершенно абсурдно...» Критиковать всеобщее избирательное право в газете «Объединенных демократов» — наверно, это и есть *слава*.

См. также обширные интервью Фазиля Искандера в «Кулисе НГ» (1999, № 6, март) и в «Литературной газете» (1999, № 9-10, 3 марта).

Владимир Кантор. Умирал ли дракон? От советского к постсоветскому насилию. — «Октябрь», 1999, № 2.

Провокация как принцип государственного строительства. Имитация как преобразующая общество сила.

Г. В. Краснов. Феномен Ю. Г. Оксмана. Взгляд из Горького. — «Новое литературное обозрение», № 34 (1998, № 6).

Данная подборка (в нее входят также материалы Б. Ф. Егорова «Ю. Г. Оксман и Тарту» и В. Н. Абросимовой «Из саратовской почты Ю. Г. Оксмана: письма Л. Б. Магон») продолжает серию публикаций журнала и издательства «Новое литературное обозрение», посвященных филологу Юлиану Григорьевичу Оксману (1894/1895 — 1970). См.: К. М. Азадовский, «Из переписки М. К. Азадовского и Ю. Г. Оксмана (1950 — 1951)» — «НЛО», № 17; Дмитрий Зубарев, «Из жизни литературоведов» — «НЛО», № 20; К. П. Богаевская, «Из воспоминаний» — «НЛО», № 21, 29; а также сборник «Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка. 1944 — 1954» (М., «Новое литературное обозрение», 1998).

Борис Крячко. Сцены из античной жизни. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1997, № 1-2, 4-5, 6; 1998, № 1-2, 4, 5.

«Античность» в данном случае недавняя: ссыльный после лагерей, известный всему ученому миру археолог живет в среднеазиатском городе.

В № 6 журнала «Вышгород» за 1998 год напечатан некролог: Борис Юлианович Крячко, «блистательный филолог, знаток языков, гид-переводчик; интеллектуал и чернорабочий-котельщик; он испытал себя на земле от края до края: Средняя Азия, Дальний Восток, Камчатка, Балтика. Ему шел 69-й год (10.09.1930, Красная Яруга Курской области — 30.10.1998, Пярну, Эстония). В наследство он оставил свои произведения в журналах „Радуга“, „Таллинн“, „Грани“, „Вышгород“. В России же — только в журнале „Охотничье хозяйство“...»

См. в журнале «Вышгород» (1996, № 3) повесть Бориса Крячко «Во саду ли, в огороде».

Артур Кудашев. Самоучитель жизни в Советском Союзе. — «Сутолока». Литературный журнал. Тираж 120 экз. Уфа, 1999, № 1(12).

Краткое наставление: как правильно бездельничать, как правильно пить, как правильно воровать. Наш ответ Дейлу Карнеги.

Александр Кушнер. Письмо в редакцию. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

Полемика петербургского поэта со шведским филологом Бертом Янгфельдтом («Звезда», 1998, № 11) о бронзовом бюсте Бродского.

Р. Ланис. Словарь эпохи развитого социализма. — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1999, № 10, 18 — 24 марта.

«Березки», «В одни руки», «Главлит», «Характеристика» и проч. — краткий толковый словарь для молодежи, не знакомой с реалиями советского образа жизни.

Владимир Личутин. Все под Богом. — «Наш современник», 1999, № 3, 4.

Из книги «Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе».

Самуил Лурье. Ковчег плывет. — «Общая газета», 1999, № 9, 4 — 10 марта.

Критический разбор двухтомного библиографического словаря «Русские писатели. XX век» под редакцией Н. Н. Скатова (М., «Просвещение», 1998). Ошибки, дурная тенденциозность. «Ковчег плывет, нежно шелестят флаги (линялый — КПСС, новенький — Черной сотни), гордо реет желтый вымпел Халтуры, в трюмах — масса полезных вещей под толщей зловонной жижи...»

См. об этом словаре полемическую рецензию Никиты Елисеева в настоящем номере «Нового мира».

Родион Нахапетов. Влюбленный. — «Октябрь», 1999, № 2.

Мемуары известного актера и режиссера. Журнальный вариант. Полностью книга выходит в издательстве «Вагриус».

Андрей Немзер. «Как бы типа по жизни». — «Время MN», 1999, № 51, 26 марта.

Памфлет «культового» писателя Виктора Пелевина «Generation „П“» (М., «Вагриус», 1999) как зеркало отечественного инфантилизма. Критик не скрывает своего раз-

дражения: Пелевин учительствовал всегда, всегда писал на волапюке серых переводов с английского, всегда склеивал сюжет из разрозненных анекдотов — то лучше, то хуже придуманных (взятых взаймы в городском фольклоре, американском масскульте, у собратьев по цеху), всегда накачивал тексты гуманитарными мудростями, всегда ненавидел окружающую «мерзость» и всегда интересовался только одним персонажем — самим собой.

Александр Архангельский («Известия», 1999, № 51, 24 марта) с удовольствием отмечает перемену литературной стратегии Пелевина: до сих пор он играл на поле «серьезной» литературы и делал писательскую карьеру, «почти невероятным финалом которой становится Нобелевская премия», а ныне его проза возвращается к своему истоку, наконец-то становится частью массовой культуры, своеобразной интеллектуальной попсой, и это хорошо: *бижутерия всегда лучше подделки*.

О предыдущем романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» см. большую рецензию И. Роднянской («Новый мир», 1996, № 9).

Владимир Новиков. Четыре литературных конъюнктуры XX века. — «Литературное обозрение», 1999, № 1.

А именно: советская, антисоветская, эстетская и рыночная.

Михаил Новиков. «Что это — то, что я пишу?». 100 лет со дня рождения Юрия Олеши. — «Коммерсант-Daily», 1999, № 32, 3 марта.

«Книга прощания» Юрия Олеши (М., «Вагриус») представляет собой более полное, без цензурных пропусков, перекомпонованное издание «культуровой» книги «Ни дня без строчки» и читается, по мнению Михаила Новикова, как один из первых в русской прозе опытов литературной *деконструкции*. «Написав перфекционистскую „Зависть“, Олеша исчерпал некие принципиальные романские возможности и оказался не в силах обмануть собственный дар и сочинять „средние“ вещи — как это делал, например, Валентин Катаев».

«Книгой распада» называет эту книгу Юрия Олеши критик Станислав Рассадин («Общая газета», 1999, № 10, 11 — 17 марта) и уточняет: «Да, распад, что поделаешь, но распад — **чего и кого?** Удивительной прозы, удивительного прозаика...»

Валерия Новодворская. Шестидесятники и пустота. — «Новая Юность», № 34 (1999, № 1). Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Эпитафия толстым литературным журналам.

Глеб Носовский, Анатолий Фоменко. Старая критика и новая хронология. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

Суровые творцы Новой Хронологии, отвечая своим критикам — Д. Харитоновичу («Феномен Фоменко» — «Новый мир», 1998, № 3), академику В. Л. Янину («Общая газета», 1998, № 14, 9 — 15 апреля; «Известия», 1998, № 106, 11 июня) и авторам журнала «Природа» (1997, № 2), — неосторожно отождествляют себя с разгромленными в свое время генетиками. Между тем в противостоянии с лысенковской биологией отечественная генетика представляла собой именно нормальную, традиционную, «старую» науку, лавшую жертвой агрессивного новаторства, одним из современных аналогов которого — с поправкой на исторические обстоятельства — можно считать учение о Новой Хронологии.

Петр Палиевский. А. П. Керн. — «Наш современник», 1999, № 3.

Из книги «А. С. Пушкин. Биография». К 200-летию поэта.

Борис Парамонов. Разговоры с небожителем. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

С 1991 года Борис Парамонов ведет в журнале «Звезда» авторскую рубрику «Философский комментарий». На этот раз комментируется книга Соломона Волкова «Разговоры с Иосифом Бродским» (М., «Независимая газета», 1998). Открытие: Бродский — моралист, говорит об этике не меньше, чем Солженицын. *Метафизическая скромность* Бродского — «в расчете на вечность, в которой от него уж точно что-то останется».

См. о книге С. Волкова короткую рецензию Елены Касаткиной в мартовском номере «Нового мира» за этот год. О книге Б. Парамонова «Конец стиля» см. полемическую рецензию Евгения Ермолина «Рагапов: глазами клоуна» («Новый мир», 1998, № 6).

Андрей Платонов. «Жить здесь невозможно...». Публикация М. А. Платоновой. Вступительная статья Н. Корниенко. Подготовка текста Е. Антоновой, М. Гах, О. Капельницкой, Н. Корниенко, Н. Малыгиной, Л. Суматохиной, Е. Шубиной, Е. Яблокова. — «Октябрь», 1999, № 2.

Материалы 20-х годов, «воронежского периода». Анкета, статьи, стихи. Стихи неважные (за редким исключением: «Баю-баю, Машенька, / Тихое сердечко, / Прожи-

вещь ты страшенько / И сгоришь, как свечка»). Публикуемые тексты войдут в 1 и 2 тома первого научного собрания сочинений Андрея Платонова в 12-ти томах (ИМЛИ РАН).

Евгений Попов. <Из ответов на анкету «Мировая литература: круг мнений»>. — «Иностранная литература», 1999, № 2.

«Дутыми величинами являются Сартр, Камю, Экзюпери, а также Макс Фриш, герой которого от не хрена делать прикинулся слепым. Недооценен Гашек».

Юрий Путрин. Пушкин/Сталин. — «День литературы». Газета русских писателей. 1999, № 3, март.

О том, что, «если в послепушкинской истории Отечества поискать человека, способного стоять в одном ряду с Пушкиным, то более достойное имя, чем Сталин, найти трудно».

Александр Пушкин. Французские стихи. Перевод Генриха Сапгира. — «Дружба народов», 1999, № 3.

Русские переводы четырех французских стихотворений Пушкина печатаются по книге Генриха Сапгира «Черновики Пушкина» (М., «Раритет», 1992, 500 экз.).

Григорий Ревзин. Лучший русский писатель XX века. — «Коммерсант-Daily», 1999, № 47, 24 марта.

О том, что 4211 голосами из 6611 опрошенных Михаил Булгаков признан лучшим отечественным писателем в рамках проекта радиостанции «Эхо Москвы» «Персона XX века» (опрос проводился в феврале — марте этого года). «Остается не вполне понятным, характеризует ли этот выбор состояние отечественной литературы в умах общества или же — аудиторию радиостанции „Эхо Москвы“. Если первое — следует признать крах русской литературной критики XX века. Никто, кроме булгаковедов, никогда не числил Булгакова фигурой первого ряда: советские критики по понятным причинам, антисоветские — по причинам склонности к более экспериментальной литературе. Характерно, что Булгаков в два раза обошел трех русских Нобелевских лауреатов — Бунина, Пастернака и Солженицына, а Иосиф Бродский вообще не попал в десятку. Однако скорее выбор „Эха“ характеризует аудиторию радиостанции. То есть людей, чье „детство, отрочество, юность“ пришлись на время, когда роман „Мастер и Маргарита“ стал культовым, а зрелость — на период, когда читать уже недосуг. Характерно, что по предварительным итогам в опросе по зарубежным писателям сегодня лидирует Хемингуэй, что однозначно характеризует аудиторию опрошенных как бывших бородатых интеллигентов эпохи КСП».

Райнер Мария Рильке. Сонеты к Орфею. Часть первая. Перевод с немецкого, вступительная заметка и примечания Алексея Пурина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

«Осознавая ущербность всякого стихотворного переложения иноязычных шедевров, переводчик, в меру своих возможностей, стремился все же сохранить в переводе иерархию смыслов и тональность рильковского текста». Одновременно появился полный перевод «Сонетов к Орфею», выполненный В. Микушевичем (Райнер Мария Рильке. Избранные сочинения. М., «Рипол классик», 1998).

Михаил Родзянко. Государственная дума и Февральская 1917 года революция. Записки. Предисловия А. Ксюнина и В. Садыкова. — «Новая Юность», № 34 (1999, № 1), продолжение следует.

Вторая часть мемуарной книги Председателя Государственной думы М. В. Родзянко (первое полное издание его записок с дополнениями Е. Ф. Родзянко — Нью-Йорк, 1986). Первая часть мемуаров под названием «Крушение империи» уже выходила в России и на Украине в 1990 и 1992 годах.

Филип Рот. Наша банда. Роман. Перевод с английского Сергея Ильина. — «Новая Юность», № 33 (1998, № 6), 34 (1999, № 1).

Американская политическая сатира. Президент Трик Е. Диксон обращается к нации с объявлением о начале военной операции против... Дании. Завершается роман блестящей предвыборной речью в аду («Мои дорогие падшие!») — убитый Трикки пытается занять место Сатаны.

Лев Рубинштейн. Дружеские обращения 1983 года. — «Литературное обозрение», 1999, № 1.

Следом за дружескими обращениями напечатана дружеская беседа поэта с Павлом Грушко.

Джонатан Свифт. Письма. Вступительная статья, составление и перевод с английского А. Ливерганта. — «Вопросы литературы», 1999, № 1 (январь — февраль), № 2 (март — апрель).

Письма Свифта 1692 — 1740 годов печатаются в сокращении. «Нам хотелось представить читателю непривычного Свифта, взглянув на него в ином, неожиданном, скорее человеческом, нежели литературном ракурсе» (А. Ливергант).

Социология литературного успеха. — «Новое литературное обозрение», № 34 (1998, № 6).

Отклики М. Л. Гаспарова, Григория Дашевского, Дмитрия Александровича Пригова и Ольги Седаковой на статью Михаила Берга «Гамбургский счет» («Новое литературное обозрение», № 25). Д. А. Пригов отмечает, что поскольку *нет единой литературы*, то нет и единой стратегии успеха. У Ольги Седаковой обнаруживаются сразу два противоположных мнения об успехе, которые она демонстративно не хочет мирить между собой: во-первых, «всё стоящее в искусстве и в мысли непременно должно увенчаться прочным, широким и неоспоримым успехом», во-вторых, «всё стоящее непременно встречается обществом враждебно».

О статье М. Берга см. полемический отклик Никиты Елисеева «Гамбургский счет и партийная литература» («Новый мир», 1998, № 1).

Игорь Сухих. О Городе Солнца, еретиках, энтропии и последней революции. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2.

«Мы» Евгения Замятина. Авторская рубрика «Книги XX века». См. также статью Александра Солженицына «Из Евгения Замятина» («Новый мир», 1997, № 10).

Сергей Федякин. «Свое» и «чужое». Заметки о литературе, вышедшей из книжного шкафа. — «День литературы». Газета русских писателей. 1999, № 3, март.

Олег Павлов, Алексей Варламов, Антон Уткин, Дмитрий Галковский — «у каждого из них есть „своя правда“», но «именно в слабостях этих авторов обозначилось нынешнее литературное распутье».

Феномен Солженицына. — «Литературное обозрение», 1999, № 1.

Юбилейная подборка состоит из следующих материалов: Иосиф Бродский, «География зла» — рецензия 1977 года на «Архипелаг»; Павел Спиваковский, «Феномен Солженицына»; Роман Якобсон, «Заметки об „Августе Четырнадцатого“»; Татьяна Вознесенская, «Лагерный мир Александра Солженицына: тема, жанр, смысл»; Сергей Кормилов, «„Мы забыли, что такие люди бывают“». Ахматова и Солженицын»; Лев Лосев, «Поэзия и правда у Солженицына»; Лидия Колобаева, «Крохотки»; Юрий Цурганов, «„Исследования новейшей русской истории“». Под редакцией А. И. Солженицына»; Шамиль Умеров, «Александр Солженицын и ненасилие»; Ксения Маёрова, «Заметки о языке и стиле эпопеи А. И. Солженицына»; Павел Спиваковский, «Краткая библиография сочинений А. И. Солженицына и работ о нем».

Ирина Хакамада. Вперед к новому феодализму. — «Коммерсант-Daily», 1999, № 44, 19 марта.

В России — *два* государства, пересекающиеся в каждом из нас, в любой организации, в любом конкретном деле, а то, что официальное государство обзывает своих теневых конкурентов бандитами и взяточниками, проблема скорее государственного языка. «Парагосударство — это иммунная (защитная) реакция, и вопрос не в том, что ее надо подавлять, а в том, что надо научиться ею пользоваться. Иначе говоря, то, что в России называется коррупцией, является реакцией рынка и граждан государства на вмешательство государства в экономику. *Бороться с коррупцией — это все равно что бороться с собственным народом* (курсив мой. — А. В.)». Одна из самых важных политологических статей последнего времени.

Сергей Цветков. Александр Первый. Жизнеописание. — «Москва», 1999, № 1, 2.

Историком Сергеем Цветковым написано также жизнеописание Суворова («Москва», 1998, № 1, 2, 3). См. в «Новом мире» (1998, № 11) короткий рассказ Сергея Цветкова «Аполлон разоблаченный».

См. также публикацию Александра Архангельского «Первый и последний. Старец Федор Козьмич и царь Александр I: роман испытания» («Новый мир», 1995, № 11) — это фрагмент написанной А. Архангельским биографии Александра I.

Дмитрий Шеваров. Три зимних тетрадки. — «Новая Россия». Ежеквартальный литературный, художественно-публицистический журнал. 1999, № 1.

«Дневники — наша зимняя письменность». По страницам дневника П. Е. Чехова, отца писателя, 1890-х годов (М., 1995); дневника тотемского крестьянина А. А. Зама-

ева, 1908 — 1913 годы (М., 1995); дневника солдата В. А. Мишнина, 1914 — 1915 годы (Пенза, 1994). «Дневники хранят в себе тепло Неоконченности».

См. также эссе Дмитрия Шеварова «Пьеро Белкин» («Новый мир», 1999, № 4).

Кстати, журнал «Новая Россия» (главный редактор А. Н. Мишарин) — это преобразенный «Советский Союз», основанный Горьким еще в 1930 году.

Максим Шевченко. Последняя утопия XX века. — «НГ-Религии». Дайджест. Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1999, № 2, март.

Долгая беседа с Екатериной Гениевой, директором Библиотеки иностранной литературы им. М. Рудомино и президентом Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). С интересными подробностями о работе фонда и о самом Джордже Соросе. Заслуживает внимания определение, которое дала Екатерина Гениева благотворительной деятельности Сороса в России: «Это ведь последняя утопия XX века!»

Анатолий Шиманский. Америка глазами русского, или Пот лошадиный в лицо. Главы из книги. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2, 3.

Февраль 1996 года. Автор отправляется в путешествие по Америке на телеге, запряженной бельгийским тяжеловозом Джейком (он же Ваня).

Умберто Эко. Остров Накануне. Роман. Перевод с английского Елены Костюкович. — «Иностранная литература», 1999, № 2, 3.

Журнальный вариант романа «L'isola del Giorno prima» (1994). В качестве приложения печатается «Инструкция автора для переводчиков „Острова Накануне“». Полный вариант романа выходит третьим томом собрания сочинений Эко в Санкт-Петербургском издательстве «Симпозиум» в 1999 году.

Михаил Эпштейн. Русская литература на распутье. Секуляризация и переход от двоичной модели к троичной. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 1, 2.

Сокращенная версия доклада, подготовленного для конференции «Русская культура на распутье. Искусство и общество» (Университет Невады, Лас-Вегас, ноябрь 1997).

См. также статью Михаила Эпштейна «Информационный взрыв и травма постмодерна» («Ex libris НГ», 1999, № 4, февраль) о том, что спустя двести лет после обнаружения теории Мальтуса («Опыт о законе народонаселения...», 1798) обнаруживается новая растущая диспропорция «между человечеством как совокупным производителем информации и отдельным человеком как ее потребителем и пользователем».

ДАТА: 1 (13) июля исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Осиповича Гершензона (1869 — 1925); 21 июля исполняется 100 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899 — 1961).

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

5 лет назад — в № 7 за 1994 год напечатана статья А. Солженицына «„Русский вопрос“ к концу XX века».

30 лет назад — в № 7, 8, 9 за 1969 год напечатан роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».

35 лет назад — в № 7, 8 за 1964 год напечатана повесть Юрия Домбровского «Хранитель древностей».

70 лет назад — в № 7 за 1929 год напечатана «Повесть» Бориса Пастернака.

ИНСТИТУТ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»

О КОНКУРСЕ «ПУШКИНИСТ»

Когда этот номер «Нового мира» выйдет из печати, результаты конкурса «Пушкинист», проводившегося в начале года Издательской программой Института «Открытое общество», будут уже обнародованы. Сейчас же, когда пишется эта заметка, его итоги еще не известны, хотя в основных чертах уже и вырисовываются.

Идея отметить двухсотлетие национального поэта конкурсом ранее не издававшихся рукописей по пушкинистике и по истории и литературе пушкинского времени (временной и тематический диапазон изначально был задан очень широко) была на первых порах воспринята с известной долей скепсиса.

«Вас завалят графоманскими опусами — стихами, романами, пьесами на вечную тему „Пушкин и я“», — язвили одни. «А есть ли вообще такие рукописи? Все ведь давно уже издано и переиздано!» — сомневались другие. «Вы поддерживаете рукопись, но это еще вовсе не значит, что она превратится в книгу. В наши дни от рукописи до книги путь хоть и короче, чем в советские времена, зато куда тернистее», — предупреждали третьи.

Сегодня, когда эксперты еще изучают труды, поданные на конкурс, по условиям которого Институт дает гранты авторам рукописей, отличающихся исследовательской новизной, высоким профессиональным уровнем, научной, просветительской и общекультурной значимостью, а также субсидии издательству на доведение рукописи до оригинал-макета, развеять опасения скептиков и в самом деле пока невозможно: книги будут — если будут — выйдут лишь в конце 1999 — пушкинского — года, а может, и в начале следующего.

Зато совершенно ясно уже сейчас: посрамлены и те, кто считал, что конкурс превратится в праздник графомании, и те, кто боялся, что конкурс может провалиться. «Пушкинист» состоялся. И превзошел все ожидания. Если кого мы и недооценивались, так именно графоманов, хотя среди поданных на конкурс рукописей были, разумеется, и стихи, сочиненные по принципу «Я себя под Пушкиным чищу», и даже один душещипательный роман, из тех, чьи «достоинства» угадываются по названию и по первой фразе. На суд Экспертного совета Института представлено было даже медицинское исследование — автор вполне убедительно, хотя и далеко не впервые доказывал, что раненого Пушкина можно было спасти.

Откровенно разочаровали и многие поданные на конкурс рукописи образовательного характера. Большинство из них — за вычетом, пожалуй, лишь «Пушкинского школьного энциклопедического словаря», который должен вскоре выйти в издательстве «Просвещение» и который, с точки зрения высокой академической науки, тоже далеко не безгрешен, — либо писались очень давно и от них за версту отдает «застоем», либо, напротив, скроены, причем наспех, по моде сегодняшней. Рекомендовать такую пушкинистику студентам, тем более школьникам, довольно рискованно: в стремлении во что бы то ни стало сделать открытие, любой ценой опровергнуть советскую пушкинистику с ее жесткими догмами и процеженной идеологией авторов нередко «заносит», они далеки от материала, пишут излишне усложненно, находясь во власти довольно сомнительных теорий, да и Пушкина хорошо знают не всегда. Из таких трудов школьники, вместо положительной роли няни и отрицательной — лишнего человека, почерпнут информацию о Пушкине — убежденном державнике и смиренном церковнике, о творчестве поэта в контексте постмодернизма, а также о том, что Онегин, в отличие от Татьяны, олицетворяет собой нерусское, «чуждое нам» начало; им придется рыться в словарях иностранных слов в поисках архетипов и метатекстов.

В целом же конкурс, безусловно, удался — и количественно (более ста рукописей), и жанрово-тематически (переводы пушкинских произведений на английский, чувашский, бурятский языки; монографии — литературоведческие, исторические,

этнографические; антологии, публикации, архивные материалы), и, разумеется, качественно. В конкурсе приняли участие видные российские и зарубежные пушкинисты: Вадим Вацуρο, Екатерина Ларионова, Георгий Лесскис, Виктор Листов, Валентин Непомнящий, Сергей Фомичев, Юрий Чумаков; филологи, историки, философы — специалисты по русской истории и литературе более широкого профиля (Рената Гальцева, Вадим Перельмутер, Михаил Гаспаров, Ефим Эткинд, Андрей Зорин), специалисты по творчеству Гоголя (Юрий Манн), Толстого (Сусанна Розанова), Розанова (Виктор Сукач), писатели (Яков Гордин), сценаристы (Марлен Хуциев), художники (Николай Кузьмин, Игорь Улангин).

Благодаря публикаторам (далеко не все из них пушкинисты и даже филологи), которые долгие годы не только хранили, но и самозабвенно и бескорыстно трудились над составлением и комментированием ранее не издававшихся или издававшихся в неполном объеме фундаментальных работ по пушкинистике, в нашем конкурсе смогли принять участие классики отечественной пушкинистики — Г. О. Винокур, Л. В. Пумпянский и Т. Г. Цявловская. Если издательствам удастся выпустить при поддержке Института работы Г. О. Винокура о Борисе Годунове, собранные С. В. Киселевым, и «Храни меня, мой талисман» — собрание работ Т. Г. Цявловской разных лет, любовно составленных одним из старейших наших пушкинистов Е. С. Шальманом вместе с К. П. Богаевской, а также текстовую и изобразительную «Пушкиниану» блестящего иллюстратора произведений Пушкина и Гоголя Н. В. Кузьмина, собранную его сыном М. Н. Кузьминым, — читатели получат к пушкинскому юбилею отличный подарок.

Задача конкурса «Пушкинист» не ограничивается объективной оценкой поданных на конкурс работ — необходимо было, по нашему глубокому убеждению, учитывать приоритеты современной российской пушкинистики. В соответствии с этими приоритетами, наиболее высокой оценки должны удостоиться комментированные собрания сочинений, над которыми в настоящее время трудятся коллективы двух академических литературных институтов — ИМЛИ в Москве и Пушкинского дома в Петербурге. Сюда же примыкают и выполненные на самом высоком научном уровне комментированные издания: «Повести Белкина» (Н. К. Гей) и «История Петра» (В. С. Листов). Второе место в этой оценочной иерархии должны, по всей видимости, занять антологии и публикации, среди которых хотелось бы выделить «Речи о Пушкине» (М. Д. Филлин), «Пушкин в русской философской критике» (Р. А. Гальцева), «В. В. Розанов. Муза Пушкина» (В. Г. Сукач), «А. А. Оленина. Воспоминания» (В. М. Файбисович), «К истории дуэли Пушкина. Письма Жоржа Дантеса» (А. Ю. Арьев), «Дневник А. Н. Вульфа» (Е. Н. Строганова), «А. С. Пушкин. Переводы и подражания» (Г. А. Лесскис). И третье — монографии: «Стихотворная поэтика Пушкина» (Юрий Чумаков), «Кормя двуглавого орла» (Андрей Зорин), «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении» (А. Б. Пеньковский), «Пушкин: история и предание» (В. А. Кошелев), среди которых наиболее видное место занимают две рукописи: «Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы» (Л. В. Пумпянский) и «Пушкинская пора» (В. Э. Вацуро).

Юбилеи утомляют и раздражают — шумихой, фальшью, казенными торжествами, прекраснотушными и широковещательными заявлениями, которые, как правило, остаются на бумаге, и отчетами о «проделанной работе», которые далеко не всегда соответствуют действительности. Пушкинский юбилей — теперь это, увы, ясно — не стал исключением. Оттого, что он — *пушкинский*, фальшь и шумиха особенно наглядны — и особенно тягостны. Тем более отраднo, что Институт «Открытое общество», поддержав рукописи, многие из которых без его содействия еще долго бы пылились на полках, и на этот раз совершил полезную, осмысленную — неюбилейную акцию.

А. Ливергант,
директор Издательской программы
Института «Открытое общество».

Победители конкурса «Пушкинист» Института «Открытое общество»

1. Коллектив авторов под руководством С. В. Киселева. Подготовка книги Г. О. Винокура «О „Борисе Годунове“ А. С. Пушкина». Москва.
2. М. Д. Филин. Подготовка книги «Речи о Пушкине XIX — XX вв.». Москва.
3. Г. А. Лесскис, К. Н. Атарова. Подготовка книги: А. С. Пушкин. «Переводы и подражания». Комментированное издание с текстами на языке оригинала. Москва.
4. А. Б. Пеньковский. «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении». Владимир.
5. Ю. Н. Чумаков. «Стихотворная поэтика Пушкина». Новосибирск.
6. Н. И. Николаев. Подготовка книги Л. В. Пумпянского «Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы». Санкт-Петербург.
7. Коллектив авторов под руководством В. М. Файбисовича. Подготовка книги: А. А. Оленина. «Дневник. Воспоминания». Санкт-Петербург.
8. Коллектив авторов под руководством А. Ю. Арьева. Подготовка и издание книги «К истории дуэли А. С. Пушкина. Письма Жоржа Дантеса». Санкт-Петербург.
9. Р. А. Гальцева. Подготовка книги «Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — XX в.». Москва.
10. Коллектив авторов под руководством В. С. Непомнящего. Подготовка «Собрания сочинений Пушкина, размещенных в хронологическом порядке». Т. 1—3. Москва.
11. И. А. Улангин. «Знакомцы давние, плоды мечты моей» (альбом). Чебоксары.
12. В. Я. Коровина, В. И. Коровин. Подготовка книги «А. С. Пушкин: Школьный энциклопедический словарь под ред. В. И. Коровина, В. Я. Коровиной». Москва.
13. В. Б. Намсараев. Переводы произведений А. С. Пушкина на бурятский язык «Во глубине сибирских руд... Сибириин уурхай гун соогуур...». Улан-Удэ.
14. Г. Ф. Трофимов (Юмарт). «Пушкин звучит на чувашском». Чебоксары.
15. М. Н. Кузьмин. Подготовка книги «Пушкиниана художника Н. В. Кузьмина». Москва.
16. В. Г. Перельмутер. Подготовка книги «Пушкин и Русское Зарубежье. 1937 год». Москва.
17. В. С. Листов. Подготовка научного издания «Истории Петра» А. С. Пушкина. Москва.
18. Коллектив авторов под руководством Ю. В. Манна: Н. В. Гоголь. Полное академическое собрание сочинений и писем. Т. 1. Москва.
19. О. А. Проскурин. «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест». Москва.
20. С. А. Фомичев, С. В. Денисенко. Монография «Графика Пушкина». Санкт-Петербург.
21. В. Э. Вацуро. «Пушкинская пора». Санкт-Петербург.
22. Коллектив авторов под руководством Е. О. Ларионовой: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 2, кн. 1. Санкт-Петербург.
23. А. Л. Зорин. «„Кормя двуглавого орла...“». (Русская литература и государственная идеология от Екатерины II до Николая I). Москва.
24. М. Л. Гаспаров, Т. В. Скулачева. Издание перевода книги Дж.-Т. Шоу «Конкорданс к стихам А. С. Пушкина». Москва.
25. Коллектив авторов под руководством Е. Н. Строгановой. Подготовка книги «Дневник А. Н. Вульфа. 1827 — 1842». Тверь.
26. В. А. Кошелев. «Пушкин: история и предание». Новгород.
27. А. Д. Кошелев. Издание книги Е. Г. Эткинды «Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции». Москва.
28. Я. А. Гордин. «Мистики и охранители». Санкт-Петербург.
29. Е. С. Шальман, К. П. Богаевская. Подготовка книги Т. Г. Цявловской «„Храни меня, мой талисман“». Статьи о Пушкине. 1930 — 1978». Москва.

30. А. П. Люсый. «Пушкин, Таврида, Киммерия». Москва.
31. Коллектив авторов под руководством Н. К. Гея. Подготовка юбилейного научного издания «Повести Белкина». Москва.
32. С. А. Розанова. «Лев Толстой и пушкинская Россия». Москва.
33. В. Г. Сукач. Подготовка книги: В. В. Розанов. «О Пушкине». Москва.
34. М. М. Хушиев. «Пушкин» (кинороман). Москва.
35. М. И. Шапир. «Язык — стих — смысл в поэзии Пушкина, его предшественников и современников». Москва.
36. Ю. А. Молок. «Пушкин — 1937 год. Материалы и исследования по иконографии». Москва.
37. В. В. Бондаренко. «Князь Вяземский. Жизнеописание». Минск.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-99» (том 1, стр. 111, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Стоимость подписки на второе полугодие 1999 года — 162 рубля плюс стоимость доставки.

Но те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 1999 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 150 рублей.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem», «Библио-глобус», «Гилея», «Графоман», «Летний сад», «Мир печати», «Эйдос» и др.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



New poems by Alexy Purin, Elmira Kotljар, Konstantin Vanshenkin and Elena Akselrod are published in the poetical section of issue.

You can also read the Valery Popov's story «Pöttifogger Angel», documentary fairy-tales «Returning back» by Svetlana Bychenko and the translation of the novel «The Bolshevik's weakness» written by the Spanish writer Lorenzo Silva. In addition Alexander Solzhenitsyn publishes his «Krochotki» (*Tiny stories*). In the section «The writer's diary» you can find the continuation of his «Literary Collection», which features his sketches about Panteleymon Romanov's works.

Under the heading «The heritage of the past» you can read Vasily Rosanov's texts «The Apocalypse of the Russian Literature», never published before.

Under the heading «Times and manners» is published the Lev Aiserman's article «The Russian Classics in the country of 'new Russians'» dedicated to problems of education.

Tatyana Kasatkina, a literary critic, in the article «How we read Russian literature: about voluptuousness» enters into polemics with Vitaly Svintsov's recently published materials concerning Fyodor Dostoevsky.

Articles by Alla Marchenko «Faddey (Tadeush) superagent» and V. Vatsuro «Vidok Figlyarin» in the section «Close Remote Past» are dedicated to an odious figure of Pushkin's epoch Faddey Bulgarin and also to a recently published book about him.

This issue also features a selection of letters written by «Novy Mir» readers and an article by A. Livergant, reflecting on the «Pushkin scholars» competition, announced and sponsored by the Open Society Institute.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екямов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор Л. Б. Левова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.03.99 г. Подписано к печати 28.05.99 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 200 экз. Зак. 5339. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1999 И В 2000 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. *Дух времени и чувство юмора* (речь перед австрийской аудиторией);
 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. *Монахи* (роман);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. *Затеси* (новая тетрадь);
 АНДРЕЙ БИТОВ. *Общество охраны героев* (повесть);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. *Гость случайный* (роман-эссе);
 АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. *Ночь славянских фильмов* (рассказы);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. *Мария из Магдалы* (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. *Вечера с Петром Великим* (роман);
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. *Дневники 1980-х годов*;
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. *Мой муж Даниил Хармс* (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. *Житейские истории*;
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. *После инфаркта* (повесть);
 МИЛАН КУНДЕРА. *Обмен мнениями* (маленькая повесть; перевод с французского);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. *Новая повесть*;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. *Нам целый мир чужбина* (роман);
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. *Читающая вода* (роман);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. *Театральный человек* (документальное повествование);
 ИГОРЬ САХНОВСКИЙ. *Насущные нужды умерших* (роман);
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. *Один в зеркале* (роман);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. *Этюды из «Литературной коллекции»*;
 ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. *Русская коллекция*;
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. *Путешествие с...* (роман);
 АНТОН УТКИН. *Южный календарь* (рассказы);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом* (повесть);

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, МАРКА КОСТРОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОВРЕМЯ ОФОРМИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**